



Герман Брох

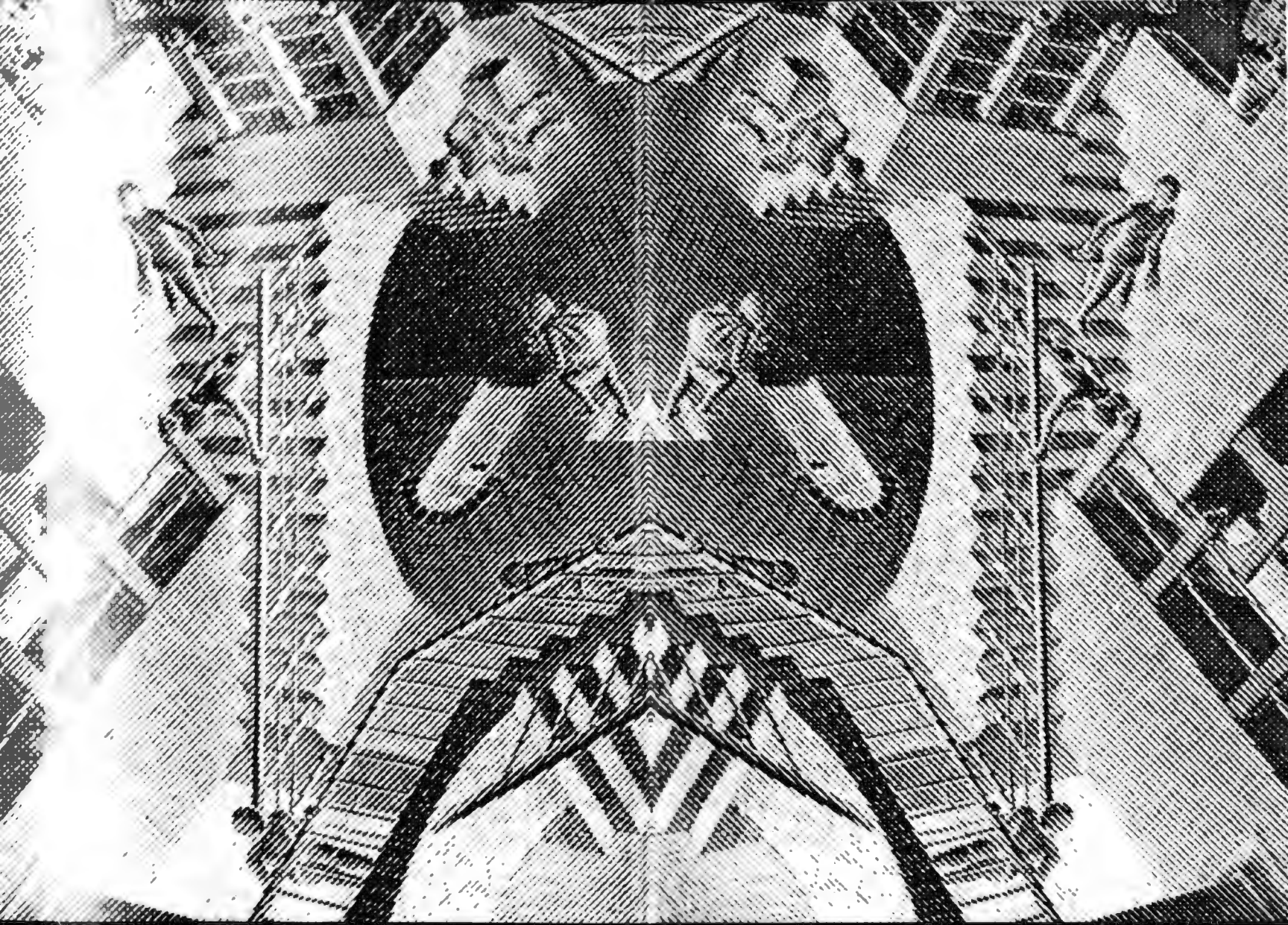
Ψ
Герман Брох
Ψ

Ψ

1

1







**СЕРИЯ
700**

Основана в 1993 году

С октября 1995 г.
издательство «Лабиринт»
является издателем
серии «700»
с любезного согласия авторов серии



Киев
«ЛАБИРИНТ»
Санкт-Петербург
«АЛЕТЕИЯ»
1997



Hermann
Broch

DIE SCHLAFWANDLER



Der erste Roman

**1888 — Pasenow
oder die Romantik**

Der zweite Roman

**1903 — Esch
oder die Anarchie**

Роман-трилогия

Герман Брох

Перевод с немецкого

1 ЛУНАТИКИ

Первый роман

1888 — Пазенов, или Романтика

Второй роман

1903 — Эш, или Анархия

Ψ

ББК 84.4АВТ
Б 88

Перевод с немецкого *Н. Л. Кушнира*

Редактор *Н. Г. Шишкина*

В оформлении издания использованы
фрагменты работ *Мориса Эшера*

Роман "Лунатики" известного австрийского писателя-мыслителя Г.Броха (1886—1951), произведение, занявшее выдающееся место в литературе XX века, переведен на русский язык *впервые*.

Два первых романа трилогии, вошедшие в первый том,— это два этапа новейшего безвременья, две стадии распада духовных ценностей общества. Словно в состоянии глубокого сна пребывают герои романов, стихийно, не по своей воле участвуя в сдвигах, смещениях, изменениях мира...

Б 4703010100-009 Без объявления
96

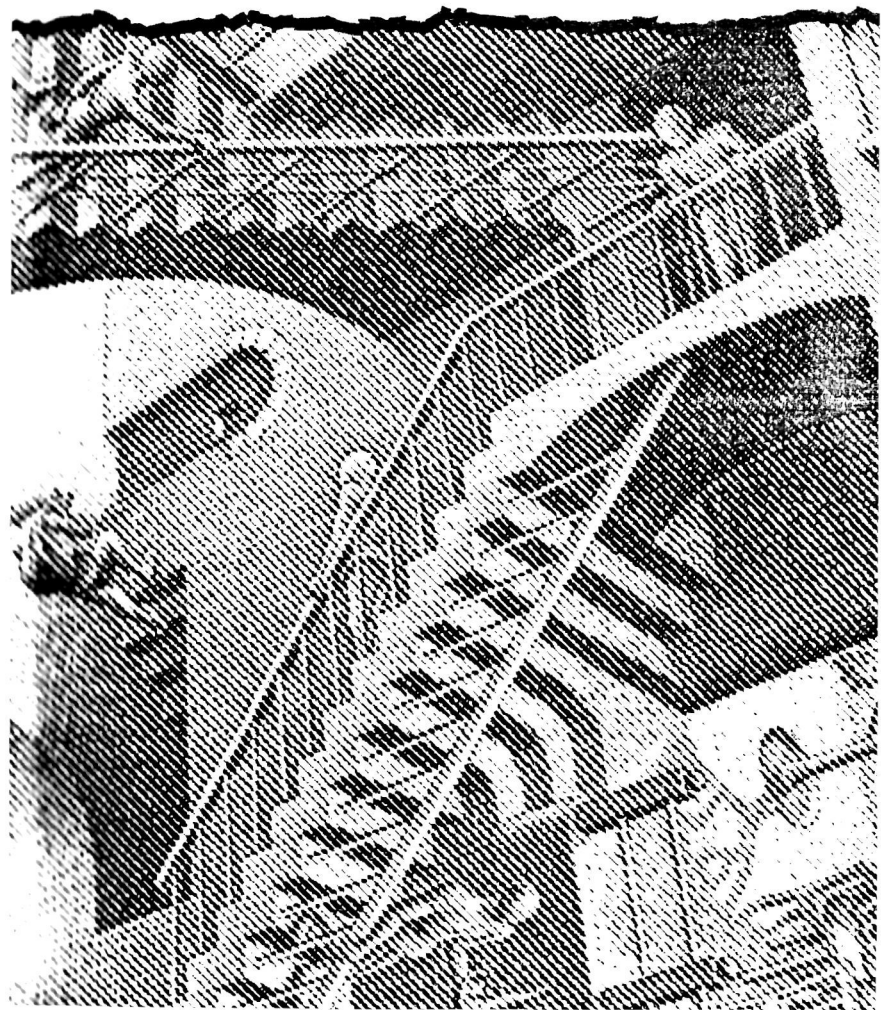
ISBN 966-521-015-7
ISBN 5-87329-008-9

© Перевод, художественное оформление,
оригинал-макет. Издательство "Лабиринт",
1996

© Название серии. Марка серии. Оформление
серии. Н.Н.Вакуленко, О.В.Гашенко, 1993

Ане Херцог посвящается

1888 — Пазенов, или Романтика



I

В 1888 году господину фон Пазену было уже семьдесят, и некоторые прохожие, встречая его на улицах Берлина, испытывали странное и необъяснимое чувство отвращения, более того, своим отвращением они словно утверждали, что это — злой старик. Маленького роста, но пропорционального телосложения, не худой, но и не толстяк, он был очень хорошо сложен, и цилиндр, который он имел обыкновение надевать в Берлине, производил вполне респектабельное впечатление. Он носил бородку под кайзера Вильгельма Первого, но только коротко подстриженную, а на его щеках не было и намека на седину, которая придавала внешности императора некую простоту; даже в волосах, по-прежнему густых, проглядывало лишь несколько седых волос; невзирая на свои семьдесят лет, он сохранил белокурость молодости, ту рыжеватую белокурость, что напоминает гниющую солому и не очень идет пожилому человеку, на голове которого хочется видеть нечто более почтенное. Но господин фон Пазенов к цвету своих волос давно привык, и даже монокль казался ему вполне подходящим его возрасту. Глядя в зеркало, он по-прежнему узнавал там лицо, которое смотрело на него пятьдесят лет назад. Господин фон Пазенов был доволен собой, хотя и встречались люди, не воспринимающие внешность этого старика, их умы не могли постичь того, что все-таки нашлась женщина, которая глядела на него жаждущими глазами и страстно обнимала его, по их мнению, ему были доступны лишь польские служанки, работающие у него в имении, в обращении с которыми он мог позволить себе

легкую истеричность, но все-таки в нем доминировала господская агрессивность, свойственная мужчинам маленького роста. Правда это было или нет, но так считали оба его сына, и, разумеется, он этого мнения не разделял. К тому же точка зрения сыновей часто бывает субъективной, и проще было бы упрекнуть их в несправедливости и пристрастности, если бы не какое-то неприятное чувство, охватывающее тебя при виде господина фон Пазенова, особенно усиливающееся, когда господин фон Пазенов проходит мимо, а ты смотришь ему вслед. Может быть, это объясняется абсолютной неопределенностью его возраста, ибо ходит он не так, как старики, не так, как молодые люди, и не так, как мужчины в расцвете лет. Вполне возможно, кто-то из прохожих воспринимает эту манеру ходить как лишенную достоинства, как заносчивую и простоватую, как тщедушно ухарскую и хвастливо правильную. Походка, конечно, результат темперамента; но можно все-таки себе представить, как ослепленный ненавистью молодой человек спешит вернуться, чтобы тому, кто так ходит, подставить под ноги трость, как-нибудь свалить его, переломать ему ноги — навсегда уничтожить эту походку. А тот идет прямо и очень быстрым шагом, с высоко поднятой головой, как обычно это делают люди маленького роста, и поскольку спину свою он держит очень прямо, то, следовательно, его маленький живот оказывается немного выпяченным вперед, можно даже сказать, что он несет его перед собой, более того, что он вместе с ним несет куда-то всю свою персону, ужасный подарок, и нет желающих получить его. Но поскольку такое сравнение само по себе еще ничего не объясняет, то возмущение это выглядит необоснованным, не исключено, что даже становится стыдно, когда вдруг возле ног обнаруживаешь прогулочную трость. Движения трости размеренны, она взлетает почти до уровня колен, замирает на какое-то мгновение в сильном ударе о землю и снова взлетает, а ноги идут рядом. Они тоже поднимаются выше, чем обычно, носок ноги идет в какой-то степени слишком размашисто вверх, словно хочет в знак пренебрежения к идущим навстречу проде-

монстрировать подошву обуви, а каблук производит о мостовую короткий сильный удар. Так и идут рядом — ноги и трость, и тут вдруг возникает представление, что этот мужчина, родись он лошадью, был бы иноходцем; но самое страшное и отвратительное состоит в том, что иноходь эту производит тренога, тренога, которая сдвинулась с места. И приходишь в ужас при мысли, что эта трехногая устремленность к цели, должно быть, такая же фальшивая, как и эта прямолинейность, и эта устремленность вперед: ибо цели нет! Так не ходит никто из тех, у кого значительные намерения, и если на какое-то мгновение в голову приходит мысль о ростовщике, который притащился в дом для бессердечного взыскания долга, то сразу же понимаешь, что этот образ слишком мал, он слишком земной, и осознаешь, что именно так слоняется без дела черт, пес, хромящийся на трех ногах, что эта прямолинейная ходьба по сути есть хождение зигзагом, ... достаточно; все это вполне может прийти в голову, когда, прикрываясь маской почтения, с ненавистью препарировуешь походку господина фон Пазенова. В конце концов, ведь такое препарирование можно применить к большинству людей. И всегда что-то будет не так. И если бы даже господин фон Пазенов не вел суетливый образ жизни, уделяя более чем достаточно времени исполнению чисто формальных и прочих обязательств, что предполагает обеспеченное состояние, он все равно был бы занятым человеком, что и соответствовало его сути, а слоняться без дела — занятие вовсе ему несвойственное. Приехать пару раз в году в Берлин — вполне ему по силам. И теперь он направлялся к своему младшему сыну премьер-лейтенанту Йоахиму фон Пазенову.

Всегда, когда Йоахим фон Пазенов встречался с отцом, в памяти всплывали детские воспоминания, что не удивительно. Оживали, правда, прежде всего события, предшествовавшие его поступлению в кадетскую школу в Кульме. Были это, впрочем, всего лишь обрывки воспоминаний, они возникали мимолетно и перемешивали важное с совсем несущественным. Ка-

залось совершенно незначительным и излишним вспоминать управляющего именем Яна, чей образ, невзирая на его абсолютную второстепенность, затмевал все другие. Может быть, это объяснялось тем, что Ян был не человеком даже, а какой-то сплошной бородой. На него можно было смотреть часами и размышлять о том, есть ли там, за этими взлохмаченными, непролазными, хотя и мягкими, зарослями человеческого существо. Даже если Ян говорил, что бывало не так уж часто, то верилось в это с трудом, ибо слова возникали за бородой словно за каким-то занавесом, и произносить их вполне мог кто-то другой. Забавней всего было наблюдать, как Ян зевал: тогда на определенном участке волосатой поверхности образовывалась дыра, демонстрируя, что это именно то место, куда Ян имеет обыкновение отправлять пищу. Когда Йоахим прибежал к нему, чтобы рассказать о своем предстоящем поступлении в кадетскую школу, Ян как раз ел; он резал хлеб, молча слушая, и наконец спросил: "Ну, теперь молодой господин наверняка должен радоваться?" И только тогда до Йоахима дошло, что он вовсе не рад этому; он даже охотно бы заплакал, но поскольку никакой непосредственной причины для этого не было, то он просто кивнул головой и выдал из себя, что радуется. Затем вспоминался еще Железный Крест¹. Он висел в большом салоне в рамке под стеклом и принадлежал одному из предков Пазеновых, который в 1813 году занимал командирскую должность. Поскольку Крест этот уже висел на стене, то было немного непонятно, почему был поднят такой шум, когда дядя Бернхард получил такой же. Йоахим испытывал до сегодняшнего дня чувство стыда за то, что был таким глупым. Может быть, тогда он просто разозлился, поскольку, демонстрируя Железный Крест, ему хотели всего лишь ослабить горечь предстоящей учебы в кадетской школе. В любом случае его брат Гельмут куда более подходил бы для этой школы, и, невзирая на

¹ Железный Крест — военный орден в Германии (*Здесь и далее прим. переводчика*).

годы, минувшие с тех пор, Йоахим по-прежнему считал смешной традицию, согласно которой первенец должен стать хозяином имения, а младший сын — офицером. Железный Крест был ему безразличен, но вот Гельмут пребывал в жутком восхищении от того, что дядя Бернхард в составе дивизии Гебена¹ принимал участие в штурме Киссингена. Впрочем, он был не родным, а двоюродным братом отца.

Ростом мать была выше отца, и все в имени подчинялось ей. Примечательно то упорство, с каким они с Гельмутом не хотели ее слушать; это, собственно говоря, было у них общее с отцом. Они пропускали мимо ушей ее тягучее и медленное "нет" и попросту злились, если она затем к этому добавляла: "Смотрите только, чтобы отец не узнал". А страха они не испытывали даже тогда, когда она прибегала к своему последнему средству: "Ну вот теперь я и вправду намерена рассказать все отцу". Практически не бывало им страшно и в том случае, если она исполняла свою угрозу, потому что тот лишь бросал на них сердитый взгляд и отправлялся твердыми прямолинейными шагами по своим делам. Это было подобно справедливому наказанию для матери за то, что она пыталась найти союзника в лице всеобщего врага.

В то время церковными делами в округе ведал предшественник теперешнего пастора. У него были желтовато-седые бакенбарды, которые почти не отличались по цвету от кожи, и когда он бывал приглашен к праздничному столу, то имел обыкновение сравнивать мать с королевой Луизой² в окружении ее многочисленных детей. Это звучало по крайней мере смешно, но придавало ему солидность. Затем у пастора появилась еще одна привычка — он клал свою руку на голову Йоахима и

¹ Август Гебен (1816—1880) — прусский генерал, прославившийся победами в многочисленных военных кампаниях Пруссии.

² Луиза Августа Вильгельмина Амалия (1776—1810) — супруга прусского короля Фридриха-Вильгельма III, мать Фридриха-Вильгельма IV и Вильгельма I. Отличалась высокими моральными принципами и приверженностью семейным ценностям.

говорил: "Юный воин", поскольку все, даже девочки-полячки, служившие на кухне, уже говорили о кадетской школе в Кульме. Несмотря на это, Йоахим все еще ждал правильного решения. За столом мать как-то сказала, что она не видит необходимости отпускать Йоахима — он ведь мог поступить на службу позже и уже юнкером, так ведь делалось постоянно, и этого всегда придерживались. Но дядя Бернхард ответил, что новой армии нужны порядочные люди и что хорошо воспитанному юноше должно наверняка понравиться в Кульме. Отец хранил неприятное молчание — как всегда, когда что-либо говорила мать. Он и не слушал ее. Лишь в день рождения матери, стуча по бокалу, он не соглашался со сравнением пастора и называл ее своей королевой Луизой. Может быть, мать и вправду была против того, чтобы отправлять его в Кульм, но на нее нельзя было положиться, в конце концов она поддерживала отца.

Мать была очень пунктуальным человеком. Во время дойки она всегда находилась в коровнике, при сборе яиц — в курятнике, до обеда ее можно было найти на кухне, а после обеда — в прачечной, где она вместе со служанками пересчитывала накрахмаленное белье. Тогда, собственно говоря, он впервые и узнал обо всем. Он был с матерью в коровнике, и дыхание ему забивал тяжелый запах, затем они вышли на холодный зимний воздух, а навстречу им, пересекая двор, направлялся дядя Бернхард. Он был, как всегда, со своей тростью; после ранения вполне позволительно носить трости, все выздоравливающие носят трости, даже тогда, когда они почти не хромают. Мать остановилась, а Йоахим крепко вцепился в трость дяди Бернхарда. И сегодня он хорошо помнит ее ручку из слоновой кости, украшенную гербами. Дядя Бернхард сказал: "Поздравьте меня, кузина, я только что стал майором". Йоахим посмотрел на майора снизу вверх; тот был еще выше матери, он отвесил маленький, но в то же время полный достоинства и отвечающий уставам поклон, он казался еще более благородным и еще более строгим, чем обычно, стал, возможно, еще выше, в любом случае он подходил ей больше, чем отец. У него была короткая

окладистая борода, которая, правда, не закрывала рот. Йоахим размышлял над тем, велика ли честь, что ему позволено держаться за трость майора, затем он решил для себя, что хоть немножечко, но он может этим гордиться. "Да,— продолжал дядя Бернхард,— но теперь хорошие деньки в Штольпине снова подошли к концу". Мать ответила, что это одновременно и хорошая, и плохая новость, ответ был сложным и не совсем понятным Йоахиму. Они стояли на снегу; на матери была короткая меховая шубка, мягкая, как и она сама, из-под меховой шапки выбивались белокурые волосы. Йоахим постоянно радовался тому, что у него такие же белокурые волосы; стало быть, и ростом он будет выше отца, может, такой же высокий, как дядя Бернхард, и когда тот указал на него: "Ну, ведь вскоре мы станем коллегами по солдатской службе", то он даже на какое-то мгновение полностью согласился. Но поскольку мать всего лишь вздохнула, без возражений, покорно, так, словно она стоит перед отцом, он отпустил трость и припустил к Яну.

С Гельмутом поговорить об этом было невозможно; тот завидовал ему и говорил как взрослые, в один голос утверждавшие, что будущий солдат должен испытывать чувство радости и гордости. Единственным, кто не лицемерил и не предавал, был Ян; он просто спросил, рад ли этому молодой господин, и не делал вид, будто этому верит. Конечно, все остальные, в том числе и Гельмут, не хотели причинить ему боль, они хотели его просто утешить. Йоахим так и не смог смириться с тем, что тогда позволил завуалированному лицемерию и предательству Гельмута убедить себя; ему сразу же захотелось поступить по-хорошему, и он подарил ему все свои игрушки — ведь взять их с собой в кадетскую школу он все равно не смог бы. Он подарил ему также половину пони, который принадлежал обоим мальчикам, так что теперь Гельмут становился владельцем целой лошади. Эти недели были чреватые бедствиями, но также ознаменованы и хорошим временем; никогда больше, ни до того, ни после, не были они с братом так дружны. Однако потом случилось несчастье с пони: Гельмут на время отказался от

своих новых прав, и Йоахим мог распоряжаться пони единолично. Отказавшись, Гельмут, впрочем, мало чем рисковал: почва в те недели была сильно размокшей, и существовал строжайший запрет ездить верхом. Но Йоахим ощущал себя вполне вправе принимать решения, да и Гельмут, помимо всего прочего, не возражал, и под предлогом устроить пони прогулку в огороженном загоне для скота Йоахим погнал его по пашне. Он пустил лошадь слабым галопом, и сразу же случилось несчастье: передней ногой пони угодил в глубокую борозду, перевернулся и уже не мог больше встать. Подбежал Гельмут, а затем и кучер. Растрепанная голова пони лежала на вывороченном пласте пашни, язык свисал набок. У Йоахима все еще стояло перед глазами, как они с Гельмутом опустили там на колени и гладили голову животного, но он никак не мог вспомнить, как они вернулись домой, он помнил только, что оказался на кухне, где в одно мгновение воцарилась глубокая тишина, и все уставились на него, словно он был какой-то преступник. Потом он услышал голос матери: "Нужно сказать об этом отцу". Затем он внезапно оказался в рабочем кабинете отца, казалось, что то самое наказание, которым мать, прибегая к ненавидимой фразе, так часто пугала их, наслонившись и накопившись, теперь настигло его. Однако наказания не последовало. Отец лишь молча вышагивал прямолинейной походкой по комнате, а Йоахим старался стоять прямо и поглядывал на оленины рога, висевшие на стене. Поскольку по-прежнему ничего не происходило, то взгляд его начал блуждать и зацепился за голубизну бумажной обложки шестиугольной отполированной плевательницы коричневого цвета, которая висела рядом с печью. Он почти забыл, зачем сюда пришел; казалось только, что комната стала больше, чем обычно, а на грудь давила какая-то тяжесть. Наконец отец вставил свой монокль в глаз: "Наступило самое время тебе оставить дом", и Йоахим теперь знал, что все они лицемерили, даже Гельмут, в это мгновение Йоахиму казалось даже справедливым, что пони сломал себе ногу, да и мать то и дело предавала его для того, чтобы он оставил дом. Потом он уви-

дел, как отец достал из ящика пистолет. Ну а затем его стошнило. На следующий день от врача он узнал, что у него сотрясение мозга, и очень гордился этим. Гельмут сидел у его кровати, и хотя Йоахим знал, что отец пристрелил пони, они не обмолвились об этом ни единым словом, снова наступило хорошее время, замечательным образом укрытое и отстраненное ото всех людей. Тем не менее оно закончилось, и с опозданием в несколько недель его доставили в школу в Кульме. Но когда он стоял там перед своей узкой кроватью, которая была такой далекой и отстраненной от его кровати в Штольпине, на которой он болел, то ему почти что показалось, что он позаимствовал себе ту отстраненность, и это сделало его пребывание там в первое время вполне сносным.

Конечно, в тот период его жизни было много чего другого, о чем он позабыл, но память сохранила некие волнующие обрывки, ему иногда даже снилось, что он говорит по-польски. Когда он стал премьер-лейтенантом, то подарил Гельмуту коня, на котором сам долго ездил. Его все-таки не оставляло чувство, что он перед ним немножечко в долгу, даже что Гельмут для него какой-то неудобный кредитор. Все это было бессмыслицей, и он размышлял об этом редко. Только приезд отца в Берлин снова возвращал его к воспоминаниям прошлого, и когда Йоахим расспрашивал о матери и о Гельмуте, то никогда не забывал справиться о самочувствии лошади.

А теперь Йоахим фон Пазенов облачился в гражданский сюртук, и его подбородок ощущал себя необычно свободным между уголками открытого стоячего воротника, затем он водрузил цилиндр с изогнутыми полями и взял в руки трость с остроконечной ручкой из слоновой кости, по дороге в гостиницу, где он намеревался забрать отца для обязательной вечерней прогулки, перед ним неожиданно всплыло лицо Эдуарда фон Бертранда, и ему было приятно, что гражданская одежда не сидит на нем словно само собой разумеющееся, как на этом человеке, которого он втихомолку называл иногда предателем. К со-

жалению, вполне можно было опасаться и вполне можно было предусмотреть, что он встретит Бертранда в тех заведениях, которые они с отцом собирались посетить, и уже во время представления в зимнем саду он стал высматривать его, и довольно много беспокойства доставлял ему вопрос, стоит ли такого человека знакомить с отцом.

Эта проблема продолжала занимать его и тогда, когда они ехали на извозчике по Фридрихштрассе к охотничьему казино. Они сидели на потертых сидениях из черной кожи прямо и молча, расположив трости между колен, и если какая-нибудь из прогуливающихся мимо девушек что-либо выкрикивала в их адрес, то Йоахим фон Пазенов смотрел прямо перед собой, в то время как его отец выдавал с зажатым в глазу моноклем: "Красотка". Да, с приездом господина фон Пазенова в Берлин многое изменилось, и если даже с этим смириться, то все равно невозможно закрыть глаза на то, что одержимая страстью к нововведениям политика основателей империи принесла в высшей степени безрадостные плоды. Господин фон Пазенов сказал то, что он повторял каждый год: "И в Париже не без проблем", его неудовольствие вызвало также то обстоятельство, что яркие газовые светильники привлекали внимание прохожих ко входу в охотничье казино, перед которым они только что остановились.

Узкая деревянная лестница вела на второй этаж, где располагались залы казино, и господин фон Пазенов поднялся по ней с той деловой прямолинейностью, которая была ему так свойственна. Навстречу шла черноволосая девушка, и ей пришлось втиснуться в угол лестничной клетки, чтобы пропустить посетителей, а поскольку по ее лицу было отчетливо видно, что деловой вид пожилого господина вызывает у нее усмешку, то Йоахиму пришлось сделать слегка смущенный извиняющийся жест. Тут снова могла возникнуть вызывающая внутренний протест необходимость представляться Берtrandу, словно речь шла о любовнике этой девушки, о ее сутенере или еще о чем-либо немного фантастическом, и едва вступив в зал, Йоахим

окинул его ищущим взором. Но Бертранда, конечно, там не было, он увидел двух господ из полка и только теперь вспомнил, что сам подбил их к этому походу в казино, чтобы не коротать время одному в компании отца или, вдобавок к этому, еще и с Бертрандом.

Господина фон Пазенова приветствовали соответственно его возрасту и положению, словно начальника, легким сухим поклоном и щелчком каблуками, а он, подобно командующему, справился, весело ли господа проводят здесь время; и если господа пожелают выпить с ним бокал шампанского, то он сочтет это за честь, свое согласие господа опять выразили щелчком каблуками. Принесли шампанское. Господа сидели на стульях молча и с чопорным видом, не проронив ни единого слова, пили за здоровье друг друга и рассматривали зал, платиновые украшения, жужжащие газовые светильники, расположенные по большому кольцу люстры, утопающей в клубах табачного дыма. Они пялили глаза на танцующих, которые кружились в центре залы. Наконец господин фон Пазенов выдал: "Ну, господа, не хотелось бы думать, что ради меня вы отказались от прелестного слабого пола! (Последовали поклоны и смешки.) Здесь ведь есть хорошенькие девочки; когда я поднимался в залу, то встретил одну более чем привлекательную штучку, брюнетку, с глазами, которые вас, молодых господ, никак не могут оставить равнодушными". Йоахим фон Пазенов от стыда готов был вцепиться в горло старику, лишь бы прекратить такие непристойные речи, но один из его товарищей ответил, что это, очевидно, Ручена, действительно исключительно приятная девушка, которой не откажешь в определенной изысканности манер, да и вообще дамы тут большей частью не такие, как о них думают, напротив — дирекция с некоторой строгостью производит отбор и следит за соблюдением хороших манер. Между тем в зале снова появилась Ручена, под руку она держала светловолосую девушку, и то, как они на высоких каблуках и с тонкими талиями прохаживались вдоль столиков и лож, производило действительно приятное впечатление. Когда они поравня-

лись со столиком Пазеновых, была отпущена шутка, словно фрейлейн Руцена не могла ее услышать, а господин фон Пазенов добавил, что, судя по имени, перед ним, скорее всего, симпатичная полечка, ну почти землячка. Руцена возразила, сообщив, что она не полечка, а богемка, хотя в этих краях чаще говорят чешка, но богемка будет вернее, да и страна, откуда она родом, правильно называется Богемия. "Тем лучше,— ответил господин фон Пазенов,— поляки ни на что не годятся... ненадежный народ... а, впрочем, какое это имеет значение".

Между тем обе девушки пристроились за столиком, Руцена разговаривала низким голосом и посмеивалась над собой, так как до сих пор недостаточно хорошо владела немецким. Йоахим был зол, поскольку старик предавался воспоминаниям о польках, правда, и сам он не мог не вспомнить об одной жнице, которая поднимала его на повозку со снопами, когда он был еще мальчиком. Но когда та с сильно стаккатирующей интонацией перемешивала все артикли, то она казалась молодой дамой в тугом корсете с хорошими манерами, которая элегантно жестом подносила к устам бокал шампанского, а вовсе не какой-то там польской жницей; были разговоры об отце и этой служанке правдой или нет, с этим Йоахим уже ничего поделывать не мог, но здесь в отношениях с прелестными девушками старику не стоило вести себя так же, как он, вероятно, привык. Правда, вообразить себе жизнь какой-то богемской девушки иной, чем жизнь полячек, не удавалось — так же, как трудно вообразить живое существо, глядя на движения марионетки,— и когда он попытался представить Руцену в гостиной, такую почтенную благопристойную мамашу, а рядом — приятной внешности жениха в перчатках, то у него из этого ничего не получилось. Йоахима не покидало чувство, что там все должно происходить необузданно и угрюмо, словно в преисподней: ему было жаль Руцену, хотя в ней, без сомнения, ощущалось что-то от маленького угрюмого хищного зверька, в глотке которого застыло мрачное рычание, мрачное, словно богемские леса, и Йоахима одолевало желание узнать, можно ли с ней говорить

как с дамой, потому что все это, с одной стороны, отпугивает, но с другой — влечет и, значит, в какой-то мере оправдывает отца, его грязные намерения. Ему стало страшно оттого, что и Руцена может догадаться о его мыслях, он попытался прочесть ответ на ее лице; она заметила это и улыбнулась ему, по-прежнему позволяя старику поглаживать свою руку, которая мягким очертанием свисает за край стола, а тот делает это на глазах у всех и пытается при этом ввернуть пару польских словечек и возвести словесную изгородь вокруг себя и девушки. Конечно же, ей не следовало предоставлять ему такую свободу действий, и если в Штольпине всегда поговаривали, что польские служанки ненадежные люди, то, может быть, так оно и есть. А может, она слишком слабое существо, и честь требует защитить ее от старика. Это, впрочем, привилегия ее любовника; и если бы Берtrandу был свойственен хотя бы намек на рыцарство, то он, в конце концов, был бы просто обязан появиться здесь и без особых усилий расставить все по своим местам. Довольно неожиданно Йоахим завел разговор с товарищами о Берtrandе: давно ли они получали известия о нем, чем он сейчас занимается, что, мол, какой-то замкнутый он человек, этот Эдуард фон Берtrand. Но оба товарища выпили уже достаточно много шампанского, а поэтому давали противоречивые ответы, их уже ничто не удивляло, даже та настойчивость, с какой Йоахим интересовался Берtrandом, он же, собрав всю свою хитрость, снова и снова громко и внятно повторял это имя, но обе девушки и глазом не повели, и в нем зародилось подозрение, что Берtrand, вероятно, опустился так низко, что ошивается здесь под чужим именем; и он обратился непосредственно к Руцене, не знает ли она фон Берtrанда. Он интересовался до тех пор, пока старик, сохранивший остроту слуха и деловитость, невзирая на все выпитое шампанское, не спросил, чего, собственно говоря, Йоахим от этого Берtrанда хочет: "Ты же ищешь его так, словно он явно спрятался где-то здесь". Йоахим, краснея, отрицательно замахал головой, но старика потянуло на разговоры: да, он хорошо знал его отца,

старого полковника фон Бертранда, тот уже приказал долго жить, и вполне возможно, что в гроб его клал этот самый Эдуард. Говорили, что старый фон Берtrand принял очень близко к сердцу уход со службы этого сорванца, никто не знал причину такого поступка, и не прячется ли за всем этим что-нибудь нечистоплотное. Йоахим запротестовал: "Я прошу прощения, но это — распускание беспочвенных слухов, по крайней мере, смешно называть Бертранда сорванцом". "Спокойно, без паники!" — выдавил старик и снова обратился к руке Руцены, запечатлев на ней длинный поцелуй; Руцена, сохранив невозмутимый вид, смотрела на Йоахима, чьи мягкие светлые волосы напоминали ей детей из ее родной школы: "Не за вами хотеть ухаживать, — отрывисто протараторила она старику, — чудные волосы имеет сын", затем схватила за голову свою подругу, подержала ее рядом с головой Йоахима и осталась довольна, что цвет волос совпадает: "Пусть будет прекрасная пара", — заявила она обеим головам и запустила руки им в волосы. Девушка пронзительно завизжала, поскольку Руцена растрепала ей прическу, Йоахим ощутил мягкую руку на своем затылке, возникло чувство легкого головокружения, он запрокинул голову, словно хотел зажать руку между головой и спиной, заставить ее остановиться, но рука абсолютно самостоятельно опустилась вниз, к спине, быстро и осторожно погладила ее. "Полегче!" — услышал он снова сухой голос отца. А затем заметил, что тот достал бумажник, извлек оттуда две большие купюры и намеревается всучить их обеим девушкам. Да, именно так старик, будучи в хорошем настроении, бросал одномарковые монеты жницам, и хотя Йоахим попытался вмешаться, ему не удалось воспрепятствовать тому, чтобы Руцена получила свои пятьдесят марок и даже с веселостью их спрятала. "Спасибо, папочка, — сказала она, но тут же исправилась, подмигнув Йоахиму, — тестюшка". Йоахим побледнел от ярости: это что же, отец покупает ему девочку за пятьдесят марок? Старик, обладая прекрасным слухом, заметил этот промах Руцены и подчеркнул: "Ну что ж, мне кажется, мой мальчик тебе по вкусу... а

за моим благословением дело не станет..." "Ах ты, собака",— подумал Йоахим. Но старик продолжал держать инициативу в своих руках: "Руцена, милое мое дитя, завтра я явлюсь к тебе в роли свата, как полагается, и дело в шляпе; что мне принести в качестве утреннего дара... правда, ты должна мне сказать, где расположен твой замок". Йоахим отвернулся, словно человек, который во время казни не хочет видеть, как опускается топор, но тут Руцена внезапно напряглась, ее глаза потеряли свой блеск, губы стали беспомощны, она оттолкнула руку, которая то ли в стремлении помочь, то ли приласкать устремилась к ней, и убежала прочь, чтобы поплакаться уборщице.

"А, все равно,— произнес господин фон Пазенов,— к тому же уже достаточно поздно. Я думаю, пора уходить, господа". В дрожках отец с сыном сидели рядом: выпрямленные спины, трости поставлены между колен, отчужденно. Наконец старик промолвил: "А пятьдесят марок она все-таки взяла. И затем с легкостью убежала". "Бесстыжий",— подумал Йоахим.

К вопросу о форме Берtrand мог бы сказать лишь следующее: когда-то только церковь возвышалась судьей над человеком, и каждый знал, что он грешник. Теперь же грешник вершит суд над грешником, и этим не исчерпываются все ценности анархии, а вместо того, чтобы заплакать, брат должен сказать брату: "Ты поступил несправедливо". И если когда-то это были просто одежды духовных лиц, которые выделялись среди других, словно что-то сверхчеловеческое, и мерцали в форме и еще в облачении на фоне мирской жизни, то вследствие потери великой нетерпимости веры небесное облачение было заменено земным и обществу пришлось расслоиться соответственно земным иерархиям и формам и возвести их вместо веры в абсолют. А поскольку это всегда романтично, когда земное возводится в абсолют, то строгой романтикой собственно этого века является романтика формы, подобно тому, как вне этого мира и времени существует идея формы, идея, которой нет, но которая в то же время так могущественна, что овладевает

людьми намного сильнее, чем любая из земных профессий, идея, не существующая и, тем не менее, столь сильная, что делает человека в форме скорее одержимым формой, но никогда — служакой в гражданском смысле, может, как раз потому, что человек, который носит форму, питается сознанием того, что обеспечивает собственно уклад жизни своего времени, а значит, и надежность своей собственной жизни.

Бертранду хотелось бы так сказать: но если это вне всякого сомнения осознается не каждым человеком, носящим форму, то несомненно все же и то, что каждый, кто много лет носит форму, находит в ней лучший порядок вещей, чем человек, который просто меняет гражданскую одежду для сна на такую же гражданскую одежду для работы. Конечно, ему самому не приходится задумываться об этих вещах, ибо подходящая форма обеспечивает своему владельцу четкое отделение его личности от внешнего мира; она подобна прочному футляру, где резко и четко граничат друг с другом и различаются мир и личность; ведь истинная задача формы в том и состоит, чтобы показывать и определять порядок в мире, устранять все расплывчатое и преходящее в жизни точно так же, как она прячет все дряблое и бесформенное на человеческом теле, обязана покрывать его белье, его тело, как часовой на посту обязан одевать белые перчатки. Так человеку, который застегивает по утрам свою форму до последней пуговицы, действительно дана вторая, более толстая кожа, и возникает чувство, словно он вернулся в собственную, более прочную жизнь. Замкнутый в своем более прочном футляре ремнями и застежками, он начинает забывать об исподних одеждах, и ненадежность жизни да и жизнь сама уходят куда-то вдаль. И если он натягивает нижний край форменного кителя, чтобы он не собирался в складки на груди и на спине, то тогда даже ребенок, который все-таки любит этого человека, женщина, целуя которую он произвел этого ребенка, отодвигаются так сильно в гражданскую даль, что он едва ли узнает ее уста, подставленные для прощального поцелуя, и его дом становится ему чужим, местом, которое в форме позволи-

тельно только посещать. И когда он затем идет в своей форме в казарму или на службу, не замечая при этом людей, одетых по-иному, то это вовсе не гордыня; до его сознания просто не доходит, что под теми другими, варварскими одеждami скрывается что-то такое, что могло бы иметь что-нибудь хоть чуть-чуть общее с подлинным человечеством, как он себе его представляет. Именно поэтому человек в форме не слеп и даже не ослеплен своими предубеждениями, как это часто принято считать; он все еще человек, как ты или я, думает о еде и о женщине, читает свою газету за завтраком; но он больше уже не связан с этими вещами, и поскольку они его уже почти что не касаются, то теперь он может делить их на хорошие и плохие, ибо на нетерпимости и непонимании покоится надежность жизни.

Всегда, когда Йоахиму фон Пазенову приходилось надевать гражданский костюм, он вспоминал Эдуарда фон Бертранда и радовался, что эта одежда не сидит на нем с таким само собой разумеющимся изяществом, как на этом человеке; собственно говоря, его всегда разбирало любопытство: что же думает Берtrand о форме. Ведь у Эдуарда фон Бертранда было более чем достаточно причин поразмышлять над этой проблемой, ведь он раз и навсегда снял форму, сделав выбор в пользу гражданской одежды. Это было достаточно странно. Он закончил кадетскую школу в Кульме на два года раньше Пазенова, там он ничем не отличался от других: носил летом широкие белые штаны, как другие, сидел с другими за одним столом, сдавал экзамены, как другие, и тем не менее, когда он стал секунд-лейтенантом, произошло необъяснимое — без видимой причины он уволился со службы и исчез в чуждой жизни, исчез во мраке большого города, как говорят, в сумерках, из которых он иногда просто выныривает и исчезает снова. Встречая его на улице, всегда испытываешь определенную неуверенность: позволительно ли с ним здороваться, потому что ощущая, что перед тобой стоит предатель, который утащил на другой берег жизни что-то такое, что было собственностью всех их, и бросил там, оказываешься

в положении, словно тебя в каком-то бесстыдстве и наготе выставили на всеобщее обозрение, в то время как сам Берtrand ничего не рассказывал о своих мотивах и о своей жизни, а сохранял, как всегда, дружескую скрытность. Может, причиной этого беспокойного ощущения была гражданская одежда Бертранда, из выреза жилета которой выглядывала белая мощная грудь, так что за него, собственно говоря, приходилось даже краснеть. Это при том, что сам Берtrand как-то в Кульме заявил, что настоящий солдат не может позволить, чтобы из рукавов его кителя выглядывали манжеты рубашки, поскольку все эти рождения, сны, любовь, смерти, короче говоря — все эти гражданские штучки связаны с бельем; если же такие парадоксальные вещи были постоянной составной частью привычек Бертранда и не меньше чем легкое движение руки, которым он имел обыкновение небрежно и свысока отказываться впоследствии от уже сказанного, то, скорее всего, он уже тогда задумывался над проблемой формы. Впрочем, с бельем и манжетами он, может быть, и был частично прав, если вспомнить — Берtrand всегда наводит на столь неприятные мысли, что все мужчины, гражданские, в том числе и отец, носят рубашки заправленными в брюки. Поэтому Йоахим тоже не любил встречать в казарме лиц с расстегнутыми кителями; было что-то неприличное в том, что хотя и не совсем откровенно, но тем не менее вполне понятно привело к появлению предписания, предусматривающего для посещений определенных заведений и также для других эротических ситуаций гражданскую форму одежды, да более того — откровенным нарушением устава казался даже тот факт, что существуют женатые офицеры и унтер-офицеры. И когда утром на службу приходит женатый вахмистр и расстегивает две пуговицы кителя, чтобы из щели, из которой выглядывает клетчатая рубашка, достать большую кожаную книжцу красного цвета, то Йоахим, как правило, сам невольно хватается за пуговицы своего кителя и чувствует себя уверенным, только убедившись, что все они застегнуты. Он был близок к желанию, чтобы форма стала прямым продолжением

кожи, а иногда он также думал, что в этом, собственно говоря, и состоит задача формы, или что, по крайней мере, нижнее белье проставлением на нем эмблем и знаков различия следует сделать частью формы, ибо тревогу вызывало то, что под кителем каждый носил что-то анархическое, что было общим для всех. Мир, возможно, рухнул бы, если бы в последнее мгновение для гражданских лиц не было изобретено крахмальное белье, превращающее рубашку в белую доску и делающее ее непохожей на нижнее белье. Йоахиму припоминалось удивление своего детства, когда он обнаружил на портрете дедушки, что тот носил не крахмальную рубашку, а кружевное жабо. Впрочем, в те времена людям была свойственна более глубокая внутренняя вера в Христа, и им не нужно было искать защиту от анархии где-нибудь в другом месте. Все эти раздумья были, скорее всего, лишены смысла, все они были лишь следствием несуразных высказываний какого-то там Бертранда; Пазенову стало почти что стыдно носиться перед вахмистром с такими мыслями, и если они напрашивались, то он гнал их прочь и одним движением приводил себя в молодцеватый служебный вид.

Но когда он гнал прочь эти мысли как лишённые смысла и принимал форму как нечто данное природой, то за этим крылось что-то большее, чем просто вопрос о том, что одевать, что-то большее чего-то, что хотя и не наполняло его жизнь содержанием, но вид ей все-таки придавало. Ему частенько казалось, что он сможет решить этот вопрос, в том числе и проблему взаимоотношений с Бертрандом, одним определением — "товарищи по солдатской службе", хотя он был совершенно далек от того, чтобы таким образом стремиться выразить свое предельное уважение к солдатской службе и предаваться особому тщеславию, он ведь заботился даже о том, чтобы его эlegantность не выходила за четко определенные уставом пределы и не отклонялась от них, и для него не было неприятным услышать, как однажды в кругу дам была высказана небеспочвенная точка зрения, что неуклюже длинный покрой формы и навязчи-

вые цвета пестрого платка не очень идут ему и что коричневатый сюртук художника со свободным галстуком ему подходили бы куда больше. То, что форма значит для него все-таки очень много, объяснялось частично постоянством, унаследованным от матери, которая предпочитала всегда придерживаться того, к чему уже однажды привыкла. Ему самому иногда казалось, что ничего другого для него существовать и не может, хотя он все еще испытывал неприязнь к матери, которая тогда безропотно следовала указаниям дяди Бернхарда. Но если такое все же случается и если кто-то со своих десяти лет привыкает к тому, что на нем форма, то он прирастает к ней, словно к Нессовой одежде, и никто, а меньше всего Йоахим фон Пазенов, не способен определить, где проходит граница между его Я и Формой. И все-таки это было больше, чем привычка. Потому что если бы даже это не было его военной профессией, которая пустила в его существо глубокие корни, то форма была бы для него символом чего угодно; и он в течение лет так лелеял ее, что, укрывшись и замкнувшись в ней, он не мог бы больше обходиться без нее, замкнувшись от мира и от отцовского дома, довольствуясь такой безопасностью и укрытостью, более почти не замечая, что форма оставляет ему всего лишь узкую полоску личной и человеческой свободы, не шире, чем узкие крахмальные манжеты, которые разрешены офицерам формой. Он не любил одевать гражданское платье, и для него было в самый раз, что форма удерживала его от посещений сомнительных заведений, где он предполагал встретить гражданского человека по имени Берtrand в окружении распутных бабенок, ибо его часто охватывал непонятный страх, что и его может постичь необъяснимая судьба Бертранда. Потому он и вменял в вину своему отцу то, что ему пришлось сопровождать старика при обязательной прогулке по ночным заведениям Берлина, которой традиционно завершалось посещение столицы империи, сопровождать к тому же в гражданской одежде.

Когда на следующий день Йоахим привез отца на железнодорожный вокзал, тот высказал мысль: "Ну, если ты теперь

станешь ротмистром, то неплохо было бы нам подумать о твоей женитьбе. Как насчет Элизабет? Есть же, в конце концов, пара сотен моргенов¹, которыми Баддензены владеют в Лестове и которые однажды унаследует эта девушка". Йоахим молчал. Вчера он едва не купил ему девочку за пятьдесят марок, а сегодня он пытается сделать то же на законных основаниях. Может, этот старик испытывает к Элизабет такое же влечение, что и к той девушке, прикосновение руки которой Йоахим снова ощутил на своей спине! Но невозможно было себе представить, что кто-то вообще может жаждать Элизабет, и еще более невозможным было представить, чтобы кто-нибудь мог позволить собственному сыну изнасиловать святую, поскольку сам был не в состоянии сделать это. Он уже почти готов был просить прощения у отца за эти ужасные мысли, но ведь от отца можно ожидать чего угодно. "Да, от этого старика необходимо беречь всех женщин мира", — размышлял Йоахим, когда они прохаживались вдоль перрона, он размышлял об этом, когда махал рукой вслед удаляющемуся поезду. Но как только поезд исчез, в памяти его опять всплыла Ручена.

По вечерам он также думал о Ручене. Есть весенние вечера, когда сумерки длятся гораздо дольше, чем им предписано природой. Затем на город опускается пропитанный дымом легкий туман, придающий ему ту слегка напряженную приглушенность конца рабочего дня, которая предшествует празднику. Возникает также впечатление, будто свет столь сильно запутался в этом приглушенном сером тумане, что, хотя он уже стал черным и бархатистым, в нем все еще виднелись светлые нити. Так длятся эти сумерки бесконечно долго, так долго, что владельцы магазинов забывают закрывать свои заведения, они стоят с покупателями у дверей до тех пор, пока мимо не проследует полицейский и с улыбкой не обратит их внимание на то, что они нарушают установленное время закрытия. Но и тогда свет во многих магазинах еще не гаснет, поскольку вся семья собира-

¹ Морген — немецкая земельная мера, равна 0,25 га.

ется за ужином позади своего заведения; они не закрывают, как обычно, ставни, а просто ставят перед входом стул, чтобы показать, что посетителей тут больше не обслуживают, а когда они поужинают, то выйдут сюда со стульями, чтобы посидеть и отдохнуть перед дверью магазина. Им можно позавидовать, этим мелким торговцам и ремесленникам, жилища которых расположены за торговым залом, можно позавидовать зимой, когда они навешивают тяжелые ставни, чтобы воссесть в имеющих двойную защиту теплых и светлых квартирах, из стеклянных дверей которых на Рождество в торговый зал выглядывает, улыбаясь, украшенная елка, можно позавидовать в те мягкие весенние и осенние вечера, когда они, держа кошку на коленях или поглаживая рукой лохматую спину собаки, сидят перед своими дверями, словно на террасе собственного сада.

Йоахим, уходя из казармы, следует пешком по Форштадтштрассе. Поступать таким образом не соответствует его положению — обычно полковой экипаж всегда развозит офицеров по их квартирам. Здесь никто не гуляет, даже Берtrand не делал этого, и то, что он сам идет вот здесь пешком, так же непонятно Йоахиму, как если бы он где-нибудь поскользнулся. Не будет ли это почти что унижением перед Руценой? Или, может быть, это унизит саму Руцену? По его представлению она может обитать где-то в пригороде, возможно, даже в том подвальном помещении, перед мрачным входом в которое лежат на продажу зелень и овощи, тогда как мать Руцены, вероятно, сидит перед всем этим и вяжет, разговаривая на неизвестном, чужом языке. Он чувствует задымленный запах керосиновых ламп. На вогнутом потолке подвала мерцает огонек. Это лампа, прикрепленная к грязной каменной стене. Он почти готов был сам сидеть там, перед подвалом, вместе с Руценой, ощущая ее поглаживающую руку на своей спине. Но, осознав эту картину, он все-таки испугался, и чтобы отогнать ее от себя, попытался думать о том, как на Лестов опускаются такие же светло-серые вечерние сумерки. И в наполненном приглушающем все звуки туманом парке, уже пахнущем влажной травой, он видит Элиза-

бет; она медленно бредет к дому, из окон которого сквозь сгущающиеся сумерки мерцают мягкие огоньки керосиновых ламп, рядом с ней бежит ее маленькая собачка, создается впечатление, что и она до невозможного устала. Но погружаясь все глубже и сильнее в эту картину, он уже видит себя и Руцелу сидящими на террасе перед домом, а Руцелу поглаживает рукой его спину.

Само собой разумеется, что при такой прекрасной весенней погоде бывает хорошее настроение и отлично идут дела. Так считал и Берtrand, уже несколько дней находившийся в Берлине. Он, если смотреть в корень, конечно знал, что его хорошее расположение духа есть просто следствие того успеха, который сопутствовал ему в течение последних лет во всех его начинаниях, и что, с другой стороны, это хорошее расположение духа необходимо ему для того, чтобы добиваться успеха. Это было какое-то приятное скольжение, почти что так, словно не он прикладывает усилия, а все само плыло ему в руки. Может быть, это стало одной из причин, по которым он оставил полк: вокруг было так много всего, что просилось в руки, но тогда было недоступным. Что говорили ему когда-то фирменные вывески банков, адвокатских контор, экспедиторов? Это были мертвые слова, которых не замечаешь или которые просто мешают. Сейчас ему было известно о банках многое, он знал, что происходит за окошечками, да, он понимал не только надписи на окошечках — "Дисконт", "Валюта", "Жирооборот", "Обмен", — но и знал, что происходит в кабинетах дирекции, как оценить банк по его вкладам и резервам, короткая информация на листике бумаги давала ему реальное заключение. Ему были понятны такие выражения, как транзит и приписной таможенный склад в экспедиторских конторах, и все это вошло в него абсолютно естественно, было для него таким же само собой разумеющимся, как та латунная табличка на улице Штайнвег в Гамбурге, на которой стояло "Эдуард фон Берtrand, импорт хлопка". А поскольку теперь такую же табличку можно было увидеть

на улице Роландштрассе в Бремене, а также на хлопковой бирже в Ливерпуле, то это наполняло его откровенной гордостью.

Когда он встретил на Унтер ден Линден¹ Пазенова, на котором был длинный угловатый форменный китель с эполетами, неуклюже обтягивающий плечи, в то время как его фигуру удобно облегалo английское сукно, у него было особенно хорошее настроение, и он приветствовал его так же дружески и непринужденно, как всегда, когда встречал кого-нибудь из старых товарищей, он безо всяких церемоний даже спросил, пообедал ли уже Пазенов и не желает ли он с ним откусать у "Дресселя".

Из-за внезапной встречи и напористой сердечности Пазенов даже позабыл, как много в последние дни он думал о Бертранде; ему снова стало стыдно, что он, одетый в свою красивую форму, говорит с кем-то, кто стоит перед ним, так сказать, нагишом, в гражданском одеянии, и лучше всего было бы, конечно, отказаться от предложения вместе откусать. Но он нашел себе очень простое оправдание, констатировав, что очень уж давно не видел Бертранда. "Ну что ж, при той однообразной и оседлой жизни, которую ведет Пазенов, это и неудивительно", — подумал Берtrand. Ему, напротив, в его беспокойстве и загнанности казалось, будто это было вчера, когда они вместе носили свои первые темляки² и первый раз поужинали у "Дресселя" — между тем они уже зашли туда, — но при всем при этом все-таки становишься старше. Пазенов думал: "Он слишком много говорит". Но поскольку ему было приятно, что Берtrandу свойственно это отвратительное качество, или он чувствовал, что предыдущее молчание бывшего друга всегда задевало его, он, невзирая на все свое отрицательное отношение к бестактности, спросил, где Берtrand вообще был все это время; тот сделал легкое пренебрежительное движение рукой, словно отменяя в сторону что-то второстепенное: "Ну, в некоторых местах, в последнее время — в Америке". Да, Америка,

¹ Унтер ден Линден — центральная улица Берлина, деловой центр города.

² Темляк — петля с кистью на эфесе холодного оружия.

Америка всегда была для Йоахима страной неудачливых, изгнанных и опустившихся сыновей, и старый фон Берtrand вполне мог умереть от горя! Но это опять же плохо вязалось с тем воспитанным человеком, который свободно и более чем удобно расположился напротив. Впрочем, Пазенову уже приходилось слышать о таких неудачниках, которые, будучи фермерами, сколачивали себе там состояние, а затем возвращались в Германию, чтобы найти немецкую невесту, и этот увезет сейчас, может быть, с собой Руцену; ах нет, она же не немка, а чешка или, если говорить более правильно, — богемка. И, охваченный этой мыслью, он спросил: "И вы что, вернулись обратно?" "Нет, пока что — нет, я еще должен съездить в Индию". Значит — искатель приключений! И Пазенов огляделся вокруг, смущенный тем, что трапезничает с авантюристом; однако необходимо было держаться: "То есть вы постоянно в разъездах". "Бог мой, ровно настолько, насколько требуют дела, но путешествую я охотно. Следует, как известно, всегда делать то, на что подбивает черт". Это наконец объяснило все, теперь он знал: Берtrand уволился со службы, чтобы заниматься коммерцией, из-за жажды наживы, из корыстолюбия. Но Берtrand, толстокожий, как и все эти охотники за наживой, не почувствовал презрения, а непринужденно продолжал: "Видите ли, Пазенов, для меня как всегда непостижимо, как вы вообще выдерживаете. Почему вы не запишетесь по меньшей мере на колониальную службу, раз уж империя устроила вам такое развлечение?" Пазенов и его товарищи никогда не ломали голову над колониальной проблемой — это была вотчина военно-морского флота; и все-таки он был возмущен: "Развлечение?" У рта Бертранда образовалась хорошо знакомая ироническая складка: "Ну конечно, а разве за всем этим кроется что-либо другое? Немного личных военных развлечений и славы для непосредственных участников. Естественно, лавры достанутся дяде Петеру, и если бы все случилось раньше, я действительно поучаствовал бы в этом, ведь и вправду, что может еще крыться за всем этим, если не романтика? Именно романтика, за исключением, конечно"

но, католической и евангелической миссионерской деятельности, которая подразумевает трезвую и целесообразную работу. Но все остальное — развлечение, ничего, кроме развлечения". Он говорил это настолько пренебрежительно, что Пазенов действительно рассердился, но голос его звучал скорее обиженно: "Почему мы, немцы, должны отставать от других народов?" "Я хочу вам кое-что сказать, Пазенов, во-первых, Англия есть Англия, во-вторых, для Англии тоже еще не все потеряно, в-третьих, я по-прежнему охотнее вкладываю свободный капитал в английские колониальные бумаги, чем в немецкие, так что можно даже говорить об определенной экономической колониальной романтике, и, в-четвертых, я уже это говорил, только церковь имеет в колониальной экспансии действительно трезвый интерес". В душе Йоахима фон Пазенова росло обиженное удивление, а также недоверие, этот Берtrand хочет ослепить его мутными и щегольскими речами, совратить и увести куда-то. Неким образом это находилось во взаимосвязи с более чем невоенными, почти что завитыми волосами Бертранда. Каким-то образом это было даже артистично. Йоахиму пришло на ум слово огонь и потом — геенна огненная; почему Берtrand все время говорит о вере и о церкви? Но прежде, чем он смог разобраться с ответом, Берtrand, вероятно, заметил его удивление: "Да посмотрите же вы, ведь Европа уже стала для церкви достаточно сомнительным местом. Но Африка! Сотни миллионов душ в качестве сырого материала для веры. И можете быть уверены, что крестившийся негр — лучший христианин, чем двадцать европейцев. И если католицизм и протестантизм стремятся обойти друг друга среди этих фанатично настроенных людей, то это более чем понятно; ведь там — грядущее веры, там — те будущие рыцари веры, которые, предавая все огню и мечу во имя Христа, двинутся однажды на погрязшую в язычестве и распутстве Европу, чтобы посадить в конце концов на папский престол среди дымящихся руин Рима чернокожего Папу". "Это же Апокалипсис святого Иоанна Богослова", — подумал Пазенов; он богохульствует. А что хочет он от тех душ

негров? Работоторговцев ведь больше не существует, хотя от того, кто охвачен жадной наживы, можно ожидать и этого. Он же только что говорил о своем черте. Но, может быть, он просто шутит; еще в кадетской школе невозможно было понять, что у Бертранда на уме. "Вы шутите! А что касается спаги¹ и тюрок, то мы им однажды уже показывали, что почем". Бертранду пришлось улыбнуться, и улыбка эта была столь дружеской и располагающей, что и Йоахим не смог не улыбнуться в ответ. Так мило они улыбались, кланялись, наблюдая друг за другом сквозь окошечки глаз их души, по крайней мере в этот момент они напоминали двух соседей, которые никогда не здоровались друг с другом, а тут случайно одновременно высунулись из своих окон, и это непредполагавшееся приветствие повергло их в радость и смущение. Спасительным выходом из их смущения было возвращение к традициям, и Берtrand, поднимая бокал, произнес: "Будем, Пазенов". Пазенов ответил: "Будем, Берtrand". После этого им еще раз пришлось улыбнуться друг другу.

Когда они вышли на Унтер ден Линден и стояли под жарким послеполуденным солнцем перед привядшими неподвижными деревьями, Пазенов вспомнил о том, что он боялся сказать во время трапезы: "Я, собственно говоря, никак не могу уяснить, что вы имеете против религиозности нас, европейцев. Мне кажется, что у вас, жителя большого города, есть, наверное, представление обо всем этом. Если вырастаешь, как я, в деревне, то относишься к этим вещам все же по-иному. И наши люди, живущие вне больших городов, привязаны к христианским ценностям намного сильнее, чем вы". Он ощущал себя в определенной степени смелым человеком, поскольку сказал все это Бертранду прямо в лицо, эдаким полководцем, пожелавшим сделать стратегические замечания офицеру генерального штаба, и он чуть-чуть побаивался, что Берtrand может

¹ Спаги — кавалерист-туземец во французских войсках в Северной и Западной Африке.

рассердиться. Но тот просто весело заявил: "Ну что ж, тогда все еще вполне может быть в абсолютном порядке". Затем они обменялись адресами и пообещали, что не будут более терять друг друга из виду.

Пазенов взял извозчика, чтобы отправиться в Вестэнд на скачки. Рейнское вино, послеполуденная жара и, конечно же, необычность этой встречи оставили в его голове под черепной коробкой — он охотно бы снял жесткую фуражку — какое-то смутное и шероховатое чувство, во многом схожее с слегка липкой кожей сидения, которую он ощущал сквозь белую перчатку. Он пожалел о том, что не пригласил Бертранда поехать с ним, и был рад, что, по крайней мере, отец сейчас не в Берлине, иначе он непременно сидел бы здесь, рядом с ним. С другой стороны, он был откровенно доволен тем, что Берtrand в своем гражданском платье не сопровождает его. Но, может быть, Берtrand хочет сделать ему сюрприз, прихватить Руцену, и они все вместе будут сидеть на открытой трибуне ипподрома. Слово семья. Но это же все ерунда. Берtrand никогда не покажется с такой девушкой на ипподроме.

Когда спустя несколько дней его товарищ Ляйндорфф принимал своего отца, то это было словно повеление небес посетить охотничье казино, опережая старого Ляйндорффа, которого он уже видел поднимающимся по узкой лестнице прямолинейным деловым шагом. Он уехал домой на полковом экипаже и переделся в гражданский сюртук. Затем он вышел из дому. На углу, встретив двух солдат, он уже намеревался небрежно приложить руку к козырьку, отвечая на их приветствие, когда вдруг заметил, что они его и вовсе не поприветствовали и что на нем вместо форменной фуражки — цилиндр; в этом было что-то нелепое, и он даже улыбнулся, поскольку выглядело абсурдным, что старый полупарализованный граф Ляйндорфф, который ни о чем другом, кроме консультаций врача, уже не думал, должен отправиться сегодня в охотничье казино. Разумнее всего было бы просто повернуть обратно, но поскольку он

мог сделать это в любой момент, его наполняло этакое ощущение маленькой свободы, и он продолжил свой путь. Впрочем, гораздо охотнее он сделал бы вылазку в пригород, чтобы снова увидеть овощной подвальчик с коптящей керосиновой лампой, прикрепленной к стене; но он ведь не мог себе позволить прогуливаться там, в северном предместье в гражданском сюртуке и цилиндре. Там, в пригороде, вечерние сумерки были сегодня наверняка такими же обворожительными, как и тогда, а здесь, в самом центре города, все казалось враждебным природе из-за жужжащего света; из-за множества витрин и суматошной уличной жизни само небо и его пелена казались настолько городскими и такими чужими, что когда он нашел маленький магазинчик, в узких окошечках которого были выставлены кружева, рюши, начатые рукоделия с голубой грунтовой печатью, и когда увидел стеклянную дверь, которая в глубине магазинчика, очевидно, закрывала вход в жилые комнаты, то это показалось ему блаженной и успокоительной, но в то же время и тревожной дорогой домой. За прилавком сидела седая женщина, почти что дама, рядом с ней — молоденькая девушка, чье лицо он не мог видеть, обе были заняты рукоделием. Он осмотрел товар на витрине и задумался, нельзя ли доставить Руцене таким кружевным платочком сердечную радость. Но одна только мысль уже показалась ему абсурдной, и он пошел дальше; правда, на следующем перекрестке он повернул назад к магазинчику, охваченный желанием увидеть повернутое в другую сторону лицо девушки; он приобрел три милых платочка, не то чтобы они предназначались Руцене, а так, на всякий случай, и ему было приятно, что своей покупкой он доставил радость и пожилой даме. Но девушка сохранила безразличное выражение лица, в ее взгляде было даже что-то почти злое. Затем он отправился домой.

Зимой, во время придворных празднеств — несбывшейся надежды баронессы, — а также весной, во время скачек и закупок на лето, семейство Баддензенов проживало в элегантном доме в Вестэнде, и в одно из воскресений в первой половине

дня Йоахим фон Пазенов нанес дамам визит. Он редко бывал в этом отдаленном, застроенном особняками аристократическом районе, который переживал бурный рост по образцу английских загородных резиденций, хотя проживать здесь могли лишь зажиточные семьи, имевшие в собственности постоянные экипажи, в противном случае довольно ощутимой оказывалась удаленность от города. Но для тех избранных, которые могли позволить себе не ощущать такого рода пространственное неудобство, проживание здесь было маленьким деревенским раем, и Пазенов, шествуя ухоженными улицами между особняками, был приятно и до глубины сердца поражен великолепием этого района. В последние дни в некоторых вещах возникла определенная неуверенность, и это было каким-то необъяснимым образом связано с Берtrandом: словно сломалась некая опора в жизни, и если она все еще остается на своем старом месте, ибо куски пока поддерживают друг друга, то одновременно со смутным желанием — пусть лопнет свод этого равновесия и погребет под собой падающих и поскользнувшихся — пробивается наружу страх, что так оно и будет, и все сильнее становится тоска по прочности, уверенности и покою. А этот зажиточный аристократический район со своими замкоподобными строениями в превосходном ренессансе, барокко или швейцарском стиле, окруженными ухоженными садами, в которых было слышно, как садовники обрабатывают граблями землю, как струится вода из поливочного шланга и как журчат фонтаны, излучал сильную и резко выделяющуюся уверенность, так что в пророчество Берtrанда, что и для Англии далеко не все еще потеряно, и вправду едва ли можно было поверить. Из открытых окон неслись этюды Стефана Хеллера и Клементи: не знающие забот дочери из этих семей предавались своим наукам; хорошая судьба — уверенность и кротость, преисполненные дружбы до тех пор, пока любовь не сменит дружбу, а затем снова не затихнет в дружбе. Где-то вдалеке, но в пределах этого района, прокукарекал петух, словно и он хотел засвидетельствовать деревенский характер данной ухоженной жизни: да если бы Берtrand вырос на своем клочке земли, то не разво-

дил бы разговоры о неуверенности, а оставь его самого на ней, то он стал бы не слишком восприимчивым к этой неуверенности. Было бы прекрасно пройтись с Элизабет по полям, растереть между пальцев наливающееся зрелостью зерно, а вечером, когда ветер доносит тяжелый запах от коровников, пересячь вычищенный двор, чтобы понаблюдать за доением коров. Затем Элизабет стояла бы там, между крупными деревенскими животными, слишком легкая для весомости этого мира, и то, что для матери было просто естественным и родным, для нее казалось трогательным и родным одновременно. Но все это было для него уже чересчур далеким, для него, кого сделали чужаком, он такой же — только теперь пришло это в голову — безродный, как и Берtrand.

Наконец он попал в объятия защищенного от посторонних взглядов сада, ограда которого была обвита зеленью. Защищенность этой природы усиливалась еще и тем, что баронесса распорядилась вынести из салона в сад одно из плюшевых кресел: оно стояло там, на садовом гравии, словно что-то экзотическое и нуждающееся в тепле, со своими точеными, закругленно выгнутыми внизу ножками и прославляло приветливость климата и цивилизованной природы, которая обеспечивает ему такую жизнь; правда, цвет его был подобен цвету увядающей темно-красной розы. Элизабет с Йоахимом сидели на металлических садовых стульях, жестяное сидение которых было похоже на брюссельские кружева со звездочками.

После того как в достаточной степени были обсуждены преимущества этого района, которые казались особенно уместными тем, кто привык к деревенской жизни и любит ее, Йоахима начали расспрашивать о его жизни в столице, а он не смог скрыть своей тоски по жизни в деревне и даже попытался объяснить все это. У дам он нашел полное понимание; особенно баронесса снова и снова заверяла его в том, что она, и он может не удивляться, целыми днями, а то и неделями не выезжает в центр города — так сильно боится, да-да, боится людского водоворота, шума и интенсивного движения. Ну, высказал свою мысль Пазенов, здесь-то у нее надежное пристанище, и разго-

вор на какое-то время снова вернулся в русло этого привилегированного района, пока баронесса, словно она хотела приготовить приятный сюрприз, не сообщила ему, почти что по секрету, что домик, к которому они так привыкли, им предложили купить. И, испытывая радость от предстоящего приобретения, она настоятельно предложила ему все-таки осмотреть домик. "Совершить эдакий *le tour du propriétaire*¹",— добавила баронесса с легким смущением и иронией.

Обычно на первом этаже располагались гостиные и общие комнаты, на верхнем — спальни семьи. Да, к столовой, которая со своей резной мебелью в старонемецком стиле производила впечатление мрачного уюта, они бы пристроили зимний сад с фонтаном, а также переоборудовали бы салон. Затем они поднялись по лестнице, завешенной сверху и снизу красиво подобранными бархатными портьерами, и баронесса не преминула открыть все двери, за исключением, может быть, самых укромных мест. После некоторых сомнений и с легким румянцем мужскому глазу продемонстрировали комнату Элизабет, но еще большие, чем при созерцании этого облака белых кружев, которыми были завешаны кровать, окна, туалетный столик и зеркало, смущение и неудобство пришлось испытать Йоахиму при виде супружеской спальни хозяев, он даже начал подозревать баронессу в том, что таким образом она, даже против его воли, хочет сделать из него доверенное лицо дома, посвященное во все интимные подробности. Поскольку теперь перед его глазами стояла, а здесь — перед глазами у всех, и это было известно Элизабет, которая вследствие этой осведомленности становилась виноватой и оскверненной, кровать к кровати, готовая к сексуальной функции баронессы, которую он не мог себе представить не то что обнаженной, но даже несолидно и непристойно одетой,— эта спальня, то комната внезапно начала казаться ему центральным местом в доме, словно спрятанный и все-таки всеми видимый алтарь, вокруг которого строилось все остальное. И так же внезапно ему вдруг стало ясно, что в каж-

¹ Осмотр домовладельцем (фр.).

дом из домов этого длинного ряда особняков, мимо которых он прошагал, точно такая же спальня является центральным местом и что сонаты и этюды, вылетающие из открытых окон, за которыми ветер мягко шевелит белыми кружевными занавесками, должны просто скрыть реальный ход событий. А по вечерам кровати для господ везде застилаются простынями, которые так лицемерно гладко сложены в бельевом шкафу, и как прислуга, так и дети знают, для чего это делается; везде слуги и дети спят целомудренно и поодиночке вокруг совокупленного центрального места дома, они — целомудренны и благочестивы, но пребывают на службе и во власти развратных и бесстыдных. Как могла баронесса решиться на то, чтобы, хваля преимущества района, упомянуть также близость церкви: не следует ли ей, как последней грешнице, заходить в церковь, так сказать, босой? Может, Берtrand имел в виду именно это, когда говорил о нехристианстве, и целью его было объяснить Иоахиму, что черные рыцари Господни пойдут с огнем и мечом на это отродье, чтобы восстановить истинное целомудрие и христианство. Он посмотрел на Элизабет и ощутил уверенность в том, что она солидарна с его возмущением, это читалось в ее глазах. И то, что она могла быть предназначена для такого же осквернения, даже то, что он сам должен был быть тем, на кого возлагалось совершение этого осквернения, наполнило его таким трепетом, что он готов был ее похитить или просто охранять, сидя перед дверью, чтобы ей спокойно и целомудренно могли всегда сниться белые кружева.

Сопровождаемый любезными дамами, на первом этаже он отклонялся и пообещал вскоре навестить их снова. На улице он осознал пустоту этого визита; он подумал о том, как поражены были бы дамы речами Берtrанда, он даже пожелал того, чтобы как-нибудь они его все-таки послушали.

Если человек как вследствие кастовой ограниченности собственной жизни, так и вследствие определенной инертности собственных чувств приобретает привычку не замечать соседа, то ему самому бросается в глаза и кажется странным, если его

внимание прочно привлекают к себе двое молодых незнакомых ему людей, беседующих неподалеку. Такое случилось с Йоахимом в один из вечеров в фойе оперного театра. Оба господина были, очевидно, иностранцами и возрастом ненамного старше двадцати; скорее всего, это были итальянцы, не только потому, что покрой их костюмов казался несколько необычным, но и потому, что один из них, с черными глазами и черноволосый, носил итальянскую бородку клинышком. И хотя Йоахиму претило подслушивать разговоры других, он все-таки понял, что они говорят на иностранном наречии, а поскольку это был не итальянский язык, то он ощутил необходимость прислушаться повнимательнее, пока с легким испугом не сообразил, что оба молодых человека разговаривают по-чешски или, если быть более правильным, по-богемски. Для этого испуга не было никаких оснований, еще менее обоснованным показалось ему чувство неверности перед Элизабет, возникшее в этой ситуации. Конечно, это было возможным, хотя и невероятным, чтобы Руцена находилась здесь, в театре, и чтобы эти двое молодых людей нанесли ей визит в ее ложу точно так, как он сам иногда посещал Элизабет в ее ложе, и, возможно, этот молодой человек с черной бородкой и с черной курчавой шевелюрой и вправду был чем-то похож на Руцену не только цветом волос: может быть, причиной схожести были маленький рот, губы которого слишком отчетливо выступали на фоне желтоватой кожи, этот слишком короткий и излишне грациозной формы нос и улыбка, которая была в чем-то вызывающей — да, вызывающая будет верное слово — и все-таки просила прощения. Тем не менее все это казалось вздором, могло быть и такое, что всю эту схожесть он себе просто вообразил; когда он сейчас думал о Руцене, то приходилось самому себе признаться, что образ ее целиком и полностью развеялся, что он наверняка не узнал бы ее на улице и что он просто пытается увидеть ее через маску и внешнее впечатление, которое на него произвел тот молодой человек. Это успокоило его и как-то разрядило ситуацию, однако не принесло радости, поскольку в то же время, оценив по-

ложение с другого конца, он ощущал что-то невысказанное и страшное в том, что девушка спрятана за маской мужчины, эта мысль не оставила его и после антракта. Давали "Фауста", и сладкое звучание было не менее бессмысленным, чем оперное действо, где ни одна душа, в том числе и сам Фауст, не замечала, что за любимыми чертами Маргариты кроется лик Валентина и что Маргарита должна поплатиться именно за это, а не за что-либо другое. Может быть, это было известно Мефистофелю, и Йоахим был рад, что у Элизабет нет брата. И когда после представления он еще раз встретил брата Руцены, то в душе у него теплилась благодарность за то, что с ним налагается запрет и на сестру, он ощутил себя так уверенно, что, невзирая на свою форму, направился на Егерштрассе к охотничьему казино. Исчезло и чувство неверности.

Сворачивая на Фридрихштрассе, он, однако же, знал, что не сможет зайти в это заведение в форме. Душу заполнило разочарование, и он пошел по Егерштрассе дальше. Что делать? Он свернул за ближайший дом, вернулся обратно на Егерштрассе, поймал себя на том, что заглядывает проходящим мимо девушкам под шляпки, часто в ожидании услышать итальянскую речь. Когда он снова оказался около казино, к нему обратились, но не по-итальянски, это было певучее твердое стаккато: "Вы что же, не хотите меня больше знать?" "Руцена", — невольно выдохнул из себя Пазенов, и сразу же мелькнула мысль: вот влип. Он в форме стоял посреди улицы с девушкой такого рода, он, который еще несколько дней назад почти что стеснялся Бертранда и его гражданского костюма, и вместо того, чтобы удалиться, он позабыл все приличия, более того, он был прямо-таки счастлив, счастлив даже от того, что эта девушка явно намеревалась продолжать болтать: "А где сегодня папочка? Не придет?" Об отце ей не следовало бы ему напоминать. "Нет, сегодня ничего не выйдет, маленькая Руцена; да и... — как она его все-таки называет? — Да и отец не придет сегодня в казино..." Ну а теперь он должен спешить. Руцена посмотрела на него в полной растерянности: "Заставлять меня так долго ждать

и теперь говорить нет..." Но, и лицо ее посветлело, он должен к ней зайти. Он посмотрел в это со страхом вопрошающее лицо, словно хотел запечатлеть его в своей памяти на всю оставшуюся жизнь, пытаясь, впрочем, убедиться, не прячется ли за ним лицо южного братца с бородкой клинышком. В чем-то они были похожи, и когда он задумался над тем, не может ли девушка, черты лица которой имели элементы схожести с ее братом, ему навредить, то вдруг вспомнил собственного брата, который имел мужскую внешность благодаря короткой окладистой бороде и белокурые волосы, и это вернуло его к действительности. Конечно, здесь совершенно иное явление; Гельмут — деревенский житель, охотник, он далек от изнеженных жителей южных городов, все же воспоминания подействовали как-то успокаивающе. Его взгляд сохранял изучающее выражение, но антипатия растаяла, и он ощутил потребность сделать для нее что-то любезное, сказать что-нибудь хорошее, чтобы у нее сохранились о нем добрые воспоминания; он помедлил еще немного: нет, маленькая Руцена, он не зайдет, но... "Но что?" — прозвучал голос, в котором страх смешивался с ожиданием... Йоахим пока еще не знал, что должно последовать за этим. "Но...— потом он понял, он уже знал: — Мы могли бы встретиться на свежем воздухе, вместе позавтракать". Да, да, да, да, она знает маленький ресторанчик, завтра! Нет, завтра не получится, но в среду он свободен от службы, и они договорились встретиться в среду. Затем она приподнялась на носки, прошептала ему в самое ухо: "Будь лапочкой, хороший мой". Она убежала, исчезнув в дверях, над которыми горели газовые фонари. Перед глазами Пазенова возникла фигура отца, быстрыми и целеустремленными шагами поднимающегося по лестнице, сердце его сильно сжалось и зашлось острой болью.

Руцена была в восторге от той строгой галантности, с какой обходился с ней Йоахим в ресторане, из-за этого исчезло даже ее разочарование, что он пришел в гражданском костюме. День был дождливым и прохладным; но они не захотели отказаться

от своего плана и после ресторана поехали в Шарлоттенбург¹ и на Хафель². Еще на извозчике Руцена сняла с руки Йоахима перчатку и теперь, прогуливаясь вдоль берега реки, взяла его руку и заправила ее под изогнутый локоть своей руки. Шли они медленным шагом, местность вокруг была наполнена ожиданием тишины, хотя единственным, чего можно было ожидать, были дождь и вечер. Мягкими облаками нависало небо, сливаясь во внутреннем единстве с землей частыми полосками дождя, и их, бредущих в тишине, охватывало чувство, словно им ничего больше, кроме ожидания, не осталось, словно все живое, что было в них, ушло в пальцы рук, которые соединились и переплелись, будто дремлющие лепестки закрытого бутона. Прижавшись плечом к плечу, издалека похожие на треугольную фигуру, шли они по дорожке вдоль берега, не говоря ни слова, ибо ни одному ни другому было неизвестно, что же свело их вместе. И как-то внезапно, на ходу, Руцена наклонилась к его руке, лежавшей в ее, и, прежде чем он успел освободить руку, поцеловала ее. Он посмотрел в глаза, полные слез, на уста, готовые искривиться в плаче, и все-таки сказал: "Какая же ты упрямая, я же говорил, Руцена, я говорил, не для тебя это, и так будет всегда. А ты теперь..." Но она не подставила ему губы для ожидаемого поцелуя, а снова, почти что с жадностью, уткнулась лицом в его руку, и когда он попытался высвободить ее, вцепилась в нее зубами, но не со злостью, а осторожно и нежно, словно маленькая собачонка, которой захотелось поиграть; затем, бросив на него довольный взгляд, сказала: "Теперь будем гулять дальше. Дождь не мешает". Струйки дождя мягко стекали на поверхность реки, тихо шумели в листьях ив. У самого берега лежала полузатопленная лодка; под маленьким деревянным мостиком спокойные воды реки смешивались с бурным течением ручейка, и у Йоахима возникло ощущение, будто его тоже уносит течение, будто томившая его душу пе-

¹ Шарлоттенбург — район Берлина.

² Хафель — речка, протекающая в Берлине, приток Эльбы.

чаль была мягким, кротким течением его сердца, наполненным дыханием воды, тоскующим о том, чтобы, вдыхая, открыть любимые уста и исчезнуть в море безмерной тишины. Казалось, что лето растаяло, ибо очень мягкой была вода, струившаяся с листьев, а на травинках застывали капельки росы. Вдали мерцала бархатная пелена тумана, обернувшись назад, они обнаружили такую же пелену за спинами, создавалось впечатление, будто они, гуляя, пребывали в полной неподвижности; дождь усилился, и они бросились искать укрытия под деревьями, где земля еще была сухой, пятно неразмытой летней пыли, оно было каким-то даже жалким во всеобщей размытости вокруг; Руцена вынула из шляпки шпильки, не только потому, что эти городские условности ей мешали, а чтобы не уколоть Йоахима их острыми концами, она сняла шляпку и прислонилась к нему спиной, словно тот был спасительным деревом. Голову она запрокинула назад, и если бы он опустил лицо, то его губы коснулись бы ее чела и обрамляющих его черных кудрей. Он не замечал тонких и слегка глуповатых складок на ее челе, может быть, потому, что оно было слишком близко, а может быть, и потому, что все его внимание поглотило ощущение ее близости. Она же чувствовала обвивающие ее стан руки Йоахима, его ладони в своих, ей казалось, что ее тело опутано ветвями дерева, а его дыхание на ее челе было подобно шуму дождя в листве деревьев; их тела застыли неподвижным изваянием, а серое небо настолько слилось с поверхностью воды, что ивы на островке напротив, казалось, парили в сером озере, то ли подвешенные сверху, то ли как-то закрепленные снизу — никто этого не знал. Затем ее взгляд упал на промокшие рукава ее кофточки, и она тихо прошептала, что, должно быть, пора уже обратно. Тут в лицо им ударил дождь, но возвращаться не хотелось, ибо малейшее движение могло разрушить волшебство; ощущение того, что ему больше ничто не угрожает, вернулось лишь тогда, когда они пили кофе в маленьком трактире. По окнам застекленной веранды деревенского дома струились капли дождя, раздавалось тихое журчание в кровельном желобе. Как только

хозяйка вышла, Руцена оставила свою чашечку, забрала у него из рук его, взяла его голову и притянула к себе так близко — правда, все еще недостаточно близко для поцелуя,— что их взгляды переплелись, а напряжение стало почти что невыносимым в своей сладости. И когда они сидели в повозке извозчика под поднятой крышей с опущенной накидкой от дождя, словно в темной пещере, и вслушивались в тихую, мягкую барабанную дробь дождя о натянутую над ними кожу, не видя ничего, кроме края накидки кучера и двух серых мокрых полос мостовой в просветах справа и слева, а скоро неразличимым стало и это, их лица сблизились, слились воедино, покоясь и переливаясь, будто река, бесследно исчезая, а затем снова появляясь, чтобы опять затеряться в вечности. Это был поцелуй, длившийся час и четырнадцать минут. Затем извозчик остановился перед домом Руцены. Когда Йоахим хотел войти вместе с ней, она отрицательно покачала головой, и он повернулся, чтобы уйти, но боль этого расставания была столь велика, что, сделав всего лишь несколько шагов, он обернулся и ухватился за руку, которая, застыв в неподвижной тоске, все еще тянулась за ним, поддаваясь собственному беспокойству, теперь уже вдвоем, словно во сне, будто лунатики, они поднялись по темной лестнице, поскрипывающей под их ногами, пересекли темную прихожую и опустились в наполненной тенями дождливых сумерек комнате на шероховатый ковер, покрывавший едва различимую в темноте кровать, их губы снова слились в поцелуе, из которого их только что вырвали, их лица были влажными, и они не могли понять, дождь тому причиной или слезы. Руцена направила его руку к застегкам на спине, ее певучий голос звучал приглушенно. "Расстегни",— прошептала Руцена, снимая одновременно его галстук и жилет. И в порыве внезапной покорности, то ли перед ним, то ли в знак благодарности Богу, она упала на колени и расстегнула застегки его туфель. О, как это было страшно, и все-таки он был ей счень благодарен, ведь она так трогательно все упростила, и эта ее спасительная улыбка, с которой она расстелила кровать, в которую они рухнули. Все еще меша-

ли острые углы накрахмаленного пластрона рубашки, коловшие ее в подбородок; пытаясь протиснуться лицом между острыми краями, она потребовала снять это. И тут они растворились друг в друге, погрузились в ощущения, утонули в мягких телах, дыхании, захлебываясь в потоке чувств и восторга, возникших из беспокойства. О, беспокойство жизни, струящееся из живой плоти, облегающей кости! Мягкость кожи, обволакивающей и натянутой сверху, жуткое напоминание о скелете, грудной коробке со множеством ребер, которую ты можешь обнять и которая, дыша, прижимается к тебе сердцем, стучащим рядом с твоим. О, сладкий запах кожи, влажный аромат, мягкие желобки под каждой грудью, темнота подмышечных впадин. Но Йоахим все еще пребывал в слишком сильном смущении, оба они пребывали в слишком сильном смущении, чтобы осознать восторг; они знали только, что они вместе и в то же время не могут найти друг друга. В темноте он видел лицо Руцены, но оно словно бы ускользало, паря между темными берегами ее кудрей, и ему пришлось прибегнуть к помощи рук, чтобы убедиться, что оно здесь, он нашел чело и веки, под ними — упругое глазное яблоко, нашел блаженно выпуклое очертание щеки и линию губ, приоткрытых для поцелуя. Волна стремления схлестнулась с волной, увлекаемой потоком, его поцелуй слился с ее, и в то время, как выросшие ивы простерли ветви от берега к берегу реки, обвинили ее, словно благословенную пещеру, в умиротворенном покое которой пребывала тишина неизбывного озера, прозвучало — так тихо он это сказал, задыхаясь и больше уже не дыша, пытаясь только уловить ее дыхание, — прозвучало, словно крик, дошедший до ее сознания: "Я люблю тебя", она раскрылась подобно раковине в озере, раскрылась перед ним, и он, утопая, погрузился в нее.

Неожиданно пришло известие о смерти его брата. Тот дрался на дуэли с одним польским землевладельцем в Позене и погиб. Если бы это случилось несколькими неделями раньше, то Йоахим, может быть, не был бы так потрясен. За те двадцать

лет, что он провел вдали от дома, образ брата приобретал все более расплывчатые очертания, и когда он думал о нем, то перед глазами возникал всего лишь белокурый мальчик в подростковом костюмчике — до того, как упрятать его в кадетскую школу, их одевали всегда одинаково,— даже сейчас, должно быть, первое, о чем он подумал, был детский гробик. Но рядом с ним внезапно возникло лицо Гельмута, мужественное, с белой бородой, то же лицо, которое всплыло у него перед глазами в тот вечер на Егерштрассе, когда его охватил страх, что он больше не сможет воспринять лицо девушки таким, каким оно есть, да, более зоркие глаза охотника спасли его тогда от игры разбушевавшегося воображения, вовлечь в которую его попытался кое-кто другой, и глаза эти, одолженные ему тогда, Гельмут закрыл теперь навеки, может быть, для того, чтобы подарить ему их навсегда! Разве он требовал это от Гельмута? Он никогда не испытывал чувства вины, и все-таки случилось так, словно он был причиной этой смерти. Примечательно, что Гельмут носил такую же бородку, что и дядя Бернхард, такую же короткую окладистую бородку, не закрывавшую рот, и теперь у Йоахима возникло впечатление, что ответственным за свою кадетскую школу и военную карьеру он всегда считал Гельмута, а не дядю Бернхарда, который, собственно говоря, был виновником всего этого. Ну, конечно, ведь Гельмут оставался дома, к тому же еще и лицемерил — это вполне могло быть причиной возникшего чувства, но все это как-то странно переплелось, и еще более странным было то, что он давно уже знал, что в жизни брата нечему было завидовать. Перед его глазами снова возник детский гробик, и в груди начала расти злость на отца. Старику, значит, удалось изгнать из дома и этого сына. То было горькое чувство освобождения, состоящее в том, что он посмел сделать отца ответственным за эту смерть.

Он поехал на похороны. Прибыв в Штольпин, он обнаружил письмо Гельмута: "Я не знаю, выпутаюсь ли я из этой никому не нужной передряги. Конечно, я надеюсь на это, хотя, впрочем, мне почти что все равно. Я приветствую тот факт, что существ-

вует что-то похожее на кодекс чести, оставляющий в этой пустой жизни хоть какой-то след возвышенных идей, которым можно следовать. Надеюсь, что ты в своей жизни нашел большие ценности, чем я в своей; иногда я даже завидовал твоей военной карьере; по крайней мере — это служба чему-то большему, чем самому себе. Я не знаю, что ты обо всем этом думаешь, но пишу тебе с целью предостеречь: не бросай (в случае если меня не станет) военную службу, чтобы взять на себя имение. Да, рано или поздно это придется сделать, но пока жив отец, тебе лучше оставаться вдали от дома, разве что только мать будет сильно нуждаться в тебе. Всего самого хорошего". Следовал целый ряд распоряжений, исполнение которых должно было бы возлагаться на Йоахима, и немного неожиданно в заключение следовало пожелание того, чтобы Йоахим не был столь одиноким, как он.

Родители были как-то странно спокойны, даже мать. Отец приветствовал его пожатием руки и промолвил: "Он погиб, защищая честь, честь своего имени". Затем стал молча расхаживать по комнате своими тяжелыми прямолинейными шагами. "Он погиб, защищая честь", — снова повторил отец и вышел из комнаты.

Гроб с телом Гельмута установили в большом салоне. Уже в прихожей Йоахим ощутил тяжелый запах цветов и венков: слишком тяжелый для детского гробика. Навязчивая и пустая мысль, но Йоахим все же топтался в задрапированной тяжелой тканью двери, уставился себе под ноги, никак не решаясь поднять голову. Ему был знаком паркет в этой комнате, знал он и паркетную доску треугольной формы, упирающуюся в дверной порог, скользя по ней взглядом, как он это делал еще ребенком, пытаясь охватить искусный узор, Йоахим уткнулся в край черного ковра, постеленного под катафалком. Там лежало несколько листочков, упавших с венков. Он был бы рад снова продолжить скольжение взглядом по орнаменту паркета, но ему пришлось сделать несколько шагов и посмотреть на гроб. Это был не детский гробик, и это было хорошо; но он все еще боялся посмотреть своими зрячими глазами в мертвые глаза это-

го человека, которые, угаснув, должно быть, поглотили в себе лицо мальчика, увлекая, может быть, за собой и брата, которому глаза эти были все-таки подарены, ощущение, что он сам лежит там, было таким сильным, что когда он подошел ближе и понял, что гроб закрыт, то это было для него словно избавление, словно чье-то дружеское участие. Кто-то сказал, что лицо покойника обезображено в результате огнестрельного ранения. Едва ли он слышал сказанное, остановившись возле гроба и положив руки на его крышку. И в той беспомощности, которая охватывает человека перед телом покойника и молчанием смерти и в которой все сущее расплывается и распадается, застывает в разрушенном и развалившемся виде все то, к чему так привык, где воздух становится каким-то разреженным и уже невыносимо трудно дышать, возникло ощущение, что он уже никогда не сможет оставить это место у катафалка, и только приложив неимоверные усилия, он смог вспомнить, что это — большой салон и что гроб установлен на том месте, которое обычно занимало фортепьяно, и что за тыльной стороной ковра должен быть кусочек паркета, на который никто еще не ступал; он медленно подошел к завешенной черным стене, потрогал ее и ощутил за темным полотном рамы картин и рамку Железного Креста, и обретенный снова кусочек реальности превратил смерть каким-то странным и напряженным образом в дело обивщика мебели, присовокупив к этому почти что с веселостью тот факт, что Гельмут со своим гробом, украшенным цветами, был внесен в эту комнату как новая мебель, снова сжав непостижимое до размеров постижимого, а мощь достоверности спрессовав с такой силой, что переживания этих минут — а может быть, это были всего лишь секунды? — вылились в чувство спокойной уверенности. В сопровождении нескольких господ показался отец, и Йоахим услышал, как тот снова и снова повторял: "Он умер, защищая честь". А когда господа ушли, и Йоахим подумал, что остался один, то неожиданно снова услышал: "Он умер, защищая честь", и увидел отца, такого маленького и одинокого, стоявшего у катафалка. Йоахим ощутил себя обязанным подойти к нему. "Пойдем, отец", — промолвил он и

вывел его из комнаты. В дверях отец пристально посмотрел на Йоахима и снова повторил: "Он умер, защищая честь". Отец словно хотел выучить эту фразу наизусть, ожидая того же от Йоахима.

Собралось много людей. Во дворе выстроились местные пожарники. Прибыли также члены союзов бывших фронтовиков со всей округи, они образовали целую роту из цилиндров и черных скюртуков, на многих из них был Железный Крест. Подъезжали кареты соседей, и пока кучерам показывали в тени соответствующие места для экипажей, Йоахим был занят тем, что приветствовал господ и подводил их к гробу Гельмута, чтобы те могли отдать последние почести. Барон фон Баддензен прибыл один, поскольку его дамы все еще находились в Берлине, и, приветствуя его, Йоахиму не удалось подавить в себе с гневом отбрасываемую мысль о том, что этот господин вполне может смотреть теперь на единственного наследника Штольпина как на желаемого зятя, и ему стало стыдно за Элизабет. С фронтона неподвижно свисало полотнище черного знамени, достававшее почти до террасы.

Мать, придерживая под руку отца, спустилась по лестнице. Удивительной была ее стойкость, которая просто поражала. Впрочем, это вполне могла быть всего лишь свойственная ей инертность чувств. Сформировалась траурная процессия, и когда экипажи свернули на деревенскую дорогу, а впереди замаячили очертания церкви, то все были откровенно рады тому, что смогут укрыться в прохладе белых церковных стен от жаркого полуденного солнца, резкие и пыльные лучи которого немилосердно впились в тяжелое сукно траурных одежд. Пастор выступил с речью, в которой много говорилось о чести, все сказанное было искусно сосредоточено вокруг чести в высшем ее понимании; зазвучал орган, свидетельствующий, что пришло время прощаться с самым дорогим, что у тебя есть... пришло время разлуки, а Йоахим все ждал, когда же прозвучит строфа о том, сбудется ли то, что ему предначертано. Затем он медленно побрел к кладбищу, над воротами которого отсвечивали золотом металлические буквы: "Мир праху твоему", за ним в

растянувшемся облаке пыли медленно последовали экипажи. Багровая голубизна раскаленного солнцем неба вздыбилась над сухой рассыпающейся землей, которая ждала, когда ей предадут прах Гельмута, хотя это, собственно говоря, и вовсе не земля была, а семейный склеп, небольшой открытый подвал, скучающий в ожидании нового обитателя. Бросив три небольшие лопатки земли, Йоахим заглянул вовнутрь и, увидев углы гробов дедушки с бабушкой и дяди, подумал: место для отца держат свободным, вероятно, именно по этой причине дядя Бернхард был похоронен в другом месте. Но потом, когда комья осыпающейся вниз земли упали на крышку гроба Гельмута и на каменные плиты склепа, на Йоахима, держащего в руках свою игрушечную лопатку, нахлынули воспоминания о тех детских днях, когда они играли в мягком песке на берегу реки, он снова увидел перед собой брата в облике мальчика, а себя самого — лежащим на катафалке, и ему показалось, что возраст Гельмута да и его смерть вполне могут всего лишь казаться, и эти галлюцинации могли быть вызваны жарой летнего дня. Для своей собственной смерти Йоахим пожелал мягкого дождливого дня, когда небо опускается к земле, чтобы принять душу, которая погружалась бы в него, словно в объятия Руцены. То была грешная мысль, никак не подходившая к данному случаю, но не он один был в ответе за это, а и все другие, кому он сейчас уступал место у двери склепа, и отец тоже был в какой-то мере виноват: ибо вся их вера была лицемерной, хрупкой и припавшей пылью, зависевшей от того, светит на улице солнце или идет дождь. Разве можно не пожелать нашествия полчищ негров, чтобы они смели все это? И восстал Спаситель в новой славе, и вернул людей в Царство свое! Над склепом на мраморном кресте висел Христос, обернутый всего лишь куском сукна, скрывавшим его срам, на голове — терновый венец, из-под которого стекали бронзовые капли крови. Йоахим тоже ощутил на своей щеке капли: может, это были слезы, которых он не замечал, а может,— всего лишь следствие изнуряющей жары; он не знал этого и пожимал протягиваемые ему руки.

Союзы бывших фронтовиков и пожарники отдали покойному

последние почести, проходя военным парадным маршем и резко поворачивая головы налево; сухо щелкали подошвы о кладбищенский гравий, четкой колонной по четыре они промаршировали к воротам кладбища, выполняя короткие отрывистые команды своего командира. Стоя на ступеньках часовни склепа, парад принимали господин фон Пазенов, державший шляпу в руках, Йоахим, приложив руку к шлему, а между ними — госпожа фон Пазенов. Другие военные, присутствовавшие на церемонии, тоже вытянулись по стойке смирно, приложив руки к шлемам. После этого подъехали экипажи, и Йоахим вместе с родителями сел в повозку, ручки и прочие металлические части которой так же, как и металл лошадиной упряжи, кучер заботливо обтянул крепом; Йоахим обнаружил, что даже кнут был украшен траурной розеткой из крепа. Только теперь мать зашлась слезами, и Йоахим не знал, как утешить ее, он снова задумался над тем, почему смертельная пуля поразила Гельмута, а не его, и не мог понять этого. Отец застыл неподвижно на черной коже сидения, которая не была похожа на жесткую и потрескавшуюся кожу берлинских дрожек, а напротив, отличалась податливостью; сидения были простеганы и декорированы кожаными пуговицами. Несколько раз возникало впечатление, будто отец хочет что-то сказать, нечто такое, что бы завершало череду мыслей, очевидно, занимавших и державших его всецело в своей власти, ибо он начинал говорить, но затем снова становился неподвижным, лишь безмолвно шевелились его губы; наконец он резко выдохнул из себя: "Они отдали ему последние почести". Отец поднял вверх палец, словно ждал еще чего-то или хотел что-то добавить, и в конце концов опустил руку на колено. Между краем черной перчатки и манжетой с большой черной пуговицей просматривался кусочек кожи с рыжеватыми волосами.

Последующие дни прошли без особых разговоров. Мать вернулась к своим делам: присутствовала на дойке в коровниках, при сборе яиц в курятнике, в прачечной. Йоахим выезжал пару раз верхом на лошади в поле, на той самой лошади, кото-

рую он подарил Гельмуту, и это было словно услугой покойнику. К вечеру двор имения был чисто выметен, а на скамейки перед домом для прислуги высыпал дворовой люд, радовавшийся прохладному мягкому ветерку. Однажды ночью была гроза, и Иоахим с испугом обнаружил, что почти забыл Руцену. С отцом он практически не виделся — тот проводил время за письменным столом, читал соболезнования или регистрировал их на отдельном листке бумаги. Лишь пастор, который проводывал их теперь каждый день и частенько оставался ужинать, говорил о покойном, но поскольку это уже были разговоры на довольно непопулярную тему, то на них, по мере возможности, старались не обращать внимания, и его единственным слушателем, казалось, был господин фон Пазенов, который иногда кивал головой, так что создавалось впечатление, будто он хочет высказать что-то, что лежит у него на сердце; но, как правило, он всего лишь повторял последние из сказанных пастором слов, подтверждая все это кивком головы, что-то вроде: "Да, да, господин пастор, бедные родители".

Потом подошло время Иоахиму уезжать. Когда он прощался с отцом, старик снова пустился мерить комнату шагами. Иоахиму припомнилось несчетное количество прощаний в этой комнате, которую он недолюбливал и которая была впечатана в его память с ее охотничьими трофеями на стенах, с плевательницей в углу возле камина, с письменными принадлежностями, которые наверняка были точно так же расположены и при дедушке, со множеством охотничьих газет на столе, большая часть которых не была даже разрезана. Он предполагал, что отец вставит монокль в глаз и отпустит его с коротким: "Ну что ж, тогда — счастливого пути, Иоахим". Но в этот раз отец не говорил ни слова, а продолжал ходить по комнате, заложив руки за спину, так что Иоахиму пришлось повторить еще раз: "Ну, отец, мне уже пора, самое время успеть к поезду". "Ну что ж, тогда — счастливого пути, Иоахим, — прозвучал наконец привычный ответ. — Но я хочу сказать тебе вот еще что: мне кажется, что ты все-таки скоро вернешься домой. Стало пусто, да-да

пусто...— старик посмотрел вокруг себя,— но это понимают не все... конечно, следует дорожить своей честью...— он снова зашагал по комнате, затем продолжил почти что доверительно: — А как у тебя дела с Элизабет? Мы ведь говорили об этом?.. "Отец, мне пора,— ответил Йоахим,— иначе я опоздаю на свой поезд". Старик протянул ему руку, и Йоахиму пришлось подать свою.

Проезжая через селение, он посмотрел на часы на церковной башне, до поезда оставалось еще достаточно много времени; впрочем, это было ему и без того известно. Двери церкви оказались почему-то открытыми, и Йоахим остановил повозку. На душе у него было чувство вины, вины перед церковью, которая была для него лишь местом, где можно было найти приятную прохладу, перед пастором, хорошую речь которого он пропустил мимо ушей, перед Гельмутом, погребение которого он осквернил нечестивыми мыслями, короче говоря — чувство вины перед Богом. Он вошел внутрь и попытался найти в себе хотя бы отголоски того расположения духа, которое охватывало его в детстве, когда он посещал церковь, когда он, Йоахим фон Пазенов, стоял здесь каждое воскресенье перед лицом самого Господа, испытывая всякий раз новое потрясение. Он знал тогда много церковных хоралов и пел их с великим усердием. Конечно, речь была не о том, чтобы он сейчас в одиночку начал распевать хоралы. Ему необходимо было сосредоточиться, собрать воедино свои мысли, направить их к Богу, сконцентрировать их на своей греховности перед Богом, на своей незначительности и своем убожестве перед Богом, но мысли его бежали прочь от Господа. Единственным, что пришло ему сейчас в голову, были слова пророка Исаии, которые он как-то слышал, стоя на этом месте: "Вол знает владельца своего, и осел — ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ Мой не понимает". Да, Берtrand прав, они растеряли христианскую веру; и Йоахим попытался прочитать молитву "Отче наш", закрыв глаза и сосредоточившись на том, чтобы не промолвить ни одного пустого звука, а наполнить каждое сказанное слово

смыслом; и когда он дошел до фразы "как и мы прощаем должникам нашим", то в душе снова шевельнулось мягкое, испуганное и все-таки доверчивое ощущение тех детских лет: ему вспомнилось, что на этом месте он всегда думал об отце и что здесь он всегда черпал веру в то, что сможет простить отца, сделать для него все то хорошее, что обязаны сделать дети; и тут только до него дошло, что старик говорил об одиночестве, которого откровенно боится, и что необходимо ему помочь. Йоахим вышел из церкви, в голове почему-то всплыли слова "возвышенный и сильный", но слова эти не были пустыми, они были наполнены хорошим молодым смыслом. Он решил навестить Элизабет.

В купе вагона снова вспомнилось, и он опять прошептал "возвышенный и сильный", только в этот раз слова эти были связаны с туго накрахмаленным пластроном мужской рубашки и попойкой тоской по Рукене.

II

Со стороны Кенигсштрассе приближался человек. Он был полный и приземистый, даже — низкорослый, и все на нем было такое облегающее, что напрашивалась мысль, не заполняли ли им сегодня утром его одежду. Это был солидный прохожий, с его черными суконными брюками гармонировал пиджак из люстрина, а на груди покоилась каштанового цвета борода. Он явно спешил, но шел не прямолинейной быстрой походкой, а это было этакое солидное переваливание с боку на бок, так идущее такому обтекаемому серьезному господину, когда он спешит. Лицо, правда, было спрятано не только за бородой, но и за пенсне, сквозь которое этот человек метал суровые взгляды на других прохожих, было, собственно говоря, трудно себе представить, что человек, ковыляющий в такой спешке по очень срочным делам и мечущий вопреки своей внешней мягкости такие суровые взгляды, был способен проявлять дружелюбие в

других жизненных ситуациях, что все-таки имелись женщины, к которым он благоволил своим любящим сердцем, женщины и дети, перед которыми борода приоткрывала бы дружескую улыбку, женщины, которым нравилось бы искать в густой непролазной бороде розовое пятнышко губ для поцелуя.

Йоахим, увидев этого господина, последовал за ним машинально. Ему было как-то все равно, куда тот направлялся. С тех пор как Йоахим узнал, что в Берлине обосновался представитель фирмы Бертранда и что его бюро разместилось на одной из улиц между Александерплац и биржей, он иногда по непонятным причинам прогуливался в этом районе, точно так же, как раньше его заносило в рабочее предместье. Но теперь необходимость высматривать на улицах Руцену отпала, и это было своеобразное повышение ее в табели о рангах. Но он приходил сюда не для того, чтобы встретить Бертранда; напротив, он избегал этого района, когда до него доходили слухи, что Берtrand в Берлине, его, собственно говоря, не интересовал и представитель фирмы Бертранда. Просто было очень странно, что здесь находится помещение, которое можно соотнести с собственной жизнью Бертранда, и когда Йоахим прохаживался по этим улицам, то случалось, что он не только внимательно изучал фронтоны зданий, словно пытаясь определить, какие бюро прячутся за их стенами, но и заглядывал гражданским под шляпы, будто это были женщины. Он сам был немало удивлен, потому что едва ли понимал, что пытается по их лицам определить, не много ли рода эти существа и не свойственны ли им качества, уже позаимствованные Бертрандом, но все еще скрываемые им. Да, скрытность этих существ была столь велика, что им явно недоставало бороды, чтобы спрятаться. Те, которые были с бородами, казались Йоахиму более искренними и не такими лицемерными, именно это вполне могло оказаться причиной того, что он поплелся за спешащим толстяком. Вдруг у него возникло ощущение, что этот человек как-то уж очень соответствует образу представителя Бертранда, который Йоахим постоянно рисовал в своем воображении. Может быть, это по-

кажется бессмыслицей, но то, как некоторые люди приветствовали толстяка, удовлетворило Йоахима, он был рад, что представитель Бертранда снискал такое уважение. В конце концов Йоахим не удивился бы даже, если бы навстречу ему переваливающейся походкой шел Берtrand собственной персоной, маленький, толстый и с окладистой бородой: ведь как ему было сохранить свою былую внешность, если он уже соскользнул в другой мир. И хотя Йоахим понимал, что все, что он думает, лишено смысла и беспорядочно, тем не менее казалось, что эта кажущаяся запутанной сеть таит в себе некий скрытый порядок: необходимо всего лишь ухватиться за ту нить, которая соединяет Руцену с этими людьми, за эту глубинную и очень скрытую связь, может быть, конец той нити был у него в руках, когда он предположил, что Берtrand действительно любовник Руцены; но теперь его руки были развязаны, и ему просто вспомнилось, как однажды Берtrand извинился перед ним за то, что вечером должен провести время со своим товарищем по коммерции, и Йоахим не мог отделаться от мысли, что этот человек и есть тот товарищ по коммерции. Вполне возможно, что оба они сидели вместе в охотничьем казино, а этот господин всучил Руцене пятьдесят марок.

Если кто-то следует по улице за кем-то и происходит это без всякой закономерности, просто автоматически и с кажущимся безразличием, то скоро оказывается, что этот "кто-то", кроме того, что излагает всевозможные пожелания, благоприятные и не очень, просто прилипает к тому существу, за которым следует. Ему хочется ну хотя бы заглянуть в лицо или чтобы тот обернулся, хотя сам Йоахим со времени смерти своего брата считал себя застрахованным от того, чтобы выискивать в том ужасном облике лицо Руцены. Впрочем, безо всякой связи Йоахима посетила мысль, что гордая осанка всех людей здесь, на этой улице, абсолютно не оправдана, не согласуется с их совестью и есть следствие печального невежества, поскольку все эти тела должны быть предназначены к умиранию. Да и человек там, впереди, шел далеко не твердыми, четкими и пря-

мыми шагами, правда, опасность того, что он, падая, сломает себе ногу, практически отсутствовала — он был для этого слишком мягким.

Тут человек остановился на углу Рохштрассе, словно в ожидании чего-то; вполне возможно, он надеялся получить от Йоахима пятьдесят марок. Сделать это Йоахим был, собственно говоря, обязан, но его внезапно охватил жгучий стыд, что из-за откровенного страха, ведь могут подумать, что он купил себе женщину или что он сам по этой причине начнет сомневаться в любви Руцены, он оставил ее заниматься привлечением клиентов в казино, делом, которое он ненавидел; и с его глаз словно упали шторы: он, прусский офицер, тайно посещает женщину, которой платят другие мужчины. Бесчестье можно смыть только кровью, но прежде, чем он смог обдумать все ужасные последствия этого, мысль исчезла, промелькнула, словно лицо Бертранда, и исчезла, ибо мужчина пересек Рохштрассе, а Йоахиму никак нельзя было упускать его из виду, пока он не... да, пока он не... пока его просто не удастся поймать на горячем. Берtrand, вот кому легко, он стоит в том мире и одновременно в этом, но и Руцена находится между двумя мирами. Было ли это основанием для того, чтобы оба по праву принадлежали друг другу? Тут уж мысли Йоахима перемешались, словно люди в толчее, окружавшей его, и если он и видел перед собой цель, на которой хотел сосредоточить мысли, то она все еще покачивалась и норовила ускользнуть, была по-прежнему приоткрытой, как спина того мягкого человека перед ним. Если он похитил Руцену у ее законного владельца, то правильным было бы, если бы он прятал ее сейчас как добычу. Он попытался держать осанку, прямую и гордую, попытался не бросать более взгляд на этих гражданских. Толчая вокруг него, водоворот, как заметила бы баронесса, вся эта деловая суета, наполненная лицами и спинами, казалась расплывчатой, скользкой, мягкой массой, которую невозможно было ухватить. Куда это еще может завести! И вместе с уставной осанкой, которую он принял одним рывком, в голову пришла спасительная мысль, что вполне воз-

можно любить существо из другого мира. Поэтому он никогда не сможет любить Элизабет и именно поэтому Руцене надо было родиться богемкой. Любовь означает бегство из своего мира в другой, так, невзирая на всю эту унижительную ревность, он оставил Руцену в ее мире, чтобы она каждый раз, по новому сладкая, убегала к нему. Перед ним замаячила гарнизонная часовня, и он выпрямил спину еще сильнее, так сильно, словно присутствовал на воскресном богослужении своих солдат. На углу Шпандауэрштрассе человек замедлил шаги, нерешительно продвигаясь по краю мостовой; вероятно, коммерсант испытывал страх перед лошадьми на улице. То, что Йоахим должен вернуть этому человеку деньги, конечно — чужь; но необходимо вытащить Руцену из этого казино, это — однозначно. Она, правда, все равно останется богемкой, существом из чужого мира. А к чему относится он сам? И куда его успело уже занести? А Берtrand? Снова у него перед глазами возник Берtrand, удивительно мягкий и маленький, бросающий суровые взгляды сквозь пенсне, чужой ему, чужой Руцене, которая по национальности — богемка, чужой Элизабет, которая бредет по безмолвному парку, чужой им всем и тем не менее — близок, когда он оглядывается и его борода приоткрывается в дружеской улыбке, настоятельно требуя, чтобы женщины искали в его дремучей бороде местечко для поцелуя. Держа руку на эфесе, Йоахим остановился, словно близость гарнизонной часовни могла дать ему силу и защитить от зла. Образ Берtrанда был таинственным и мерцающим. Он то возникал, то пропадал снова. "Пропал во мраке большого города", — вспомнилось Йоахиму, и мрак этот имел звучание адовой смерти. Берtrand прятался за всеми фигурами и предавал их всех: его, товарищей, женщин, всех. Тут Йоахим заметил, что представитель Берtrанда, резво и не пострадав, пересек Шпандауэрштрассе. Йоахим был просто счастлив, что впредь его усилиями Руцена будет избавлена от общества этих двоих. Нет, тут не может идти речь о воровстве; напротив, он просто обязан защитить от них и Элизабет. О, ну ему-то известно, каким лицемерным бывает

зло. И военному не пристало убегать. Убежав, он оставил бы Элизабет беззащитной в тех руках, он сам был бы одним из тех, кто прячется во мраке большого города и боится лошадей, и это было бы не только признанием твоей вины в воровстве, но это означало бы также, что ты навсегда отказываешься от того, чтобы лишиться того типа тайны предательства. Он должен следовать за ним дальше, но не таясь, как шпион, а открыто, как подобает, и прятать Руцену ему тоже ни к чему. Так посреди биржевого квартала, совсем недалеко от гарнизонной часовни все как-то сразу успокоилось в душе Йоахима фон Пазенова, стало таким безмятежным и прозрачным, словно голубое небо, распростертое над уличным асфальтом.

В нем возникло хотя и не совсем отчетливое, но тем не менее настойчивое желание догнать этого человека и сообщить ему, что он заберет Руцену из казино и впредь не будет ее прятать; но он не успел сделать и нескольких шагов, как тот, переваливаясь, поспешно исчез в здании биржи. Йоахим на какое-то мгновение уставился на дверь; это что, место превращения? Не выйдет ли теперь сам Берtrand оттуда? Йоахим раздумывал над тем, следует ли ему сразу же знакомить Берtrанда с Руценой, ответ был отрицательный: ведь Берtrand принадлежит к миру ночных заведений, а именно из этого мира намеревался он теперь вытащить Руцену. Но там видно будет; как хорошо было бы не знать всего этого, а брести с Руценой по безмолвному парку вдоль тихого пруда. Он застыл перед биржей. Он тосковал по деревенской жизни. Вокруг шумело интенсивное движение транспорта, сверху прогромыхали вагоны городской железной дороги. Он больше не смотрел на прохожих, он и так знал, что в них все чужое и нет ничего скрытого. Впредь он будет избегать этого района. Прямо и гордо держал спину Йоахим фон Пазенов среди людского моря, бурлившего перед биржей. Он будет очень сильно любить Руцену.

Берtrand нанес ему визит соболезнования, и Йоахим опять никак не мог решить, оценивать это как любезность или как

назойливость; можно было подойти к этому визиту и так и этак. Берtrand вспоминал Гельмута, который иногда, правда — достаточно редко, бывал в Кульме, впрочем, память Бертранда не могла не удивлять: "Да, он был белокурым тихим мальчиком, очень замкнутым... мне кажется, что он нам завидовал... он, должно быть, и позже не так уж сильно изменился... впрочем, он был похож на вас". Это опять прозвучало как-то очень уж доверительно, даже возникало впечатление, будто Берtrandу хочется использовать смерть Гельмута в своих целях; между тем нет ничего странного в том, что Берtrand так на удивление точно вспоминал все события своей прошлой военной карьеры: охотно воскрешает в памяти те чудные времена, которых когда-то лишился. Но Берtrand говорил вовсе не в сентиментальном тоне, а по-деловому и спокойно, так что смерть брата предстала с более человеческой стороны, став с подачи Бертранда каким-то объективным, вневременным и примиряющим событием. Йоахим, собственно говоря, как-то не очень задумывался о дуэли брата; все, что он со времени этой трагедии слышал и что неисчислимо количество раз повторялось во всех соболезнованиях, было направлено в одно русло: Гельмута преследовал неотвратимый рок чести, уйти от которого было невозможно. Берtrand же сказал: "И все-таки самое странное состоит в том, что живем мы в мире машин и железных дорог и что именно в то время, когда работают фабрики и по железным дорогам бегают поезда, два человека становятся друг против друга и стреляют".

"Берtrand лишен чувства чести", — сказал себе Йоахим. Но мнение его показалось Йоахиму тем не менее естественным и понятным.

Берtrand продолжил: "Это вполне может брать свое начало там, где речь идет о чувствах..."

"О чувстве чести", — ответил Йоахим.

"Да-да, о чувстве чести и тому подобное".

Йоахим поднял глаза — Берtrand что же, снова насмехается? Он охотно бы ему сказал, что не позволительно так уж за-

просто высказывать точку зрения обитателя крупного города; там, в деревне, чувства более искренние. Берtrand, следовательно, ничего из всего этого не понял; но высказать все это гостю, естественно, нельзя, и Йоахим молча предложил сигары. Но Берtrand достал из кармана свою английскую трубку и кожаный кисет для табака: "Ведь это так странно, что самое легкое и брэнное отличается постоянством. Телом своим человек способен невероятно быстро приспособиться к новым условиям жизни. Но кожа сама и цвет волос еще постоянной, чем скелет".

Йоахим начал рассматривать светлую кожу и вьющиеся волосы Бертранда, он ждал, куда тот выйдет в своих рассуждениях. Берtrand сразу же заметил, что его недостаточно хорошо поняли: "Ну, самое постоянное в нас — это так называемые чувства. Мы носим в себе неразрушимую базу консерватизма. Это — чувства или, вернее, условности, основывающиеся на чувствах, ибо они, собственно говоря, мертвы и являются атавизмом".

"Значит, вы считаете консервативные принципы атавизмом?"

"О, иногда — да, но не всегда. Хотя здесь речь, собственно, не о том. Я думаю, что то чувство, которым ты обладаешь в жизни, всегда отстает от реальной жизни лет этак на пятьдесят, а то и на целое столетие. Чувство ведь всегда немножечко менее гуманно, чем жизнь, в которой вращаешься. Достаточно вспомнить, что какой-то там Лессинг или Вольтер абсолютно спокойно воспринимали тот факт, что в их времена все еще применялось колесование, чудное такое — снизу вверх, для нашего чувства непостижимо,— и вы что же, считаете, что дела у нас обстоят по-другому?"

Нет, об этом Йоахим еще как-то не задумывался. Берtrand вполне может оказаться прав. Но зачем он ему говорит все это?

Он говорит как газетчик. Берtrand продолжал: "Мы абсолютно спокойно относимся к тому, что два человека — оба, вне всякого сомнения, приличные люди, потому что с кем-либо

другим ваш брат просто не пошел бы на дуэль — как-то утром становятся друг против друга и стреляют. Какие же условности чувств должны довлеть над обоими да и над нами тоже, что мы со всем этим миримся! Чувству свойственна инертность, а потому — такая непонятная жестокость. Мир просто заполнен инертностью чувств". Инертность чувств! Йоахим был поражен этим; разве ему самому не была свойственна инертность чувств, разве это не преступная инертность, что он не проявил достаточно изобретательности, чтобы обеспечить Руцену, вопреки ее протестам, деньгами и вытащить из казино? Йоахим подавленно прошептал: "Вы что, действительно хотите сказать, что честь — это инертность чувств?"

"Ах, Пазенов, вы ставите вопрос слишком уж прямо,— на лице Бертранда снова засияла победная улыбка, с которой он обычно сглаживал противоречия.— Я просто считаю, что честь — это очень живое чувство, и все же я убежден, что устаревшие формы всегда полны инертности и что это очень уж утомительно сохранять приверженность какой-то мертвой и романтической условности, базирующейся на чувствах. Это ведет к возникновению множества сомнительных тупиковых ситуаций..."

Да, Гельмут был утомленным человеком. Но чего хочет Берtrand? Как вообще можно избавиться от этой условности? С внутренней дрожью Йоахим ощутил опасность того, что может, как и Берtrand, поскользнуться и упасть, если захочет убежать от этой условности. Конечно, в своих отношениях с Руценой он уже ускользнул от самой строгой условности, но так дальше продолжаться не может, и живая честь требует от него оставаться с Руценой! Может быть, Гельмут предвидел именно это, когда предупредил его о том, чтобы Йоахим не возвращался в имение. Потому что в такой ситуации он потеряет Руцену. Йоахим неожиданно спросил: "А что вы думаете о сельском хозяйстве нашей страны?" Он почти что надеялся, что Берtrand, который в жизни всегда руководствовался практическими соображениями, тоже будет предостерегать его от возвращения в

Штольпин. "Трудно ответить, Пазенов, на этот вопрос, особенно, если понимаешь в сельском хозяйстве так мало, как я... ведь все мы до сих пор носим в себе предубеждение феодальных времен, состоящее в том, что наибольшую надежность существования на этой созданной Богом земле обеспечивает работа на ней". Берtrand сделал слегка пренебрежительный жест рукой, Йоахим фон Пазенов был разочарован этим, хотя он и испытывал удовлетворение от того, что принадлежал к этой касте избранных, тогда как неуверенное существование Бертранда за счет торговли можно было рассматривать в качестве, так сказать, предварительного этапа на пути к надежной жизни. Очевидно, он все-таки жалеет, что оставил полк; как гвардейский офицер он без особого труда мог бы жениться на наследнице какого-нибудь имения! Это, правда, была мысль, достойная отца, и Йоахим попытался от нее избавиться, он просто спросил, не задумывался ли Берtrand над тем, чтобы в перспективе осесть где-нибудь на одном месте. Да нет, был ответ Бертранда, вряд ли он способен на это, он, откровенно говоря, не такой человек, что может долго высиживать без перемещения. Помимо всего прочего, они поговорили еще о Штольпине, о тамошней дичи, и Йоахим пригласил Бертранда поучаствовать вместе с ним в деревенской осенней охоте. Внезапно раздался звонок в дверь: Руцена! Йоахим весь сжался и посмотрел на Бертранда почти что с ненавистью: сидит здесь уже добрых два часа, распивает чай и дымит; ведь это уже выходит за рамки визита соблезнования. Но Йоахиму пришлось подавить свои эмоции, ведь не кто иной, как он сам, не дал Берtrandу встать с этого кресла и заставил его остаться, предложив сигары, хотя он, собственно говоря, прекрасно должен был бы знать, что придет Руцена. Теперь, раз уж так получилось, путей к отступлению нет; конечно, было бы лучше, если бы он предварительно спросил Руцену. Она ведь вполне может чувствовать себя неловко, возможно, что она хотела сохранить все в тайне, которую он намеревается сейчас нарушить, по доброте своей она, может быть, хотела даже избежать того,

чтобы он стыдился ее,— ведь, если откровенно, она дама не совсем подходящая для общества; здесь, правда, судья из него был никудышный, ибо когда он представлял ее себе, то видел лишь головку с разметавшимися на подушке волосами, вдыхал аромат ее тела и вряд ли мог вспомнить, какая же она в одежде. Ну, в конце концов, Берtrand гражданский человек, у него у самого слишком длинные волосы, да и что здесь вообще такого. И он обратился к Берtrandу: "Послушайте, Берtrand, там за дверью ждет одна прелестная молодая дама; могу ли я попросить вас поужинать сегодня с нами?" "О, это так романтично,— ответил Берtrand,— с удовольствием, конечно, если только я не буду мешать".

Иоахим вышел, чтобы поприветствовать Руцену и подготовить ее к встрече с гостем. Она была явно удручена тем, что встретила здесь незнакомца, но держала себя с Берtrandом очень любезно, и тот отвечал ей тем же. Та обычная дружелюбность, с которой оба общались, воспринималась Иоахимом как что-то неприятное. Решили отужинать дома; денщика отравили за ветчиной и вином, Руцена поспешила добавить, чтобы кроме этого он принес еще яблочный пирог со взбитыми сливками. Она была просто счастлива, что может похозяйничать на кухне и приготовить оладьи из картофеля. Позже она позвала Иоахима на кухню; он вначале подумал, что она просто хочет покрасоваться перед ним в своем большом белом переднике с половником в руке, и был более чем готов трогательно воспринять эту картину домашней прелести, но она прислонилась к кухонной двери и расплакалась; все было немножечко похоже на событие далекого прошлого: он, еще маленьким мальчиком, зашел к матери на кухню, а там одна из служанок — мать ее, вероятно, только что уволила — рыдала так горько, что он, если бы только не стеснялся, готов был расплакаться вместе с ней. "Теперь ты меня уже больше не любить,— всхлипывала Руцена, повиснув у него на шее, и хотя поцелуи его были нежнее, чем когда-либо раньше, она не могла успокоиться и повторяла: — ...все, я знать, все... ну а теперь — иди, я должна

готовить". Она вытерла слезы и улыбнулась. Как не хотелось возвращаться в комнату, тем более зная, что там Берtrand; конечно, ребячеством с ее стороны было плакать из-за того, что Берtrand здесь, и все-таки это был настоящий женский инстинкт, да-да, настоящий женский инстинкт, по-другому это не назовешь, и Йоахим ощутил себя подавленным. Пусть даже Берtrand и встречает его с наполненными определенной долей цинизма словами "Она очаровательна" в попытке пробудить в нем гордость короля Кандаула¹, непоколебимой остается грозящее: если он вернется в Штольпин, то потеряет Руцену и всему наверняка придет конец. Если бы Берtrand ему ну хотя бы не советовал заниматься сельским хозяйством! Или он хотел — не исключено, что вообще против собственного убеждения — подтолкнуть его к этому наследству просто для того, чтобы выжить его из Берлина и заполучить Руцену, которую он, вопреки всему, считает своей законной собственностью? Но представить себе все это было уж слишком!

С большим подносом в руках вошла Руцена, за ней — денщик. Она разложила приборы и, расположившись за маленьким круглым столиком между мужчинами, начала разыгрывать великосветскую даму, вела певуче-стаккатирующим тоном беседу с Берtrandом, который рассказывал о своих путешествиях. Оба окна в комнате были открыты настежь, и, невзирая на темную летнюю ночь, там, на улице, мягкая керосиновая лампа над столом навевала воспоминания о рождественских зимних днях и о защищенности маленьких квартирок за дверями магазинов. Как это странно, что он забыл о кружевных платочках, которые в тот вечер в тоске неопределенности были куплены для Руцены. Они и теперь все еще лежали в шкафу, он охотно вручил бы их сейчас Руцене, если бы здесь не было Берtrанда и если бы она не слушала в таком напряжении эти рассказы о хлопковых плантациях и бедных неграх, чьи родители еще были рабами,

¹ Кандаул — по Геродоту последний король лидийской династии Гераклидов, отличался высоким самомнением, спесью и любовью к лестям.

именно так, настоящими рабами, невольниками, которых можно было продавать. "Как, и девушек продавали?" — Руцена аж содрогнулась, и Берtrand рассмеялся, рассмеялся легко и без злости: "О, вам не следует бояться, маленькая невольница, вам ничего не угрожает!" Зачем Берtrand сказал ей это? Не ведет ли он дело к тому, чтобы купить Руцену или получить ее в подарок? Йоахиму пришла в голову мысль о созвучности слов "невольница" и "вольница", а также о том, что все негры на одно лицо и их невозможно отличить друг от друга, снова возникло впечатление, что Берtrand пудрит ему мозги, напоминая, что Руцену невозможно отличить от ее братца с итальянской вольницы! Не потому ли накликал тот те черные полчища? Но Берtrand просто дружески улыбался ему, он был белокур, почти так же белокур, как и Гельмут, хотя и без окладистой бороды, волосы его были кудрявыми, слишком кудрявыми, чтобы их просто зачесать назад; все опять перепуталось на какое-то мгновение, и нельзя было понять, кому же по праву принадлежит Руцена. И если бы его сейчас сразила пуля, то Гельмут оказался бы здесь на своем месте и у него нашлись бы силы защитить Элизабет. Возможно, Руцена была бы мелковата для Гельмута; но ведь и сам он не был заместителем брата. Йоахима охватил ужас, когда он понял это, ему стало страшно, ибо кто-то представлял кого-то, ибо у Бертранда был низенький мягкий бородатый представитель, ибо с этих позиций простительными были даже взгляды отца: почему именно Руцена, почему именно он? И почему и вправду не Элизабет? Все было охвачено каким-то безразличием, и ему стала понятна утомленность, приведшая Гельмута к смерти. Если даже Руцена права и наметился конец их любви, то все внезапно ушло куда-то в туманную даль, где едва ли можно было различить лица Руцены и Бертранда. Условность чувств, как сказал бы Берtrand.

Руцена же, казалось, напротив, забыла о своем мрачном предсказании. Она попыталась поймать под столом руку Йоахима, и когда он, в панической благовоспитанности покосившись на Бертранда, спас ее, вытащив на освещенную скатерть

стола, Руцена взяла его руку и погладила; а Йоахим, снова ощутив радость от прикосновения того, что ему принадлежит, преодолел после некоторого замешательства смущение и сжал ее руку в своей, так что всем стало абсолютно понятно, что они по праву принадлежат друг другу. И они не совершали ничего предосудительного, ведь еще в Библии было написано: если один из братьев, живущих вместе, умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен взять ее себе в жены и жить с нею. Ну да, похоже, так и есть, и все-таки абсурдным кажется то, что он мог бы обманывать Гельмута с какой-то женщиной. Но тут Берtrand постучал по бокалу и произнес маленький тост, и опять нельзя было понять, серьезно он говорит, шутит или тех нескольких бокалов шампанского было для него слишком уж много — столь исключительно труднопонятной была его речь, в которой он говорил о немецкой домохозяйке, все очарование которой состоит в имитации, ведь именно игра остается единственной реальностью нашей жизни, именно поэтому картина всегда красивее реального ландшафта, карнавал милее обычных одежд, а дом немецкого воина лишь тогда будет полон, когда он, избавленный от суровой обыденности и едва ли оскверненный каким-то там безродным торговцем, будет освящен прелестнейшей богемской девушкой, и поэтому он просит всех присутствующих поднять бокалы за здоровье красивейшей из домохозяек. Да, все это было как-то туманно и двусмысленно, и невозможно было даже до конца понять, не таились ли каким-либо образом за всеми этими намеками на имитацию и подражание собственные мысли о представителе, но поскольку Берtrand, невзирая на известную ироническую складочку вокруг рта, продолжал смотреть на Руцену очень дружелюбно, понятно было также, что это было преклонение перед ней и что разумным будет отбросить все эти туманные двусмысленности; ужин завершился в приятной для всех атмосфере веселости и непринужденности.

Позже они не отказали себе в удовольствии проводить Бер-

транда домой, не желая открыто показывать, что Руцена намерена еще задержаться у Йоахима. Руцена расположилась между двумя мужчинами, так и шли они по безмолвным улицам, каждый сам по себе, ибо Йоахим не решался предложить Руцене руку. Когда за Бертрандом закрылась дверь дома, они посмотрели друг на друга, и Руцена очень серьезно, преданным тоном спросила: "Отвезить меня в казино?" Он ощутил, с какой серьезностью и как тяжело сорвалась эта фраза с ее губ, но сейчас он чувствовал лишь усталое безразличие, так что воспринял вопрос едва ли не с такой же серьезностью и был бы даже согласен проститься сейчас навсегда, и если бы вернулся Берtrand, чтобы увести с собой Руцену, Йоахим согласился бы и с этим. Но невыносимой была мысль о казино. И устыдясь, что ему потребовался такой импульс, он, все-таки счастливый, молча взял ее за руку. В эту ночь они любили друг друга больше, чем когда-либо раньше. Тем не менее и в этот раз Йоахим забыл отдать Руцене ее кружевные платочки.

Каждый день, когда маленькая почтовая карета, запряженная одной лошадью, возвращалась от утреннего поезда и подъезжала к зданию почты в деревне, у окошечка уже стоял, прислонившись, почтальон из имения, хотя и частный почтальон, но тем не менее составная часть почты, в определенной степени сам уже ставший ее служащим, который стоял, быть может, над обоими находящимися там служащими, и не из-за своих личных успехов, хотя он уже успел поседеть на этой службе, а скорее всего, потому, что был из имения и его должность была институтом, который существовал уже много десятилетий и, вне всякого сомнения, брал свое начало еще в те времена, когда и почты-то имперской не существовало, а достаточно редко через деревню проезжала почтовая карета и оставляла корреспонденцию в трактире. Большая черная почтовая сумка, след от ремней которой выделялся диагональной полосой на спине выгоревшего на солнце костюма, пережила нескольких почтальонов и наверняка происходила из тех давно ушедших и

явно лучших времен, потому что в деревне не найти ни одного даже самого древнего старика, в самые молодые годы которого не висела бы эта сумка на своем крючке, а почтальон не стоял бы, прислонившись к почтовому окошечку, и каждый из стариков припоминал все это и мог пересчитать всех почтальонов имения, которые с диагональной полосой на куртке бодро ходили по своему маршруту, а теперь все вместе покоились там, на погосте. Так постепенно сумка стала старше и почетнее новой современной почты, которую соорудили после богатого бурными событиями 1848 года, старше даже, чем крючок, который в знак уважения к сумке или в определенной степени как последний знак внимания почтовых властей к владельцам имения был забит при строительстве здания почты, а может быть, и как напоминание о том, что старые обычаи, невзирая на бурный прогресс, забывать не стоит. Ибо и в новом здании почты по-прежнему сохранялась старая привычка обрабатывать почту владельцев имения в первую очередь, которая, по всей вероятности, существует и по сей день: как только входит кучер с серо-коричневым почтовым мешком и бросает его на потертый стол тем пренебрежительным движением, которого в глазах кучера достоин почтовый мешок, почтмейстер, который лучше разбирается в чинах людских и служебных институтов, вскрывает с почти нескрываемой торжественностью печати и шнуры и рассортировывает сваленную в общую кучу корреспонденцию по ее размерам в маленькие пакеты, чтобы более удобно было ее просматривать и раскладывать, по завершении самым лучшим образом этой процедуры первое, что всегда происходит затем, так это то, что почтмейстер откладывает корреспонденцию для имения, достает из ящика стола ключ и направляется к висящей сумке, молча уставившейся на все это своей латунной защелкой; вставив ключ в середину защелки, почтмейстер открывает сумку, так что она распаивается и бесстыдно выставляет ему напоказ свои внутренности из парусины, и быстро, словно он не в силах долго созерцать распаивную матерчатую пасть, опускает в нее письма, газеты, а также небольшие паке-

ты, дает пасти небольшой толчок в нижнюю челюсть с тем, чтобы она захлопнулась, и закрывает латунные губы, спрятав после этого ключ в ящик стола. Почтальон же, оставшийся все это время в роли зрителя, хватает тяжелую почтовую сумку, цепляет ее на прочном потрескавшемся ремне через плечо, берет в руку более крупные пакеты и доставляет таким образом корреспонденцию в имение на час или два раньше, чем это удавалось бы официальному почтальону, который должен вначале обойти всю деревню; крайне ускоренная доставка демонстрирует, что существование в имении почтальона и его сумки — это не только поддержание красивой старинной традиции, но и служение удовлетворению практических потребностей господ и служивых людей в имении.

Теперь Иоахим чаще, чем раньше, получал весточки из дома; в основном это были короткие сообщения, написанные отцом тем наклонным рукописным готическим шрифтом, который так сильно напоминал его походку, что без обиняков можно было говорить о треногости этого почерка. Иоахим узнавал о визитах, наносимых родителям, об охоте и о видах на осень, а также кое-что об урожае, сообщения на сельскохозяйственную тему завершались, как правило, следующим: "Было бы неплохо, если бы ты вскоре начал готовиться к переезду, ведь чем раньше ты начнешь входить в курс дела, тем лучше, ибо на все требуется время. Преданный тебе отец". Как всегда, Иоахим испытывал сильное отвращение к почерку и читал письма, может быть, с еще более злой невнимательностью, чем обычно, потому что любое упоминание об увольнении со службы и о переселении в имение было подобно втягиванию во что-то гражданское и шаткое, ему казалось, будто его хотят лишиться защиты и вытолкнуть голым где-нибудь в районе Александерплац с тем, чтобы любой из этих чужих и деятельных господ сумел поддеть его. Можно ли назвать это инертностью чувств: нет, он не был труслив, он спокойно стал бы перед противником, держащим в руке пистолет, или ушел бы воевать с французами, которых считал своими кровными врагами, но опасности граж-

данской жизни были слишком чужими и непонятными, носили какой-то непостижимый характер. Все там было погружено в беспорядок, жизнь проходила без подчиненности, без дисциплины и наверняка без пунктуальности. Когда ему случалось по пути из квартиры в казарму проходить в начале и в конце смены мимо машиностроительного завода "Борсиг" и перед заводскими воротами, словно эдакий покрытый ржавчиной народец, стояли рабочие, которые, впрочем, мало отличались от тех же богемцев, то он ощущал на себе их злоешие взгляды, и когда тот или другой прикладывал в приветствии руку к кожаной фуражке, он не решался отвечать, поскольку избегал причислять умильно встречающих к тем, кто перешел на твою сторону, кто с тобой заодно. Ведь ненависть других он воспринимал как что-то оправданное, к тому же ему казалось, что Бертранда, невзирая на его гражданское платье, они ненавидят ничуть не меньше, чем его самого. Что-то, вне всякого сомнения, скрывалось за антипатией, которую испытывала к Бертранду Руцена. Все это производило впечатление удручающего беспорядка. Йоахиму казалось, будто его корабль получил пробоину и его постоянно хотят подтолкнуть к тому, чтобы усугубить положение. Каким вздором казалось то, что отец требует, чтобы он из-за Элизабет оставил службу; если вообще и есть что-то такое, что могло бы сделать жениха достойным ее, так это то, чтобы он, по крайней мере, одеждой своей выделялся на фоне всей этой грязи и беспорядка; лишить его формы означает унижить Элизабет. Таким образом он всячески отодвигал на задний план мысль о гражданской жизни и о возвращении в отцовский дом, видя в ней назойливое и таящее опасность требование, но чтобы не оказываться в положении человека, который во всем не слушается отца, он, когда Элизабет или ее мать отправлялись на лето в Лестов, ездил с букетом цветов на вокзал.

Проводник у готового к отправке поезда, увидев Йоахима, вытянулся по стойке смирно, между обоими мужчинами возникло некое молчаливое понимание, понимание во взгляде бравого унтер-офицера, взявшего под защиту дам своего начальника.

И хотя это было немножечко неприличным оставлять баронессу одну в купе, где она уже расположилась вместе со служанкой и багажом, Йоахим воспринял как знак дружеского расположения предложение Элизабет прогуляться вдоль поезда, пока еще не подали сигнал к отправлению. Они прохаживались по плотно укатанной земле между путями туда и обратно, и когда, проходя мимо открытой двери купе, Йоахим отвешивал легкий поклон почтения, баронесса отвечала милой улыбкой. Элизабет же говорила о том, как она рада встрече с родным домом и что она очень надеется на частые встречи с Йоахимом в Лестове во время его отпуска, который он как всегда, а в этом печальном году — тем более, проведет со своими родителями. На ней был облегающий английский костюм из легкого полотна серого цвета, и голубая дорожная вуаль, покрывавшая ее маленькую шляпку, очень хорошо гармонировала с цветом костюма. Это даже удивляло, что существо с таким серьезным выражением лица было способно проявить интерес и кокетливый вкус в выборе гардероба, особенно если предположить, что серое платье и голубая вуаль были специально подобраны к цвету ее глаз, серая строгость которых переливалась в безоблачную голубизну. Правда, оказалось сложным делом найти подходящие слова для выражения этих мыслей, поэтому Йоахим испытал чувство радости, когда прозвучал звонок и проводник попросил пассажиров занять свои места. Элизабет поднялась на нижнюю ступеньку вагона и, продолжая, полуобернувшись, разговор, смогла умело завуалировать неприглядное зрелище, которое производила дама, взбирающаяся, сгорбившись, в купе; ей чудом удалось пролезть в низковатую дверь. Теперь Йоахим стоял перед вагоном с высоко поднятой головой, и мысли об отце, с которым он, стоя на таком же месте перед дверью купе, не так уж давно разговаривал, столь странным образом перемешались с мыслями об облегающем жакете Элизабет и с планом женитьбы, который тогда таким отвратительным образом подкинул отец, что имя этой девушки с сероголубыми глазами и в сером облегающем жакете, хотя он и

видел ее во плоти, стоящую там, наверху, в дверях купе, внезапно стало каким-то безразличным и расплывчатым, странно и неприятно исчезающим в вызывающем удивлении возмущении тем, что существуют такие люди, как его отец, которые в своей развращенности имеют наглость отдать на бесконечно долгую жизнь девственное существо какому-то там мужчине на унижение, так сказать, и осквернение. И в момент ее решительного подъема он так остро ощутил ее женщиной, с такой болью осознал, что ему надо ждать не сладостных ночей с Руценой, не ее исполненных томной тоски встреч и вечеров, а обрести серьезную, может быть, религиозную свободу действий, которую трудно себе представить, и не только потому, что воплощаться она должна была бы без дорожного костюма и формы, но ее трудно себе представить еще и потому, что именно сравнение с Руценой, которую он спас от мужских рук и осквернения, казалось богохульством. Наконец раздался третий звонок, и в тот момент, когда Йоахим, стоя на перроне, поднял в легком прощальном жесте руку, дамы замахали кружевными платочками, которые долго мелькали, пока в конце концов не превратились в два белых пятнышка, а из сердца Йоахима рискнула выйти приглушенная тоска и полетела вдогонку, зацепившись за белое пятнышко, она успела сделать это в последнее мгновение, прежде чем пятнышко растаяло вдали.

Проходя мимо приветствующих его по-военному портье и служащих, он вышел из здания вокзала и ступил на Кюстринерплац. Площадь производила скучное впечатление запущенной, возникало мрачноватое ощущение, хотя все вокруг было залито ярким солнечным светом, но он был каким-то ненастоящим, ибо настоящий солнечный свет разливался над хлебными полями. И когда все это неким трудно объяснимым образом напомнило Руцену, то стало наконец ясно, что Руцена хоть и наполнена солнечным сиянием, все-таки мрачноватое и даже запущенное создание, связанное с Берлином точно так же, как Элизабет связана с полями, по которым она сейчас едет, и с родительским домом, расположенным посреди парка. Это был

своего рода порядок, приносящий удовлетворение и чистоту. И все же он был рад, что вытащил Руцену из того мрачного казино с его фальшивым блеском, рад, что принимал участие в ее освобождении из сплетения нитей, опутывающих весь этот город, из сетей, которые он ощущал везде: на Александерплац, на покрытом ржавчиной машиностроительном заводе, в пригороде с его овощным подвальчиком, из непроницаемых неощутимых сетей гражданского, которые были невидимы и все-таки отбрасывали на все мрачную тень. Нужно освободить Руцену из этого стечения обстоятельств, ибо и здесь необходимо оказать достойным Элизабет. Но это было всего лишь туманное желание, желание, с которым ему, помимо всего прочего, вовсе не хотелось разбираться, потому что сам он воспринимал его как нечто абсурдное.

Эдуард фон Берtrand, который намеревался распространить свои деловые интересы на промышленные районы Богемии, вспомнил, пребывая в Праге, о Руцене, в определенной степени из-за нее у него возникла тоска по родным краям, и ему захотелось высказать ей в утешение что-нибудь дружеское. Но поскольку адрес Руцены был ему неизвестен, то он написал Пазенову, что с благодарностью вспоминает их последний вечер и надеется встретить Йоахима в Берлине на обратном пути в Гамбург, передавал в конце письма сердечный привет Руцене, выразив свой восторг от красот ее родины. Затем он отправился побродить по городу.

После вечера, проведенного с Берtrandом и Руценой, Пазенов ожидал, что может произойти нечто особенное и торжественное, может быть, даже немного страшное, ну, например, что Берtrand оплатит той же монетой за то отличие и доверие, которые выпали на его долю, когда он был приглашен на тот вечер, хотя все-таки возможность похищения Руцены не лежала за пределами невозможного: торговцы ведь сраму не имут. Правда, когда ничего такого не произошло, более того, когда Берtrand безо всякого шума уехал в соответствии со своими

планами и от него не поступало более никаких вестей, Йоахим почувствовал себя даже обиженным. Потом неожиданно пришла весточка из Праги; он показал письмо Руцены: "Кажется, ты произвела впечатление на Бертранда",— сказал он задумчиво. Руцены поморщилась: "Если даже и так, то твой друг мне все равно не понравился, отвратительный человек". Йоахим начал защищать Бертранда: "Он не отвратителен". "Не знаю, мне не нравится, и дело с концом,— решительно возразила Руцены,— пусть больше не приходит". С этим Йоахим был очень даже согласен, хотя сейчас, собственно, он крайне нуждался в нем, тем более, когда Руцены добавила: "Завтра идти в театральную школу". Ему было известно, что она бы не пошла, если бы он не отвел ее, конечно нет, но как ей втолковать все это? Как вообще действуют в подобной ситуации? Руцены хотелось непременно "работать", и построение планов в этом направлении стало новой темой их разговоров с очаровательным налетом необычайной серьезности, хотя Йоахим чувствовал себя невероятно беспомощным в решении всех возникающих проблем. Может быть, у него было предчувствие, что обычная мещанская профессия лишит ее той экзотической привлекательности, с какой она парит между двумя мирами, и отбросит ее обратно в варварство, и именно поэтому его фантазия не простиралась дальше театральной школы, свое согласие с таким предложением Руцены высказала с безмерным восторгом: "Увидеть, какая я буду знаменитая, будешь меня любить!" На этом пути все оказалось слишком сложным, и ничего не получилось. Берtrand как-то говорил о вегетативном безразличии, с которым живет большинство людей; это, наверное, было нечто вроде той инертности чувств. Да, если бы Берtrand был здесь, то он со своей бывалостью и практическим опытом мог бы, возможно, помочь. Так что Берtrand, приехав в Берлин, нашел в качестве ответа на свои дружеские приветствия не терпящее промедления приглашение Пазенова.

Это, пожалуй, можно устроить, сказал Берtrand к большому удивлению обоих, это вполне можно устроить, если им даже и

не очень верится в то, что театр — это чрезвычайно перспективная, но отнюдь не легкая карьера. В Гамбурге, конечно, у него связи получше, но он с удовольствием попытается помочь и здесь. Ну а затем дела закрутились даже быстрее, чем предполагалось: уже через несколько дней Руцене назначили прослушивание, с которым она неплохо справилась, и вскоре ее взяли хористкой. Подозрение Йоахима, что столь откровенная любезность Бертранда связана с его видами на Руцену, не смогло выстоять перед дружески безразличным, можно даже сказать предупредительным поведением Бертранда. Если бы Берtrand использовал свою заботу о Руцене для того, чтобы заявить ей о своей любви, то это, вне всякого сомнения, было бы видно. Йоахим, правда, серьезно рассердился на Бертранда, который хотя и провел три вечера в обществе его и Руцены, непрерывно болтая обо всем на свете, не продемонстрировал ровным счетом ничего, кроме всем давно уже набившей оскомину дружеской скрытности, он оставался чужим человеком, который, впрочем, сделал для Руцены больше, чем Йоахим со всей инертностью своих романтических фантазий. Все это было очень неприятно. Чего он хочет, этот Берtrand? Теперь, когда Берtrand простился с ним, отклонив, как подобает, любую благодарность от Руцены, он опять высказал надежду, что снова встретится с Йоахимом фон Пазеновым. Зачем он хочет снова с ним встречаться? Ну разве это не лицемерие? И Йоахим, сам себя не очень понимая, сказал: "Да, Берtrand, когда вы в следующий раз приедете в Берлин, едва ли вы сможете меня здесь найти, после учений я намерен поехать на несколько недель в Штольпин. Если же вы захотите нанести мне визит туда, то я буду этому очень и очень рад". На что Берtrand ответил согласием.

Неизменной привычкой господина фон Пазенова было дожидаться почты в своей комнате. С незапамятных времен на столе рядом с кипой охотничьих газет было определено место, куда почтальон ежедневно должен был класть свою сумку. И

хотя содержимое в основном не оправдывало себя и частенько состояло всего лишь из одной или двух газет, господин фон Пазенов всегда с одинаковой жадностью снимал почтовый ключ с рогов косули, куда он его обыкновенно вешал, и открывал желтую латунную защелку черной сумки. Пока почтальон, зажав в руке фуражку, молча ждал, рассматривая пол, господин фон Пазенов брал почту и усаживался с ней за письменный стол, прежде всего он доставал корреспонденцию, предназначенную ему и его семье, а затем, но лишь тщательно изучив адреса остальных отправлений, отдавал их почтальону, чтобы тот разнес получателям из числа дворовых. Иногда ему приходилось вступать в борьбу с самим собой, чтобы не вскрыть то или иное письмо, адресованное служанкам, ибо это казалось ему таким же само собой разумеющимся делом, как и право первой ночи господина, и то, что тайна переписки должна распространяться и на слуг, а таким было последнее поветрие, было ему вовсе не по нутру. Среди прислуги все еще встречались и такие, которые роптали даже из-за внешнего осмотра письма, но особенно — когда господин без объяснения сразу же интересовался содержанием или подтрунивал над служанкой. Это уже приводило к серьезным скандалам, которые, правда, заканчивались увольнениями, так что теперь бунтовщики открыто не протестовали, а либо сами получали свои письма на почте, либо тайком извещали почтмейстера о своем желании получать их через официального почтальона. Да, даже покойного молодого господина как-то одно время ежедневно видели спешивающимся с лошади у здания почты, чтобы собственноручно получить свою корреспонденцию; может быть, он ждал тогда писем от какой-нибудь дамы и не хотел, чтобы они попали на глаза старику, или вел дела, которые должны были быть сохранены в секрете; почтмейстер, с нескрываемым интересом наблюдавший за всем этим, так и не смог предположить ни того ни другого, поскольку скудные послания, получаемые Гельмутом фон Пазеновым, не давали ни малейшего основания для какого-либо заключения. Тем не менее ходили упорные слухи о том, что ста-

рик какими-то махинациями с почтой разрушил женитьбу и счастье собственного сына. Особенно упорно в это верили женщины из имения и деревни, не исключено, что они были недалеко от истины — спустя некоторое время Гельмут стал все более равнодушным и казался усталым, а вскоре и вовсе прекратил поездки в деревню и смирился с тем, что его почту снова доставляли в имение в сумке и сразу на стол отцу.

Господин фон Пазенов всегда питал страсть к почте, и поэтому в глаза не бросалось то, что страсть эта, возможно, даже возросла. Маршрут утренней прогулки верхом или пешком он теперь выбирал таким образом, чтобы встретить почтальона, тут уже оказывалось, что он больше не вешает маленький ключ от сумки на рога косули, а прячет его у себя, чтобы можно было открыть сумку прямо среди чистого поля. Там он спешно просматривал письма, но клал их обратно в сумку, чтобы не нарушать домашний ритуал. Как-то утром, добравшись до самой почты, где почтальон прислонился к окошку и в ожидании коротал время, выждав, пока на потертом столе освободят почтовый мешок от его содержимого, он вместе с почтмейстером просмотрел и разложил письма. Когда почтальон рассказал об этом примечательном случае в имении, то дворовая девка Агнес, известная своим острым языком, высказалась: "Ну, теперь он уже начинает не доверять и самому себе". Конечно, это была глупая болтовня, а ту непоколебимость, с которой Агнес больше, чем все остальные, обвиняла владельца имения в смерти собственного сына, можно было объяснить той старой злостью, которую она затаила на долгие годы с тех еще пор, когда молодой и статной девушкой подвергалась из-за своих писем постоянным насмешкам со стороны старика.

Нет, с почтой у господина фон Пазенова всегда были своеобразные отношения, поэтому мало кто проявлял интерес к тому, что он теперь вытворял. Не обращали люди внимания и на то, что теперь чаще обычного стали приглашать пастора к ужину, а господин фон Пазенов во время своих прогулок время от времени сам захаживает в дом пастора. Нет, это не казалось

странным, а пастор оценивал это как плод духовного утешения. И только господину фон Пазену было известно, что существует необъяснимая и скрытая причина, которая влечет его к пастору — хотя он терпеть не мог этого человека, — какая-то неопределенная надежда, что уста, проповедующие в церкви, должны сообщить ему нечто, чего он ждет и чему, невзирая на весь страх, что этого не случится, даже не может найти названия. Когда пастор заводил разговор о Гельмуте, то господин фон Пазенов иногда изрекал: "Да, ведь все равно..." — и прерывал, к своему собственному удивлению, разговор, это было похоже прямо-таки на бегство, словно он испытывал страх перед тем неведомым, к чему стремился. Иногда, правда, бывали дни, когда он терпеливо сносил приближение этого неведомого, это была как будто игра, в которую он играл в детстве: где-нибудь в комнате прятали кольцо — вешали его или на люстру или на торчащий ключ, когда тот, кто искал, удалялся, говорили "холодно", а когда приближался к предмету поиска, говорили "тепло" или даже "горячо". Так что было само собой разумеющимся, когда господин фон Пазенов внезапно резко и четко выстреливал из себя "горячо, горячо..." и без малого не хлопал в ладони, когда пастор снова заводил разговор о Гельмуте. Пастор вежливо соглашался с тем, что день в самом деле очень теплый, а господин фон Пазенов возвращался к действительности. Это все-таки странно, что вещи в жизни расположены так близко друг к другу; еще представляешь себя в водовороте детской забавы, но тут в центре игры оказывается смерть. "Да, да, сегодня тепло, — говорит господин фон Пазенов, внешне, правда, он производит впечатление человека, которому холодно. — Да, в такие жаркие ночи как-то уж часто горят амбары".

Мысль о жаре не покидает его и за ужином: "В Берлине, должно быть, сейчас удручающе жарко. Хотя Йоахим ничего не пишет об этом... да, он вообще пишет так мало". Пастор говорит о тяготах службы. "Что за служба?" — резко вскидывается господин фон Пазенов, так что пастор озадачен и даже не знает, что ответить. Тут в попытке прояснить ситуацию вмешивает-

ся госпожа фон Пазенов и говорит, что господин пастор всего лишь считает, что служба оставляет Йоахиму мало свободного времени для написания писем, особенно сейчас, в период учений. "Значит, он должен оставить службу", — ворчит господин фон Пазенов. Затем он быстро, один за другим, выпивает несколько бокалов вина и заявляет, что теперь чувствует себя лучше; он наливает пастору: "Выпейте, пастор, когда выпьешь — становится теплее, а когда двоится в глазах — чувствуешь себя не таким одиноким". "Кто с Богом, господин фон Пазенов, тот не чувствует себя одиноким", — отвечает на это пастор. Господин фон Пазенов воспринимает этот ответ как упрек и бестактность. Разве он всегда не отдавал Богу Богово, а кесарю или, вернее, королю то, что положено ему отдавать: один сын служит королю и не пишет ни строчки, другого забрал к себе Бог, и вокруг теперь пусто и холодно. Да, пастору легко произносить такие высокопарные речи; дом его полон, слишком даже полон для его положения, да и сейчас кое-что опять на подходе. При таких обстоятельствах совсем не трудно быть с Богом; он охотно высказал бы все это пастору, но с ним нельзя было ссориться, ведь с кем он останется, когда уже никто больше не захочет иметь с ним дело, кроме... и тут произошел обрыв ставшей почти что видимой мысли, она спряталась, а господин фон Пазенов промолвил мягко и мечтательно: "Тепло в коровнике". Госпожа фон Пазенов бросила испуганный взгляд на супруга: не слишком ли он сильно приложился к вину? Но господин фон Пазенов поднялся и прислушался к звукам, доносившимся из окна; если бы лампа отбрасывала свет не только на поверхность стола, то госпожа фон Пазенов непременно заметила бы испуганно-выжидательное выражение у него на лице, которое, впрочем, исчезло, как только удалось уловить звук шагов ночного сторожа по шуршащему граввию. Господин фон Пазенов подошел к окну, выглянул на улицу и позвал: "Юрген". И когда тяжелые шаги Юргена затихли под окном, господин фон Пазенов распорядился следить за амбарами: "Ровно двенадцать лет минуло с тех пор, как в такую же теплую ночь у нас на фольварке сгорел большой амбар". И когда Юр-

ген, получив в напоминание такое распоряжение, ответил: "Не волнуйтесь", случившееся для госпожи фон Пазенов снова вошло в рамки обычных и ничем не примечательных событий, ее вовсе не удивило и то, что господин фон Пазенов откланялся, чтобы иметь возможность написать еще одно письмо, которое должно уйти с утренней почтой. В дверях он обернулся еще раз: "Скажите, господин пастор, отчего у нас бывают дети? Вы должны это знать, у вас ведь есть опыт". И, хихикнув, быстро удалился, он был похож при этом на ковыляющего на трех лапах пса.

Оставшись с пастором, госпожа фон Пазенов сказала: "Я бываю совершенно счастлива, когда к нему иногда снова возвращается хорошее настроение. Ведь с тех пор, как от нас ушел наш бедный Гельмут, он постоянно пребывает в подавленном состоянии".

Август близился к концу, и театр снова распахнул свои двери. У Руцены появились теперь визитные карточки, в которых она была представлена как актриса, а Йоахиму пришлось уехать на учения в Верхнюю Франконию. Он был зол на Бертранда за то, что тот устроил Руцену на работу, которая в конечном счете была не менее сомнительной, чем предыдущее занятие в охотничьем казино. Естественно, и Руцене неплохо было бы предъявить претензии в том, что ее вообще угораздило заняться профессией такого рода, а еще больше ее матери — она так мало занималась воспитанием своей дочери. Но то, что он во всем этом стремился исправить, теперь разрушил Берtrand. Сейчас он, вероятно, злился даже сильнее, чем прежде. Ибо в казино все было однозначно, и да — это да, а нет — это нет; сцена же, напротив, имела свою собственную атмосферу; здесь встречаются почитание и цветы, а молоденькой девушке тут, как ни в одном другом месте, особенно трудно оставаться порядочной, что ни для кого не является тайной. Это же постоянное скольжение вниз, а Руцена не хочет этого понять, она даже гордится своей новой профессией и визитными карточками. С большой проникновенностью она рассказывает о закулисной

жизни и обо всех театральных сплетнях, о которых он ничего и слышать не желает, а в сумерках их совместной жизни стали теперь то и дело пробиваться огни рампы. Как же ему было верить, что он достигнет до нее или что она принадлежит ему, та, которая изначально потеряна для него. Он все еще искал ее, но театр нависал, словно какая-то угроза, и когда она с блеском в глазах рассказывала о любовных похождениях своих коллег, то он видел в этом угрозу и упорное стремление ее пробудившегося честолюбия сделать так же, как и они, он видел в этом возвращение Руцены к прежней жизни, которая вполне могла протекать почти так же; ведь человек всегда устремляется к своим истокам. Разрушенное счастье сумеречной беспечности, потерянная сладость печали, которая, едва обьяв сердце, приводит к проливанью слез, но и таит в себе блеск вечного погружения. Ну а теперь снова всплыли химеры, которые, как он полагал, были ему уже не страшны, он не искал больше в лице Руцены черты итальянского братца, а увидел, что там таится кое-что, может быть, и пострашнее, запечатленное нестираемыми чертами той жизни, из которой он никак не мог ее вырвать. И снова пробудилось подозрение, что тем, кто вызвал эти химеры, кто все предусмотрел, кто, подобно Мефистофелю, стремится все уничтожить и не пощадит даже саму Руцену, был Берtrand. Ко всему прочему добавились еще и эти учения; какой он найдет Руцену, вернувшись домой? И сможет ли он вообще ее найти? Они пообещали часто писать друг другу, каждый день; но у Руцены были трудности с немецким, и поскольку она в довершение ко всему гордилась своими визитными карточками, а он никак не решался разрушить эту ее прямо-таки детскую радость, почта часто доставляла ему всего лишь такую карточку с ненавистой надписью "актриса", где ее рукой было дописано: "Шлю свои губки", фраза, которая, казалось, разрушает нежность ее поцелуев. Правда, он был в высшей степени обеспокоен, когда как-то в течение нескольких дней не получал от нее никаких вестей, хотя он и уверял самого себя в том, что объяснение опозданиям почты кроется в особенностях полевой жизни; и он обрадовался, когда позже полу-

чил одну из этих неприятных карточек. Тут внезапно и неожиданно, словно воспоминание, возникла мысль о том, что Берtrand ведь тоже своего рода актер.

Руцена сильно тосковала по Йоахиму. Его письма были полны описаний полевой жизни, а также вечеров в маленьких деревушках, которыми он действительно мог бы наслаждаться, "если бы ты, милая, маленькая, сладкая Руцена была бы со мной". И когда он попросил ее в одно время с ним в девять часов вечера смотреть на луну, чтобы их взгляды могли встретиться там, наверху, то во время антракта она, как по команде, мчалась к дверям и смотрела на небо, даже если антракт приходился на половину десятого. У нее было ощущение, что ее все еще держит в объятиях тот весенний дождливый день и не отпускает; поток, накатившийся на нее тогда, отступал не спеша, и хотя воля девичья недостаточно сильна, да и нет у нее никаких возможностей для возведения дамбы, чтобы удержать сей поток, был еще все-таки тот воздух, которым она дышала и который все еще пропитан мягкой влагой. Хотя она и завидовала коллегам, получавшим в гардеробе цветы, но она жалела об этом, собственно говоря, лишь из-за Йоахима, которому в любовницы желала бы какую-нибудь прославленную диву. И если даже любящая женщина часто имеет ореол эротичности, который для многих вначале полон нежнейшего очарования, то все равно встречаются мужчины, которые преподносят жрицам свое поклонение, но иного рода и не с той целью, чтобы внимать столь тихому звуку. Так и случилось, что Руцена встретила Йоахима, который вернулся с учений в Берлин, равнодушнее, чем когда-либо раньше, они отпраздновали возвращение как победу, хотя им было все-таки известно, что последуют и поражения; но им ничего не хотелось об этом знать, и они укрылись в объятиях друг друга.

С того момента, как поезд отошел от перрона и они на прощание махали кружевными платочками, Элизабет все пыталась понять, любит ли она Йоахима. Ее охватило почти что ра-

достное умиротворение оттого, что то чувство, которое ей хотелось назвать любовью, принимало такие предельно осторожные и цивилизованные формы; чтобы его заметить, нужно было именно о нем думать, ибо это образование казалось столь легким и тонким, что видеть его можно было лишь на фоне серой скуки. Но тут мягкие очертания картины начали таять, потому как чем ближе они подъезжали к родным местам, тем интенсивней скуку начало вытеснять растущее нетерпение, и когда на вокзале они увидели поджидающего их барона с новой упряжкой, когда они наконец добрались до Лестова, где вынырнула на поверхность окаймленная вершинами парковых деревьев природа, предваряющая спокойную массивность въездных ворот, то тут их ожидал первый сюрприз: справа и слева от входа в парк были построены два новых домика для сторожей, так что дамы не смогли удержаться от восторженных возгласов удивления, и это было всего лишь прелюдией к тому многому, что им предстояло увидеть и пережить в ближайшие несколько дней, поэтому более чем понятно, что Элизабет ни о какой любви уже больше не думала. Ведь барон отсутствие обеих дам или, как он иногда их называл, двух своих женщин, уже в который раз использовал для того, чтобы произвести в доме всевозможные улучшения и усовершенствования, которые приводили их в восторг, а барону приносили множество слов похвалы и нежной благодарности. У них, конечно, были все основания гордиться своим разбирающимся в искусстве папочкой, который хотя и не обнаруживал излишнего уважения к настоящему и уже предполагал всевозможные переделки в старом господском доме, которые отнюдь не ограничивались бы лишь архитектурой, но никогда не забывал, что в доме на стенах всегда есть местечки, на которых хорошо смотрелась бы картина, есть уголок, который можно было бы украсить тяжелой вазой, буфет, который можно было бы накрыть бархатной скатертью с золотым шитьем, и он был человеком, у которого все задумки превращались в реальность. С момента женитьбы барон и баронесса стали собирателями, и постоянное оформление своего

дома стало для них возможностью сохранить навечно ощущения молодоженов, это произошло еще до того, как к ним присоединилась дочь. От Элизабет не ускользнуло, что страсть родителей дарить подарки к праздникам, отмечать дни рождения и постоянно выдумывать новые сюрпризы имела более глубокое значение и состояла в более прочной, хотя и не бросающейся в глаза взаимосвязи с радостью, можно даже сказать страстью, окружать себя все новыми и новыми вещами; Элизабет, правда, не знала, что каждый собиратель стремится к недостигнутому, недостижимому и все же неуклонно желаемому абсолютному совершенству своей коллекции, рвется посредством собранных вещей в бесконечность и что он, растворяясь в своей коллекции, питает надежду на достижение собственного совершенства и даже отмену собственной смерти. Элизабет не знала этого, но окруженная множеством всех этих красивых мертвых вещей, собранных и нагроможденных вокруг нее, обилием прелестных картин, она смутно предчувствовала все же, что картины, развешанные на стенах, должны их будто укрепить, что все эти мертвые вещи должны таить в себе что-то живое, может быть, таить и хранить что-то такое, к чему она сама была столь сильно привязана; иногда, когда вешали новую картину, у нее даже возникало ощущение, будто это маленький брат или сестра, нечто такое, что нуждалось в заботе и о чем родители заботились так, словно от этого зависело все их совместное существование; она смутно чувствовала страх, стоящий за всем этим, страх перед буднями, которые есть старение, и желание постоянно убеждаться — всякий раз переживая новый сюрприз, — что они рождены и живы и будут вместе навеки. Барон присоединял все новые участки земли к парку, темные густые насаждения которого были обсажены почти со всех сторон обширными полосами светлых и приветливых молодых посадок, и Элизабет казалось, будто он с почти женской заботливостью хочет превратить всю их жизнь в постоянно увеличивающийся огороженный парк, полный прелестных мест отдыха, и будто он только тогда окажется у цели и освободится

от всякого страха, когда парк этот охватит всю землю, цель — превратить самого себя в парк, где всегда могла бы прогуливаться Элизабет. Иногда, правда, в ней что-то противилось такому мягкому и неизбежному обязательству, но поскольку протест почти никогда не принимал четких очертаний, то он расплывался по солнечным контурам холмов, лежащих за оградой парка.

"Ах,— воскликнула баронесса, восхищаясь новой крытой аллеей в розарии.— Ах, как грациозно, она словно создана для жениха с невестой". Баронесса улыбнулась Элизабет, на лице отца тоже заиграла улыбка, но в их глазах четко просматривался страх перед грозящим и неизбежным, беспомощность, осведомленность о неверности и измене, которые заранее прощались, ибо и сами они грешили. Как это было грустно, что родители казались удрученными даже при одной мысли о будущем браке, и Элизабет гнала прочь от себя любую мысль о замужестве, гнала так далеко, что опять становилось почти позволительным с интересом прислушиваться, когда родители, словно делая ей одолжение, заводили разговор о возможном замужестве, словно в качестве признания, возводившего дочь в ранг взрослых, превращая ее почти в сестру матери, вероятно поэтому Элизабет вспоминала день свадьбы тетушки Бригитте, а когда мать нежно поцеловала ее в щеку, она поневоле восприняла этот поцелуй как прощальный: так тогда поцеловала ее мать свою сестру, поцеловала со слезами на глазах, хотя все уверяли, что очень счастливы и радовались новому молодому дяде. Но это, конечно, были дела давно минувших дней; вспоминать об этом — значит, вернуться в детство, и Элизабет, расположившись между родителями и обняв их за плечи, направила с ними к средней беседке крытой аллеи, где они присели. Розовые клумбы, разделенные узкими, симметрично проложенными дорожками, переливались всеми цветами и были полны ароматов. Барон печально проговорил, указывая на группу роз: "А там я посадил несколько кустов розы Манетти, но наш климат для них, должно быть, слишком суровый.— И,

словно намереваясь вернуть дочери таким обещанием некий долг, продолжил: — Если же все-таки мне повезет и они не погибнут, то тогда эти розы будут принадлежать Элизабет". Элизабет ощутила пожатие его руки, и для нее это был почти намек на то, что есть кое-что, что она, ухватив, не может достаточно прочно удержать, кое-что, о чем, может быть, хотелось думать, что это было время, сжатое и стиснутое, словно пружина часов, грозящая теперь выпрямиться, скользнуть между пальцами, стать протяженнее, пугающе длинная, тонкая белая полоска, которая начинает извиваться, выискивая, как овладеть тобой, словно свирепая змея,— и ты толстеешь, стареешь и становишься отвратительным. Вероятно, такое же ощущение возникло и у матери, потому что она сказала: "Когда однажды наш ребенок уйдет от нас, мы останемся сидеть здесь одни". Элизабет виновато пролепетала: "Я же ведь всегда буду с вами". Пролепетала, и ей стало стыдно, потому что она сама в это не верила. "Впрочем, я не понимаю, почему бы ей не жить потом со своим мужем вместе с нами",— предложила баронесса. Отец между тем отмахнулся: "Это еще не скоро будет". И Элизабет опять вспомнилась тетушка Бригитте, которая, растолстев, жила в Вюрбендорфе, бранила своих детей и сохранила столь мало общего со своей бывшей прекрасной фигурой, что невозможно было себе представить, какой она была, становилось даже как-то стыдно, что ее близость когда-то вызывала какие-то чувства. И это при том, что Вюрбендорф производил куда более светлое и приветливое впечатление, чем Штольпин, и все радовались, что приобрели в лице дяди Альберта нового молодого родственника. Возможно, к разворачиванию столь волнующих и прелестных событий привело появление нового родственника, а тетушка Бригитте вовсе не была причастна к этому. Если бы породниться со всеми людьми, то мир уподобился бы ухоженному парку, и привести нового родственника означало бы посадить в саду новый сорт роз. Неверность и измена стали бы тогда не столь тяжелыми преступлениями: Элизабет, должно быть, ощутила это уже тогда, когда так радо-

валась за дядю Альберта, и в море причиненных им несправедливостей это был, вероятно, тот маленький остров прощения, на котором спасались сейчас родители, поскольку о возможном замужестве дочери они говорили как о каком-то любезном подарке судьбы. Но баронесса не желала расставаться со своей мыслью; а поскольку жизнь состоит из откровенных компромиссов, она продолжила: "К тому же наш домик в Вестэнде будет всегда готов принять вас". Но рука Элизабет еще оставалась в ладони отца, и она ощутила ее пожатие. Элизабет не хотела и слышать о каком-либо компромиссе. "Нет, я остаюсь с вами", — упорно повторила она, и ей вспомнилось, с какой горечью ребенком она восприняла тот факт, что ей запретили спать в спальне родителей и она не могла уже больше прислушиваться к их дыханию; баронесса ведь часто и охотно вела разговоры о смерти, которая обычно подстерегает человека во сне, и когда она пугала этим своего супруга и Элизабет, то утром наступало блаженство оттого, что смерть не разделила их навеки, и каждый день снова и снова охватывало сильнейшее желание ухватиться за руки, вцепиться так, чтобы невозможно было их разнять. Точно так же сидели они и сейчас здесь, в крытой аллее, напоенной ароматом роз; выскочила маленькая собачка Элизабет и поприветствовал ее так, словно снова нашла ее, но теперь — навсегда, положила лапки ей на колени. Ветки роз выглядели упругими и прямыми на фоне зеленого сада и голубого неба. Никогда она не смогла бы приветствовать по утрам какого-нибудь чужака, будь он даже близким родственником, с той же радостью, никогда она не смогла бы думать о его дне рождения с той страстной и почти благоговейной проникновенностью, с какой встречает день рождения отца, никогда она не смогла бы обходиться с ним с тем непостижимым и все-таки возвышенным страхом, называемым любовью. И осознав это, она посмотрела на родителей ласковым взглядом, улыбнулась им и погладила по головке песика Белло, который преданно взирал на нее любящими испуганными глазами.

Позже стало скучно, и снова возникло слабое чувство протеста. Ей опять доставляли определенное удовольствие мысли об Иоахиме, перед глазами возникала его стройная фигура и то, как он в своем длинном угловатом форменном кителе стоял в легком поклоне на перроне. Но его облик странным образом перемешался с обликом тетушки Бригитте, в итоге она уже не могла понять, то ли Иоахим должен жениться на миловидной Бригитте, то ли она сама должна выйти замуж за молодого дядю из своего детства. Даже если она и знала, что любовь — это совсем не то, о чем поется в операх и повествуется в романах, то не вызывало все-таки никакого сомнения, что о Иоахиме она думает безо всякого страха; и когда она предавалась фантазиям, что отходящий поезд будто бы цепляет Иоахима за шпагу и того затягивает под колеса, то эта сцена наполняла ее скорее отвращением, чем сладостной печалью, тревогой и дрожью, с которыми она переживала за жизнь родителей. Когда она поняла это, то это было подобно отречению, которое в то же время воспринималось как небольшое, с привкусом печали облегчение. Тем не менее она решила при случае поинтересоваться у Иоахима, когда у него день рождения.

Иоахим приехал домой в Штольпин. По дороге с вокзала, как только они пересекли деревню и достигли первого поля, относящегося к имению, в нем неожиданно шевельнулось какое-то новое чувство; он попытался подыскать подходящие слова и нашел их: это принадлежит мне. Сойдя с повозки у господского дома, он уже был преисполнен новым ощущением родных мест.

Он сидел за столом с отцом и с матерью, и ограничиться дело одним лишь завтраком, то этого было бы более чем достаточно; ему доставляло удовольствие сидеть вот здесь, под размашистой липой, перед свежим и наполненным солнечным светом садом; добротное масло, мед и ваза с фруктами, все эти прелести приятно выделялись на фоне завтраков на скорую руку перед службой. Но обед и ужин, а также полдник с чашечкой

кофе превратились уже в пытку; и чем дольше тянулся день, тем тягостней становилось пребывание друг подле друга, и если утром родители радовались приезду так редко навещающего их сына, ожидая до этого день за днем его появления, словно он мог привнести в дом что-то хорошее и живительное, то течение дня, размечаемого приемами пищи, было поэтапным разочарованием, уже где-то к обеду Йоахим становился чуть ли не причиной обострения отношений между родителями; даже упование на почту, единственный просвет в монотонности будней, было принижено присутствием сына, и хотя старик, невзирая на все это, продолжал каждый день прогуливаться навстречу почтальону, но это было без малого актом отчаяния, почти что завуалированным требованием к Йоахиму, чтобы он в конце концов убирался отсюда прочь и присылал лучше письма. При этом казалось, что самому господину фон Пазенову известно, что он ждет чего-то совсем другого, чем письма от Йоахима, и что почтальон, навстречу которому он так осторожно крадется, вовсе не тот, у кого перекинута через плечо сумка.

Йоахим предпринимал слабые попытки сблизиться с родителями. Он навещал отца в украшенном оленьими рогами кабинете и интересовался урожаем, охотой, надеясь, вероятно, на то, что старик будет доволен тем, что Йоахим хотя бы в общих чертах последовал требованию "входить в курс дела". Но отец или забыл об этом требовании, или сам был не в курсе положения дел в имении, он с недовольным видом давал откровенно уклончивые ответы, а как-то даже прямо заявил: "Об этом тебе еще рано беспокоиться", и Йоахиму, пока что освобожденному от обременительного обязательства, поневоле вспомнилось то время, когда его упрятали в кадетскую школу, первый раз лишив родных мест. Но сейчас он вернулся и был полон ожидания своего собственного гостя. Это было приятное чувство, и содержало ли оно в себе всевозможные вариации чего-то враждебного по отношению к отцу, было непонятно и самому Йоахиму, да, он даже питал надежду на то, что родители будут довольны этой встряской их жизни, погружающейся во все боль-

шую скуку, и с таким же нетерпением, как и он, будут ожидать прибытия Бертранда. Он не противился тому, что отец перерывает всю его корреспонденцию, и когда она затем передавалась ему со словами: "Кажется, к сожалению, здесь по-прежнему нет весточки от твоего друга, приедет ли он вообще", Йоахим стремился уловить в них действительно сожаление, хотя звучали они для него как злорадство. Его терпению пришел конец лишь тогда, когда он увидел в руках отца письмо от Руцены. Но старик ничего не сказал, лишь вставил монокль в глаз и напомнил: "Тебе следовало бы уже съездить к Баддензенам, самое время". Намеревался ли отец его уколоть или нет, в любом случае этого было достаточно, чтобы настолько отбить у Йоахима охоту встречаться с Элизабет, что он снова и снова откладывал визит, хотя до сих пор у него перед глазами стояли ее фигура и развевающийся кружевной платочек, в нем, впрочем, все настойчивее теснилось желание, чтобы, когда он будет подъезжать к наружному крыльцу особняка в Лестове, на козлах экипажа рядом с ним обязательно бы сидел Эдуард фон Берtrand.

Но до этого дело не дошло, по крайней мере, пока не дошло, потому что в один из дней Элизабет со своей матушкой нанесли господину и госпоже фон Пазеновым довольно запоздавший визит соболезнования. Элизабет ощутила разочарование и в то же время какое-то облегчение оттого, что Йоахима случайно не оказалось в имении, она даже почувствовала себя немного обиженной. Расположились в малом салоне, и дамы узнали от господина фон Пазенова, что Гельмут погиб, защищая честь имени. Элизабет при этом пришло в голову, что в не таком уж отдаленном будущем она, может быть, тоже будет носить имя, за честь которого кто-то отдал свою жизнь, и в приливе гордости и радостного удивления она отметила про себя, что тогда господин и госпожа фон Пазеновы могли бы стать новыми родственниками. Разговор постоянно крутился вокруг этого печального события, и господин фон Пазенов сказал: "Так бывает, когда у тебя сыновья; они отдают свои жизни

во имя чести или за короля...— и добавил резко и с вызовом: — Глупо иметь сыновей". "Да, но дочери выходят замуж и вылетают из-под нашего крылышка,— возразила баронесса с понимающей улыбкой.— А мы, старики, в любом случае остаемся одни". Господин фон Пазенов не проронил в ответ на сказанное ни слова и не стал, как это полагалось бы, разуверять баронессу, что она никак не может быть причислена к числу стариков, какое-то время он сидел неподвижно с застывшим взглядом, а затем прервал молчание: "Да, остаемся одни, остаемся одни,— и после непродолжительного и, очевидно, напряженного размышления добавил: — Одни умирать". "О, господин фон Пазенов, давайте не будем размышлять о смерти,— ответила виновато, но кокетливым тоном баронесса.— Нет-нет, давайте не будем все время об этом думать; после дождя всегда проглядывает солнышко, дорогой мой господин фон Пазенов, и никогда не нужно об этом забывать". Господин фон Пазенов вернулся к реальности и снова обрел галантные манеры: "При условии, что солнышко приходит в наш дом в вашем лице, баронесса,— и, не дожидаясь реакции польщенной баронессы, продолжил: — Но как редко это бывает... дом пуст, даже почтальон и тот ничего не приносит. Я писал Йоахиму, но ответные письма — редкость: учения". Госпожа фон Пазенов с испугом возразила супругу: "Но... но Йоахим ведь здесь". В ее сторону метнулся злоющий взгляд: "А разве он писал? И где он сейчас?" И дело наверняка дошло бы до маленькой ссоры, если бы в птичьей клетке не взвился тоненький золотистый голосок гарцской канарейки. Поскольку они сидели вокруг клетки, словно вокруг фонтана, то на какую-то пару мгновений забыли обо всем на свете: казалось, этот золотистый голосок, скользя то вверх то вниз, обвивает их тоненькой ленточкой, объединяя во что-то такое, что дает понимание покоя и уюта как жизни, так и смерти; казалось, будто эта ленточка, будившая и обнадеживающая их, а потом снова возвращающаяся и сворачивающаяся у своего истока, лишала их речи, может быть, потому, что извивалась золотым орнаментом по комнате, а может быть, и пото-

му, что на какое-то мгновение смогла донести до их сознания то, что они составляют одно целое, и избавить от той ужасающей тишины, гул и безмолвие которой непроницаемым звучанием стоят между людьми стеной, через которую уже больше не пробивается человеческий голос. Теперь, когда пела канарейка, даже господину фон Пазенову удалось наконец избавиться от этого отвратительного безмолвия, и все были преисполнены чувством сердечного покоя, когда госпожа фон Пазенов предложила: "Не выпить ли нам теперь по чашечке кофе?" И когда они проходили через большой зал, окна которого были зашторены из-за жаркого полуденного солнца, никому как-то и не вспомнилось, что здесь в гробу на возвышении лежал Гельмут.

Затем появился Йоахим, и Элизабет снова испытала чувство разочарования, ибо она хранила в памяти его образ в форме, сейчас же он был одет в деревенский охотничий костюм. Они держались отчужденно и скованно, и даже когда они вернулись со всеми в салон, а Элизабет стала перед клеткой с канарейкой и просунула между прутьев палец, чтобы птица с негодованием поклевала его, даже тогда, когда она для себя решила, что в ее салоне — выйди она когда-нибудь замуж — всегда будет жить такая маленькая желтенькая птичка, даже тогда Йоахим и замужество уже больше не вязались в ее представлении во что-то единое. Но это ее не расстроило, а даже успокоило и значительно упростило ее отношение к нему, когда, прощаясь, они договорились, что в ближайшем будущем он заедет за ней для совместной прогулки. Перед этим, конечно, ему следовало бы нанести им визит.

Бертранду удалось наконец последовать приглашению Пазенова, и по дороге в имение он сделал промежуточную двухдневную остановку в Берлине. Само собой разумеющимся было то, что он хотел навестить Руцену: он сразу же отправился в театр и отослал свое приветствие с парой цветков в костюмерную. Руцена обрадовалась его визитке, ей было приятно полу-

чить цветы и льстило, что Берtrand будет дожидаться ее у входа. "Ну, маленькая Руцена, как дела?" И Руцена, постоянно сбиваясь, затараторила, что очень и очень хорошо, о, собственно говоря, не так уж и хорошо, она ведь так скучает по Йоахиму, но сейчас, конечно, хорошо, потому что она ужасно рада тому, что Берtrand, который является очень хорошим другом Йоахима, ее забирает. Когда они затем сидели за ужином и говорили о Йоахиме, Руцена, как это часто с ней случалось, внезапно загрустила: "Сейчас вы ехаете к Йоахиму, а я должна оставаться здесь; есть несправедливость на свете". "Ну, конечно, бывают несправедливости на свете, даже еще более великие, чем ты думаешь, маленькая Руцена,— им обоим показалось вполне уместным, что он сказал ей "ты".— В определенной степени меня привело сюда беспокойство о тебе". "Как понимать это?" "Да не в восторге я от того, что ты погрязла в этой театральной жизни". "Почему? Это же красиво". "С моей стороны было опрометчиво поддаться вашей просьбе... просто потому, что вы романтики, и одному Богу известно, что вы представляете себе под понятием "театр". "Не понимаю, что хотеть сказать". "Да ничего, маленькая Руцена, но то, что ты там останешься, исключено. К чему это в конце концов приведет? Что из тебя в конце концов получится, дитя мое? Ведь нужно же о тебе позаботиться, а с романтизмом в голове ни о ком не позаботишься". Она уже сама может позаботиться о себе, с гордостью и небрежностью сказала Руцена; ей никто не нужен, и он пусть уходит, а Йоахим, если он хочет ее бросить, пусть уходит тоже. "И вы, плохой человек, пришли сюда, другу только плохо делать". Она расплакалась, бросая сквозь слезы враждебные взгляды на Берtrанда. Было нелегко ее успокаивать, ибо она стояла на своем, что он плохой человек и плохой друг, который хочет испортить ей такой чудесный вечер. Потом она как-то сразу побледнела и устремила на него наполненные ужасом глаза: "Прислал вас сказать, что все?!" "Но, Руцена!" "Нет, можно десять раз говорить нет, я знаю, что это так, о, вы оба плохие. Сделать мне такой позор". Берtrand понял, что разум-

ными доводами тут ничего не добьешься; но, может быть, в ее бестолковом подозрении было хотя бы приблизительное представление о реальном положении вещей и об его безнадежности. Она выглядела беспомощной, словно маленький зверек, которого загнали в угол. Может, все-таки это и хорошо, что она имеет трезвый взгляд на будущее. Он просто отрицательно покачал головой: "Скажите, дитя мое, не могли бы вы на время, пока Йоахим в отъезде, уехать к себе на родину?" До нее же дошло только, что ее пытаются отправить отсюда. "Но, Руцена, кому это нужно, отправлять вас отсюда! А вместо того, чтобы убивать время одной в Берлине и в этом бессмысленном театре, не лучше ли было бы вам среди своих..." Она не дала ему договорить: "Нет никого, все плохие на меня... нет никого, и вы хотите отправлять меня отсюда". "Руцена, подумай, что ты говоришь; как только Пазенов снова окажется в Берлине, то и ты сможешь сразу же вернуться". Руцена его уже не слушала, она хотела уйти, не желая ничего больше знать. Но ему не хотелось так отпускать ее, и он призадумался над тем, как бы отвлечь ее от этих мыслей; наконец ему пришло в голову, что им неплохо было бы вместе написать письмо Йоахиму. Руцена сразу же согласилась; он распорядился принести бумагу и сверху написал: "Тепло и с благодарностью, вспоминая чудесный вечер, вам шлют сердечный привет Берtrand", а она добавила: "и много-много поцелуев Руцена". Она запечатлела поцелуй на бумаге, но слезы ее никак не иссыкали. "Это все",— повторяла она и потребовала, чтобы ее отвезли домой. Берtrand сдался. Дабы не оставлять ее в таком беспомощном состоянии, он предложил прогуляться. Чтобы ее успокоить— а слова оказались уже бесполезными,— он взял, как хороший заправский врач, ее руку; она благодарно и в поисках опоры слегка прижалась к нему, подала руку, едва заметно пожав ее. Она— маленький зверек, подумал Берtrand, но для прояснения ситуации заметил: "Руцена, я ведь плохой человек и твой враг". Но она в ответ не проронила ни слова. В нем поднялась какая-то легкая и все же нежная злость на спутанность ее мыслей, затем

она перешла на Йоахима, который взвалил на себя ответственность за Руцenu и ее судьбу, хотя у самого в голове была не меньшая путаница, чем у этой девушки. Может быть, из-за тепла ее тела, которое он ощутил, но на какое-то мгновение у него промелькнула злая мысль, что Йоахим заслуживал бы того, чтобы Руцена изменила ему с ним, но это не было серьезно, и вскоре он снова вернулся к тому благосклонному чувству, которое он, впрочем, всегда питал к Йоахиму. Руцена и Йоахим казались Берtrandу существами, которые всего лишь маленькой частичкой своего бытия подходили ко времени, в котором они жили, и к своему возрасту, а большая часть была где-то, может быть, на другой звезде или в ином времени или же просто в детстве. Берtrandу бросилось в глаза, что вообще так много людей из разных эпох живут одновременно и вместе, они даже одного возраста; может, вся беспомощность и трудность в том, чтобы умом понять друг друга; удивительно только, что вопреки всему этому существует что-то вроде человеческого сообщества и вневременного взаимопонимания. Вероятно, и Йоахима нужно просто погладить по руке. О чем он может и должен с ним говорить? Зачем она вообще нужна, эта поездка в Штольпин? Берtrand откровенно разозлился, но потом вспомнил, что хотел поговорить с Йоахимом о судьбе Руцены; это придавало визиту и потерянному времени немалый смысл, и, снова придя в хорошее расположение духа, он сжал руку Руцены.

Перед ее домом они простились, молча постояли пару мгновений напротив друг друга, и возникло ощущение, что Руцена ожидает еще чего-то. Берtrand улыбнулся и, прежде чем она успела подставить ему губы, поцеловал ее породственному в щеку. Она быстрым движением погладила его руку и попыталась ускользнуть домой; он задержал ее перед дверью: "Да, маленькая Руцена, завтра утром я уезжаю; что же мне передать Йоахиму?" "Ничего,— быстро и сердито ответила она, но затем опомнилась: — Плохой, но приду на вокзал". "Спокойной ночи, Руцена",— сказал Берtrand, и в душе опять шевельнулась слабая злость, он все еще ощущал на губах кожу

ее щеки, словно пушинку. Берtrand прошелся несколько раз по темной улице туда и обратно, поглядывая на дом Руцены: он ждал, что за одним из окон загорится свет. Но то ли свет у нее уже горел, но был слишком тусклым, чтобы его заметить, то ли окна комнаты выходили во двор — Иоахим мог бы позаботиться и о лучшей квартирке! — короче, Берtrand ждал напрасно, и по прошествии какого-то времени, рассматривая дом Руцены, Берtrand решил, что этим дань романтизму уплачена изрядно, прикурил сигару и направился домой.

Пол в гостиных был выложен паркетом, а полы в комнатах для гостей на втором этаже просто натерты мастикой, большие доски из светлого мягкого дерева отделены одна от другой планками чуть более темного цвета. Очевидно, мощными были стволы, из которых некогда выпилили эти доски, и хотя древесина была довольно мягкой, все равно безупречные размеры досок и правильность формы свидетельствовали о благосостоянии бывших господ. Стыки между планками и досками были тщательно подогнаны, и там, где они позже из-за высыхания дерева разошлись, их так тщательно заделали клиньями, что почти ничего не было заметно. Мебель, скорее всего, изготовил деревенский плотник, вероятно, еще в те времена, когда по этой местности прошли наполеоновские войска; по крайней мере, такая мысль приходила в голову, потому что мебель отдаленно напоминала тот стиль, который называют ампир, впрочем, вполне может быть, что она была чуть старше или моложе, ибо выпуклостью своих форм она выпадала из прямолинейности той эпохи. Здесь стояли трюмо, зеркало которого в высшей степени неожиданно было разделено вертикальной деревянной планкой, комоды, которые избытком или нехваткой ящиков противоречили чистой архитектонике. И хотя вся эта мебель была расставлена вдоль стен почти беспорядочно, и кровать бессмысленнейшим образом стояла между двух дверей, и большая белая изразцовая печь была втиснута наискось в угол между двумя шкафами, все же эта меблированная комната произво-

дила впечатление покоя и уюта, приветливой она казалась, когда солнце просвечивало сквозь белые занавески, а рамы окон отражались в блестящей полировке мебели. И возможно, украшающее комнату большое распятие на стене над кроватью не рассматривается больше как украшение или как обыкновенная деталь внутреннего убранства, а воспринимается так, как воспринималось, когда его вешали сюда: ночной страж и напоминание для гостя о том, что он проживает в доме христианской общины, в доме, который хорошо заботится о плотском преуспевании, из которого позволительно в веселой компании съездить на охоту, вернуться обратно, чтобы покутить за охотничьей трапезой с ее обильными винными излияниями, в доме, в котором охотнику не возбранялось отпустить крепкую соленую шутку и где в те времена, когда уже была готова мебель для этой комнаты, все еще закрывали глаза на то, что кому-то приглянулась служанка, но где тем не менее считалось само собой разумеющимся, что гость, даже если он и сильно переутомился от вина, будет к вечеру иметь возможность подумать о своей душе и раскаяться в грехах. И это соответствовало такому суровому образу мыслей, что висящая над диваном, обтянутым зеленым репсом, строгая и безвкусно выполненная на стали гравюра "Мать Гракхов" будила у многих посетителей воспоминания о королеве Луизе: на ней была изображена высокая женщина в античном одеянии; о королеве напоминал не только ее костюм, но и алтарь, заставляя задуматься над алтарем отчизны. Конечно, большинство охотников, ночевавших в этой комнате, вели мирскую жизнь, действуя энергично там, где просматривалась выгода и удовольствие, не стесняясь продавать торговцам с большим риском для себя урожай или свиней, предаваясь варварским охотам, в ходе которых устраивались чуть ли не массовые бойни Божьих тварей, а многие из охотников были очень даже падки на женскую плоть, но поскольку они воспринимали тот барски греховный образ жизни, который вели, как дарованные Богом права и привилегии, то были все же готовы в любой момент пожертвовать собой ради чести от-

чизны и во славу Господа, а если же они бывали не в состоянии сделать это, то готовность смотреть на жизнь, как на нечто второстепенное и едва достойное упоминания, была столь сильна, что ее греховность почти ничего не значила. И они чувствовали себя свободными от любого греха, когда продирались в утреннем тумане сквозь тихо потрескивающий подлесок или когда вечером взбирались по узкой крутой лестнице на охотничью вышку, где все еще шныряли муравьи, и всматривались через кустарник в чащобу леса, и когда до них доносился влажный запах травы и дерева, а по сухим балкам охотничьей вышки пробегал муравей, чтобы затеряться в коре, тогда могло случиться, что в их душах, хотя они и были людьми, которые прочно и уверенно стояли на ногах, пробуждалось нечто, звучащее подобно музыке, и жизнь, которую они прожили и которую им еще предстояло прожить, сжималась так сильно в единственное мгновение, что они будто навеки ощущали руку матери, лежащую на их детской головке, и перед ними уже возникало то, что более уже не было отделено от них ни зазором времени, ни пространством, то, чего они и не боялись: смерть. Затем все деревья вокруг могли превратиться в дерево распятия, ибо нигде магическое и земное не переплетается так тесно, как в сердце охотника, и когда на краю поляны появляется олень, тогда все еще ждут облегчения и жизнь по-прежнему кажется лишенной временных рамок, мгновенной и вечной, сконцентрированной в собственной руке, так что выстрел, уносящий чужую жизнь, становится словно символом и необходимостью милостиво спасти свою собственную. Охотник всегда подстраивается так, чтобы в рогах оленя увидеть крест, и облегчения ради цена убийства не кажется ему слишком высокой. Соответственно этому он и поступает, возвращается с обильной охотничьей трапезы в свою комнату, чтобы еще раз поднять взор к распятию, дабы хоть издали задуматься о вечности, составляющей которой есть его жизнь. И перед лицом этой вечности чистота плоти является, может быть, ненамного весомей греховности земной жизни, на столике для умывания стоит таз, миниатюр-

ность которого находится в странном противоречии с формами охотника и масштабами его жизни, да и кувшин вмещает в себя куда меньше воды, чем охотник в состоянии выпить вина. И узкий ночной столик рядом с кроватью, который обеспечивает посуде место в виде закрытого ящика, кажется на фоне кровати слишком маленьким. Охотник занимает этот столик своими вещами и с шорохом забирается в кровать.

В этой уже несколько поколений назад прекрасно подготовленной для нужд охотников комнате и разместили Бертранда по его прибытии в Штольпин.

К необычным впечатлениям, которые остались в памяти Бертранда после пребывания в Штольпине, относился и образ старого господина фон Пазенова. В первый же день сразу после завтрака старый господин потребовал, чтобы Берtrand сопровождал его во время прогулки и осмотрел имение. Было безветренное ненастное утро, но тишину нарушали глухие ритмичные удары молотильного цепа, которые доносились с двух токов. Казалось, что эта ритмичность доставляет удовольствие господину фон Пазенову: несколько раз он останавливался и постукивал своей тростью в такт ударам. Затем он спросил: "Не хотите ли посмотреть коровник?" Он направился к вытянутому низкому строению, но посреди двора вдруг остановился и покачал головой: "Не пойдет, коровы-то на пастбище". Берtrand вежливо осведомился, какую породу он разводит; господин фон Пазенов вначале уставился на него так, словно бы не понял сути вопроса, затем, пожав плечами, ответил: "Не все ли равно". Он повел гостя со двора; вокруг небольшой лощины, где находились строения имения, простирались холмы, поле примыкало к полю, и везде полным ходом шла уборка урожая. "Все относится к имению", — сказал господин фон Пазенов, с гордостью обводя тростью вокруг. В одном из направлений его поднятая рука застыла; Берtrand посмотрел, куда указывала трость, и в глаза ему бросился шпиль деревенской церкви, возвышающийся за холмами. "Там почта", — разъяснил ему

господин фон Пазенов и направился в деревню. Было угнетающе душно; за ними постепенно затихали удары молотилки и в неподвижном воздухе раздавались лишь шипящие звуки косыбы, звон отбиваемых кос, шуршание бросаемых снопов. Господин фон Пазенов остановился: "Вам когда-нибудь бывало страшно?" Берtrand был удивлен, но вопрос этот его почеловечески тронул: "Мне? О, часто". Господин фон Пазенов с интересом приблизил к нему лицо: "А когда вам бывает страшно? Когда тихо?" Берtrand заметил, что здесь что-то не так: "Ну, тишина иногда бывает просто великолепной; в этой тишине, висящей над полями, я ощущаю себя прямо-таки счастливым". Господин фон Пазенов остался недоволен и даже разозлился: "Вы ничего не понимаете...— А мгновение спустя: — У вас были дети?" "Насколько мне известно — нет, господин фон Пазенов". "Ну что ж, тут уж ничего не поделаешь,— господин фон Пазенов посмотрел на часы, и взгляд его скользнул вдоль дороги; затем покачал головой: "непонятно"; потом снова обратился к Берtrandу: — Так когда же вам, собственно говоря, бывает страшно?" Но ответа он дожидаться не стал, а снова посмотрел на часы: "Он бы должен быть уже здесь...— Затем он пристально посмотрел на Берtrанда: — Вы сможете мне иногда писать письма, когда будете совершать свои путешествия?" Берtrand утвердительно закивал головой; он сделает это охотно, и господин фон Пазенов, казалось, остался этим очень доволен. "Да, да, вы только напишите, меня интересует, мне интересно многое... и напишите мне также, когда же вам бывает страшно... но его все еще нет, вы сами видите, никто мне не пишет, даже мои сыновья..." Тут вдали показалась фигура человека с черной сумкой. "Ах, вот он!" Припадая на трость, господин фон Пазенов припустил со всех ног своей прямолинейной походкой и, достигнув расстояния слышимости до идущего навстречу человека, разразился бранью: "Где тебя так долго носило? Сегодня ты ходил на почту в последний раз... Ты уволен, понятно, уволен!" С покрасневшимся лицом господин фон Пазенов размахивал перед носом почтальона тростью, в то

время как тот, давно, очевидно, привыкнув к таким встречам, спокойно снял с плеча сумку и передал ее своему господину, который тут же достал из жилета ключ и начал открывать ее трясущимися руками. Охваченный нервной дрожью, он распахнул почтовую сумку, но когда извлек оттуда всего лишь пару газет, то возникло ощущение, что приступ ярости может повториться, ибо он, не говоря ни единого слова, ткнул содержимое сумки почтальону под самый нос. Но старик, очевидно, все-таки отдавал себе отчет в том, что рядом с ним стоит гость. "Ну вот, вы видите сами...— пожаловался он и швырнул их обратно в сумку, закрыл ее на ключ и, направляясь дальше, заявил: — Мне придется, наверное, перебраться в этом году в город; здесь для меня слишком тихо".

Когда на землю упали первые капли дождя, они уже дошли до самой деревни, и господин фон Пазенов предложил переждать непогоду в доме у пастора. "Вам в любом случае придется с ним познакомиться",— добавил он. Старик сильно разочлился, когда они не застали пастора дома, а жена его к тому же сказала, что ее супруг в школе, на что господин фон Пазенов резко ответил: "Кажется, вы полагаете, что старому человеку можно говорить все, что заблагорассудится, но я пока еще не настолько стар, чтобы не соображать, что в школе сейчас каникулы". "О, так ведь никто и не утверждает, что пастор в школе ведет занятия, к тому же он вот-вот должен вернуться домой". "Отговорки все",— проворчал господин фон Пазенов, но жену пастора не так-то легко было сбить с толку, и она пригласила господ присесть, а сама между тем позаботилась о том, чтобы на столе появилось вино. Когда она вышла из комнаты, господин фон Пазенов наклонился к Берtrandу: "Он с удовольствием спрятался бы от меня, потому что знает, что я все, абсолютно все вижу". "А что же вы видите, господин фон Пазенов?" "Как что? То, что он совершенно невежественный и ни на что не годный пастор, конечно. Но, к сожалению, я, несмотря на все это, вынужден поддерживать с ним хорошие отношения. Здесь в деревне все повязаны друг с другом и..."— он

помедлил, а потом тихо добавил: — Даже гроб здесь находится под его покровительством". Вошел пастор, и Берtrand был представлен ему как друг Йоахима. "Да, кто-то уходит, а кто-то приходит", — задумчиво проговорил господин фон Пазенов, и для присутствующих осталось непонятным, должен Берtrand расценивать этот намек на Гельмута как дружественный жест или же как грубость. "Да, а это наш теолог", — продолжил представление господин фон Пазенов, в то время как теолог в ответ на это выдал жалкое подобие улыбки. Жена пастора поставила на стол немного ветчины и вино, а господин фон Пазенов быстренько пропустил один стаканчик. Пока остальные сидели за столом, он стал возле окна, выстукивал по стеклу в такт звукам молотилки и поглядывал на облака с таким видом, словно никак не мог дожидаться, когда же можно будет уйти. Застыв у окна, он тем не менее вмешался в вяло текущий разговор: "Скажите, господин фон Берtrand, приходилось ли вам когда-либо встречать ученого теолога, который ну ничего не знает о потустороннем мире?" "Господину фон Пазенову угодно снова пошутить", — испугано ответил на это пастор. "Не будете ли вы столь любезны, чтобы сказать нам: чем же в таком случае должен отличаться слуга Господа от нас, остальных людей, если он не имеет никакой связи с потусторонним миром? — Господин фон Пазенов повернулся, зло и пристально уставился через свой монокль на пастора. — И если он учился этому, относительно чего я, впрочем, испытываю сомнения, то какое он имеет право скрывать это от нас?.. от меня, скрывать от меня! — Голос его слегка задрожал. — От меня, меня... он же сам говорил, от отца, которому выпали такие испытания". Голос пастора звучал тихо: "Лишь Бог один может открыть вам это, господин фон Пазенов, вы должны все-таки когда-нибудь поверить в это". Господин фон Пазенов пожал плечами: "А я и верю в это, да-да, я верю, примите это к сведению... — Через какое-то мгновение, повернувшись к окну, снова пожал плечами: — Не все ли равно", — и уставился, продолжая барабанить по стеклу, на улицу. Дождь утих, и господин фон Пазенов скомандовал:

"Ну что ж, теперь мы можем откланяться.— Прощаясь, он пожал пастору руку: — Не заглянете ли к нам еще... к ужину? Наш юный друг будет с нами". Они ушли. На деревенской улице стояли лужи, но в поле было снова почти что сухо; дождь продолжался недолго, только чтобы размыть трещины в сухой земле. Небо было еще подернуто легкой белесой дымкой, но уже ощущалось, что вот-вот из-за туч выглянет гжучее солнце. Господин фон Пазенов хранил молчание и в разговоры с Берtrandом не вступал. Лишь однажды он остановился и, приподняв трость, наставительно изрек: "С этими Божьими учеными следует держать ухо востро. Запомните это".

Утренние прогулки стали регулярными, а как-то к ним присоединился и Йоахим. В тот раз старик был угрюм и молчалив, он оставил даже попытки выведать что-либо о страхе Берtrandа. Он имел обыкновение ставить свои вопросы в завуалированной и трудно понятной форме, а теперь и вовсе замолчал. Йоахим, правда, тоже был не слишком словоохотлив. Он ведь не мог спросить о том, что ему хотелось узнать от Берtrandа и что тот, без сомнения, должен был бы ему рассказать. Так, втроем, каждый углубленный в себя, брели они по полю, отец и сын были очень недовольны тем, что Берtrand не смог удовлетворить их любопытство и не оправдал их ожиданий. Берtrand, надо отдать ему должное, изо всех сил пытался поддерживать разговор.

Если вначале Йоахим откладывал свой визит в Лестов потому, что предполагал нанести его в обществе Берtrandа, то сейчас причиной того, что он снова откладывал поездку, было какое-то приглушенное недовольство присутствием Берtrandа, но в нем таилась неопределенная надежда, что все — если только Берtrand пожелает говорить — будет так хорошо и просто, что ему захотелось обязательно взять его с собой в Лестов. Но поскольку Берtrand в своем застывшем молчании действовал разочаровывающе на сей соблазн, о котором он, впрочем, ничего не знал, то Йоахиму пришлось в конце концов принять

решение, и он поехал один. В Лестов он отправился во второй половине дня на повозке с большими колесами, аккуратно, как положено, обернув ноги накидкой, держа кнут перед собой, поводья плотно облегли его руки в коричневых перчатках. Отец при отъезде проронил: "Ну, наконец-то", и Иоахима эти слова настроили резко против фантастического проекта с жеманщицей. Впереди показался шпиль церкви соседней деревни; это была католическая церковь, и она напомнила ему о римско-католическом вероисповедании Руцены; Берtrand рассказал ему о Руцене. Не было ли самым верным решением просто прервать это бессмысленное пребывание в имении и, не мудрствуя лукаво, поехать к ней? Он начал ощущать, что все здесь ему опротивело; отвратительной была пыль на дороге, отвратительными были пыльные привядшие листья выстроившихся вдоль дороги деревьев, свидетельствующие о приближающейся осени. С приездом Берtrandа он снова заскучал по форме: два человека в одинаковой форме — это безлико, но это военная служба; два человека в одинаковых гражданских платьях — это бесстыдно, это выглядит так, словно они братья-близнецы; бесстыдной казалась ему и длина гражданского платья, оставившего открытыми ноги и брюки. Элизабет должно было бы удивить то, что ей приходится созерцать мужчин в коротких пиджаках свободного покроя, из-под которых выглядывают брюки — характерно, что такие мысли ему ни разу не приходили в голову, когда он бывал с Руценой, — но для этого визита ему следовало бы надеть форму. Широкий белый галстук с подковообразной шпилькой закрывал почти весь вырез жилетки; это было хорошо. Он потрогал его и убедился еще раз, что галстук сидит правильно. Не зря же покойникам в гробу закрывают нижнюю половину тела покрывалом. По этой дороге на Лестов ездил и Гельмут, наносил визиты Элизабет и ее матери, и эта дорожная пыль просочилась к нему в могилу. Не оставил ли брат ему в наследство Элизабет? Или Руцену? Или даже Берtrandа? Берtrandу следовало бы отвести комнату Гельмута, а не поселять в этой одинокой комнате для гостей; правда, это

было бы не совсем уместно. Вся ситуация напоминала какой-то роковой механизм, который срабатывал как-то сам собой, именно поэтому он казался роковым, даже более роковым, чем механизм службы. Между тем ему пришлось отвлечься от мыслей, за которыми вполне могло таиться нечто ужасное, поскольку он уже свернул в деревню и должен был следить за играющими детьми; сразу же за деревней он въехал между двумя домиками садовника, расположенными справа и слева от ворот, в парк.

"Я очень рад, что наконец-то могу приветствовать вас в нашем доме, господин фон Пазенов", — сказал барон, принимая его в гостиной. Когда Йоахим рассказал ему о госте, из-за которого все откладывал визит, барон слегка пожурил его, что он не прихватил его с собой. Йоахим теперь и сам мучился сомнениями; конечно, это не было проступком; но когда вошла Элизабет, он пришел к заключению, что все-таки поступил верно, решив приехать один. Он нашел ее очень красивой, о, вне всякого сомнения, Берtrand не смог бы с этим не согласиться, и в ее присутствии Берtrandу не удалось бы выдерживать тот непринужденный тон, который был ему свойственен. Йоахиму ведь хотелось пережить это подобно тому, как хочется услышать в церкви бранное словечко или даже поприсутствовать на казни.

Чай подали на террасу, и у Йоахима, сидевшего рядом с Элизабет, возникло ощущение, что не так давно ему уже приходилось переживать такую ситуацию. Но только когда это было? Со времени его последнего визита в Лестов прошло без малого три года, была поздняя осень, и вряд ли было возможным сидеть тогда на террасе. Но когда он еще больше углубился в эти размышления и возникло впечатление, будто в доме тогда зажигали огни, то эта немного странная взаимосвязь довела его до абсурдности и все оказалось каким-то запутанным, потому что его сообщник Берtrand — Йоахима немного покорило от этого слова "сообщник", — потому что сообщник и свидетель его интимных отношений с Руценой чуть не стал свидетелем

его встречи с Элизабет! Как он должен был вообще представлять его ее родителям? Вновь возникло ощущение того, что он обречен попадать из-за Бертранда в неловкие ситуации, и тут же внезапно его охватило чувство стеснения: после чая ему придется вставать в своем гражданском платье; он охотно оставил бы салфетку на коленях, но все уже поднялись и направились в парк. Когда стали видны хозяйские постройки, барон высказал предположение, что Пазенов, вероятно, вскоре вернется к сельскому хозяйству; по крайней мере, так давал понять старый господин фон Пазенов. Йоахим, который ощутил новый прилив протеста против попытки отца определить его жизнь, охотно бы ответил, что даже и не думает о том, чтобы возвращаться в отцовский дом; но, конечно, было бы непозволительно говорить что-либо в таком роде; это не совсем отвечало бы обстоятельствам, в том числе и его вновь обретенной привязанности к родным местам, именно поэтому он просто ответил, что нелегко оставить службу, особенно теперь, когда он вот-вот должен стать ротмистром. Не так просто оставить полюбившуюся карьеру, будь это даже из-за традиций, в основе которых — человеческие чувства; лучшее тому доказательство — его друг, господин фон Берtrand, который, невзирая на некоторые свои успехи, в целом все же хотел бы вернуться в полк. И слово за слово, он начал рассказывать о сделках Бертранда по всему миру, о его дальних поездках, и, почти что по-мальчишески, он окружил его таким ореолом эдакого путешественника-исследователя, что дамы не могли удержаться от того, чтобы не выразить свою радость от скорого знакомства с таким интересным человеком. Тем не менее у Пазенова возникло впечатление, будто они все побаиваются, но не Бертранда, а той жизни, какую он ведет, ибо Элизабет как-то притихла и высказала мнение, что совершенно невозможно себе представить, будто у тебя есть брат или еще какой-нибудь близкий родственник, который обитает где-то на краю света, он так далеко затерян в этом мире, что невозможно даже с уверенностью сказать, где он находится. Барон согласился, что такую жизнь позволитель-

но вести только человеку, у которого нет семьи. Моряцкая жизнь, добавил он. Но Йоахим, которому не очень хотелось оставаться в тени своего друга — он ведь здесь ощущал себя его представителем,— рассказал также, что Берtrand побуждал и его к тому, чтобы записаться на колониальную службу, на что баронесса ответила очень строго: "Вы не можете так огорчить своих бедных родителей". "Нет,— добавил барон,— вы слишком привязаны к родной земле". И Йоахиму было приятно услышать такое. Они повернули обратно и, сопровождаемые собачками Элизабет, снова оказались на большой лужайке перед домом. Трава стала влажной, то тут, то там поблескивали капельки росы, в доме уже зажгли светильники: ведь вечера становились короткими.

Уже совсем стемнело, когда Йоахим возвращался домой. Последнее, что он видел в доме Элизабет, ее силуэт на террасе; она сняла прогулочную шляпку, и ее очертания выделялись в сумерках угасающего дня на фоне еще светлого неба, по которому протянулась красноватая полоса. Отчетливо просматривался узел ее тяжелых волос на затылке, и Йоахим спросил себя, почему он находит эту девушку такой красивой, такой красивой, что хочется выбросить из своей головы сладострастность Руцены? И все же он тосковал по чувственности Руцены, а не по чистоте Элизабет. Почему Элизабет была такой красивой? Вдоль дороги возвышались темные стволы деревьев, пыль казалась влажной, словно в пещере или в подвале. А на западе на темнеющем небосводе над холмистым ландшафтом все еще виднелась красноватая полоса.

В тот же день, когда Йоахим наносил свой визит в Лестов, сразу же после его отъезда господин фон Пазенов поднялся по лестнице на второй этаж и постучал в дверь к Берtrandу: "Я должен все-таки как-нибудь и вам нанести визит...— и далее с хитрым заговорщицким видом: — Мне удалось отправить его отсюда... это было нелегко!" Берtrand отпустил несколько любезностей: он-де, не почел бы за труд спуститься вниз. "Нет,—

ответил господин фон Пазенов,— форма должна быть соблюдена. Но после чая мы могли бы немного погулять. Я должен с вами кое-что обсудить". Он на какое-то мгновение присел, дабы этим запечатлеть форму визита, но вскоре со свойственным ему беспокойством оставил комнату, однако, едва успев закрыть за собой дверь, вернулся снова: "Я просто хотел посмотреть, все ли у вас есть из того, что вам нужно. В этом доме ни на кого нельзя положиться". Он прошелся по комнате, задержал взгляд на картине, осмотрел также пол и затем выдал дружеским тоном: "Ну что ж, значит, за чаем".

Они закурили сигары, прошли через парк, пересекли огород, где уже созревали овощи, и вышли в поле. Господин фон Пазенов был в откровенно хорошем настроении. Навстречу им шла с поля группа жниц. Чтобы разойтись с господами, они выстроились по краю поля гуськом и, проходя мимо, здоровались. Господин фон Пазенов не преминул заглянуть каждой из них в лицо и, когда все они гуськом продефилировали мимо, сказал: "Статные девушки". "Польки?" — спросил Берtrand. "Естественно, то есть скорее всего большинство — да, ненадежный сброд". "Красиво здесь", — подумал Берtrand, он, собственно говоря, завидовал каждому сельскому хозяину. Господин фон Пазенов похлопал Берtrandа по плечу: "Могли бы тоже иметь". Берtrand отрицательно покачал головой; ну, все не так просто, к тому же для этого нужно быть соответственно воспитанным. "Уж я бы об этом позаботился", — ответ сопроводила доверительная улыбка. Старик замолчал, а Берtrand терпеливо ждал. Но, казалось, господин фон Пазенов забыл, что он, собственно, намеревался ему что-то сказать, поскольку мысль его обрела словесную форму лишь по истечении довольно длительной паузы: "Конечно, вы должны писать мне... часто, да.— Затем: — Если вам когда-нибудь придется жить здесь, то мы не будем больше бояться; оба мы не будем больше бояться... не так ли?" Он положил свою руку на предплечье Берtrandа и полными страха глазами посмотрел на него. "Да, господин фон Пазенов, но почему мы должны бояться?" Господин фон Пазенов был удивлен: "Но ведь вы говорили...— он

установился неподвижным взглядом перед собой.— Но впрочем все равно..." Господин фон Пазенов остановился, повернулся и показалось, что он хочет вернуться домой. Затем он опомнился и повел Бертранда дальше. Спустя некоторое время раздался вопрос:

"Вы уже были у него?"

"?"

"Ну, у склепа".

Берtrand почувствовал себя немного неловко, но в атмосфере этого дома и вправду ни разу не представилось повода для того, чтобы высказать желание сходить на могилу. Когда он собрался с силами и отрицательно ответил на этот вопрос, то на лице господина фон Пазенова расплылась счастливая улыбка: "Ну, тогда нам есть что наверстывать". И словно это был радостный сюрприз для гостя, показал тростью на кладбищенскую стену, возвышавшуюся перед ними. "Отправляйтесь туда, а я подожду вас здесь,— распорядился он, но поскольку Берtrand медлил, господин фон Пазенов с упрямым недовольством стоял на своем: — Нет, я не пойду с вами туда". Он довел Бертранда до ворот, над которыми золотыми буквами отливала надпись "Мир праху твоему". Берtrand вошел на кладбище, соблюдая приличия провел некоторое время у склепа и вернулся обратно. Господин фон Пазенов прохаживался откровенно нетерпеливой походкой вдоль кладбищенской стены: "Вы были возле него?.. Ну и?.." Берtrand пожал ему руку, но господин фон Пазенов, по-видимому, не нуждался в соболезновании, он хотел что-то услышать, даже подался всем телом, словно пытаясь помочь, но поскольку это не возымело результата, он вздохнул: "Он погиб, защищая честь имени... да, а Иоахим между тем наносит визиты". Рука с тростью снова вытянулась, на этот раз — в направлении Лестова. Он закончил свою мысль позже и при этом хихикнул: "Я отправил его на смотрины невесты.— И это словно напомнило ему, что он хотел все-таки кое-что обсудить с Бертрандом: — Верно ли мне говорили, что вы по делам много путешествуете?" "Да, это так, впрочем — всего лишь по своим узко специальным делам",— ответил Бер-

транд. "Ну, для нашего дела этого должно хватить. Знаете ли, дорогой друг, сейчас мне, естественно, нужно посоветоваться, поскольку он опустил, — господин фон Пазенов сделал паузу и затем с важностью добавил: — Дела наследства". Берtrand подумал, что господину фон Пазенову наверняка нужен доверенный нотариус, который сможет оказать ему содействие в этом, но господин фон Пазенов не слушал: "Йоахим, женившись, себя обеспечит; можно было бы лишить его наследства". Он снова засмеялся. Берtrand попытался сменить тему разговора и показал на зайца: "О, скоро, господин фон Пазенов, вам в очередной раз можно будет пожелать удачной охоты". "Да, да, на охоту ему, наверное, еще будет позволено ходить, на ней он все еще может понадобиться... мы должны его пригласить, да? Конечно, он должен нам написать; его пора уже проучить, не так ли?" Поскольку господин фон Пазенов засмеялся, то Берtrand, как неприятно он себя ни чувствовал, тоже улыбнулся. Он немного даже рассердился, что Йоахим оставил его этому человеку; но как же bestолково ведет себя этот Йоахим, оставляя впавшего в детство старика в таком настроении. Этот несчастливец позвал его для того, чтобы он привел его дела в порядок? И Берtrand сказал: "Да, да, господин фон Пазенов, уж нам придется заняться его воспитанием". И это было как раз то, что так хотелось услышать старику. Он схватил Берtrand под руку, внимательно следя за тем, чтобы они шли в ногу, и не отпускал его руку даже тогда, когда они вернулись в имение. Невзирая на спустившиеся сумерки, они прогуливались по двору, пока не подъехал Йоахим. Когда Йоахим спрыгнул с повозки, господин фон Пазенов сказал: "Представляю тебе, мой друг, господина фон Берtrand. — И слегка пренебрежительно поведя рукой, весело добавил: — А это мой сын... вернулся со смотрин". В воздухе начал улавливаться запах коровника, и господин фон Пазенов чувствовал себя прекрасно.

"Ее ведь не назовешь красивой, — сказал себе Берtrand, рассматривая Элизабет, сидевшую за роялем, — рот слишком велик, а на этих устах запечатлена бросающаяся в глаза мяг-

кая, но почти что злая чувственность. Но улыбка ее очаровательна".

Это был музыкальный вечер с чаепитием, на который пригласили Йоахима и Бертранда. Старый сосед по имени и бедно одетый учитель составили Элизабет компанию при исполнении трио Шпора¹, и Йоахиму показалось, что это благодаря Элизабет серебристые хрустально чистые капли звуков фортепьяно опускаются в коричневый бархатный поток звучания двух струнных инструментов. Он любил музыку, хотя и не очень хорошо в ней разбирался, но теперь был уверен, что понял ее смысл: музыка была чем-то таким, что чисто и непорочно витало над всем остальным, словно на серебристом облаке, что роняло прозрачные прохладные капли с Божественной высоты на грешную землю. Может, она существовала только для Элизабет, хотя и Берtrand, а это было известно Йоахиму еще с кадетской школы, немного играл на скрипке. Нет, впечатление, что Берtrand находится под впечатлением музыки в исполнении Элизабет, отсутствовало. Он просто ушел от ответа на вопрос о своей игре на скрипке, отмахнувшись небрежно рукой. По дороге домой он не нашел ничего лучшего, чем сказать: "Если бы она только играла не этого ужасно скучного Шпора!" Как цинично!

Договорились совершить совместную прогулку; Йоахим с Берtrandом заехали за Элизабет. Йоахим был на лошади Гельмута, которая снова стала его собственностью. Они галопом пронеслись по жнивью, где еще стояли снопы, а затем мелкой рысью свернули на узкую лесную дорогу. Йоахим пропустил гостя с Элизабет вперед, и когда он ехал за ними, то ему показалось, что она в своем длинном черного цвета костюме для верховой езды еще выше и стройнее, чем обычно. Он охотно обратил бы внимание на что-нибудь иное, но она сидела на лошади не совсем безупречно, и это мешало ему; она держа-

¹ Людвиг Шпор (1784—1859) — немецкий скрипач, дирижер, педагог и композитор.

лась, слишком сильно наклонившись вперед, и когда поднималась и опускалась в такт рыси, касаясь седла и снова вздымаясь над ним, вверх и вниз, ему вспомнилось их прощание на вокзале, его опять охватило презренное желание жаждать ее как женщину, вдвойне презренное с тех пор, как отец, а тут еще и Берtrand говорили о смотринах. Но, наверное, еще ужасней было то, что родители Элизабет, даже ее собственная мать, желали видеть в нем объект любовных вожелений дочери, предлагали его ей, все вместе убеждали ее, что вполне позволительно испытывать чувство любовного вожеления, что оно придет и ни в коем случае не обманет ее ожидания. За этим, правда, таилось еще что-то более древнее, более глубинное, какое-то расплывчатое представление, о котором Йоаким ничего не желал знать, хотя во рту у него пересохло, а лицо пылало; было расплывчато и тем не менее возмутительно, что можно было заподозрить Элизабет в таких вещах, он испытывал чувство стыда перед Элизабет, и ему было стыдно за нее. Может, уступить ее Берtrandу, подумал он и забыл, что этим он совершил тот же грех, который он только что и с таким негодованием отверг. Но внезапно все как-то потеряло значение, внезапно стало казаться, что Берtrанда это вовсе и не касается: он был таким женственным со своими вьющимися волосами, словно сестра, сестринской заботе которой, может быть, все-таки можно верить Элизабет. Это, конечно, был обман, но на какое-то мгновение он успокаивал. А почему ее, собственно говоря, считают красивой? Он начал рассматривать то вздымающуюся вверх, то опускающуюся вниз фигуру, центр тяжести которой постоянно касался седла. Тут он обнаружил, что не красивым, а скорее всего уродливым является то, что вызывает желание; однако он отбросил эту мысль, и в тот момент, когда перед его глазами замаячила сцена прощания на вокзале, мыслями своими он умчался к Руцене, множество несовершенств которой делали ее столь очаровательной. Он позволил лошади перейти на шаг, чтобы увеличилось расстояние между ним и теми двумя впереди, и достал из нагрудного кармана послед-

нее письмо от Руцены. Бумага испускала аромат духов, которые он подарил, и Иоахим вдыхал аромат не приведенной в порядок интимности их совместных встреч. Да, его душа была там, туда стремился он, воспринимал себя добровольно ушедшим из общества, вернее — изгнанным, ощущал себя недостойным Элизабет. Берtrand был почти что его сообщником, но руки его были чище, и когда Иоахим это осознал, то понял также, почему, собственно говоря, Берtrand постоянно помогает ему и Руцене, ведет себя словно некий дядюшка или даже врач и не раскрывает собственные тайны. Но никто не в состоянии их скрыть; правильно, все это было так, и именно поэтому теперь было позволено и желательно тому впереди скакать рядом с Элизабет, тот был тоже недостоин, но все же был лучше тебя самого. Иоахим вспомнил о Гельмуте. И ему как будто захотелось, чтобы, по крайней мере, лошадь Гельмута была рядом с ней — он припустил лошадь рысью. Копыта лошадей мелко перебирали по мягкой лесной земле, и когда они попадали на сучок, раздавался резкий треск разламывающегося дерева. Приятно поскрипывала кожа седла и повевало прохладой из сумрачной листвы.

Он догнал их на краю вытянутой поляны, которая заканчивалась на невысоком холме. Прохладу леса словно отрезало, и над травой ощущались припекающие лучи солнца. Элизабет пыталась стеком разогнать насекомых, облепивших кожу ее лошади, и животное, знавшее дорогу, все-таки вело себя беспокойно, ибо ожидало, что его вот-вот пустят галопом по поляне. Иоахим ощущал свое преимущество над Берtrandом: могут ли его дела иметь такой размах, в конторе вряд ли учатся тому, как преодолевать препятствия. Элизабет указала на живую изгородь, через которую она обыкновенно перемахивала, упавший ствол дерева, канаву. Сложными эти препятствия не были. Грума оставили на краю поляны; Элизабет понеслась первой, а Иоахим снова поскакал последним, и не из вежливости, а потому лишь, что хотел посмотреть, как будет прыгать Берtrand. Поляну еще не косили, и трава тихо, но резко хлестала лоша-

дей по ногам. Элизабет преодолела вначале канаву; это был пустяк, потому и не удивительно, что Берtrand тоже перемахнул через нее. Но когда Берtrand в красивом прыжке преодолел и живую изгородь, Йоахим откровенно разозлился; ствол дерева был слишком легким препятствием, чтобы возлагать на него какие-либо надежды. Конь Йоахима, стремившийся догнать остальных лошадей, пустился вскачь, и Йоахиму приходилось натягивать поводья, чтобы сохранить дистанцию. Приблизился ствол дерева; Элизабет и Берtrand перемахнули через него легко, почти — элегантно, Йоахим для разгона ослабил поводья. Но перед самым прыжком конь внезапно затормозил — почему, Йоахиму непонятно до сих пор, — споткнулся о ствол дерева, свалился на бок и прокатился по траве. Это произошло, естественно, очень быстро, и когда те двое впереди обернулись, Йоахим, держа в руках поводья, которые он так и не отпустил, мирно стоял рядом со своей лошадкой перед стволом дерева. "Что случилось?" Да это и ему неизвестно; он осмотрел животное, оно припадало на переднюю ногу, нужно было отвести его домой. "Перст Божий", — подумал Йоахим: не Берtrand, а он упал, и было правильно и справедливо, что он должен был теперь удалиться и оставить Элизабет Берtrandу. Когда Элизабет предложила ему взять лошадь ее груга, а слугу отправить с хромящей лошадкой домой, Йоахим под впечатлением Божьего возмездия расстроено отказался. В конце концов, это все-таки лошадь Гельмута, и доверять ее можно не каждому. Шагом он направился домой и по дороге решил как можно скорее вернуться в Берлин.

Они ехали рядом по лесной дороге. Хотя груг следовал за ними на небольшом расстоянии, Элизабет охватило чувство, словно Йоахим бросил их, оставил одних, и это чувство было наполнено каким-то тоскливым ожиданием. Может быть, она ощутила взгляд Берtrанда, скользнувший по ее лицу. "Какие странные у нее уста, — сказал себе Берtrand, — а глаза лучатся чистотой, которую я так люблю. Она должна быть хрупкой и

очаровывающей, но в то же время — утомительной любовницей. Ее руки слишком длинны для женщины, худые и тонкие. Она будто чувственный подросток. Но она очаровательна". Дабы прервать это томительное ожидание, Элизабет завела разговор, начало которому, впрочем, было положено чуть раньше: "Господин фон Пазенов много рассказывал нам о вас и ваших дальних путешествиях".

"Правда? А мне он много рассказывал о вашей несравненной красоте".

Элизабет не ответила.

"Вы не рады этому?"

"Я не люблю, когда говорят об этой так называемой красоте".

"Но вы очень красивы".

С уст Элизабет слетело что-то не совсем понятное: "А я не относилась к тем, кто любит приударить за женщинами".

Она умнее, чем я предполагал, подумал Берtrand и ответил: "Это столь нелюбимое вами слово ни в коем случае не слетело бы с моих уст, если бы я хотел оскорбить вас. Но я не приударяю за вами; просто вы и сами прекрасно знаете, как вы красивы".

"В таком случае зачем вы мне это говорите?"

"Потому что я вас больше никогда не увижу".

Элизабет посмотрела на него с удивлением.

"Конечно, вам может не нравиться, когда говорят о вашей красоте, поскольку вы ощущаете за всем этим не что иное, как предложение руки и сердца. Но если я уезжаю и больше никогда не увижу вас, то, рассуждая логически, речь не идет о предложении моей руки и сердца вам, и я имею полное право говорить вам самые приятные вещи".

Элизабет не смогла сдержать улыбку: "Это ужасно, что приятные вещи позволительно просто вот так выслушивать от совершенно чужого человека".

"Просто вот так совершенно чужому человеку можно их, по крайней мере, доверить. А в доверительности изначально кроется зародыш неискреннего и ложного".

"Если бы это было действительно так, то это было бы ну просто ужасно".

"Да так оно и есть, но именно поэтому это далеко не так ужасно. Доверительность — это самый хитрый и в то же время самый распространенный способ предложения руки и сердца. Вместо того чтобы просто сказать вам, что вас жаждут, потому что вы красивы, первоначально коварно втираются к вам в доверие, чтобы подчинить — в определенной степени незаметно для вас — своей воле".

Элизабет задумалась на какое-то мгновение, потом сказала: "Не прячется ли что-либо насильственное в ваших словах?"

"Нет, ибо я уезжаю... чужому позволительно говорить правду".

"А я побаиваюсь всего чужого".

"Потому что вы полностью в его власти, Элизабет. Можно, я буду вас так называть?"

Они молча плечом к плечу ехали дальше. Затем она нарушила молчание, затронув самую суть: "Чего вы, собственно говоря, хотите?"

"Ничего".

"Но тогда ведь все это лишено смысла".

"Я хочу того же, что и любой, кто предлагает вам руку и сердце, и поэтому говорит, что вы красивы, но я более искренен".

"Мне не нравится, когда мне предлагают руку и сердце".

"Может быть, вы просто не любите неискренность в оформлении всего этого".

"Вы пока что еще не искреннее других".

"Я уеду".

"И о чем же это свидетельствует?"

"Помимо всего прочего просто о моей застенчивости".

"?"

"Предложить женщине руку и сердце, предложить, как говорят, ей свои услуги в качестве двуногого существа, а так оно и есть — это бесстыдный поступок. Так что вполне может быть,

если не скорее всего, что именно поэтому вы не любите все эти предложения руки и сердца”.

“Я не знаю”.

“Любовь, Элизабет, это что-то абсолютное, а если возникает необходимость выразить абсолютное словами, то это всегда превращается в пафос, потому что сие невозможно доказать. А поскольку все это до ужаса земное, то пафос всегда так смешон, смешон господин, опускающийся на колени, чтобы вы согласились ублажить его разнообразные пожелания; когда любишь, следует избегать всего этого”.

Он что же, хочет этим сказать, что он ее любит? Когда он замолчал, она вопросительно посмотрела на него; казалось, он понял это.

“Просто существует действительный пафос, и имя ему — вечность. А поскольку положительной вечности не бывает, то, стало быть, она — отрицательная и называется “никогда-больше-не-встречаться”. И если я сейчас уезжаю, то это — навечно; потом вы будете вечно далеки от меня, и я могу сказать вам, что я люблю вас”.

“Не говорите столь важных вещей”.

“Может быть, это великая чистота чувства заставляет меня так говорить с вами. А может быть, в том, что я вынуждаю вас выслушивать такие монологи, присутствует какая-то доля ненависти и неосознанной зависти, ревности, может быть, потому что вы остаетесь и продолжаете жить здесь...”

“Неужели ревности?”

“Увы, ревности и даже немножко высокомерия. Потому что я не свободен от желания уронить в колодец вашей души камешек, чтобы он стал неотъемлемой ее частью”.

“Значит, и вы хотите втереться в доверие ко мне?”

“Не исключено. Но еще сильнее желание, чтобы этот камешек послужил вам когда-нибудь талисманом”.

“Когда же?”

“Если на колени перед вами опустится тот, к кому я вас уже сейчас ревную и кто предложит вам этим устаревшим жестом

свою физическую близость, тогда воспоминание о той, скажем так, асептической форме любви могло бы подтолкнуть вас к тому, чтобы вы вспомнили, что за каждым идеализируемым жестом в любви кроется еще большая грубость".

"Вы это говорите всем женщинам, от которых уезжаете?"

"Неплохо было бы говорить это всем, но я как-то в основном уезжаю до того, как дело доходит до этого".

Элизабет задумчиво рассматривала гриву своей лошади. Затем она сказала: "Не знаю, но мне все это кажется каким-то странно неестественным и необычным".

"Когда вы думаете о продолжении рода человеческого, тогда это, конечно, неестественно. Но находите ли вы более естественным тот факт, что однажды вы, вследствие нелепой случайности, познакомитесь с каким-нибудь мужчиной, который сейчас где-то живет, что-то ест и пьет, занимается своими делами и который потом при удобном случае скажет, как вы красивы, и для этого опустится на колени, и вы после улаживания определенных формальностей будете иметь с этим господином детей, разве вы находите это естественным?"

"Прекратите наконец, это же ужасно... это отвратительно".

"Да, это ужасно, но не потому, что я говорю это, намного ужаснее ведь то, что вы скорее всего можете и уже почти что готовы пережить это, а не только слушать".

Элизабет пыталась сдержать слезы; она выдавила из себя: "Ну почему, ради всего святого, почему я должна выслушивать все это... я ведь прошу вас, прекратите".

"Чего вы боитесь, Элизабет?"

Она тихим голосом проговорила: "Я и без того испытываю такой страх".

"Но перед чем?"

"Перед чужим человеком, перед другими, перед тем, что грядет... я не могу это выразить. В моей душе таится смутная надежда, что то, что однажды должно прийти ко мне, будет мне таким же близким, как и все, что мне дорого и близко сейчас. Мои родители ведь тоже относятся сюда. Но они хотят лишиться меня этой надежды".

"Вы не хотите говорить о будущем, потому что боитесь опасности. Не лучше ли было бы вас все-таки расшевелить, чтобы из-за усталости, из-за традиций, из-за неизвестности ваша судьба не исчезла, словно река в пустыне, не припала до неузнаваемости пылью, не утекла, будто вода между пальцами, или я не знаю что еще... Элизабет, я хочу вам только добра".

Элизабет опять затронула самую важную струну, когда произнесла тихо и медленно, преодолевая себя: "Почему тогда вам не остаться?"

"Меня ведь занесло к вам волею случая. Останься я, это было бы той неожиданностью для ваших чувств, от которой мне хотелось бы вас предостеречь; немного более асептическая неожиданность, но все-таки неожиданность".

"Но что же мне делать?"

"На это можно дать предельно простой отрицательный ответ: ничего, что не может положительно восприниматься даже самыми последними фибрами вашей души. Только тот, кто свободно и раскованно следует велению своих чувств и своего естества, может достичь осуществления своих грез — простите мне этот пафос".

"И никто не поможет мне".

"Нет, вы одиноки, настолько одиноки, каким бывает человек на смертном одре".

"Нет, это неправда. Неправда то, что вы говорите. Я никогда не была одинокой, и мои родители не были. Вы говорите это, потому что сами жаждете одиночества... или потому, что вам доставляет радость мучить меня..."

"Элизабет, вы так красивы, для вас осуществление грез и совершенство заключены, может быть, уже в вашей красоте. Как я могу мучить вас? Но все это правда, и она еще хуже".

"Не мучайте меня".

"Где-то там в каждом из нас таится надежда на то, что немножечко эротики, дарованной нам, могло бы навести эти мосты. Остерегайтесь пафоса эротики".

"От чего вы снова и снова хотите предостеречь меня?"

"Весь пафос направлен на то, чтобы пообещать таинство и сдержать обещание чисто механически. Мне бы хотелось, чтобы вас миновала такая любовь".

"Вы очень бедны".

"Потому что я демонстрирую пустые карманы? Остерегайтесь тех, кто их прячет".

"Нет, не так, я чувствую, что вы достойны большего сострадания, чем другие, даже чем те другие, которых вы имеете в виду..."

"Опять я должен вас предостеречь. В таких делах никогда не давайте волю своему состраданию. Любовь из сострадания ничем не лучше продажной любви".

"О!"

"Да-да, Элизабет, вы не хотите слышать. Но только, говоря иначе, тот, кто грешит из сострадания, предьявляет затем самый безжалостный счет".

Элизабет бросила на него почти враждебный взгляд:

"А я вам вовсе и не сострадаю".

"Но и смотреть на меня таким сердитым взглядом тоже не стоит, хотя ваше сострадание, возможно, справедливо".

"Почему?"

Бертранд ответил после небольшой паузы: "Послушайте, Элизабет, этой искренности тоже следует положить конец. Я неохотно говорю такие вещи, но я люблю вас. Я констатирую это со всей серьезностью и искренностью, на которые только можно быть способным, когда речь идет о чувствах. И я знаю, что и вы могли бы меня полюбить..."

"Да прекратите же ради всего святого..."

"Почему? Я ни в коем случае не переоцениваю это смутное состояние чувств, не буду впадать и в патетическую риторику. Но ни один человек в мире не может избавиться от той безумной надежды на то, что он еще сможет отыскать некий мистический мостик любви. Но и поэтому тоже я должен уехать. Существует просто один-единственный истинный пафос, пафос расстояния, боли... если стремятся сделать мостик крепким, то

следует его чем-нибудь оградить, чтобы никто не смог на него ничего взгромоздить. Если же..."

"О, ну прекратите же!"

"Если же все-таки необходимость становится сильнее того, что вам добровольно противопоставляют, если напряжение неопишуемой тоски становится столь острым, что грозит распловинить мир, тогда существует надежда, что на фоне беспорядка случая, пошлой и сентиментальной меланхолии, механической и невольной доверительности выделятся судьбы отдельных людей.— И он продолжил так, словно беседовал уже не с Элизабет, а с самим собой: — Я уверен, и это мое глубочайшее убеждение, что только путем пугающего преодоления отчужденности, лишь тогда, когда она будет, так сказать, отправлена в бесконечность, сможет превратиться в свою противоположность, в абсолютное познание и будет в состоянии распусться пышным цветом то, что молчит перед вами — недостижимая цель любви — и без чего любовь просто невысказана, так и только так возможно возникновение таинства единения. Медленным привыканием друг к другу и завоеванием доверия его достичь невозможно".

По щекам Элизабет текли слезы.

Он тихо промолвил: "Мне бы не хотелось, чтобы тебе в жизни встретишься и чтобы тебя мучила иная любовь, чем такая, в последней и недостижимой форме. И случись это не со мной, я не поверил бы, что можно так ревновать. Но мне больно, я ревную и теряю рассудок, когда думаю о том, что ты достанешься дешевому человеку. Ты плачешь, потому что совершенное для тебя недостижимо? Тогда, пожалуй, есть от чего плакать. О, как я люблю тебя, как мне хочется погрузиться в твою отчужденность, как бы мне хотелось, чтобы ты была единственной и предопределенной..."

Они молча, плечом к плечу, продолжали свой путь; лошади выехали из леса, и полевая дорога, спускаясь вниз, вывела их к деревенской улице, на которую им пришлось свернуть, чтобы добраться до дома. Перед тем как ступить на пыльную дорогу,

которая светлой полосой тянулась под солнцем и подернутым белесой дымкой небом, он попридержал свою лошадь и сказал то, что мог еще сказать, не выезжая из тени деревьев, голос его звучал тихо, он словно бы прощался: "Я люблю тебя... и это чудо". Оставаться теперь рядом друг с другом на этой сухой, прокаленной солнцем дороге казалось им невозможным, и она была ему очень признательна, когда он остановился и сказал: "Теперь я должен пуститься вдогонку за нашим пострадавшим наездником...— и тише: — Прощай". Она протянула ему руку, он наклонился к ней и повторил: "Прощай". Она не проронила ни слова, но когда он развернул лошадь, чтобы уезжать, она позвала: "Господин фон Берtrand!" Он повернул голову; она, помедлив, сказала: "До свидания". Она охотней бы произнесла "прощай", но тогда ей это показалось каким-то неуместным и театральным. Когда через какое-то время он обернулся, то уже не мог различить, какая из двух фигур была Элизабет, а какая — грум; они были уже слишком далеко, да и солнце слепило глаза.

Слуга Петер стоял на террасе господского дома в Лестове и бил в гонг, что означало время приема пищи, это правило было учреждено и введено баронессой после того, как она со своим супругом побывала в Англии. И хотя слуга Петер обслуживал инструмент уже несколько лет, он все еще немного стеснялся поднимать этот детский шум, особенно потому, что звуки долетали до деревенских улиц и уже успели обеспечить ему прозвище Барабанщик. Поэтому бил он в гонг очень сдержанно, извлекая из него лишь несколько приглушенных звуков, которые катились по замкнутой тишине парка, превращаясь в нечто плоское и немзыкальное, издающее жестяной отзвук, который с тонким позваниванием затихал.

Проезжая медленным шагом по полуденной деревенской улице, Элизабет слышала, как слуга Петер тихо бил на террасе в гонг, напоминая, что пора переодеваться к обеду. Невзирая на это, она не прищипорила коня, и не будь она так глубоко по-

гружена в размышления, то наверняка бы заметила, что сегодня, может быть, первый раз в жизни она ощутила какое-то внутреннее сопротивление общности обеденного стола, и возвращение в прекрасный умиротворенный парк через вход между двумя домиками сторожа привели ее в сильно подавленное состояние. Душу никак не отпускало беспокойное чувство тоски о чем-то далеком, вместе с тоской в голове крутилась абсурдная мысль, вдвойне абсурдная в такой полуденной жаре, что Берtrandу не подходит этот слишком сырой климат и поэтому он, постоянно спасаясь бегством, снова и снова должен откланиваться и уезжать. Звуки гонга затихли. Во дворе она спешилась с лошади, грум попридержал стремяна, и быстрым шагом направилась в дом; перекинув шлейф через руку, она поднималась по лестнице вверх обычным путем, пребывая тем не менее словно во сне. Ее охватила какая-то приятная решимость познать эту слегка печальную радость, самой взять собственную судьбу в руки и распоряжаться ею; но это все не смогло зайти очень далеко, оно застыло в мыслях о том, а что бы сказали родители, если бы она появилась за столом в костюме для верховой езды. И Йоахим фон Пазенов был бы одним из тех, кого мог бы шокировать такой поступок. Тявкая, промчалась по ступенькам вниз собачка Белло, машинально Элизабет отдала ей стек, но у нее не вызвала улыбку та гордость, с какой собачонка понесла его в будуар, Белло так послушно возложил стек к ее ногам, благоговейно взирая на госпожу, словно бы он нашел исполнение своих желаний и совершенство в ее красоте. Элизабет не погладила его, а подошла к зеркалу, долго всматривалась в него, не узнавая себя, она видела просто узкий черный силуэт, казалось, словно зеркальное отражение да и она сама застыли в какой-то неподвижности, которая лишь тогда начала медленно таять, когда вошла горничная, чтобы помочь — это входило в круг ее обязанностей — расстегнуть костюм для верховой езды. Но когда служанка присела перед ней, чтобы снять сапоги, и вытянутая ступня выскользнула с легким прохладным ощущением из лакированной

трубки, а ее худенькая нога в черном шелковом чулке оказалась на коленях служанки, она снова попыталась отыскать в зеркале ту ускользнувшую картину, что была подобна мимолетному приближению к кому-то, кто где-то живет и кто когда-нибудь, может быть, опустится перед ней на колени. Стек все еще лежал там, на ковре. Элизабет попробовала представить себе, что на вокзале стоит Берtrand, в длинной угловатой форме, сбоку — шпага и что отходящий поезд может его зацепить. В этом представлении была какая-то злобная радость и в то же время — удушающий и никогда ранее не испытываемый страх. Она сидела с запрокинутой головой, зажав ладонями виски, словно такой позой хотела освободиться от довлеющей воли нежелаемого порыва. "Ведь ничего же не произошло", — проговорило что-то в ней, но она не поняла смутного напряжения, которое тем не менее казалось столь странно очевидным, что его можно было уловить, наверное, даже по словам: мир раскалывается. Это, конечно, было не так уж и очевидно, но пограничная черта была проведена, и распалось то, что когда-то было единым, этот мир замкнутого, и родители оказались по ту сторону черты. За этим таился страх, тот страх, от которого родители хотели ее защитить, словно бы от этого зависело их совместное существование: то, чего боялись, сейчас вторглось в их жизнь, удивительно потрясающе и напряженно, но, увы, оно оказалось совсем не страшным. Чужому можно было просто сказать "ты"; и это было все. И этого было так мало, что Элизабет почти что стало грустно. Она решительно поднялась; нет, она не поддастся какой-то там пошлой и сентиментальной меланхолии. Она направилась к зеркалу и привела в порядок прическу.

У основания большой лестницы в раме из эбенового дерева висел гонг из бледно-желтого латунно-бронзового сплава, украшенный мелким китайским орнаментом. Оригинальное изделие, приобретенное бароном в Лондоне. Слуга Петер держал в руках палочку с мягким кожаным набалдашником серого цвета, он посматривал на часы и ждал. С момента первого сигнала

прошло четырнадцать минут, и когда стрелка часов достигнет пятнадцатой минуты, то слуга Петер нанесет по бронзовой тарелке три ненавязчивых удара.

III

Несколько дней спустя Берtrand, поднявшись из-за стола, где он вместе со всеми завтракал, извинился, затем нашел Йоахима и сообщил ему, что, к большому сожалению, его требуют к себе дела и уже следующим утром он должен уехать. В первое мгновение Йоахим ощутил облегчение: "Я еду с вами,— сказал он и с благодарностью посмотрел на Берtrandа, который, очевидно, отказался от Элизабет. И чтобы показать ему, что и он со своей стороны отказался, Йоахим с облегчением добавил: — Я не знаю, что может меня здесь удерживать".

Он отправился к отцу сообщить об этом решении. Но господин фон Пазенов насторожился и недоверчиво с привычной уже нескромностью спросил: "Как это возможно? Ведь с позавчерашнего дня не было никаких писем". Насторожился и он. Да, как это возможно? Что должно было подтолкнуть Берtrandа к отъезду? И с горечью, что такие вопросы делают его соучастником отцовской нескромности, всплыло и видение радостной победы: Берtrand собирает свои вещички потому, что Элизабет любит его, Йоахима фон Пазенова. Впрочем, как раз и невозможно было себе представить, чтобы кто-то мог решиться так быстро, можно сказать — в мгновение ока, объясниться с дамой. Правда, для делового человека, который имеет виды на богатую наследницу, все возможно. Но углубиться в дальнейшие размышления ему не удалось, ибо лицо старика внезапно приобрело какое-то странное выражение: он рухнул в кресло за письменным столом, уставился неподвижным взглядом перед собой и пробормотал: "Скотина, скотина... он нарушил свое слово". Затем он перевел взгляд на Йоахима и заорал: "Убирайся вон, ты с твоим другом-чистоплюем... интриговал с

ним". "Но, отец!" "Вон отсюда, убирайся". Он вскочил на ноги и почти вплотную приблизился к сыну, который попятился к двери. И каждый раз, когда тот пытался остановиться, он вытягивал голову вперед и шипел: "Убирайтесь". И когда Йоахим оказался в коридоре, старик захлопнул дверь, но затем снова распахнул ее и высунул голову: "И скажи ему, чтобы он и думать не смел писать мне. Скажи ему, что больше мне это не нужно". Дверь снова захлопнулась, и Йоахим услышал, как в замке повернулся ключ.

Йоахим нашел мать в саду; она не очень удивилась: "Он всегда скуп на слова, но в последние дни он, кажется, сильно настроен против тебя. Я думаю, он обижается, что ты еще не оставил службу. Тем не менее, странно это". Когда они вернулись домой, она добавила: "Может, он чувствует себя оскорбленным еще и потому, что ты сразу же привез сюда гостя; я думаю, будет лучше, если я одна вначале загляну к нему". Он проводил ее наверх: дверь в коридор была заперта, и на ее стук никто не ответил. В этом было что-то неладное, и они направились к большому салону, потому что все-таки оставалась возможность того, что отец мог выйти из своей комнаты через другую дверь. Пройдя вереницу пустых комнат, они добрались до рабочего кабинета и нашли его незапертым; госпожа фон Пазенов открыла дверь, и Йоахим увидел отца, который неподвижно сидел за столом, держа в руке перо. Он не пошевелился и тогда, когда госпожа фон Пазенов подошла поближе и наклонилась к нему. Старик так сильно нажимал пером о бумагу, что оно сломалось; а на бумаге стояло: "Я по причине бесчестья лишаю наследства мое...", затем следовала брызнувшая из сломанного пера чернильная клякса. Госпожа фон Пазенов изумилась: "О Боже, что случилось?..", но он не отвечал. Она беспомощно смотрела на него, пока не заметила, что опрокинута чернильница, впопыхах она схватила пресс-папье и попыталась промокнуть им разлитую жидкость. Он оттолкнул ее локтем, а затем, увидев в дверях Йоахима, слегка ухмыльнулся и попробовал писать дальше сломанным пером. Когда он снова

зацепил пером за бумагу и разорвал ее, то застонал и, показывая указательным пальцем на сына, закричал: "Этот там, вон". Он попытался подняться, но это, очевидно, ему не удалось, потому что он сразу же сполз вниз и, не обращая внимания на разлитые чернила, упал на письменный стол, обхватил голову руками, словно плачущий ребенок. Йоахим прошептал матери: "Я побежал за врачом". Он поспешил вниз, чтобы отправить гонца в деревню.

Пришел врач и уложил господина фон Пазенова в кровать. Он дал ему бром и завел разговор о курсе водолечения; конечно, смерть сына имела следствием все-таки нервный приступ. Да, это был банальный диагноз врача, который многого не объяснял. За этим таилось нечто большее, и не могло быть случайностью, что споткнулся конь Гельмута, это было словно первое напоминание, и сейчас, когда так хотелось готовиться к триумфу над Берtrandом, сейчас, когда Элизабет ради него с презрением отвергла Берtrandа, а он намеревается нарушить верность Берtrandу и Руцене, чтобы внешне исполнить волю отца, сейчас вот нужно было, чтобы обрушилась эта болезнь. Соучастник, предающий соучастника и по праву обвиняемый отцом в том, что он интригует с Берtrandом! Теперь что же, вся сеть снова должна распасться, предательство должно раствориться в контрпредательстве? И Берtrand, должно быть, снова присвоит себе Руцену, демонстрируя таким образом отцу, что он уже более не сообщник его сына, утоляя таким образом свою жажду мести за то, что Элизабет с презрением отвергла его! И во всех тех грязных и отвратительных подозрениях, с которыми Йоахим смотрел теперь на отъезд Берtrandа в Берлин, видел он лишь то, что его собственный отъезд отодвигается на неопределенный срок, и это мучило его куда больше, чем переживания о больном отце. Смятение растворилось, чтобы слиться с новым замешательством. Было ли это волей отца, когда он настаивал на его поездке в Лестов? При всем этом загадочным оставалось то, что произошло между отцом и Берtrandом. Может быть, это прояснилось бы, если бы он мог рассказать Бер-

транду немного о путанных намеках отца, но ему пришлось ограничиться только тем, что он сообщил ему о внезапной болезни старика. Он попросил описать Руцене положение дел; впрочем, скоро он в любом случае наведается в Берлин на несколько дней: продлить отпуск и тому подобное. Да, сказал Берtrand, когда Йоахим провожал его к поезду, да, а что, собственно говоря, может случиться с Руценой? Конечно, будем надеяться на скорое выздоровление господина фон Пазенова, но, невзирая на это, пребывание Йоахима в Штольпине становится все более и более необходимым. "Неплохо было бы,— высказал он свое мнение,— найти ей какое-нибудь занятие, которое доставляло бы ей радость: это могло бы ее немного поддержать в преддверии грядущих проблем". Йоахим ощутил себя уязвленным, в конце концов, это его дело; медленно, с расстановкой он процедил: "Ведь театр, в который вы ее пристроили, доставляет ей радость". Берtrand сделал пренебрежительное движение рукой, и Йоахим уставился на него, ничего не понимая. "Будьте спокойны, Пазенов, мы уж подыщем ей что-нибудь". И хотя для Йоахима эта забота только сейчас приобрела свои очертания, он был и вправду рад, что Берtrand с такой легкостью взгромоздил ее на себя.

С тех пор как заболел отец — он все еще большую часть времени проводил в постели,— жизнь странным образом упростилась; сейчас можно было абсолютно спокойно о чем-либо поразмышлять, а некоторые вопросы казались более очевидными, или по меньшей мере складывалось впечатление, что можно решиться к ним подойти. Но здесь таилась почти что неразрешимая проблема, и было бесполезно искать в облике Элизабет решение; загадка была запечатлена на самом ее лице. Откинувшись на стуле, она щурилась, созерцая осенний ландшафт, запрокинутое назад чуть ли не под прямым углом к напряженной шее лицо казалось нервной крышей, посаженной на эту шею. Можно было даже сказать, что оно плавает в кубке шеи, словно лист, или присоединено к ней, будто плоская

крышка, потому что это, собственно, и не лицо вовсе было, а просто часть шеи, часть, смотревшая из шеи: очень отдаленно напоминавшая лицо змеи. Иоахим прошелся взглядом по линии шеи; холмообразно выдавался подбородок, а за ним следовал ландшафт лица. Мягкими очертаниями вырисовывались края ротового кратера, темнели пещеры носовых отверстий, разделенные белой колонной. Подобно маленьким усикам пробивались рощицы бровей, а за поляной лба, изрезанной пахотными бороздами, виднелась опушка леса. Иоахим опять задумался над вопросом, почему женщина может быть желанной, но ответа не было; вопрос оставался нерешенным и туманным. Он немного прищурил глаза, созерцая сквозь узкую щелочку ландшафт раскинувшегося лица. Тут ландшафт начал расплываться, опушка леса волос перешла в желтоватые чащи, а глазные яблоки, украшавшие розовые кусты палисадника, блестели вместе с камнем, переливавшимся в сережке в тени щеки — ах, ведь были еще и щеки. Это было пугающим и успокаивающим одновременно зрелищем, и если взгляд соединял разделенное в так странно единое и больше не различимое друг от друга, то возникало необычное чувство напоминания о чем-то, перемещения во что-то, что лежит за пределами традиций, в бездне детских переживаний, и неразрешимый вопрос был чем-то таким, что поднималось из глубин воспоминаний, словно предостережение.

Они сидели в тени палисадника возле маленькой хозяйской постройки; грум возился с лошадьми в глубине двора. В шуршании листвы над ними угадывался сентябрь. Ибо это еще не было прозрачное, мягкое звучание весенней листвы, но уже и не звон лета: если летом деревья шелестят как-то просто, можно сказать — безо всяких оттенков, то в первые осенние дни к этому шелесту уже примешивается серебристо-металлическая острота, словно в кровеносных сосудах должен раствориться тягучий, однообразный звук. С началом осени в полуденные часы становится совершенно тихо, еще по-летнему припекает солнце, и если по ветвям пробежит легкий, прохладный вете-

рок, то кажется, что в воздухе возникла узенькая полоска весны. Листья, опускающиеся с кроны дерева на шершавый хозяйский стол, еще не успели пожелтеть, но, невзирая на свой зеленый цвет, они уже сухие и легко ломаются, и по-летнему яркое днем солнце кажется поэтому еще более дорогим. Направленный против течения нос рыбацкой лодки на реке; вода, скользящая без единой волны, словно ее перемещают большими пластинами. Такие осенние дни не имеют ничего общего с сонливостью летних полудней; во всем ощущается мягкий чуткий покой.

Элизабет сказала: "Зачем люди живут здесь? На юге такие дни были бы круглый год". Перед глазами Йоахима возникло южное лицо итальянца с черной бородкой. Но на лице Элизабет невозможно было отыскать и намека на итальянца или еще на какого-нибудь брата, такими отдаленно человеческими и живописными были его черты. Он попытался восстановить в восприятии привычную форму, и когда она внезапно опять появилась на лице — нос стал носом, рот — ртом, глаза — глазами,— то это изменение снова произвело пугающее впечатление и успокаивающе на него подействовало только то, что волосы были гладко зачесаны и слишком вились. "Зачем? Вам что, не нравится зима?" "Ваш друг прав; нужно путешествовать",— таким был ответ. "Он намерен отправиться в Индию",— сказал Йоахим и подумал о племени с оливковым цветом кожи и о Руцене. А почему, собственно говоря, ему не пришла в голову мысль уехать с Руценой? Он ощутил на своем лице взгляд Элизабет, почувствовал себя уличенным и отвернулся. Но если кто-то и несет ответственность за эту страсть к путешествиям, то это Берtrand. Поскольку потерю своей упорядоченной жизни ему приходилось компенсировать и заглушать сделками и экзотическими путешествиями, то он был заразен для окружающих, и если Элизабет заводит речь о юге, то она, наверное, все же сожалеет — хотя она вполне могла дать Берtrandу от ворот поворот,— что не едет путешествовать вместе с ним. До него донесся голос Элизабет: "Как давно мы, собственно, знаем

друг друга?" Он задумался; было не так просто точно подсчитать: когда он двенадцатилетним мальчиком приезжал домой на каникулы, родители брали его иногда с собой в Лестов. А Элизабет тогда еще и на свете-то не было. "Следовательно, я вас знала всегда, на протяжении всей своей жизни,— констатировала Элизабет.— Но я на вас, наверное, не очень обращала внимание; для меня вы были взрослым". Йоахим молчал. "На меня вы тоже скорее всего не обращали никакого внимания",— продолжала она. "О, не совсем,— подумал он,— не совсем так, когда она уже стала молодой дамой, внезапно и неожиданно". Элизабет сказала: "Но сейчас мы почти что одного возраста... а когда у вас день рождения? — и, не дожидаясь ответа, добавила: — Помните ли вы еще, как я выглядела ребенком?" Йоахиму пришлось задуматься; в салоне баронессы висел детский портрет Элизабет, который упорно наслаивался на живые воспоминания. "Примечательно то,— ответил он,— что я очень хорошо знаю, как вы выглядели, правда..." Он хотел сказать, что не может отыскать на ее лице детские черты, хотя они наверняка должны были бы там быть, когда он опять бросил взгляд на Элизабет, то лицо снова исчезло с ее лица, на его месте опять раскинулись холмы и равнины, обтянутые тем, что принято называть кожей. Пытаясь понять его мысли, она сказала: "Если мне удастся сосредоточиться, то я смогу увидеть ваше мальчишеское лицо, невзирая на усики.— Она улыбнулась.— Все-таки это интересно, нужно будет как-то проэкспериментировать со своим отцом". "А стариком вы можете меня увидеть?" Элизабет пристально посмотрела на него: "Странно, но этого я не могу... или подождите, получается: вы еще больше будете похожи на вашу мать, у вас приятное округлое лицо, а усы будут взерошенными и седыми... а я в роли старой женщины? Буду ли я производить почтенное впечатление?" Йоахим заявил, что не может себе этого представить. "Ну, не будьте таким уж галантным, скажите же". "Простите, но мне не нравится это, довольно неприятно стать внезапно внешне таким же, как твои родители, или твой брат, или еще кто-нибудь... тогда многое становится

бессмысленным". "Так считает и ваш друг Берtrand?" "Нет, насколько я знаю, нет, а почему вы спрашиваете?" "Да просто так, это было бы на него похоже". "Я не знаю, но мне кажется, что Берtrand настолько занят внешними проявлениями своей подвижной жизни, что ни на что-либо подобное вообще не обращает внимания. Он никогда не бывает полностью самим собой". Элизабет улыбнулась: "Вы полагаете, он на все смотрит отстраненно? В определенной степени глазами чужого человека?" Что она хотела этим сказать? На что она намекает? Он отмахнулся от этого любопытства, ощутил, что поступил неблагородно, оставив женщину другому, вместо того, чтобы ее защищать, защищать от любого другого. Он, конечно, был бы обязан жениться на Элизабет. Но Элизабет вовсе не производила впечатление несчастной, напротив, она сказала: "Это было прекрасно, но теперь нам пора к столу, родители ждут".

Когда они ехали домой и впереди замаячила башенка хозяйского дома в Лестове, казалось, что она все еще думает об их беседе, ибо она сказала: "Все-таки как это странно, что доверчивость и отчужденность невозможно удержать отдельно друг от друга. Может быть, вы и правы, когда ничего не хотите знать о возрасте". Иоахим, мысли которого были заняты Руценой, хотя ничего и не понял, но в этот раз и голову ломать над этим не стал.

Если что-то и способствовало выздоровлению господина фон Пазенова, так это была почта. Как-то утром еще в постели ему в голову вдруг пришла мысль: "А кто получает почту? Неужели Иоахим?" Нет, Иоахим этим не занимается. Он проворчал, что Иоахим вообще ничем не занимается, но, казалось, остался этим доволен, потребовал, чтобы его подняли, и медленными шагами побрел в свой кабинет. Когда появился почтальон, то снова был соблюден обычный ритуал, который теперь опять начал повторяться ежедневно. И если госпоже фон Пазенов случалось присутствовать при этом, то она поневоле выслушивала жалобы, что никто не пишет. Он чаще начал справляться, в

имени ли Йоахим, но видеть его не желал. А когда он услышал, что Йоахим на какое-то время должен съездить в Берлин, сказал: "Передай ему, что я запрещаю уезжать". Иногда он забывал об этом и жаловался, что ему не пишут даже собственные дети, что и натолкнуло госпожу фон Пазенов на мысль, что Йоахим для примирения мог бы написать отцу письмо. Йоахиму вспомнились поздравления с пожеланиями, которые они с братом должны были изображать на бумаге с розовым обрамлением ко дню рождения своих родителей; это было жуткое мучение. Он отказался повторять что-либо в таком роде и заявил, что уезжает. Можно и не сообщать об этом отцу.

Он уехал без сожаления: если прежде он противился тому, что его хотят заставить жениться, то теперь он таким же образом взбунтовался против того, что в течение трехдневного пребывания в Берлине ему придется провести три ночи любви с Руценой. Он нашел это унижительным и для Руцены. Лучше всего было бы немного повременить со свиданием, а для того чтобы она не пришла на вокзал, он не сообщил ей о времени своего прибытия. Уже в поезде он вспомнил, что следовало бы привезти ей хотя бы какой-нибудь подарок; но поскольку для этой цели не подходили ни куропатки, ни любая иная дичь, продававшаяся у поезда, то не оставалось ничего другого, как приобрести что-либо в Берлине; а значит, хорошо, что Руцена не сможет прийти к поезду. Он попытался мысленно подобрать подходящий подарок, но его фантазия здесь не отличалась богатством, ничего не приходило в голову, и он колебался между духами и перчатками; ну, уж в Берлине что-нибудь да придумает.

Добравшись до своей квартиры, он прежде всего черкнул записку Берtrandу, который, должно быть, обрадуется возможности обсудить с ним тревожные события последних дней в Штольпине. Он написал также Руцене и, решив дожидаться ответа, отправил обе записки со своим посыльным. Он соскучился по уюту своей квартиры. За закрытыми окнами все еще припекало по-летнему жаркое солнце. Йоахим открыл одну створку и

с удовольствием выглянул на тихую улицу; день близился к вечеру. Ночью можно было ожидать дождь: на западе вздымалась серая стена облаков. Виноградная лоза на заборах палисадников приобрела красный цвет, на тротуаре лежали желтые каштаны, а лошади на углу улицы спокойно и с какой-то грустью склонили головы перед четырьмя дрожками к своим передним ногам. Йоахим высунулся из окна и увидел, как слуга открывает другие окна; когда он при этом тоже выглянул в окно, Йоахим, смотревший вдоль стены, кивнул ему и улыбнулся. В то время как слуга распаковывал вещи, Йоахим все еще смотрел на тихую улицу, на которую уже начали опускаться первые сумерки. Затем он отошел от окна; в комнате стало прохладно, и только в некоторых местах в воздухе еще остались висеть кусочки лета, и это наполнило Йоахима сладостной печалью. Как приятно снова ощутить на себе форму! Он прошелся по своей тесноватой квартирке, осмотрел вещи и книги. Да, этой зимой ему хотелось бы побольше почитать. Затем, вспомнив, он даже испугался: через три дня он ведь должен опять все это покинуть. Он сел, словно мог продемонстрировать этим свою оседлость, распорядился закрыть окна и приготовить чай. Через какое-то время вернулся посыльный, о котором он уже забыл: господина фон Бертранда в Берлине нет, но его приезд ожидается в ближайшие дни, а дама не дала никакого ответа, а просила передать, что тотчас же придет. У Йоахима было ощущение, что только что улетучилась какая-то маленькая надежда; он почти готов был пожелать, чтобы все было наоборот: лучше тотчас же пришел бы Берtrand. К тому же ему необходимо было купить подарок. Но уже через несколько минут раздался дверной звонок: это была Руцена.

На занятиях по плаванию в кадетской школе он боялся прыгнуть в воду, пока однажды учитель плавания, не долго думая, столкнул его в воду; и поскольку в воде оказалось просто приятно, то он засмеялся. Руцена влетела в комнату и повисла у него на шее. В воде было приятно, и они сидели, взявшись за руки, обмениваясь поцелуями, а Руцена без умолку тараторила

о вещах, взаимосвязь которых была ему непонятной. От неприятного чувства не осталось и следа, счастье было бы почти что безоблачным, если бы с новой остротой внезапно не всплыла досада о забытом подарке. Но поскольку все, что ни делает Бог, совершается к лучшему или, по меньшей мере, к хорошему, то он направил Йоахима к шкафу, в котором уже несколько месяцев лежали позабытые кружевные платочки. И пока Руцена, как обычно, готовила ужин, Йоахим нашел голубую ленточку и тонкую папиросную бумагу и пристроил пакетик с платочками под тарелку Руцены. Но она лишь мельком взглянула на подарок — подошло время сна.

На следующий день он опять вспомнил, что ему ведь скоро необходимо уезжать. Он сообщил, запинаясь, об этом Руцене. Но ожидаемого всплеска горя и ярости не последовало, более того, Руцена просто сказала: "Не думать об этом. Оставайся". Йоахим приподнялся; а она ведь права, почему бы ему и действительно не остаться здесь? В какой же все-таки опале он пребывал, когда бесцельно слонялся по двору и прятался от отца. Кроме того, ему показалось крайне необходимым дожидаться Бертранда в Берлине. Может быть, это была некорректность, своего рода гражданская неаккуратность, в которую его вовлекла Руцена, но она давала ему ощущение маленькой свободы. Он решил, что утро вечера мудренее, и, проведя эту ночь с Руценой, на следующий день утром он написал матери, что служебные обстоятельства задерживают его в Берлине немного дольше, чем планировалось; другое письмо подобного содержания он тоже вложил в конверт, она должна была, если сочтет это необходимым, передать его отцу. И только позже до него дошло, насколько бессмысленным все это было, ведь и без того вся почта попадала вначале в руки отца; но теперь было слишком поздно — письма уже ушли.

Он вышел на службу; вначале присутствовал на занятиях по верховой езде. Занятия проводили вахмистр и унтер-офицер, оба с длинными кнутами в руках, а вдоль стен перемещалась

цепочка лошадей с новобранцами в тиковых кителях. Пахло подвалом, и мягкий песок, в который погружались ноги, вызывал в нем слабую тоску по Гельмуту и напоминал о том песке, которым было засыпано тело Гельмута. Вахмистр щелкнул кнутом и дал команду перейти на рысь. Тиковые фигуры начали ритмично раскачиваться на фоне стен вверх и вниз. Вскоре на осенний сезон в Берлин должна приехать Элизабет. Правда, это не совсем так: они никогда не приезжали раньше октября, да и дом еще просто не может быть готовым. К тому же он, собственно говоря, ждет вовсе не Элизабет, а Бертранда; его, конечно, он и имел в виду. Он видел перед собой его, едущего вместе с Элизабет рысью, обе фигуры поднимаются и опускаются в стремянах. Удивительным было, как тогда лицо Элизабет превратилось в ландшафт и как он мучился, пытаясь придать ему естественный вид. Он попробовал проделать то же и с лицом Бертранда, попытался себе представить, что Берtrand, поднимаясь и опускаясь в стремянах, скачет вдоль стены, но отказался экспериментировать; это казалось богохульством, и он радовался, что уже больше не видит перед собой лица Гельмута. Тут вахмистр дал команду перейти на шаг, и в манеж принесли белые балки для препятствий и сами препятствия. Ему в голову пришла мысль о клоунах, и он вдруг понял то, что когда-то говорил Берtrand: родина пребывает под защитой цирка. Он все еще не мог понять, что привело его тогда к падению перед поваленным деревом.

Он снова проезжал мимо машиностроительного завода "Борсиг", и снова там стояли рабочие. Однако у него не было ни малейшего желания видеть все это. Он не принадлежал к этому миру, и было излишним выделяться на его фоне яркой формой. Берtrand, может, против своей воли, но относился к этому миру и уже вжился в него; между тем и о Бертранде он не хотел ничего больше знать; да и лучше всего было бы вернуться в Штольпин. Невзирая на это, он остановил повозку возле квартиры Бертранда и обрадовался, когда услышал, что господин фон Берtrand прибудет вечером. Прекрасно, он в любом

случае хотел бы договориться на вечер, и Йоахим оставил записку, в которой сообщал об этом своем намерении.

Они отправились в театр, на сцене которого стояла Руцена, выписывая руками убогие жесты. В антракте Берtrand сказал: "Это все-таки не для нее; мы найдем ей что-нибудь другое", и Йоахима снова охватило чувство защищенности. За ужином Берtrand обратился к Руцене: "Руцена, вы ведь становитесь сейчас знаменитой и великолепной актрисой?" Естественно, она бы стала, еще бы ей не стать такой! "Да, но что будет, если вы передумаете и бросите нас? Сейчас мы так много заботимся о том, чтобы вы стали знаменитой и великолепной, и в одно мгновение вы оставите нас ни с чем, и мы будем чувствовать себя опозоренными. Что прикажете нам делать тогда?" Руцена задумалась, потом сказала: "Нет, охотничье казино". "Ну, нет, Руцена, никогда не стоит возвращаться назад. Есть ведь кое-что, что стоит выше театра". Руцена расплакалась: "Ведь это не для нашего брата. Йоахим, он плохой друг". Вмешался Йоахим: "Берtrand же шутит, Руцена". Но и у него самого возникло неприятное чувство, и он находил, что Берtrand вышел за рамки тактичности. Берtrand же, напротив, улыбнулся: "Да нечего тут плакать, ведь мы размышляем о том, как нам сделать Руцену знаменитой и богатой. Ей бы пришлось тогда всех нас содержать". Йоахим был шокирован: как заметно дичает нрав человека, занимающегося коммерцией.

Позже он сказал Берtrandу: "Зачем вы ее мучаете?" Берtrand ответил: "Следует произвести предварительную подготовку, а резать можно только по живому. Время для этого сейчас пока что есть". Берtrand говорил, словно врач.

То, чего он побаивался, случилось. Письмо попало в руки отца, и тот, очевидно, снова впал в неистовство, поскольку мать написала, что случился новый приступ. Йоахим удивился своему равнодушию: он не испытал беспокоящего ощущения обязанности вернуться домой, его приезд все равно был бы слишком преждевременным. Гельмут поручал ему помогать матери,

ах, едва ли ей можно было помочь; то бремя, которое она взвалила на себя, ей, наверное, придется нести самой. Он ответил, что приедет в ближайшее время, и не приехал, оставил все, как было: ходил на службу, не предпринимал абсолютно ничего, чтобы что-либо изменить, и с каким-то необъяснимым страхом отодвигал в сторону любую мысль о том, что ему следовало бы заняться делом. Для того чтобы сохранить привычное течение жизни, иногда требуется приложить определенное усилие, а это может оказаться столь злой штукой, что люди, которые продолжают заниматься делами, словно все в полном порядке, часто казались ему ограниченными, слепыми и почти что дураками. Вначале он так не считал; но когда до его сознания в очередной раз дошла цирковая театральность службы, он обвинил в этом Бертранда. Да, даже форма и та не хотела сидеть на нем так, как прежде: ему вдруг стали мешать эполеты, неудобными казались манжеты рубашки, а как-то утром, стоя перед зеркалом, он задал себе вопрос, а почему, собственно, он должен носить саблю с левой стороны. В мыслях он бежал к Руцене, говорил себе, что любовь к ней, ее любовь к нему — это что-то такое, что неподвластно всем этим сомнительным традициям. И когда затем он подолгу смотрел ей в глаза и мягким прикосновением пальца проводил по ее ресницам, а она принимала все это за любовь, он часто втягивался в какую-то лугающую игру, позволяя ее лицу темнеть до неузнаваемости, вплотную подходя к той черте, где уже возникала угроза перейти за грань человеческого и лицо переставало быть лицом. Многое становилось похожим на мелодию, о которой думают, что ее невозможно забыть, но которая все-таки ускользает, чтобы каждый раз приходилось, преодолевая боль, снова ее искать. Это была неприятная и безнадежная игра, зло и раздраженно хотелось, чтобы и за это отчужденное состояние ответственным можно было бы сделать Бертранда. Разве он не говорил о своем демоне? Руцена ощущала раздражительность Йоахима, и после долгого угнетающего молчания она как-то резко и неумело взорвалась, причиной чему было недоверие,

которое она испытывала к Берtrandу после того вечера: "Ты меня больше не любить... или нужно вначале друга спрашивать можно ли... или Берtrand уже запретить?", и хотя это были злые и сварливо сказанные слова, Йоахим их слушал почти с радостью, ибо они были подобны облегчающему подтверждению его собственного подозрения, что все беды имеют демоническое происхождение и кроются в Берtrandе. Ему казалось похожим на последний акт таящего в себе беду мефистофельского и лицемерного деяния, если Руцена не привяжется сильнее к нему, а невзирая на взаимное отвращение, переметнется со своими грубыми неконтролируемыми скандалами к Берtrandу и к его не менее оскорбительным шуткам; между другом и любовницей, которые были столь ненадежны, между этими двумя гражданскими он ощущал себя так, словно попал между двумя жерновами бестактности, которые начали его, беспомощного, перемалывать. Попахивало дурным обществом, иногда он даже не знал, нашел ли Берtrand ему Руцену или же он через Руцену вышел на Берtrанда, пока он с ужасом не обнаружил, что больше не может контролировать ускользающую и уплывающую глыбу жизни и что он все быстрее и все глубже втягивается в безумные игры воображения, и все становится ненадежным. Но когда он при этом подумал, что ему следовало бы поискать выход из этого смятения в религии, то снова разверзлась пропасть, отделявшая его от гражданских, ибо по ту сторону пропасти стоял гражданский человек Берtrand, вольнодумец, стояла католичка Руцена, оба они были для него недостижимы, и казалось даже, что они радуются его одиночеству.

По воскресеньям у него была церковная служба, и это было кстати. Но гражданская жизнь продолжала преследовать его вплоть до начала военной церковной службы, потому что лица рядовых, зашедших в церковь двумя параллельными колоннами согласно уставу, были такими же, какими они бывали на строевом плацу или на занятиях по верховой езде; ни на одном из этих лиц не наблюдалось и тени набожности, ни одно из них не

выражало переживания от предстоящей службы. Это были, должно быть, рабочие с машиностроительного завода "Борсиг"; истинные крестьянские сыновья из его родных мест не стояли бы столь безучастно. Кроме унтер-офицеров, которые имели благочестивый вид по долгу службы, пожалуй, никто не слушал проповедь. Так и напрашивалось вызывающее опасение искушение назвать и это цирком. Йоахим закрыл глаза и попробовал молиться так, как он пытался когда-то сделать это в деревенской церкви. Может, он и не молился вовсе, потому что когда солдаты запели хорал, к ним присоединился, подпевая, и его голос, и это помимо его воли, потому что вместе с песней, которую он пел ребенком, в его памяти всплыло воспоминание о картинке, о маленькой цветной иконке, а поскольку сейчас перед его глазами четко стояло ее изображение, то он также вспомнил черноволосую кухарку-польку, которая принесла эту иконку, услышал ее бархатный певучий голос и увидел ее покрытый сеточкой морщин палец с потрескавшимся ногтем, который скользил по красочной картинке и показывал: вот здесь — земля, на которой живут люди, а над ней, не так уж и высоко, на серебристом дождевом облаке сидят друг возле друга в совершенном покое члены Святого Семейства, изображенные в очень ярких одеждах, и золото, которым были украшены одеяния, стремится затмить блеск золотистых нимбов. Сегодня он еще не осмеливался заключить, счастлив бы он был, решив стать частью этого католического Святого Семейства и спокойно восседать на том серебристом облаке на руках у непорочной Богородицы или на коленях черноволосой польки... Сейчас на это и невозможно было решиться, потому что восторг был пропитан дрожью то ли богохульственной дерзости, то ли ереси, в чем можно было обвинить урожденного протестанта с такими пожеланиями и с таким счастьем, а также потому, что он не отваживался предоставить на картинке место для злящегося отца; он его вообще не хотел там видеть. И в то время, когда он с большим вниманием и напряженным желанием стремился приблизить к сегодняшнему дню эту картинку, ему

показалось, будто серебристое облако поднялось чуть выше и начало расплываться, фигуры, восседавшие на нем, похоже, тоже начали слегка растворяться, исчезая в мелодии хора; мягкое размывание очертаний, но это ни в коей мере не было стиранием картины воспоминания, более того, казалось определенным просветлением и усилением четкости, так что он на какое-то мгновение даже смог подумать о том, что таким образом достигается необходимое евангелическое видение католических икон, и волосы Богородицы уже не выглядели такими темными, и это была уже вовсе не полька, а Руцена, но локоны становились все светлее и золотистее, и на месте Руцены уже вполне могла оказаться непорочная белокурая Элизабет. Странно, но это приносило чувство избавления, луч света и ожидание грядущей милости посреди смятения, ибо разве нельзя было назвать милостью то, что ему позволено было евангелическое видение католической картинки? И расплывание форм, расплывание, которое было мягким, словно журчание воды в тумане дождливым весенним вечером, навело его на мысль, что вызывающий такой сильный страх распад человеческого лица на возвышенности и углубления должен быть предварительной ступенью для нового и более светлого единения в счастливом заоблачном союзе, это больше уже не скверное подобие земного лица, а кристально чистая капля, певуче летящая с облака. И если даже этот возвышенный лик не имеет земной красоты и доверительности, являясь вначале, быть может, чужим и отпугивающим, может даже еще более отпугивающим, чем растворение лица и превращение в ландшафт, то это было всего лишь предчувствием божественного ужаса, уверенностью, вопреки всему, в божественной жизни, куда переходит все земное, погружаясь, как лицо Руцены и как лицо Элизабет и, возможно, как фигура Бертранда. Это не была, собственно говоря, детская картинка из прошлого, с отцом и матерью, которая снова возникла перед его глазами: она по-прежнему покачивалась на том же месте, на том же серебристом облаке, и он сам по-прежнему все еще сидел перед кар-

тинкой, как когда-то у ног матери, сам он — словно мальчик Иисус, но картинка стала более совершенной, это было уже не пожелание мальчика, а уверенность в цели, и он знал, что первый болезненный шаг к цели он сделал, он допущен к испытанию, хотя это всего лишь начало целой череды испытаний. Это было почти чувство гордости. Но тут излучающая ощущение счастья картина растворилась, растаяла, словно тучи, роняющие орошающие капли дождя, и то, что в этом участвовала Элизабет, было подобно последней капле дождя из пелены тумана. Вероятно, это был указующий перст Божий. Он открыл глаза; хорал закончился, и Иоахим был уверен, что видел, как некоторые из молодых людей взирают, подобно ему, на небо с надеждой и с решительной страстью.

После обеда он встретил Руцену. Он сказал ей: "Бертранд прав; театр не совсем подходящее место для тебя. Может быть, тебе доставит удовольствие стать владелицей магазинчика, торговать милыми вещичками, теми же кружевами или прелестным шитьем?" И он увидел перед собой стеклянную дверь, а за ней горела, создавая уют, лампа. Но Руцена молча посмотрела на него, и, что теперь случалось довольно часто, в ее глазах показались слезы. "Плохие, плохие вы мужчины", — пролепетала она, вцепившись в его руку.

Опасаясь нового приступа, врач потребовал созвать консилиум, и перед Иоахимом возникло само собой разумеющееся обязательство отправиться в Штольпин вместе со специалистом по нервным болезням. Он воспринимал это как часть наказания, которое он наложил на себя, это восприятие усилилось еще больше, когда в дороге врач с вежливым равнодушием начал задавать вопросы о виде болезни, о ее предыстории и об обстановке в семье. Вопросы казались Иоахиму хотя и мягкой, но поэтому не менее пронизывающей и острой инквизиторской пыткой, и он был полон ожидания, что инквизитор суровым взглядом сквозь стекла очков и вытянутым пальцем укажет внезапно на него, в его ушах уже звучало это ужасное об-

виняющее и приговаривающее слово: убийца. Но вежливый пожилой господин в очках и не собирался произносить это жуткое и в то же время искупляющее слово, а просто высказал мнение, что те достойные сожаления проявления, от которых страдает сейчас господин фон Пазенов, являются, конечно, следствием потрясений, вызванных смертью сына, хотя изначальные причины могут таиться и поглубже. Йоахим начал смотреть на специалиста по нервным болезням с недоверием, но и с определенным удовлетворением, убежденный, что человек, придерживающийся таких взглядов, ничем не сможет помочь больному.

Затем их разговор исчерпался, и Йоахим смотрел, как мимо проплывают издавна знакомые поля и перелески. Специалист по нервным болезням под мерное постукивание колес задремал, расположив подбородок между уголками стоячего воротничка, а седая борода лежала на вырезе жилетки и прикрывала его. Йоахим никак не мог себе представить, что он когда-то может стать таким старым, а тот когда-то мог быть молодым и какая-то женщина могла искать в этой бороде место для поцелуя; должно же все-таки хоть что-то от этого сохраниться, застряв в бороде, как перышко или соломинка. Он провел рукой по лицу; было обманом для Элизабет, что от поцелуев, с которыми его отпустила Ручена, ничего не осталось: Господь благословляет человека, скрывая от него будущее, он проклинает его, делая для него невидимым прошлое; разве было бы милостью, если бы он клеймил человека за все? Но Господь ставит клеймо лишь на совести, и даже специалист по нервным болезням не способен это увидеть. Гельмут получил свое клеймо; поэтому и не было позволено увидеть его в гробу. Но и отец тоже клейменный; тот, кто ходит так, как отец, должен, собственно, быть косоглазым.

Господин фон Пазенов находился вне постели, но пребывал в состоянии полной апатии; присутствие Йоахима, опасаясь новых приступов ярости, от него все-таки скрыли. Чужого врача он встретил вначале равнодушно, но вскоре решил, что это

нотариус, и потребовал по-новому составить завещание. Да, Иоахим по причине бесчестья должен быть лишен наследства, но он ведь не бессердечный отец, он просто хочет, чтобы у Иоахима от Элизабет родился сын. Этот ребенок должен жить в этом доме и затем все унаследовать. Подумав немного, он добавил, что Иоахиму запрещается когда бы то ни было видеть ребенка, иначе он тоже будет лишен наследства. Позже мать запинаящимся голосом рассказала все Иоахиму, закончив плачем и причитаниями, что было совсем не в ее стиле: чем это закончится! Иоахим пожал плечами; единственное, что он ощущал, был снова стыд: нашелся тут кое-кто, кто посчитал приличным вести речи о том, что у него могут быть дети от Элизабет. Специалист по нервным болезням тоже пожал плечами; не следует терять надежду, господин фон Пазенов все еще чрезвычайно крепок, но прежде всего следует просто подождать, нежелательно только, чтобы больной слишком много времени проводил в постели, с учетом преклонных лет пациента это не пойдет ему на пользу. Госпожа фон Пазенов ответила, что ее супруг постоянно требует, чтобы его уложили в постель, он постоянно мерзнет, и к тому же складывается впечатление, будто его мучает какой-то таинственный страх, отпускающий его немного лишь в спальне. Да, необходимо просто учитывать соответствующее душевное состояние, высказал свое мнение специалист по нервным болезням, он, собственно, может только сказать, что господин фон Пазенов, проходя курс лечения у почтенного коллеги — тот с благодарностью склонил голову, — находится в предельно надежных руках.

Стемнело, пришел пастор, и все сели ужинать. Внезапно в дверях показалась фигура господина фон Пазенова: "Здесь, значит, собралось общество, а никто и не удосужился поставить об этом в известность меня; потому, наверное, что новый хозяин дома уже здесь". Иоахим хотел встать и выйти из комнаты. "Оставайся на своем месте", — скомандовал господин фон Пазенов и уселся на свой хозяйский стул, который оставляли для него даже в случае его отсутствия всегда свободным; это,

очевидно, его немного умиротворило. Он потребовал, чтобы ему тоже принесли прибор: "Здесь должен снова воцариться порядок; господин нотариус, вас обслужили? Поинтересовались ли у вас, какое вино вы пьете, красное или белое? Я предпочитаю красное. А почему на столе нет шампанского; завещание следует обмыть шампанским.— Он ухмыльнулся.— Ну так что же, как насчет шампанского? — закричал он на служанку.— Мне что, и полы здесь подметать прикажете?" Специалист по нервным болезням был первым, кто нашелся, как спасти ситуацию, он сказал, что охотно выпил бы бокал шампанского. Господин фон Пазенов обвел торжествующим взглядом присутствующих: "Да, здесь должен опять воцариться порядок. Никто не понимает, что такое честь...— а затем, чуть тише, врачу: — Гельмут ведь погиб, защищая честь. Но он не пишет мне. Может быть, как-нибудь потом...— он задумался.— Или этот господин пастор утаивает от меня письма. Хочет сохранить его тайну для себя и не хочет, чтобы наш брат заглянул за ширму потустороннего. Но при первом же беспорядке на кладбище помчится он, служитель Божий. Уж за это я ручаюсь". "Но, господин фон Пазенов, там ведь все в лучшем порядке". "Кажется, господин нотариус, это только кажется, чистейшее очковтирательство, это просто не так легко осознать, ведь мы не понимаем их язык; их, очевидно, спрятали. Мы, другие, просто знаем, что они немые, но они все еще продолжают нам жаловаться. Поэтому ведь все так боятся, и если у меня гость, то я сам должен выводить его, я старый человек,— злобный взгляд прошелся по Йоахиму,— бесчестному, естественно, недостает для этого духу, лучше спрятаться в коровнике". "Ну, господин фон Пазенов, да вам и самому было бы неплохо следить за порядком, проверять, как обстоят дела в поле, вообще выходить на улицу". "Мне бы тоже хотелось, господин нотариус, да и поступаю я именно таким образом. Но когда подходишь к двери, то они часто преграждают путь, их так много в воздухе, так много, что сквозь них не может просочиться даже звук". Он весь задрожал и, схватив бокал врача, опустошил его в один прием, прежде чем ему ус-

пели помешать. "Вам придется часто приходиться ко мне, господин нотариус, мы будем составлять завещание,— и продолжил умоляющим голосом: — А между тем, будете ли вы мне писать? Или вы тоже разочаруете меня? — Он недоверчиво посмотрел на врача.— А может, и вы плетете интриги с тем?.. Он меня уже с одним надул, этот там..." Старик вскочил и указал пальцем на Йоахима. Затем он схватил со стола тарелку и, закрыв один глаз, словно хотел прицелиться, закричал: "Я велел ему жениться..." Но рядом с ним уже стоял врач, он взял своей ладонью его под руку: "Пойдемте, господин фон Пазенов, давайте еще немножечко побеседуем в вашей комнате". Господин фон Пазенов уставился на него ничего не понимающим взглядом; но врач выдержал этот взгляд: "Пойдемте, давайте поговорим друг с другом, чтобы нам никто не мешал". "Чтобы действительно никто не мешал? И я больше не буду бояться..." Тут он беспомощно улыбнулся, ласково похлопал врача по щеке: "Да, уж мы вам всем покажем..." Он пренебрежительно махнул в сторону стола и позволил себя увести.

Йоахим сидел, закрыв ладонями лицо. Да, отец поставил на нем свое клеймо; ну что ж, свершилось, но тем не менее сдаваться он не собирался. К нему подошел пастор и произнес банальные слова утешения, да, отец, кажется, и здесь оказался прав; этот слуга церкви плохо справляется со своими обязанностями, ему, помимо всего прочего, надо было бы знать, что родительское проклятие неизгладимым бременем ложится на детей, надо было бы знать, что родительскими устами говорит сам Бог и сообщает об испытаниях; о, именно потому у отца помутился рассудок, что никто не может безнаказанно быть рупором Божиим. Пастор, конечно, мог оказаться просто банальным человеком; и он должен был бы говорить здесь безумные вещи, будь он действительно инструментом Божиим на земле. Но Господь указал путь к милости и без посредничества священника; против этого невозможно возражать, милости следует добиваться самому путем собственных страданий. Йоахим сказал: "Благодарю, господин пастор, за ваши добрые слова;

теперь мы довольно часто нуждаемся в вашем утешении". Затем подошли врачи; господину фон Пазенову сделали укол, и он задремал.

Специалист по нервным болезням оставался в имении еще два дня. Когда вскоре после его отъезда от Бертранда из Берлина пришла в высшей степени тревожная телеграмма, а состояние больного оставалось отчетливо стабильным, Йоахим смог уехать.

Берtrand вернулся в Берлин. Во второй половине дня он намеревался посетить Йоахима, но в квартире нашел только Руцену. Она убирала в спальне и, когда вошел Берtrand, ошарашила его: "С вами я не говорю". "Эй, Руцена, это, конечно, любезно с твоей стороны". "С вами я не говорю, знаю, что от вас ждать".

"Я опять плохой друг, маленькая Руцена?"

"Я не ваша маленькая Руцена".

"Прекрасно, так что же случилось?"

"Что случилось? Знаю все, отправить его прочь. Плевать на ваш кружевной магазинчик".

"Хорошо, что касается меня, то есть у меня один кружевной магазинчик, почему нет, но со мной и после этого все еще можно разговаривать. Итак, что же с моим кружевным магазинчиком?"

Руцена молча укладывала постельное белье в комод; Берtrand пододвинул к себе стул, предвкушая продолжение.

"Если бы быть моя квартира, хотела бы вышвырнуть, не разрешать сидеть".

"Итак, Руцена, теперь серьезно, что произошло? Старому господину снова так плохо, что Пазенову пришлось поехать туда?"

"Не делайте вид, что ничего не знаете; не так глупа".

"Увы, маленькая Руцена, не думаю".

Она не оборачивалась, а продолжала возиться с бельем: "Не позволять насмехаться надо мной... никому не позволять насмехаться надо мной".

Бертранд подошел к ней, взял руками ее голову, чтобы посмотреть прямо в глаза. Она вырвалась:

"Вы не прикасаться ко мне. Вначале его отослать, а затем еще насмехаться".

Бертранд понял все, вплоть до дела с кружевным магазинчиком: "Значит, вы, Руцена, не верите, что старый господин фон Пазенов действительно болен?"

"Ничто я не верить, все против меня".

Бертранд уже немного разозлился: "Вероятно, старый господин может и умереть, потому что он против маленькой Руцены".

"Когда вы убивать, будет умирать".

Бертранд охотно бы помог ей, но это было сложно; ему известно, что против такого состояния мыслей мало что можно сделать, и он собрался уходить.

"Вас нужно убивать",— сказала в заключение Руцена.

Бертранду это показалось забавным: "Хорошо,— сказал он,— ничего не имею против, но станет ли после этого лучше?"

"Так, вы ничего не имею против, ничего против,— Руцена возбужденно рылась в ящике с бельем,— ...но еще издеваться надо мной, да? — она продолжала копаться в белье.— Ничего против..." Наконец она нашла то, что искала; преисполненная вражды стояла она перед Берtrandом с принадлежащим Йоахиму револьвером военного образца в руке. "Это слишком уж глупо",— подумал Бертранд, а вслух произнес: "Руцена, немедленно положи эту штуку". "Вы же ничего не иметь против". Всплеск поверхностной ярости и немножечко стеснения не позволил Берtrandу просто выйти из комнаты; он хотел подойти к Руцене, чтобы забрать у нее оружие, но тут прозвучал выстрел, второй последовал, когда револьвер, выпавший из рук Руцены, ударился об пол. "Это, действительно, глупее некуда",— проворкотал Бертранд и наклонился за револьвером. В комнату влетел денщик, но Бертранд объяснил, что штукovina упала на пол и сработал спусковой механизм. "Скажите господину лейтенанту, что хранить оружие заряженным нежелательно". Денщик вышел. "Ну, Руцена, ты совсем глупая девушка или нет?"

Лицо Руцены было очень бледным, она словно окаменела, затем с трудом подняв руку, показала на Бертранда и выдавила: "Там". По рукаву Бертранда струилась кровь. "Сажать меня", — заикаясь пролепетала она. Берtrand рванул вниз рукав рубашки; он ничего не почувствовал; пуля только задела его руку, но все-таки нужно было обратиться к врачу. Он позвал денщика и распорядился, чтобы тот нашел дрожки. Куском белья Йоахима он сделал себе временную перевязку и предложил Руцене вытереть следы крови; но она была в таком возбужденном и полубезумном состоянии, что ему пришлось ей помочь. "Так, Руцена, ты поедешь со мной, ибо оставить тебя сейчас одну я не могу. Сажать тебя никто не собирается, если до тебя дошло, что ты просто глупая девушка". Она безвольно последовала за ним. Перед дверью своего врача он попросил ее подождать в дрожках.

Врачу он сказал, что вследствие нелепой случайности получил скользящее пулевое ранение. "Ну что ж, вам повезло, но не следует относиться к этому так уж небрежно, лучше было бы лечь на пару дней в клинику". Берtrand посчитал это излишней мерой предосторожности, но когда он спускался по лестнице вниз, то все-таки ощутил какую-то слабость. К своему удивлению, Руцену в повозке он не нашел. "Не очень-то красиво с ее стороны", — подумал он.

Он направился вначале домой, взял все, что может понадобиться практичному и знающему себе цену господину в больнице, затем, устроившись в клинике, послал Руцене записку с просьбой, чтобы она его все-таки проведала. Посыльный вернулся с известием, что фрейлейн домой еще не приходила. Это было странно и даже заставляло волноваться; но он был не в состоянии предпринимать в этот день еще что-либо. Утром он опять отправил к ней посыльного: дома ее все еще не было, не видели ее и в квартире Йоахима. Тут он решил отправить телеграмму в Штольпин, а через два дня после этого приехал Йоахим.

Берtrand не чувствовал себя обязанным рассказывать Йоа-

химу о происшедшем событии всю правду: история о несчастном случае и неловкости Руцены звучала достаточно убедительно. Он заключил: "С того момента о ней нет никаких известий. Мне не хочется строить никаких предположений, но такая неуравновешенная девушка легко может натворить глупостей". Йоахим подумал: что же он сделал с ней? Но затем с внезапным ужасом вспомнил, что Руцена частенько, иногда просто шутя, но иногда вполне серьезно угрожала, что бросится в воду. Перед его глазами возникли серые ивы на берегу Хафеля, дерево, под которым они нашли тогда убежище, да, она, должно быть, лежит там, в воде. На мгновение он почувствовал себя польщенным этим романтическим представлением. Но затем его опять захлестнул ужас. Неотвратимая судьба, неотвратимое испытание! Не молился ли он перед своим отъездом в церкви, полный надежды, о том, чтобы болезнь отца была не наказанием, возложенным на сына, а просто жизненной случайностью, так вот теперь Бог показывает ему, что уже сама мысль эта была грехом: нельзя подвергать сомнению Божье испытание, случайностей не бывает; если Берtrandу хотелось вследствие мнимого раздора порвать с отцом и если сейчас ему хотелось несчастье с револьвером свести к глупой случайности, то этим он только стремится завуалировать то, что он посланец зла, избранный Богом и отцом для того, чтобы готовить кающемуся кару, соблазнительно подгонять его, завести его в ловушку, чтобы совращенный беспомощно понял, что он такой же плохой, как и совратитель, что на него возлагается, да и всегда было возложено быть подобным той уничтожающей судьбе ближнего и что ему никогда не удастся вырвать из лап совратителя его добычу. Не лучше ли для того, кто это понял, уничтожить самого себя? Не лучше бы было, если бы пуля попала не в Гельмута, а в него? Но теперь было слишком поздно, теперь Руцена покоилась на дне Хафеля, смотрела остекленевшими глазами на рыб, снующих над ней в мутной воде. Произвольно ее образ сменился образом итальянца из оперы; когда исчезала и эта картина, Йоахим вдруг обнаружил, что мужчиной

там, в воде, был он сам. Да, в его собственных голубых глазах застыл несчастный и злой, способный навести порчу взгляд, в который верят итальянцы; и было просто справедливо, что над такими глазами плавают рыба. Берtrand нарушил молчание: "У вас есть какие-нибудь предположения? Хотелось бы надеяться, что она, не долго думая, уехала домой. У нее ведь было достаточно денег?" Йоахим ощутил себя оскорбленным таким вопросом, в нем было что-то от инквизиторской безучастности врача; что себе снова воображает о нем этот Берtrand; естественно, у нее были деньги. Берtrand не заметил его раздраженности: "Тем не менее нам следует сообщить в полицию; не исключено, что девушка где-нибудь слоняется". Разумеется, необходимо сообщить в полицию, Берtrand прав, но Йоахим побаивался этого; его начнут расспрашивать об отношениях с Руценой, и если он даже скажет, что отношения эти для него не имеют никакого значения, то все равно втайне опасался непредвиденных осложнений. Связь с Руценой — слишком долго непозволительно тайная; может, Богу угодно почерпнуть сведения о ней через полицию, может, и это относится к череде испытаний, усугубленных еще больше местоположением здания полиции на Александерплац, необходимости зайти туда он противился больше, чем когда бы то ни было. Тем не менее он поднялся: "Я отправляюсь в полицию". "Нет, Пазенов, это за вас сделаю я; вы еще слишком возбуждены, кроме того, господа сразу же учуют все возможные варианты драмы". Йоахим был ему искренне признателен: "Да, но ваша рука..." "А, ничего страшного, меня уже выпустят отсюда". "Но я поеду с вами". "Очень хорошо, будем надеяться, что я вас застану в дрожках, когда спущусь вниз". Берtrand снова пришел в хорошее расположение духа, и Йоахим почувствовал себя в безопасности. В повозке он попросил Бертранда подкинуть в полицию идею осмотреть набережную Хафеля. "Конечно, Пазенов, но мне кажется, что Руцена уже давно прячется где-нибудь в Богемии; жаль только, что вы не знаете названия ее гнездышка там, но мы уж это разузнаем". Йоахим и сам удивился, что он не знает назва-

ния населенного пункта, откуда Руцена родом, да и фамилия ее ему неизвестна. Она частенько забавлялась тем, что просила его произнести эти фамилии, но ему это удавалась с большим трудом, а иностранные слова он вообще не был способен запоминать. И сейчас ему в голову пришла мысль, что он никогда ими не интересовался и у него никогда не возникало желания их запоминать, да он словно бы даже испытывал какой-то слабый страх перед этими безобидными фамилиями.

Он сопровождал Бертранда по коридорам здания полиции; перед дверью одного из кабинетов ему пришлось подождать. Берtrand вскоре вернулся: "Теперь нам известно". И он показал чешское название населенного пункта, написанное на листочке бумаги. "Вы сказали им о набережной Хафеля?" Естественно, Берtrand сделал это: "Но вам, дорогой Пазенов, предстоит сегодня вечером одна не совсем приятная миссия, от которой я вас из-за своей руки освободить, к сожалению, не могу. Вы оденете гражданский костюм и поищите ее в ночных увеселительных заведениях. Мне не хотелось подкидывать эту мысль полицейским — у нас еще будет для этого время, — иначе нашу милую Руцену возьмут прямо там". О такой банальнейшей и отвратительнейшей возможности Йоахим и не подумал; от цинизма этого Бертранда начинает подташнивать. Он посмотрел на Бертранда: не было ли известно тому больше сказанного? Лишь Мефистофель знал, какие грехи предстояло искупить Маргарите. Но Берtrand ничего не заметил. Не оставалось ничего другого, как подчиниться и взвалить на себя в виде очередного испытания распоряжение Бертранда.

Он начал свой унижительный обход, расспрашивая официантов и буфетчиц, от души сразу же отлегло, когда в охотничьем казино ему сказали, что Руцену там не видели. На лестнице, правда, он повстречал толстую даму, развлекавшую гостей заведения: "Что, ищешь свою невесту, малыш? Сбежала? Брось, пойдем со мной, всегда найдешь кого-нибудь другого". Что ей было известно о его отношениях с Руценой? Ведь, может же

быть, она видела Руцену, но его выворачивало от одной мысли расспрашивать ее об этом, он проскользнул мимо и направился в следующее заведение; да, она была здесь, сказала буфетчица, вчера или позавчера, больше ей ничего не известно, может быть, уборщица сможет дать ему справку по этому поводу. Ему приходилось продолжать свой мученический обход, расспрашивать, каждый раз сгорая от стыда, буфетчиц или уборщиц: ее видели или не видели, она умывалась, один раз ушла с каким-то господином, она имела вид откровенно опустившейся дамы: "Мы все пытались ее уговорить по-хорошему, чтобы она шла домой; девушка в таком состоянии чести заведению не делает, но она усаживалась и упрямо молчала". Некоторые из этих людей называли Йоахима безо всяких обиняков "господин лейтенант", так что ему в душу закралось подозрение, не поведала ли Руцена всем им об их любви, не растрезвонила ли, к его стыду, уборщицам, к которым Йоахима всегда отсылали.

В комнате уборщицы в туалете он ее и нашел. Она спала, устроившись в углу комнаты для умывания под одним из газовых светильников, рука с кольцом, которое она получила от него в подарок, расслабленно покоилась на влажной мраморной плите моечного столика. Высокие ботинки были расстегнуты и болтались на ноге, выглядывавшей из-под платья. Шляпка была немножко сдвинута назад, сместив полями и прическу. Йоахим охотнее всего бы ушел; она производила впечатление пьяной женщины. Но он прикоснулся к ее руке; Руцена устало открыла глаза; узнав его, она снова их зажмурила. "Руцена, нам нужно идти". Она, не открывая глаз, затрясла головой. Он стоял перед ней и не знал, что делать. "А вы ее ласково поцелуйте", — приободрила его уборщица. "Нет", — испуганно вскрикнула Руцена, она вскочила на ноги и хотела выскочить в дверь, но зацепилась за расстегнутые свисающие ботинки, и Йоахим удержал ее. "Голубушка, с такими ботиночками и прической вам никак нельзя на улицу, — попыталась уговорить ее уборщица, — да и господин лейтенант не желает вам ничего плохого". "Оставлять, бросать, я говорить... — хрипела Руцена, а затем

Йоахиму в лицо: — Все, чтобы знать, это все". Из ее рта исходил гнилостный, неприятный запах. Йоахим не пропустил ее к двери; тогда Руцена отвернулась, рванула на себя дверь туалета и закрылась изнутри на защелку. "Все,— шипела она оттуда,— сказать ему, пусть уходит, все". Йоахим опустился на стул рядом с моечным столиком; неспособный собраться с мыслями, он просто знал, что и это относится к угодным Богу испытаниям, он уставился на полуоткрытый ящик моечного столика, в котором, беспорядочно перемешаны, лежали вещи уборщицы, ручные полотенца, штопор, одежная щетка. "Уже ушел он?"— услышал он голос Руцены. "Руцена, выйди оттуда",— попросил он. "Голубушка, выходите,— обратилась к ней уборщица,— здесь все-таки дамский туалет, и господин лейтенант не может здесь оставаться". "Пусть уходит",— отрезала Руцена. "Руцена, ну выйди оттуда, я прошу тебя",— взмолился Йоахим еще раз, но Руцена не проронила за запертой дверью ни слова. Уборщица вытянула его за рукав в переднюю комнату и прошептала: "Она выйдет, когда услышит, что господина лейтенанта уже нет. А господин лейтенант ведь может подождать и внизу". Йоахим послушался совета уборщицы, в тени соседнего дома ему пришлось прождать добрый час. Затем показалась Руцена; рядом с ней покачивался полный, какой-то рыхлый бородач. Она осторожно осмотрелась. На лице ее застыла странная, злобная улыбка. Мужчина подозвал извозчика, и они уехали. Йоахима чуть не стошнило по дороге домой, он почти не помнил, как он туда добрался, его сильнее всего мучила мысль о том, что толстяку этому, собственно говоря, можно посочувствовать, ибо Руцена неизвестно когда мылась и у нее изо рта неприятно пахло. На комодке все еще лежал револьвер; он осмотрел его, недоставало двух патронов. Держа оружие в молитвенно сложенных руках, он прошептал: "Господи, возьми меня к себе, как и моего брата, к нему Ты был милостив, будь таким же и ко мне". Затем он вспомнил, что ему необходимо еще отдать последние распоряжения; Руцену он тоже не может оставить обделенной, иначе правильным оказалось бы все, что

она ему сделала. Он поискал чернила и бумагу. Утро застало его спящим за практически чистым листом бумаги.

Он утаил свою стычку с Руценой, было стыдно перед Берtrandом, не хотелось давать ему повод для радости, и хотя ложь была отвратительна, он рассказал, что нашел ее в ее квартире. "Тоже неплохо,— сказал Берtrand,— а в полицию вы сообщили? А то ее вмешательство может создать ряд проблем". Йоахим, конечно, об этом и не подумал, и Берtrand отправил посыльного с соответствующим сообщением в полицию. "Так где же она пряталась в течение этих трех дней?" "Этого она не сказала". "Ну что ж, пусть будет так". Такие хладнокровие и деловитость были просто очаровательны; он чуть не застрелился, а этот так просто рассуждает: тоже неплохо, и пусть будет так. Но он не застрелился, потому что должен позаботиться о Руцене, а для этого ему необходим совет Берtrанда: "Послушайте, Берtrand, сейчас я должен буду, наверное, унаследовать имение; я тут подумал вот о чем, не приобрести ли Руцене — ей ведь необходимы и дело, и занятие — магазинчик или что-нибудь подобное..." "Вот как,— отреагировал Берtrand.— Но это мне кажется не совсем правильным". "Может, назначить ей определенную сумму денег? Как это можно сделать?" "Переслать ей деньги. Но лучше назначить ей на какое-то время пенсию; иначе она немедленно потратит все деньги". "Да, но как это сделать?" "Знаете что, я бы, естественно, охотно вам во всем этом подсобил, но лучше, если этим займется мой адвокат. Я договорюсь с ним о встрече завтра или послезавтра. Впрочем, вам, дорогой мой, можно посочувствовать". "А, не все ли равно",— проронил Йоахим. "Ну, что вас так сильно мучает? Не стоит, право, принимать все так близко к сердцу",— посоветовал Берtrand слегка добродушным тоном. "Его пропитанная ироничностью бестактность и эта ироничная складка вокруг рта так отвратительны!" — подумал Йоахим, и в глубине души опять шевельнулось подозрение, что за этим необъяснимым поведением Руцены и ее коварством стоят

интриги Бертранда и еще какая-то низменная связь, которая довела Руцену до безрассудства. Было, правда, и маленькое удовлетворение оттого, что она в определенной степени изменила и Берtrandу с тем толстяком. К горлу снова подошло ощущение тошноты, испытанное им вчера вечером. В какое же болото он попал! Снаружи по оконным стеклам струились капли осеннего дождя. Здания на заводе "Борсиг" должны быть сейчас черными от осевшей копоти, черные камни мостовой и заводской двор, который можно увидеть через ворота, безбрежное черное и блестящее болото. От него исходил запах саж, которую с почерневших концов высоких красноватых заводских труб сбивали вниз струи дождя; витал неприятный запах гнили и серы. Это было болото; к нему относились и толстяк, и Руцена, и Берtrand; все было из того же разряда, что и ночные увеселительные заведения с их газовыми светильниками и туалетными комнатами. День стал ночью, точно так же, как ночь — днем. В голову ему пришло словосочетание "темные духи", впрочем, он себе их довольно плохо представлял. А есть ведь и "светлые духи". Ему приходилось слышать выражение "непорочный светлый образ". Да, это то, что противоположно темным духам. Тут он опять увидел Элизабет, которая была не такой, как все, и покачивалась высоко вверху над всем этим болотом на серебристом облаке. Может быть, он себе все это уже представлял, когда видел в спальне Элизабет белые кружевные облака и намеревался охранять ее сон. Теперь уже скоро придет она со своей матерью и поселится в новом доме. То, что там имеются туалетные комнаты, было естественным, но он полагал, что думать об этом — богохульство. Но не менее богохульным казалось присутствие в белой комнате Бертранда, который лежал здесь с вьющимися белокурыми волосами подобно молоденькой девушке. Так тьма скрывает свое истинное существо, не позволяет вырвать свою тайну. Берtrand же с озабоченным дружеским участием продолжал: "Вы, Пазенов, выглядите настолько плохо, что вас следовало бы отправить в отпуск, немного попутешествовать пошло бы вам на пользу. У

вас в голове появились бы другие мысли". "Он хочет отправить меня куда-нибудь подальше,— пронеслось в голове Йоахима.— С Руценой ему удалось, теперь он хочет столкнуть в пропасть и Элизабет". "Нет,— ответил он,— мне нельзя сейчас уезжать..." Берtrand какое-то мгновение молчал, а затем показалось, будто он почувствовал подозрение Йоахима, и теперь ему самому пришлось открыть свои злые замыслы относительно Элизабет, ибо он спросил: "А госпожа Баддензен с дочерью уже в Берлине?" Берtrand все еще участливо улыбался, почти даже сиял, но Йоахим с резкостью, которая была ему несвойственна, коротко отрезал: "Дамы, наверное, несколько продлят свой сезон в Лестове". Теперь он знал, что должен жить, что это его рыцарская обязанность помешать тому, чтобы еще одна судьба не свалилась в пропасть и не попала в сети Бертранда по его вине; Берtrand же на прощанье просто весело произнес: "Значит, я договариваюсь с моим адвокатом... а когда дело с Руценой будет улажено, вы обязательно съездите в отпуск. Вам он действительно нужен". Йоахим ничего больше не ответил; решение было принято, и он ушел в себя, полный тяжелых мыслей. Берtrand всегда пробуждал такие мысли. И со скупым, так сказать, уставным жестом, сделанным, чтобы стряхнуть с себя эти мысли, к Йоахиму фон Пазенову внезапно вернулось ощущение, будто за руку его берет Гельмут, будто Гельмут опять хочет показать ему дорогу, вернуть его обратно к традициям и обязанностям, снова открыть ему глаза. То, что у Бертранда, которому вчерашняя вылазка в полицию не пошла на пользу, в этот день опять поднялась температура, Йоахим фон Пазенов, впрочем, и не заметил.

Известия из дома о болезни отца были по-прежнему неутешительными. Он больше никого не узнавал: просто существовал. Йоахим поймал себя на отвратительно приятном предположении, что сейчас в Штольпин можно не опасаясь отправить любое письмо, представил себе картину, как почтальон с сумкой заходит в комнату и как старик, ничего не соображая, роня-

ет письмо за письмом, даже если бы среди них находилось извещение о помолвке. И это было своего рода облегчением и смутной надеждой на будущее.

Возможность снова встретиться с Руценой пугала его, хотя иногда, когда он возвращался домой, ему было просто трудно представить, что он не увидит ее у себя дома. Впрочем, теперь он каждый день ждал известий от нее, поскольку дело о пенсии с адвокатом Бертранда он уже обсудил и следовало предполагать, что Руцена об этом уже извещена. Вместо этого он получил письмо от адвоката, в котором говорилось, что дарение получателем не принимается. С этим нельзя было смириться; он отправился к Руцене; дом, лестница и квартира действовали на него крайне угнетающе, с какой-то даже пугающей тоской. Он опасался, что ему снова придется стоять перед закрытой дверью, может быть, даже его будет прогонять какая-нибудь уборщица, и ему было так неприятно вторгаться в комнату дамы, что он просто спросил, дома ли она, постучался и вошел. Комната и сама Руцена были в беспорядочном и небрежном состоянии, все выглядело перерытым и запущенным. Она лежала на диване, устало жестикулируя, словно знала, что он придет: Руцена вяло проговорила: "Братъ от тебя ничего в подарок. Кольцо оставлять мне. Память". Йоахиму никак не удавалось отыскать в своем сердце сочувствие; если еще на лестнице у него было намерение объяснить ей, что он по существу не понимает, в чем она его обвиняет, то теперь он был просто зол; во всем этом он мог видеть одну лишь запущенность и ничего более. Но он все-таки сказал: "Руцена, я не знаю, что, собственно, случилось..." Она злорадно ухмыльнулась, и в нем снова поднялась злость на ее запущенность и неверность, на то, что она поступила с ним жестоко и несправедливо. Нет, продолжать уговаривать ее — лишено смысла, поэтому он сказал только, что для него невыносимо будет знать, что ее судьба не обеспечена хоть в какой-то степени, что он сделал бы это уже давно и независимо от того, были бы они вместе или нет, и что сейчас ему сделать это было бы проще, поскольку он — это он

добавил с умыслом — должен вскоре унаследовать имение и получить большой доступ к деньгам. "Хороший человек,— сказала Руцена,— иметь только плохой друг". В конце концов так в глубине души считал и Йоахим, но поскольку в такое он не собирался ее посвящать, то он просто возразил: "Ну почему Берtrand должен быть плохим другом?" "Вредить словом",— ответила Руцена. Казалось заманчивым создать вместе с Руценой совместный фронт против Бертранда, но не было ли и это еще одним искушением сатаны и интригой Бертранда? Руцена, очевидно, почувствовала это, потому что сказала: "Тебе необходимо быть осторожным перед ним". Йоахим промолвил: "Мне известны его ошибки". Она выпрямилась на диване, и теперь они сидели на нем рядом. "Бедный хороший мальчик не может знать, какой плохой бывать человек". Йоахим заверил ее, что он это очень даже хорошо знает и его не так легко ввести в заблуждение. Какое-то время они разговаривали о Бертранде, не упоминая его имени, а поскольку им не хотелось заканчивать разговор, то они не отклонялись от темы, пока тоскливая печаль, скользившая в их словах, не начала нарастать и в нее не погрузились их слова, соединившиеся в один поток со слезами Руцены, который увеличивался и замедлял свой бег. У Йоахима в глазах тоже дрожали слезы. Оба они оказались беспомощными перед бессмысленностью бытия, поскольку замкнулись каждый в себе, так что больше не могли надеяться на взаимную помощь. Они не решались взглянуть друг на друга, и Йоахим наконец печальным голосом тихо проговорил: "Прошу тебя, Руцена, возьми хотя бы деньги". Она ничего не ответила, но взяла его руку в свои. Когда он наклонился к ней, чтобы поцеловать, она наклонила голову так, что он попал губами между шпилек в ее волосах. "Иди сейчас,— сказала она,— быстро иди". И Йоахим молча вышел из комнаты, в которой уже стало темнеть.

Он сообщил адвокату, чтобы тот еще раз отправил свидетельство о дарении; может быть, в этот раз Руцена его примет. Та нежность, с которой он и Руцена простились, произвела на

него куда большее впечатление, чем та беспомощная злость, в которую повергло его не поддающееся осмыслению ее поведение. Оно и сейчас по-прежнему оставалось непонятным и пугающим. Его мысли о Руцене были полны приглушенного страстного стремления к ней, полны той противоречивой тоски, с какой он в первые годы в кадетской школе вспоминал о родительском доме и о матери. Не у нее ли сейчас тот толстяк? По неволе ему вспомнилась шутка, которой отец оскорбил Руцену, он и здесь увидел проклятье отца, который, будучи сам больным и беспомощным, прислал теперь своего заместителя. Да, по Божьей воле исполняется проклятие отца, а это значит, что следует смириться.

Иногда он предпринимал слабую попытку вернуть Руцену; но когда до ее дома оставалось пройти пару улиц, он всегда возвращался обратно или сворачивал куда-нибудь, попадал в пролетарский квартал или в круговерть на Александерплац, а однажды он даже оказался у Кюстринского вокзала. Сеть снова слишком запуталась, все нити выскользнули у него из рук. Единственная отрада — уладилось дело с пенсией, и Йоахим проводил теперь много времени у адвоката Бертранда, гораздо больше, чем требовалось в интересах дела. Но потраченные часы были своего рода успокоением, и хотя адвокату эти скучные и даже где-то бессодержательные визиты, вероятно, не доставляли удовольствия и Йоахим ничего не узнавал о том, что надеялся узнать от представителя Бертранда, но все-таки адвокат не имел ничего против, чтобы остановиться на имеющих очень условное отношение к делу или даже почти что частных проблемах своего знатного клиента, он проявил по отношению к нему ту профессиональную заботливость, которая, хоть и мало напоминала заботливость врача, но, тем не менее, благотворно воздействовала на Йоахима. Адвокат — немногословный господин без бороды — хоть и являлся адвокатом Бертранда, был похож на англичанина. Когда наконец со значительным опозданием пришло заявление Руцены о приеме дарения, адвокат сказал: "Ну что ж, теперь мы это имеем. Но если бы вы,

господин фон Пазенов, поинтересовались моим мнением, то я бы вам посоветовал освободиться от имеющей на что-нибудь право дамы вместо того, чтобы выделять соответствующий капитал на пенсию". "Но,— возразил ему Йоахим,— я как раз обсуждал эту проблему, связанную с пенсией, с господином фон Берtrandом, поскольку..." "Мне известны ваши мотивы, господин фон Пазенов, я знаю также, что вам не очень нравится — простите мне это выражение — брать быка за рога; но то, что я предлагаю — в интересах обеих сторон; для дамы — это приличная сумма денег, которая при известных обстоятельствах обеспечит ей лучшую жизненную основу, чем пенсия, для вас же — это вообще радикальное решение". Йоахим впал в сомнения: а хотел ли он радикального решения? От адвоката не укрылись его колебания: "Если мне позволено будет коснуться приватной стороны вопроса, то мой опыт подсказывает, что предпочтение всегда целесообразно отдавать решению, которое позволяет считать имеющиеся отношения несуществующими.— Йоахим бросил на него удивленный взгляд.— Да, господин фон Пазенов, несуществующими. А традиция, вероятно, все же самая лучшая путеводная нить". В голове крепко засело это слово "несуществующие". Было просто примечательно, что Берtrand устами своего заместителя изменил собственное мнение и даже признал теперь традицию чувства. Почему он это сделал? Адвокат добавил: "Стоит подумать над этой проблемой и с этой точки зрения, господин фон Пазенов; к тому же в вашем положении уступка части капитала не имеет абсолютно никакого значения". Да, в его положении; чувство родины снова шевельнулось в душе Йоахима теплой и успокаивающей волной. В этот раз он оставил контору адвоката в особенно хорошем расположении духа, можно даже сказать, в приподнятом настроении, с ощущением собственной значимости. Путь свой он еще не различал с полной ясностью, потому что все еще барахтался в сетях невидимого, которые, казалось, накинули на этот город всего того невидимого, что нельзя было уловить и что делало приглушенную и еще не ушедшую тоску

по Руцене бессодержательной, наполняя ее тем не менее новым, пронизанным страхом содержанием, соединяя его самого таким новым и таким нереальным образом с Руценой и с миром городского, что сеть ложного блеска становилась сетью страха, которая раскинута вокруг него и в большой путанице которой таилась угроза, а теперь и Элизабет, возвращаясь в мир городского, что был ей чужд, попадала в эти сети, нетронутая и девственная, запутавшаяся в дьявольском и неуловимом, повязанная его виной, вовлеченная им, который не может освободиться из невидимых объятий зла; так что все еще существовала угроза смешения света с тьмой, если даже невидимого и отдаленного, если даже неустойчивого и неопределенного, то все-таки грязного, того, что вытворял отец в доме матери со служанками. Но, невзирая на все это, Йоахим, выйдя из конторы адвоката, ощутил перемену, ибо возникало впечатление, словно бы Берtrand был уличен во лжи устами своего собственного представителя: это был Берtrand, именно Берtrand, который стремился заманить его в сети невидимого и неуловимого, а теперь его представителю самому приходится признать, что какой-то там Пазенов занимает совершенно иное положение, вне города и толчеи, даже если считать весь этот беспорядок несуществующим. Да, это было сказано Берtrandом через своего представителя, так что теперь зло, в конце концов, само поднимает руки, ведь зло все еще покорно воле Божьей, которая устами отца требует уничтожения и несуществования того, что было проклято отцом. Зло оказывается битым, и если оно все еще не отрекается от своих намерений относительно Элизабет, то ему самому придется позаботиться о том, чтобы оно последовало распоряжению отца. И, не посоветовавшись с Берtrandом лично, Йоахим принял решение уполномочить адвоката организовать выплату денег.

Точно так же не посоветовавшись с Берtrandом, Йоахим, получив известие о прибытии семьи барона, надел парадную форму, новые перчатки и отправился к Баддензенам. Хозяева хотели сразу же показать ему новый дом, но он попросил баро-

на уделить ему вначале немного времени для беседы личного порядка, и когда они остались наедине с бароном, Йоахим ловким движением стал в предписываемую уставами строевую стойку, вытянулся, словно перед начальником, и попросил у барона руки Элизабет. Барон ответил: "Я очень рад, это большая честь, мой дорогой Пазенов". Он позвал в комнату баронессу. Баронесса произнесла, поднеся платочек к глазам: "О, я ждала этого, ведь от материнского ока трудно что-либо утаить". Да, они очень рады обрести в нем дорогого сына, они, наверное, не могли и пожелать чего-нибудь лучшего и выражают уверенность, что он сделает все возможное для того, чтобы их дитя было счастливо. Да, он сделает это, ответил он со строгим мужским выражением на лице. Барон взял его за руку: но теперь им следует переговорить с дочерью — это ведь так естественно. Йоахим сказал, что он, конечно, все понимает; после этого они провели еще с четверть часа в полупроформальной, полудоверительной беседе, в ходе которой Йоахим не преминул упомянуть о ранении Бертранда; вскоре он простился, так и не увидевшись с Элизабет и не посмотрев новый дом, но он не очень расстроился, ведь отныне для этого у него вся жизнь впереди.

Он про себя отметил, что не горит страстным желанием, чтобы она ответила согласием на его предложение, и ничто не подталкивало его к тому, чтобы сократить время ожидания, иногда он даже удивлялся, что никак не может представить себе будущую жизнь; единственное, что всплывало в его воображении, был он сам, стоящий посреди хозяйского двора рядом с Элизабет, в руках — трость с белым набалдашником из слоновой кости, но когда он пристальней всматривался в эту картину, то рядом возникал образ Бертранда. Будет нелегким делом сообщить ему о своей помолвке; да, все было направлено именно против Бертранда, именно от него следовало оберегать Элизабет, но, строго говоря, это немножко смахивало на предательство, ибо однажды он в известной степени уже усту-

пил ему Элизабет. И если даже Берtrand заслуживал того, чтобы оказаться в такой ситуации, все-таки было как-то жаль огорчать его. Это, конечно же, не могло послужить причиной того, чтобы отложить помолвку; его внезапно охватило такое чувство, что если Бертранда предварительно не поставить в известность о помолвке, он может вообще на это мероприятие не явиться. К тому же он был просто обязан не выпускать Бертранда из поля зрения, до Йоахима не доходило, что за несколько последних дней он настолько забыл о Бертранде, словно все его обязательства перед ним были уже выполнены. К тому же Берtrand, вероятно, был еще болен, и Йоахим отправился в клинику. Берtrand и вправду все еще находился там; персоналу пришлось прилично с ним повозиться; Йоахим был расстроен всей душой, что вот так оставил больного; если он и собрался с духом, чтобы рассказать о предстоящем важном событии, то это было своего рода извинением за столь скромное участие: "Но мне, дорогой Берtrand, не хотелось постоянно обременять вас своими личными проблемами". Берtrand улыбнулся, и в этой улыбке было что-то от врачебной или женской заботливости: "Ну, это уже слишком, Пазенов, все не так уж плохо; я рад возможности услышать вас". И Йоахим рассказал о том, что сделал Элизабет предложение. "Я не знаю, как она к этому отнесется. С волнением уповая на ее согласие, я ужасно боюсь отказа, поскольку в таком случае я буду ощущать себя ввергнутым обратно во все эти душераздирающие перипетии последних месяцев, которые вам большей частью пришлось пережить вместе со мной, тогда как я питаю надежду рядом с ней отыскать дорогу к освобождению". Берtrand снова улыбнулся: "Знаете, Пазенов, сказано и вправду прекрасно, только после этого мне как-то не хочется, чтобы вы женились; но вам не следует мучиться страхом, я уверен, что мы скоро сможем вас поздравить". Какой отвратительный цинизм; этот человек действительно плохой друг, да он и не друг вовсе, если сейчас приходится признать в качестве смягчающего вину обстоятельства его ревность и разочарование. Поэтому Йоахим решил не об-

ращать внимания на эти циничные слова, а вернулся мыслями немного назад и спросил: "А что мне делать, если она ответит отказом?" В ответ Берtrand сказал то, что ему хотелось услышать: "Она не скажет "нет". Он сказал это с такой определенностью и уверенностью, что Йоахима опять охватило то чувство защищенности, которое столь часто испытывал он, общаясь с Берtrandом. Ему даже показалось несправедливым, что Элизабет приходится довольствоваться им, ненадежным человеком, отказываясь от мужчины преданного и уверенного в себе. Словно в подтверждение этого что-то прошептало в нем: "Товарищи на солдатской службе". Перед глазами вдруг возник образ Берtrанда, когда он был еще майором. Но откуда такая уверенность? Как он может знать, что Элизабет не откажет? К чему эта столь ироничная улыбка? Что ему известно? И он пожалел, что посвятил его в свои тайны.

У Берtrанда, впрочем, были некоторые основания для ироничной, вернее, всезнающей улыбки; но на сей раз это была всего лишь доброжелательная усмешка.

Днем ранее Берtrанда провела Элизабет. Она приехала в клинику и попросила, чтобы он вышел в приемную. Невзирая на боли, он сразу же спустился вниз. Это был странный визит, который определенно не вписывался в рамки принятого; но Элизабет и не утруждала себя тем, чтобы как-то завуалировать это нарушение принципов общественной морали; явно взволнованная, она без обиняков сказала: "Йоахим просит моей руки".

"Если вы любите его, то в чем проблема?"

"Я не люблю его".

"В таком случае тоже не вижу проблем, ибо тогда вы ему просто откажете".

"Значит, вы не хотите мне помочь?"

"Боюсь, Элизабет, что сделать этого не сможет никто".

"Мне казалось, вы могли бы".

"А мне не хотелось бы больше встречаться с вами".

"Вы не испытываете дружеского участия ко мне?"

"Я не знаю, Элизабет".

"Йоахим любит меня".

"К сожалению, составной частью любви является определенное благоразумие, почти что мудрость. С вашего позволения, я бы все-таки рискнул усомниться в такой любви. Я уже однажды вас предостерегал".

"Вы плохой друг".

"Да нет, просто бывают мгновения, когда следует быть абсолютно искренним".

"Можно ли тогда быть для любви слишком глупым?"

"Именно об этом я и говорю".

"Наверное, и я слишком глупа для этого..."

"Послушайте, Элизабет, нам не стоит забивать себе голову такими соображениями, это не те мотивы, исходя из которых принимают решения относительно собственной жизни".

"Может быть, я люблю его... было время, когда я не думала об этом замужестве с такой неохотой".

Элизабет сидела в широком больничном кресле в этой маленькой приемной, устремив застывший взгляд в пол.

"Зачем вы пришли, Элизабет? Ведь не затем же, чтобы услышать совет, который никто не в состоянии вам дать".

"Вы не хотите мне помочь".

"Вы пришли потому, что не можете смириться с тем, что кто-то от вас ускользает".

"Мне очень тяжело... И вы не смеете этим пренебрегать... слишком тяжело, чтобы вы опять пытались говорить мне злые вещи. Мне казалось, что я могу надеяться хоть на какое-нибудь сочувствие с вашей стороны..."

"Но я должен сказать вам правду. Вы пришли, потому что чувствуете, что я в какой-то мере нахожусь где-то там, вне вашего мира, потому что считаете, что в этом "где-то там" наряду с банальной альтернативой — я его люблю или я его не люблю — может существовать и еще какая-то возможность".

"Может быть, и так; я уже больше ничего не знаю".

"И вы пришли, потому что знаете, что я люблю вас — я ска-

зал вам об этом достаточно откровенно,— а также потому, что хотели мне показать, куда ведет меня моя несколько абсурдная форма любви,— он смотрел на нее сбоку,— может, и для того, чтобы проверить, насколько быстро можно избавляться от странностей в сознании...”

“Это неправда!”

“Будем откровенны, Элизабет, для вас и для меня речь здесь идет о том, смогли бы вы выйти за меня замуж. Или если уж выражаться абсолютно правильно, то любите ли вы меня”.

“Господин фон Берtrand, вы не смеете так злоупотреблять этой ситуацией”.

“Да об этом вам и говорить не стоит, тем более, что вы прекрасно знаете, что это не так. Вы стоите перед жизненно важным решением, а значит, не можете позволить себе запутаться во всех этих традиционных условностях. Естественно, все просто сводится к тому, желает ли женщина иметь мужчину любовником, а вовсе не к тому, хотят ли они вместе вести домашнее хозяйство. Если я что-то и ставлю в вину этому Йоахиму, так это то, что он единственно существенное обстоятельство не выяснил с вами, а опустил до того, что обратился с так называемым сватовством прямо к родителям. Будьте спокойны, за этим непременно последует еще и падение на колени”.

“Вы опять намерены мучить меня. Мне не следовало приезжать сюда”.

“Да, вам не следовало бы приезжать сюда, потому что я не желал вас больше видеть, но ты не могла не приехать, потому что ты меня...”

Она зажала уши руками.

“Вернее, находясь далеко, вы полагали, что могли бы любить меня”.

“Зачем вы мучите меня, неужели я еще недостаточно страдалась?” Запрокинув голову, закрыв глаза и прикоснувшись руками к вискам, она откинулась в кресле; обычно так она сидела и в Лестове, и эта привычная поза заставила его улыбнуться с какой-то даже нежностью. Он стоял у нее за спиной.

Болела рука на перевязи, делавшей его совершенно беспомощным. Но ему удалось наклониться и коснуться своими губами ее губ. Она прошептала: "Это безумие".

"Нет, это всего лишь прощание".

Ее лицо побледнело, и слабым бесцветным голосом она пролепетала:

"Вы не смеете, вы не..."

"А кому позволено целовать вас, Элизабет?"

"Вы не любите меня..."

Бертранд заметался по комнате. Сильно болела рука, и он чувствовал, что его всего трясет. Да, она права, конечно это безумие. Внезапно он повернулся к ней, приблизился вплотную: сказанное мимо его воли прозвучало угрожающе:

"Я тебя не люблю?"

Она неподвижно застыла перед ним, руки свисали плетьюми, она не сопротивлялась, когда он слегка запрокинул ее голову. Наклонившись к ее лицу, он угрожающим тоном повторил: "Я тебя не люблю?" Ей казалось, что он сейчас укусит ее в губы, но это был поцелуй. Непостижимым образом расплылись в улыбке застывшие уста, ожили безвольно свисающие руки, они, повинувшись порыву ее чувств, поднялись вверх и сомкнулись на его плечах, казалось, что это навечно. Но тут он выдавил из себя: "Не забывайте, Элизабет, я ведь все-таки ранен".

В ужасе она отпрянула: "Простите". Ее охватила слабость, и она бессильно опустилась в кресло. Он присел на спинку кресла, извлек шпильки из шляпки и начал гладить ее белокурые волосы. "Ты так красива, и я так сильно люблю тебя". Она молчала, не возражая, когда он взял ее руки в свои, ощутила жар его руки, ощутила жар его лица, когда он еще раз наклонился к ней. И когда он снова хриплым голосом прошептала: "Я люблю тебя", она слабо покачала головой, но не отвернулась, а позволила себя поцеловать. И только после этого по ее лицу потекли слезы.

Бертранд сидел на спинке кресла, легкими движениями гладил ее волосы; затем произнес:

"Я тоскую по тебе". Слабым голосом она ответила: "Это ведь не так".

"Я тоскую по тебе".

Она молчала, уставившись в пустоту. Он больше не прикасался к ней; поднялся и еще раз повторил: "Это невозможно выразить словами, как я тоскую по тебе".

Тут по лицу ее пробежало подобие улыбки: "И уходишь от меня?"

"Да, ухожу".

Она метнулась к нему полным отчаяния взглядом, в котором сквозила мольба; он повторил еще раз: "Нет, мы с тобой никогда больше не увидимся".

Она никак не могла поверить в это. Берtrand улыбнулся:

"Ты можешь себе представить, чтобы я сейчас стоял перед твоим отцом и просил твоей руки? Чтобы я отрекся от всего того, что говорил? Это была бы в высшей степени жалкая комедия; пошлейшее надувательство".

Она немного пришла в себя, но все же никак не могла понять его слова.

"Но почему? Почему..."

"Я ведь не могу просить тебя стать моей любовницей, пойти со мной... конечно, я мог бы, и ты в конце концов тоже сделала бы это... может быть, из чувства романтики... может, потому, что я тебе сейчас действительно дорог... сейчас, конечно... эх, ты...— Их губы слились в длительном поцелуе.— ...но в итоге я не могу ставить тебя в сомнительное положение, даже в том случае, если бы оно казалось тебе более приемлемым, чем... будем уж откровенны до конца, брак с этим Исааком".

Она удивленно уставилась на него:

"Вы что же, все еще можете думать о том, что я выйду за него замуж?"

"Естественно, могу.— И чтобы разрядить приобретающее невыносимый характер напряжение, он, посмотрев на часы, пошутил: — Уже добрых двадцать минут, как мы оба об этом думаем. Мысль об этом должна была бы стать невыносимой

двадцать минут назад, в противном случае она вполне приемлема".

"Вы не должны так сейчас шутить...— а потом со страхом в голосе: — Ты это серьезно?"

"Я не знаю... да и никто этого не знает".

"Ты уходишь от ответа или же тебе доставляет удовольствие мучить меня. Вы так циничны".

Сказанное Берtrandом прозвучало серьезно: "Я что же, должен обманывать тебя?"

"Ты, вероятно, обманываешь себя самого... вероятно потому, что ты... сама не знаю почему... но что-то тут не так... нет, ты меня не любишь".

"Я эгоист".

"Ты не любишь меня".

"Люблю".

Она пристально, со всей серьезностью посмотрела на него: "Я должна, значит, выйти замуж за Йоахима?"

"В любом случае я не смею сказать тебе "нет".

Она высвободила руки, долго сидела в кресле, не проронив ни слова. Затем встала, нашла свою шляпку, закрепила ее шпильками: "Прощай, я выйду замуж... может быть, это цинично, но у тебя это не может вызвать удивления... мы оба, наверное, совершаем самое страшное преступление против самих себя... прощай".

"Прощай, Элизабет, не забывай этих минут... моя единственная месть Йоахиму... я никогда не смогу забыть тебя".

Она провела рукой по его щеке. "Ты весь горишь",— сказала она и быстрым шагом вышла из комнаты.

После всего происшедшего у Берtrанда случился сильнейший приступ лихорадки. Он показался ему справедливым, да к тому же и благом, ибо позволял провести черту между вчера и сегодня. И он давал ему силы снова смотреть на Йоахима, который сидел перед ним, в том же доме — был ли этот дом тем же? — с обычной доброжелательностью. Нет, это все выглядит странно. Итак, он сказал: "Не беспокойтесь, Пазенов, вы бро-

саете якорь в семейной гавани. И счастья вам". "Какой грубый и циничный человек", — снова промелькнуло в голове у Йоахима, тем не менее он испытывал чувство благодарности и успокоения. Может быть, это было напоминанием об отце, но мысль о браке странным образом перемешалась с тем, как выглядела эта тихая больничная палата, по которой сновали одетые в белое монахини. Ласковой и по-монашески степенной была Элизабет, вся в белом на серебристом облаке, и ему вспомнилось изображение мадонны Ассунты, которое он видел, кажется, в Дрездене. Он снял фуражку с вешалки. Йоахиму казалось, что это Берtrand подтолкнул его к этому браку, и странное чувство завладело им: Берtrand хочет таким образом втянуть его в гражданскую жизнь, хочет похитить у него форму и место в полку, чтобы вместо него стать майором; и когда Берtrand, прощаясь, протянул ему руку, то он и не заметил, что у того высокая температура. Он все же был благодарен Берtrandу за хорошие слова, его прямая удаляющаяся фигура, одетая в длинный форменный китель, имела прямоугольные очертания. До Берtrанда еще доносилось тихое позвякивание шпор на лестнице, и его преследовала навязчивая мысль о том, что Йоахим прошел сейчас внизу по той самой приемной.

Ответ на его сватовство был положительным. Впрочем, как писал барон, Элизабет не хотелось бы пока отмечать официальную помолвку. Она испытывает определенную робость перед окончательным шагом; но в ближайший вечер Йоахима ждут к ужину.

Хотя это и не было еще настоящей помолвкой, хотя Йоахиму ни Элизабет, ни ее родителями еще не было предложено доверительное "ты" и хотя тон за столом имел официально натянутый характер, но в воздухе, вне всякого сомнения, витало праздничное настроение, ощущение которого стало особенно острым, когда барон постучал по бокалу и множеством красивых слов выразил мысль о том, что его семье, которая представляет собой единое целое, не так-то легко принять в свой

круг нового члена; но если же все происходит с Божьего соизволения, то это должно приветствоваться всем сердцем, и любви, соединяющей семью, хватит тогда и на новичка. У баронессы на глаза навернулись слезы, и она трогательно коснулась руки своего супруга, когда тот говорил о любви, а Йоахима охватило теплое чувство, что здесь ему будет хорошо; в семейном кругу, сказал он себе, и вспомнилось Святое семейство. Да, Берtrand, наверное, насмеялся и иронизировал бы над речью барона, но эта ирония стоила бы дешево. Двусмысленные шуточки, из которых когда-то состояла застольная речь Берtrанда, такая примитивная, были, конечно, более доступны пониманию, чем то внутреннее состояние души, которое ощущалось в словах барона. Затем все подняли бокалы, раздался звон хрусталя и барон воскликнул: "За будущее!"

После ужина молодых людей оставили наедине, чтобы они могли откровенно поговорить. Они сидели в переделанном и обставленном по-новому музыкальном салоне с обитой черным шелком мебелью, которая была одета в изготовленные баронессой и Элизабет кружевные чехлы; пока Йоахим подыскивал подходящие слова, он услышал, как Элизабет почти радостно произнесла: "Значит, вы, Йоахим, хотите жениться на мне; вы хорошо обдумали свое решение?" "Как не по-женски,— подумал он,— приблизительно так мог бы изъясняться Берtrand". Но как вести себя ему? Должен ли он опуститься сейчас на колени, чтобы предложить ей руку и сердце? Ему повезло, ибо табурет, на котором он сидел, был таким низеньким, что, обращаясь к Элизабет, он и без того почти касался пола, так что при желании это все же можно было бы принять за обозначенное коленопреклонение. Он застыл в этой слегка неестественной позе, а затем спросил: "Смею ли я надеяться?" Элизабет не ответила; он не отрывал от нее глаз; она запрокинула голову и слегка прикрыла глаза. Сейчас, когда он пристально всматривался в ее лицо, в его душе шевельнулось неприятное ощущение, что в доме сейчас возникнет кусочек ландшафта; да, то было воспоминание, которого он побаивался, то был полдень

под сенью осенних деревьев, то была расплывчатая картина, из-за которой он почти что готов был пожелать того, чтобы барон не так уж торопился со своим согласием. Ибо еще хуже брата в женском обличье есть ландшафт, который разрастается и покрывает все, ландшафт, который овладевает всем и всасывает в себя лишенный человеческих черт облик так, что даже Гельмут не смог бы уже помочь в том, чтобы взять под свой контроль ускользающее и расплывающееся. Она сказала: "А вы обсуждали план женитьбы с вашим другом Берtrandом?" Не погрешив против истины, он ответил отрицательно. "Но ему известно об этом?" "Да,— подтвердил Йоахим,— я говорил ему о своем намерении". "Ну, и какой же была реакция?" "Берtrand просто пожелал мне счастья". "Вы испытываете сильную привязанность к нему, Йоахим?" Сказанное ею и ее голос воспринимались Йоахимом как нечто благотворное: он пришел в себя и осознал, что сидит перед человеческим существом, а не перед ландшафтом. Но это тем не менее вызвало определенное беспокойство. Чего она хочет с этим Берtrandом? К чему она вообще ведет? Было как-то некстати говорить сейчас о Берtrandе, хотя, конечно, то, что они нашли тему для разговора, в целом разрядило обстановку. И поскольку Йоахим не мог просто пропустить услышанное мимо ушей, поскольку он чувствовал себя обязанным быть предельно откровенным со своей будущей супругой, то он задумчиво произнес: "Не знаю; но у меня всегда было чувство, что Берtrand является активным компонентом нашей дружбы, и я очень часто испытывал нужду в нем. Я не знаю, можно ли назвать это привязанностью". "Он вызывает у вас беспокойство?" "Да, это подходящее слово... он всегда вызывал во мне беспокойство". "Он беспокойный, а потому, наверное, и беспокоящий человек",— сказала Элизабет. "Да, он такой",— ответил Йоахим и ощутил на себе взгляд Элизабет. У него опять вызвало удивление то, что эти две прозрачные выпуклые звездочки, расположившиеся по обе стороны носа, могут излучать что-то, что мы называем взглядом. Что это вообще такое — взгляд? Он закрыл лицо ладоня-

ми, и тут же перед ним возникла Руцена, веки, которые он так самозабвенно целовал, были опущены. Невозможно представить, чтобы он нечто подобное проделывал с глазами Элизабет; наверное, все-таки правильно учили в школе, что есть холод, о который можно обжечься; ему в голову пришла мысль о холоде вселенной, холоде звезд. Там, на серебристом облаке, парила Элизабет, ее расплывчатый, словно растворенный в окружающем ее эфире облик был девственно строгим, и жутким святотатством был тот факт, что когда она вставала из-за стола, то отец и мать позволяли себе ее целовать. Но из каких же сфер происходил тот, чьим творением и жертвой она чуть не стала? Если ей и ему Бог послал искушителя, то это стало частью возложенного испытания, состоящего в том, чтобы избавить Элизабет от столь земного искушения! Бог восседает в абсолютном холоде, и его заповеди беспощадны, они взаимосвязаны, словно шестеренки станков на заводе "Борсиг", и все это выглядело столь убедительным, что Йоахим был почти доволен тем, что видел один-единственный путь избавления, прямой путь долга, даже если он сам на этом пути получит ожоги. "Он вскоре отправляется в Индию",— сказал Йоахим. "Да, в Индию",— откликнулась она. "Я долго медлил,— продолжил он,— ведь единственное, что я могу предложить вам,— это всего лишь простая деревенская жизнь". "Мы не такие, как он",— заметила она. Йоахим был тронут тем, что она сказала "мы". "Он, вероятно, утерял свои корни,— задумчиво промолвил он,— и, наверное, тоскует о прошлом". "Каждый оказывается таким, каким он есть",— ответила Элизабет. "Нам досталась, увы, не лучшая часть его естества, не правда ли?" — спросил Йоахим. "Мы этого просто не знаем",— был ответ Элизабет. "Позвольте,— возмутился Йоахим,— он живет для коммерции и должен быть холодным и бесчувственным. Вспомните-ка о своих родителях, о словах вашего почтенного отца. Но он называет это условностью, которая определена традицией; ему явно недостает глубины истинных чувств и христианства". Он замолчал: о, сказанное не может полностью отражать истину, ибо то, что он

ожидал от Бога и от Элизабет, по значению было вовсе не равнозначным тому, что его учили понимать под домом христианина; но именно потому, что он ожидал от Элизабет большего, он стремился приблизить свои слова к той сфере небесного, где Элизабет должна была ему открыться как очаровательная и парящая на серебристом облаке Мадонна. Чтобы получить возможность открыться ему, ей, может быть, придется даже сначала умереть, ибо то, как она сидела, откинувшись назад, в кресле, делало ее похожей на Белоснежку в хрустальном гробу, в ней было столько от того высокого прелестного очарования и небесной жизненной силы, что ее лицо уже с трудом можно было сравнить с тем, которое он знал при жизни, до того, как с ужасом соскользнул к тому навязчивому ландшафту. Желание, чтобы Элизабет умерла и своим голосом, словно ангел, передала ему весточку с того света, было очень сильным, и крайнее напряжение, возникшее вследствие этого желания или же само вызвавшее такое желание, достигло беспредельной мощи, а волна пропитанного страхом холода охватила, наверное, и Элизабет, ибо она сказала: "А ему и не нужно это защищающее тепло совместной жизни, в котором нуждаемся мы". Но эти земные слова разочаровали Йоахима, и хотя потребность в защите, прозвучавшая в них, тронула его сердце и вызвала в нем видение Марии, которая жила на грешной земле, прежде чем вознеслась на небо, он все-таки знал, что сил его для такой защиты едва ли хватит, и пребывая в таком вызывающем сомнения разочаровании, он в смятении чувств пожелал им обоим легкой и приятной смерти. А поскольку перед смертью в ощущении дыхания вечности с лица спадают маски, то Йоахим сказал: "Для вас он всегда оставался бы чужаком". И это оказалось им глубочайшей и преисполненной значения правдой, хотя они уже едва ли осознавали, что имя того, о ком они говорили, было Берtrand. Над обтянутым черным шелком катафалком, на котором все еще неподвижно восседал, выпрямив спину и согнув в колене одну ногу, Йоахим, венкообразно нависали люстры, подобно желтым бабочкам, виднелись черные полоски

на покрытых желтизной крылышках, то были собранные в круг огоньки газовых горелок, а белые кружевные накидки на черном шелке казались черепами. В неподвижность холода скользнули слова Элизабет: "Он более одинок, чем другие". На это Йоахим ответил: "Он в руках своего сатаны". Но Элизабет почти незаметно покачала головой: "Он хранит надежду на исполнение...— и затем, словно выбираясь из мучительных воспоминаний, продолжила: — исполнение и осознание в одиночестве и отчуждении". Йоахим молчал; только теперь им невольно овладела мысль, холодной и непонятной пеленой повисавшая между ними, и он произнес: "Он чужой... он всех нас отталкивает, ибо Богу угодно, чтобы мы были одинокими". "Да, он хочет этого", — сказала Элизабет. Невозможно было понять, кого она имеет в виду, Бога или Бертранда; но это уже и не имело значения, потому что одиночеству, нависавшему над ней и Йоахимом, был положен конец, а покои, невзирая на их уютную изысканность, застывали во все большей неподвижности, наполненной страхом; застыли и они оба, им казалось, словно пространство вокруг расширяется и будто с уплывающими стенами воздух становится все более разреженным и холодным, настолько разреженным, что голоса в нем были уже больше не слышны. И несмотря на то, что все замерло в неподвижности, казалось все же, что и мебель, и пианино, на черной лакированной поверхности которого все еще отражался круг газовых светильников, уже больше не стоят на том месте, где они стояли раньше, а отодвинулись куда-то далеко, и золотые драконы с бабочками на черной китайской ширме в углу тоже куда-то ускользнули, поглощенные уплывающими стенами, которые были как будто завешаны черной шалью. Жужжание светильников было похоже на тонкий неприятный свист, и за исключением их крошечной механической жизни, которая иронично струилась из неприлично приоткрытых узких щелочек, все остальное было уже безжизненным. Теперь и она скоро уйдет, подумал Йоахим, и в подтверждение этому из пустоты донесся ее голос: "Он умрет в одиночестве"; это прозвучало будто смертный приговор и

предсказание, предсказание, которое Иоахим засвидетельствовал: "Он болен, и такое может скоро случиться; может, даже сейчас, в эту вот минуту". "Да,— сказала Элизабет голосом из потустороннего мира, и сказанное было подобно капле, которая, падая, превратилась в льдинку,— да, сейчас, в эту минуту". И в застывшей нерешительности этой секунды, когда рядом с ними стояла смерть, Иоахим не знал, кого она касалась: то ли их двоих, то ли Бертранда, то ли отца, не знал, может быть, мать здесь сидела, чтобы проконтролировать его смерть, пунктуально и надежно, как она смотрела за дойкой в коровнике или же за смертью отца, и тут стало близким, понятным, и странным образом абсолютно очевидным, что отцу было холодно и что он тосковал по сумеречному теплу коровника. Разве не лучше умереть сейчас вместе с Элизабет, позволить унести себя в хрустальный свет, витающий над мраком! Он сказал: "Ужасный мрак будет окружать его, и никто не придет на помощь". Но в голосе Элизабет прозвучали металлические нотки: "Никто не посмеет.— И таким же серым, лишенным эмоций металлическим голосом, словно роняя в пустоту слова, она на одном дыхании, которое и дыханием назвать трудно, продолжила: — Я стану вашей женой, Иоахим". Она сама уже не осознавала, сказала она это или нет, поскольку Иоахим застыл, отвернувшись от нее, и ничего не отвечал. Отсутствовала какая бы то ни было реакция, и хотя это продолжалось не дольше мгновения, на протяжении которого угасает и становится стеклянным глаз, напряжение тем не менее наполнилось такой пустотой и неопределенностью, что Элизабет пришлось повторить еще раз: "Да, я стану вашей женой". Но Иоахиму не хотелось слышать это, потому что ее голос заставлял его возвращаться назад дорогой, по которой уже не было возврата. Прикладывая невероятные усилия, он попытался повернуться к ней; это удалось с трудом, только колено полусогнутой ноги теперь и вправду коснулось пола, на его челе застыли капли холодного пота, он наклонился, и его сухие и холодные, словно пергамент, губы коснулись ее руки, от которой исходил такой ледяной хо-

лод, что он все не решался взять ее руку в свои, даже тогда, когда комната медленно обрела свои былые очертания, а мебель снова оказалась на прежнем месте.

Они сидели неподвижно до тех пор, пока в соседней комнате не послышался голос барона. "Нам пора",— вздохнула Элизабет. Они вышли в ярко освещенный салон, и Элизабет сообщила: "Мы обручены". "Дитя мое",— воскликнула баронесса и со слезами на глазах заключила Элизабет в свои объятия. А барон, на глазах которого тоже заблестели слезы, произнес: "Ну, теперь наконец мы можем радоваться и возблагодарить Бога за этот счастливый день". Иоахима охватил прилив самых теплых чувств к барону за эти сердечные слова, и он ощутил над собой его покровительство.

В апатичной полудреме уставшего человека, охватившей его под грохот колес дрожek по дороге домой, еще отчетливей сформировалась мысль о том, что сегодня умерли его отец и Берtrand, и он был почти удивлен, когда не нашел в своей комнате никакой печальной весточки, ибо это становилось бы частью вновь обретенной точности жизни. А скрывать помолвку от мертвого друга было бы по-прежнему непозволительно. Эта мысль никак не оставляла его, на следующее утро она даже трансформировалась в своего рода уверенность, если даже не в уверенность смерти, то, по крайней мере, в уверенность несуществования: отец и Берtrand ушли из этой жизни, и хотя он чувствовал себя в какой-то мере виновным в этих смертях, но тем не менее оставался в благодушном безразличии, и ему даже не приходилось больше задумываться над тем, Элизабет это была или Руцена, которой он его лишил. Он ощутил себя обязанным следовать за ним, держать его в поле зрения, а путь, по которому он должен был идти за Берtrandом, подошел к концу, тайна испарилась; речь теперь шла лишь о том, чтобы проститься с мертвым другом. "Хорошая и плохая новость одновременно",— пробормотал он себе под нос. Время у него было; он остановил извозчика, чтобы заказать букет для своей

невесты и для баронессы, и не спеша направился в клинику. Но войдя туда, он обратил внимание, что никто и ничего не говорит ему о катастрофе, словно ничего не случилось; его, как обычно, направили в комнату Бертранда: вначале от сестры, которую Йоахим встретил в коридоре, он узнал, что ночь прошла плохо, но сейчас Берtrand чувствует себя лучше. Он механически повторил: "Чувствует себя лучше... да, это хорошее известие, очень хорошее". Было ощущение, будто Берtrand снова ввел его в заблуждение, обманул, ощущение переросло в уверенность, когда он был встречен горячими словами приветствия: "Ну, насколько я могу судить, то вполне уместными будут поздравления". "Откуда ему это известно", — подумал Йоахим, но, невзирая на свою злость, он был почти что горд, поскольку такая подозрительность в какой-то мере оправдывалась тем, что он теперь выступает в новом для себя качестве жениха: да, он очень счастлив, что может сообщить ему о своей помолвке. Берtrand, казалось, был сильно растроган. "Вам, Пазенов, известно, как хорошо я к вам отношусь,— восхитился Берtrand, хотя Йоахим воспринял это как навязчивость.— И поэтому от всего сердца желаю вам и вашей невесте счастья". Это снова прозвучало тепло и искренне, но все-таки как-то сладковато: он, который все знал наперед, он, который хотел этого и привел к этому хотя бы даже потому, что был инструментом в руках высшей воли, он теперь снизошел, поскольку считал работу завершенной, до простого сердечного поздравления. Йоахим ощутил какую-то внутреннюю усталость; он присел к столу, стоявшему посередине комнаты, посмотрел на Бертранда, белокурой и немного женственная голова которого лежала на подушках, и серьезно произнес: "Я все-таки надеюсь, что все теперь будет хорошо". На это Берtrand отреагировал поверхностно и с той легковесной уверенностью, которая действовала на Йоахима каждый раз по-новому, то успокаивая его, то беспокоя: "Можете не сомневаться, дорогой Пазенов, все изменится к лучшему... по крайней мере — для вас". Йоахим повторил: "Да, к лучшему...— но затем он с недоумением переспросил: — ...но

почему только для меня?" Берtrand улыбнулся и, сделав слегка пренебрежительный жест рукой, сказал: "Ну, мы... мы потерянный пол...— в дальнейшие разъяснения он вдаваться не стал, а неожиданно спросил: — А когда же состоится бракосочетание?" У Йоахима из головы выветрились все дальнейшие вопросы, и он сразу же ответил: "С этим придется повременить: все-таки надо считаться с болезнью отца". Берtrand бросил пристальный взгляд на Йоахима, выпрямленный корпус которого, расположившийся за столом, был повернут к нему: "Для того чтобы жениться, вам вовсе не обязательно возвращаться в имение", — сказал Берtrand. Йоахима охватил испуг: должно быть, это все напрасно! Берtrand всегда говорил, что Йоахиму необходимо взять управление имением в свои руки, он сделал несчастной Ручену, а теперь говорит, что ему вовсе не обязательно возвращаться в имение, словно хочет отнять радость от владения и лишить его к тому же еще и родины! Всякими уловками втянул его Берtrand во все это, а теперь отпихивает от ответственности и даже пренебрегает победой, состоящей в том, что ему удалось перетащить Йоахима к себе, в свою гражданскую жизнь, но он выталкивает его и здесь! Он творил зло по воле зла, и Йоахим уставился на него с возмущенным удивлением. Но Берtrand лишь произнес: "Недавно вы как-то упоминали, что вот-вот должны получить ротмистра и вам хотелось бы еще немножко подождать этого повышения. Ротмистр в отставке и вправду звучит лучше, чем лейтенант в отставке". "Он стесняется теперь своего секунд-лейтенанта", — подумал Йоахим и сделал небольшое уставное, так сказать, движение. Берtrand продолжил: "А за эти несколько месяцев должна уже проясниться и ситуация с болезнью вашего отца". Йоахим охотно бы сказал, что женатые офицеры производят на него странное впечатление и что он испытывает чувство ностальгии по своему клочку земли, но он не решился сказать это, а просто подумал, что предлагаемое Берtrandом решение проблемы совпадает с настойчивым внутренним желанием родителей его будущей супруги, которым очень бы хотелось, чтобы Элизабет жила в

новом доме в Вестэнде. "Ну что ж, дорогой Пазенов, одно к другому и все к лучшему,— сказал Берtrand, и это снова прозвучало неуместной отвратительной надменностью,— кроме того, вы могли бы наверняка значительно ускорить свое повышение, если бы поставили начальника в известность о том, что хотите после получения звания уйти в отставку". В этом он тоже был прав, но злило то, что Берtrand позволяет себе вмешиваться и в военные дела тоже. Задумчиво он взял со стола трость Берtrанда, начал рассматривать рукоять, провел пальцем по упругому утолщению черного резинового наконечника — трость выздоравливающего человека. То, что этот человек так настаивает на женитьбе, опять пробудило в его душе подозрение. Так что же стоит за всем этим? Вчера вечером он и Элизабет заявили родителям, что им не хотелось бы очень спешить с бракосочетанием, перечислили все препятствия на пути к нему, а теперь этот Берtrand хочет все эти препятствия взять и просто так вот смахнуть со стола. "И все же спешить со свадьбой мы не будем",— повторил Йоахим. "Ну тогда,— промолвил Берtrand,— мне остается только выразить свое сожаление в связи с тем, что смогу прислать вам издалека лишь телеграмму с поздравлениями, где-нибудь из Индии или еще откуда-то. Потому что как только я хоть немножечко поправлюсь, то сразу же уеду... Это дело меня слегка утомило". Какое дело? Легкое огнестрельное ранение? Да, Берtrand действительно выглядел измученным, выздоравливающие всегда ходят, опираясь на трости, но что же все-таки случилось до того? Что знал Берtrand о сегодняшней ночи? Берtrandу, собственно говоря, не следовало бы уезжать до тех пор, пока все это не прояснится, и Йоахим задумался над тем, не поступил ли Гельмут, открыто ставший лицом к лицу со своим противником, namного порядочнее, чем он сам; не ставится ли вопрос и здесь так: разъяснение или смерть? Но ему, с одной стороны, хотелось и того и другого, а с другой стороны — нет. Отец прав: он такой же лишенный чести человек, как и этот Берtrand, друг, которого уже едва ли можно назвать другом. Мысль о том, что приглашать

Бертранда на свадьбу не следует, вызывала что-то похожее на удовлетворение, ибо совпадала, наверное, с мыслями отца. Тем не менее он спокойно выслушал Бертранда. "Еще одно, Пазенов, у меня сложилось впечатление, что в имении все-таки отсутствует настоящий хозяин, поскольку о нем не заботится ваша матушка и дела не идут сами по себе. Более того, в своем вызывающем сожаление состоянии ваш отец может при определенных обстоятельствах нанести имению значительные убытки. Вы простите меня, но я чувствую себя обязанным обратить ваше внимание на возможность объявить отца недееспособным в предусмотренном законом порядке. И возьмите себе хорошего управляющего; он в любом случае окупит себя. Я думаю, вам следует обсудить это с вашим тестем; он ведь тоже владеет имением". Да, он говорит, словно *agent provocateur*, но Йоахиму пришлось все же поблагодарить его за совет, доброжелательную правильность которого он осознавал, и даже выразить надежду почаще навещать Бертранда до его выздоровления. "Буду рад вас видеть,— ответил тот,— и кланяйтесь от меня вашей невесте". Затем он устало откинулся на подушки.

Через два дня Йоахим получил письмо, в котором Берtrand уведомил его о том, что его состояние значительно улучшилось и он, чтобы находиться поближе к месту реализации своих сделок, перебирается в одну из клиник в Гамбурге. Но они, конечно же, еще встретятся до его отъезда на Восток. Перед лицом той самонадеянной уверенности Бертранда относительно предстоящей встречи Йоахим решил избегать его при любых обстоятельствах. Но ему было мучительно тяжело лишать себя впредь уверенности и легкости друга, а также его жизненной опытности.

За Лейпцигской площадью находилось похожее на магазин заведение, которое внешне практически ничем не отличалось от своих соседей, обращало на себя внимание разве только тем, что в его окнах отсутствовал выставляемый напоказ товар, а вид внутреннего убранства закрывали матовые стекла с кра-

сивыми вытравленными картинками на тему гибели Помпеи, а также на популярные в эпоху ренессанса мотивы. Но такое оформление заведению приходилось делить со многими банковскими учреждениями и маклерскими конторами, и на объявлениях, которые были приклеены на стекла и небрежно прерывали цельную сеть картинок, не было, собственно говоря, ничего необычного. На объявлениях можно было прочесть слово "Индия", а взгляд на фирменную вывеску над дверью заведения сообщал о том, что там располагается "Императорская панорама".

Когда заходишь внутрь, то вначале попадаешь в светлое, приятно прогретое помещение, где пожилая, приветливой наружности дама за столиком исполняет обязанности кассира и продает билеты на осмотр заведения. Большинство посетителей, правда, использует своеобразную кассу только для того, чтобы сделать соответствующую отметку в своем абонементе да перекинуться парой доверительных слов со старушкой. И когда из-за черной портьеры, завешивающей дальнюю стену помещения, выходит преклонного возраста служитель и скупым, выражающим сожаление жестом просит немного подождать, тогда посетитель, тихонько вздохнув, садится на один из камышовых плетеных стульев и продолжает разговор со старушкой, он подозрительным взглядом поглядывает на стеклянную дверь, ведущую на улицу, и если появляется новый посетитель, смотрит на него с ревниво-стыдливой враждебностью. Затем за портьерой раздается приглушенный звук отодвигаемого стула, и человек, вышедший оттуда, щурит немного от яркого света глаза и проходит быстрым шагом мимо пожилой дамы, произнося короткую прощальную фразу, со смущенным выражением на лице и не глядя на ожидающих в очереди, словно он их стесняется. Ну а застывший в ожидании поспешно встает, чтобы никто не проскочил перед ним, резко обрывает разговор и исчезает за защитной портьерой. Изредка случается, что посетители беседуют друг с другом, и это несмотря на то, что многие из них за долгие годы должны зрительно хорошо

знать друг друга, но лишь немногие бесстыдные старухи решаются на то, чтобы завести разговор не только с дамой на кассе, но и с ожидающими в очереди и сказать пару лестных слов о зрелище; однако в ответ они, как правило, слышат лишь одно-сложные "да" или "нет".

Внутри темно, и возникает даже впечатление, что это та старая и тяжеловесная темнота, которая копилась здесь уже много-много лет. Служитель нежно берет тебя под руку и заботливо отводит к круглой формы и без подлокотников сидению, которое терпеливо ждет, когда его займут. Впереди ты видишь два светлых глаза, которые несколько загадочно уставились на тебя с черной стены, а под этими глазами — рот, резкие четырехугольные очертания которого слегка смягчает приглушенный свет, покоящийся в нем. Тут постепенно начинаешь различать огромную величественную картину, занимающую всю стену, к которой тебя привели и перед которой расположен твой стул, ты видишь также, что справа и слева с благозвонным видом сидят люди и неотрывно смотрят в глаза на стене, ты начинаешь делать то же самое, бросив предварительно взгляд на четырехугольную табличку с подсветкой и прочитав "Административное здание в Калькутте". Вместе с ударом мягко звучащего колокола и с каким-то механическим шорохом административное здание исчезает; ты еще видишь, как оно скользит мимо тебя, но тут уже выплывает другой ландшафт, так что ты ощущаешь себя почти что обманутым, но затем раздается новый удар колокола, ландшафт делает последнее, едва уловимое движение, словно стремится расположиться таким образом, чтобы преподнести себя тебе, рассматривающему его, в более выгодном свете, и неподвижно застывает. Ты видишь пальмы и ухоженную дорожку; в глубине, в тени деревьев, на скамейке сидит мужчина в светлом костюме; фонтанчик прорисовывает в воздухе упругую струю, похожую на хлыст, но ты успокаиваешься лишь только тогда, когда бросаешь взгляд на матовую подсвеченную табличку, которая доводит до твоего сведения, что это "Уголок королевского парка в Калькутте".

Затем снова звучит удар колокола, скольжение пальм, скамеек, зданий, мачт, последнее шевеление в стремлении выгодно расположиться, удар колокола — и перед тобой залитый солнечным светом "Уголок порта в Бомбее". Мужчина, который только что сидел на скамейке в королевском парке, стоит теперь в тропическом шлеме на переднем плане на тесаных каменных глыбах волнореза, опираясь на прогулочную трость. Он зачарован видом жестко закрепленного такелажа судов, их труб и кранов, зачарован горами тюков с хлопком на набережной, он не может отвести от них взгляд, и можно лишь с большим трудом рассмотреть черты его затененного лица. Но вдруг в магическом пространстве происходит странная подвижка, и ты узнаешь Бертранда, который ненавязчиво и в то же время внушая ужас напоминает, что его уже невозможно вычеркнуть из твоей жизни, будь он даже в такой дали от тебя. Но это всего лишь игра твоего воображения, ибо Господь дает ему звонок и он, не прощаясь, застыв с прямой спиной, не сделав ни единого шага, ускользает. Ты тоже скользишь взглядом к соседу слева, не вынырнет ли он там, но на табличке ты читаешь "Административное здание в Калькутте", и в тебе даже возникает что-то похожее на надежду: Берtrand появлялся здесь лишь для тебя одного и с одной лишь целью поприветствовать тебя. Но у тебя нет времени ломать над этим голову, потому что если ты начинаешь опять пялиться в оба глаза на стене, то тебя ожидает приятный сюрприз: "Туземка с Цейлона". Туземка не только купается в мягких золотистых лучах солнечного света, но, более того, она выписана в своих естественных тонах: улыбается, обнажая между красных губ зубную белизну, и ждет, наверное, своего белого господина, приехавшего из Европы, поскольку он отвергает европейских женщин. "Храмы в Дели" тоже лучатся цветами Востока на коричневатом фоне: там безбожник может узнать, что даже находящиеся в подчинении и зависимости расы умеют служить Богу. Разве он сам не говорил, что восстановить господство Христа будет возложено на темнокожих? Испуганно созерцаешь ты столпотворение коричневых фигур, и

не без облегчения твой слух улавливает сигнал, с которым все это уплывает, освобождая место "Началу охоты на слонах". На картине изображены мощные четвероногие животные, хорошо видны мягкие очертания изогнутой передней ноги одного из них. Они стоят на мелком белом песке, и когда ты, ослепленный им, отводишь на какое-то мгновение взгляд в сторону, то над матовой табличкой обнаруживаешь маленькую кнопку, на какую ты с любопытством нажимаешь. Тотчас же к твоей радости картина превращается в освещенный мягким лунным светом ландшафт: оказывается, ты волен начинать охоту днем или ночью. Но поскольку тебя больше не ослепляет яркое солнце, ты не упускаешь случая рассмотреть лица наездников, и если твои глаза тебя не обманывают, то это ведь Берtrand сидит в корзине за смуглым погонщиком слона и держит в правой руке изготовленное к стрельбе ружье, предвещающее смерть. Ты закрываешь глаза и, открыв, опять видишь совершенно незнакомого мужчину, который улыбается тебе, а погонщик слона покалывает копьем за ухом животного, указывая ему требуемое направление движения. Они ускользают прочь в лесные дебри, однако до твоего слуха уже не доносятся топот многочисленных ног табуна и трубные звуки самцов, ты слышишь лишь ненавязчивые звонки и то, как с легким механическим шуршанием ландшафт странным образом наезжает непосредственно на ландшафт, и если даже тот случайный человек кажется действительно тем, кого ты вынужден искать вечно, тем, кого ты всю жизнь с нетерпением ждешь, тем, кто исчезает, когда ты все еще держишь его руку в своей, то затем раздается звонок, и, не успев опомниться, ты обнаруживаешь около соседа справа, на которого ты уже исподтишка бросаешь затаенный взгляд, надпись "Правительственный дворец в Калькутте", так что тебе известно: теперь вот пробил и твой час. Ты смотришь мельком еще раз, чтобы окончательно убедиться, что теперь, действительно, последуют пальмы королевского сада, а поскольку этого уже не избежать, то ты отодвигаешь свой стул, к тебе спешит слуга, и ты, слегка прищуривая глаза, подняв ворот-

ник, уличенный в том, что предавался наслаждению, так и не поняв, какому, выходишь с коротким "всего хорошего" из помещения, в котором в ожидании застыли другие, а дама продолжает продавать абонементы.

В такое заведение попали Йоахим и Элизабет, когда они в сопровождении подруги Элизабет делали в городе покупки для дома. Хотя им было известно, что Берtrand еще в Гамбурге и хотя они никогда больше о нем не говорили, слово "Индия" имело для них какое-то магически притягательное звучание.

Свадьба в Лестове прошла тихо и незаметно. Состояние отца оставалось стабильным; он пребывал в полузабытьи, более уже не узнавал окружающих, и пришлось смириться с тем, что это может продолжаться еще годами. Хотя баронесса и сказала, что тихое в узком кругу празднование намного больше по душе ей и ее супругу, чем шумные торжества, но Йоахиму ведь было хорошо известно, какое значение придают родители невесты семейным праздникам, и он чувствовал себя в ответе за отца, который мешал этому внешнему лоску. Ему и самому, наверное, хотелось большого и громкого торжества, чтобы подчеркнуть социальный характер этого, не имеющего ничего общего с амурными похождениями бракосочетания; с другой стороны, правда, казалось, что серьезности и христианскому характеру такого события больше подходило бы, если бы Элизабет и он шли к алтарю без излишней мирской суеты. Поэтому и отказались от проведения свадебной церемонии в Берлине, хотя в Лестове тоже существовал целый ряд разнообразных внешних сложностей, которые было нелегко преодолеть, чего там особенно недоставало, так это советов Берtrанда. Йоахим отказался везти невесту после свадьбы к себе в имение; мысль провести эту ночь в доме больного вызвала у него отвращение, но еще более невозможным казалось ему то, что Элизабет придется отправиться в опочивальню на глазах у всей хорошо знающей его прислуги; поэтому он предложил, чтобы Элизабет провела эту ночь в Лестове, а он заехал бы за ней на следую-

щий день; но это предложение странным образом вызвало протест со стороны баронессы, которая находила такое решение неприличным: "Если даже мы и согласимся на такое, то что подумает обо всем этом необразованная прислуга!" В конечном счете было решено спланировать свадебные торжества по времени таким образом, чтобы молодая пара смогла успеть еще на дневной поезд. "Вы сразу же попадете в ваш уютный домик в Берлине",— сказала баронесса, но об этом Иоахим тоже не хотел слышать. Нет, это слишком далеко, они ведь уже следующим утром планируют отправиться в свадебное путешествие, может быть, им даже удастся поспеть на ночной поезд в Мюнхен. Да, ночные переезды были едва ли не самым простым решением супружеских проблем, были спасением от страха, что кто-то может понимающе ухмыльнуться, когда ему придется отправиться с Элизабет в постель. Тут он, правда, колебался: смогут ли они сразу же продолжить свой путь до Мюнхена, позволительно ли будет возлагать на Элизабет после столь трудного дня поездку ночным поездом? И что принесет день, проведенный в Мюнхене? Понятно, что о таких вещах не поговоришь с Берtrandом, решить все это можно только самому; впрочем, кое-что значительно упростилось бы, если бы под рукой был Берtrand. Он задумался над тем, что предпринял бы Берtrand в такой ситуации, и пришел к выводу, что ему ведь ничто не мешает забронировать номер в гостинице "Роял" в Берлине; а если Элизабет захочет, то они, невзирая на это, смогут отправиться дальше. Он, собственно, ощутил даже прилив гордости за то, что сам нашел это разумное решение.

На дворе стояла уже по-настоящему зимняя погода, и закрытые повозки, в которых ехали в церковь, медленно, шаг за шагом, пробивались сквозь снег. Иоахим ехал со своей матерью; она расположилась в повозке свободно и удобно, и Иоахим злился, когда она в который уже раз повторяла: "Отец радовался бы этому всей душой; вот ведь беда какая". Да, этого еще только недоставало; Иоахим был раздражен— никто не оставил ему времени на то, чтобы собраться, как это обяза-

тельно положено в такой торжественный час, вдвойне обязательно для него, для которого этот брак значил больше, чем просто брак в доме христианина, он означал спасение из бодота, был обетом веры на пути к Богу. Элизабет в подвенечном платье была величественной, как никогда ранее, она выглядела, словно Белоснежка, и на ум ему пришла сказка о невесте, которая рухнула за смертью перед алтарем, узнав внезапно о том, что в облике ее суженого прячется нечистая сила. Мысль об этом никак не шла из головы, она настолько овладела им, что он не воспринимал ни пение церковного хора, ни речь пастора, да, он не слышал ее и из-за страха, что ему придется прервать его, придется сказать ему, что перед алтарем стоит недостойный грешник, один из тех, кто избегает святых мест, он испуганно востепенулся, когда сказал "да", испуг вызвало еще и то, что церемония, которая должна была бы явить ему новую жизнь, прошла так быстро и почти незаметно. Он воспринял как благо то, что Элизабет была сейчас названа его женой, хотя это, собственно, было еще не совсем так, но ужасным казалось, что это положение не может оставаться неизменным. По дороге из церкви он взял ее руку в свои и сказал ей "моя супруга", а Элизабет ответила на пожатие его руки. Но потом все погрузилось в водоворот поздравлений, переодеваний, отъезда, так что лишь на вокзале они осознали, что же, собственно говоря, произошло.

Когда Элизабет расположилась в купе, он старался не смотреть на нее, дабы снова не стать заложником нечистых мыслей. Наконец-то они были одни. Элизабет откинулась в угол купе и слегка улыбнулась ему. "Ты устала, Элизабет",— сказал он с надеждой в голосе, радость вызывало то, что он должен оберегать ее, что ему позволительно делать это. "Да, Йоахим, я устала". Но он не решился предложить ей остаться в Берлине, опасаясь, что она может посчитать это похотливостью с его стороны. Ее профиль резко выделялся на фоне окна, за которым повисло серое зимнее предвечерье, и Йоахим ощущал себя счастливым оттого, что не возникает то гнетущее и вызы-

вающее страх видение, превращающее ее лицо в ландшафт. Но глядя на нее, он обратил внимание, что чемодан, поставленный на сиденье напротив, выделяется на фоне серого горизонта так же резко, как и она, и его охватил бессмысленно обостренный ужас: она — вещь, неодушевленный предмет, даже не ландшафт. Быстрым движением он поднялся, словно намереваясь что-то сделать с этим чемоданом, но всего лишь открыл его и достал оттуда короб с провиантом; это был свадебный подарок и одновременно маленькое чудо элегантности, которым можно пользоваться как в пути, так и на охоте; ручки ножей и вилки, изготовленные из слоновой кости, были украшены орнаментальными охотничьими сценками, переходившими в гравировку на металлических частях, даже спиртовка, и та имела такие украшения; но на каждом предмете между орнаментами можно было увидеть переплетенные между собой гербы Элизабет и Йоахима. В середине короба имелось пространство для размещения съестных припасов, которое было полностью заполнено заботливой баронессой. Йоахим предложил Элизабет немного подкрепиться, а поскольку они со времени свадебного завтрака не имели ни малейшей возможности перекусить, то она охотно согласилась. "Наша первая супружеская трапеза", — сказал Йоахим, наливая в раздвижные серебряные бокалы вино и чокаясь с Элизабет. Так они коротали время в дороге, и Йоахим снова задумался над тем, что железная дорога обеспечивает лучшую форму супружеской жизни. Да, он даже начал понимать Бертранда, который имел возможность проводить столь значительную часть своего времени в пути. "Не продолжить ли нам сразу же вечером наше путешествие в Мюнхен?" — задумчиво спросил он. Но Элизабет ответила, что чувствует себя сильно измотанной и ей хотелось бы лучше прервать поездку. Он не смог удержаться и сообщил, что все предусмотрел и уже позаботился о таком ее желании, заказав номер в гостинице.

Он был признателен Элизабет за то, что она сохранила свою непринужденность, даже если она и была наигранной, ибо девушка медлила с отходом ко сну, изъявив желание поужи-

нать, и они довольно долго сидели в ресторане; музыканты, которые обеспечивали застольную музыку, уже зачехлили инструменты, в зале оставалось всего лишь несколько гостей, и хотя Йоахиму была так приятна любая затяжка времени, он тем не менее опять ощутил в помещении напряжение ледяного холода разреженного воздуха, который в вечер их помолвки вызвал ужасное представление о смерти. Элизабет, наверное, тоже ощутила это, потому что высказала мнение, что теперь уже самое время отправиться спать.

Итак, час пробил. Элизабет простилась с ним, дружеским тоном сказав: "Спокойной ночи, Йоахим", и он расхаживал теперь по своей комнате. Что он должен был делать, отправляться спать? Он уставился на разобранную постель. Он ведь поклялся себе быть сторожем у ее двери, хранить покой ее божественных снов, которые она всегда видит, восседая на своем серебристом облаке; а тут он внезапно потерял ориентиры, потому что все ограничивалось просто тем, что он должен был устраиваться поудобнее. Он посмотрел на себя сверху вниз и ощутил, что длинный форменный сюртук — это защита; бесстыдством было то, что люди позволяют себе приходить на свадьбу во фраках. Но, увы, ему пришлось подумать и о том, что пришла пора умыться, и тихонечко, словно совершая святотатство, он стянул с себя сюртук и налил воды в таз для умывания, который стоял на коричневом полированном мочном столике. Как неприятно все это было, как бессмысленно, казалось, что это звено в цепи возложенных испытаний; все было бы куда проще, если бы Элизабет заперла за собой дверь, но она из чувства деликатности наверняка не сделала этого. Йоахим не забыл, что ему уже пришлось побывать в такой ситуации, а теперь на ум с карающей тяжестью обрушились воспоминания о коричневом моющем столике под газовой горелкой и о запертой двери; ужасные воспоминания о Руцене, не менее ужасные, чем проблема, как вообще, живя вместе с ангелом, практически совладать с неприличными мыслями о каком-то там туалете, и так и эдак это будет унижением для Элизабет и еще

одним новым испытанием. Он умылся, вымыл руки, делая это бесшумными и скупыми движениями, дабы избежать любого стука фарфором о мрамор, но тут возникло кое-что трудно представимое: кто сможет решиться на то, чтобы вблизи Элизабет прополоскать себе горло? И ему пришлось погрузиться поглубже в жидкий очищающий кристалл, пришлось утопить себя, вынырнуть из более глубокого очищения, словно после крещения в реке Иордан. Правда, что оно дает, это купание? Руцена, испытав его, сделала выводы. Йоахим снова быстро напялил на себя сюртук, застегнув его, как это положено по уставу, на все пуговицы, и опять заходил по комнате. В соседнем покое было тихо, и ему показалось, что его присутствие должно угнетать ее. Ну почему она не закричит, как Руцена, за закрытой дверью, чтобы он убирался прочь! Тогда, по крайней мере, он имел союзника в лице уборщицы, теперь же он был один-одинешенек, безо всякой помощи. Слишком рано он отвернулся от Бертранда с его легкой уверенностью, и вера в то, что он должен защитить от Бертранда Элизабет, казалась ему теперь просто предлогом. Его наполнило преисполненное страха сожаление: это не ее хотел он защищать и спасать, а принеся ее в жертву, стремился спасти свою собственную душу. Не стоит ли она теперь там на коленях, моля Бога освободить ее от тех уз, которыми она связала себя из чувства жалости? Не должен ли он ей сказать, что он отпускает ее уже сегодня, что он немедленно отвезет ее, если она того пожелает, в ее дом в Вестэнде, в ее прекрасный новый дом, который всегда ждет ее. Пребывая в сильном волнении, он постучал в дверь, ведущую в смежную комнату, в то же мгновение сожалел, что сделал это. Раздался ее тихий голос: "Йоахим". И он, нажав ручку, открыл дверь. Она лежала в постели, а на ночном столике горела свеча. Он застыл в дверях, весь вытянулся словно по команде "смирно" и хриплым голосом проговорил: "Элизабет, я хотел тебе всего лишь сказать, что я отпускаю тебя; не должно быть так, чтобы ты жертвовала собой ради меня". Элизабет была удивлена, но с облегчением восприняла то, что он не подходит

к ней как влюбленный супруг. "Ты считаешь, Йоахим, что я пожертвовала собой? — по ее лицу пробежала легкая улыбка.— Это, однако, пришло тебе в голову с незначительным опозданием". "Еще не поздно, и я благодарю Господа, что еще не слишком поздно... я только сейчас это понял... тебя отвезти в Вестэнд?" Тут Элизабет не смогла сдержать смех: сейчас, среди ночи! Люди вокруг будут явно озадачены. "Может, тебе лучше просто отправиться спать, Йоахим. Все это мы ведь сможем абсолютно спокойно обсудить завтра. Ты, должно быть, тоже сильно устал". Йоахим заупрямился, словно ребенок: "Да не устал я". Мерцающий огонек свечи освещал ее бледное лицо, лежащее на бесцветных подушках в ореоле распущенных волос. Уголок подушки выдавался в воздухе подобно носу, и его тень на стене словно отражала нос Элизабет. "Элизабет, придави, пожалуйста, уголок подушки рядом с тобой, слева вверх",— попросил он, оставаясь стоять в дверях. "А что такое?" — удивилась Элизабет и приподнялась. "Он отбрасывает такую отвратительную тень",— сказал Йоахим. А между тем приподнялся другой уголок подушки, и на стене возникла тень другого носа. Йоахима это злило, он с удовольствием привел бы все в порядок сам и сделал шаг внутрь комнаты. "Но, Йоахим, чем мешает тебе эта тень? Сейчас нормально?" Йоахим ответил: "Тень твоего лица похожа на очертания горной цепи на стене". "Ну так и что из этого?" "Мне не нравится". Элизабет немного побаивалась, что это — своеобразное предложение погасить свечу, но для нее было приятным сюрпризом, когда Йоахим предложил: "Рядом с тобой следует поставить две свечи, тогда не будет теней, а ты будешь похожа на Белоснежку". Он действительно направился в свою комнату и вернулся со второй горячей свечой. "Забавный ты человек, Йоахим,— пришлось пролепетать Элизабет,— и куда же ты теперь намерен поставить вторую свечу? Повесить ее на стену ведь никак невозможно. И, кроме всего, я буду выглядеть, словно покойница между этими двумя свечами". Йоахим задумался над реальным положением дел; Элизабет была права и поэтому он спросил: "Можно я

поставлю ее на ночной столик?" "Ну, конечно, можно...— она немного помолчала, а затем медленно и не без едва заметного внутреннего удовлетворения продолжила: — Ты же ведь мой муж теперь". Он прикрыл рукой пламя свечи и отнес ее к ночному столику, там задумчиво посмотрел на оба огонька и, поскольку ему вспомнилась их тихая, почти что без свечей свадьба, произнес: "Три было бы более торжественно". Это прозвучало как предложение компенсировать Элизабет и ее родителям всю скромность состоявшегося торжества. Она тоже посмотрела на две свечи; ей пришлось натянуть на плечи одеяло, и только рука, запястье которой было охвачено кружевной оборочкой, мягко свисала за край кровати. Мысли Йоахима все еще витали вокруг той неспражничной свадьбы; но он помнил, что руку эту он держал в своих руках, когда они ехали в повозке. Он успокоился, и из головы почти что вылетело то, из-за чего он сюда вошел; сейчас он снова вспомнил об этом и почувствовал себя обязанным вернуться к затронутой теме: "Ты, значит, не желаешь ехать в Вестэнд, Элизабет?" "Но это же глупо, Йоахим, что же мне сейчас вставать и собираться? Я прекрасно себя здесь чувствую, а ты хочешь выгнать меня". Йоахим нерешительно топтался у ночного столика; тут он как-то вдруг перестал соображать, что вид и предназначение вещей могут меняться; кровать — это приятная разновидность мебели для того, чтобы спать, у Руцены она была местом страсти и неопишуемой сладости, а сейчас она стала чем-то неприступным, чем-то, к краешку чего он не решался даже прикоснуться. Дерево — это все-таки дерево, но к дереву гроба тоже как-то не очень хочется прикасаться. "Все это так трудно, Элизабет,— неожиданно выдавил он,— прости меня". Но он просил простить его не просто потому, что, как она, вероятно, могла подумать, он намеревался поднять ее с постели в столь поздний час, а потому, что он снова сравнил ее с Руценой и — он с ужасом обнаружил это — потому, что его почти что охватило желание, чтобы здесь, перед ним находилась не она, а Руцена. И он обратил внимание на то, как все-таки глубоко еще сидит он в

этом болоте. "Прости меня", — повторил он еще раз и опустился на колени, чтобы поцеловать на прощание белую с голубыми прожилками руку, лежащую на краю кровати. Она не знала, означает ли это со страхом ожидаемое сближение, и поэтому молчала. Его уста прикоснулись к ее руке, и он ощутил свои зубы, которые слегка вдавились с внутренней стороны в губы, словно в край твердого черепа, который затаился в его голове и нашел продолжение в скелете. Он ощутил также теплое дыхание во рту и вросший между косточками нижней челюсти язык, он знал, что ему теперь следует побыстрее уйти, пока Элизабет всего не поняла. Но он не хотел признавать за Руценой столь скорую победу, поэтому, не говоря ни слова, застыл на коленях у кровати, пока Элизабет, дабы напомнить ему о прощании, не пожала ему едва заметно руку. Может быть, он абсолютно преднамеренно неправильно истолковал этот знак, ибо это позволило ему словно бы издалека ощутить ласкающее прикосновение рук Руцены; он не отпустил ее руку, хотя, собственно говоря, он изнывал от нетерпения оставить эту комнату. Он ждал чуда, знака милости, которую Бог должен был ему оказать, и было так, словно вход для милости преграждает страх. Он попросил: "Элизабет, скажи что-нибудь". И Элизабет размеренным тоном, словно это были вовсе и не ее слова, произнесла: "Мы не совсем чужие, но и не совсем близки друг другу". Йоахим спросил: "Ты уйдешь от меня, Элизабет?" Элизабет с какой-то нежностью в голосе ответила: "Нет, Йоахим, я ведь думаю, что нам теперь жить вместе. Не печалься, Йоахим, все изменится к лучшему". Да, хотелось ответить Йоахиму, Берtrand тоже так говорил; но он запнулся, потому что слова Бертранда в ее устах были мефистофельским знаком нечистой силы и зла, а не знаком Бога, чего он ждал, на что уповал и о чем молился. На какое-то мгновение на фоне коричневого столика возник образ Бертранда, затем снова исчез, и это был злой дух, лицо и фигура которого отбрасывали на стену тень в виде горной гряды. И то, что это происходило в такой неподвижности и оцепенении, и то, что так быстро, словно по звонку,

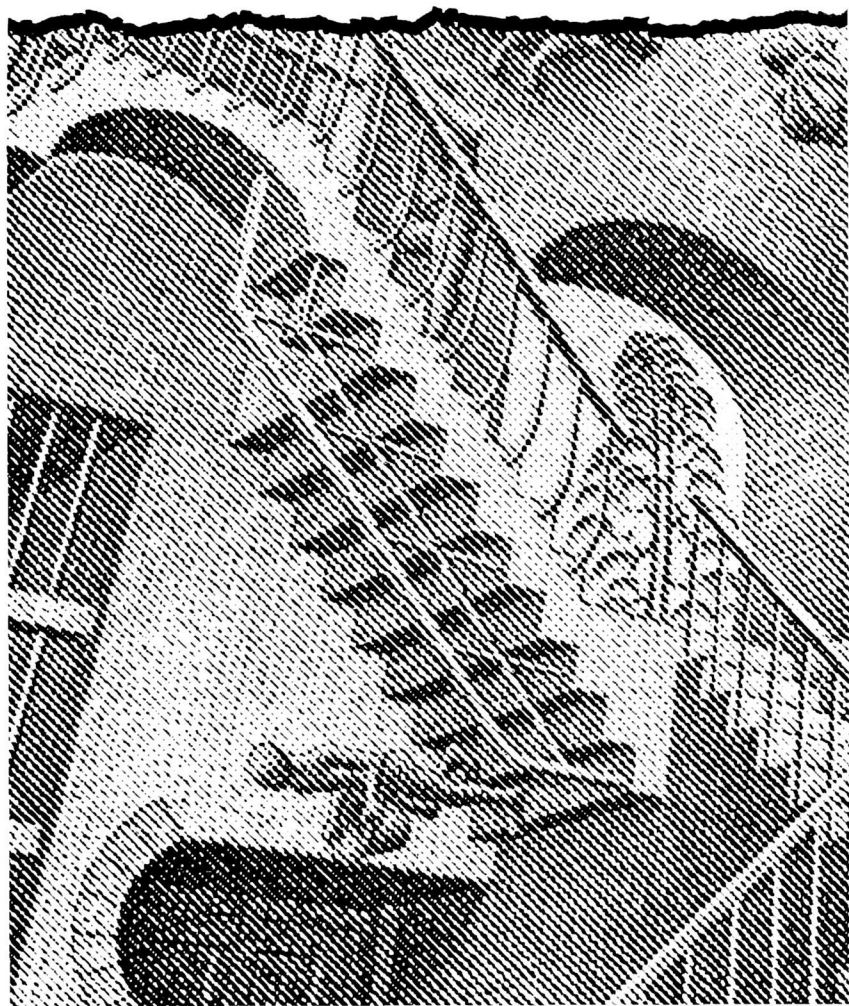
все это опять исчезло, было не чем иным, как напоминанием о том, что зло еще не побеждено, что и Элизабет сама еще во власти зла, ибо она выдает его существование в себе его собственными словами и не может разогнать призраки и химеры словом Божиим. Это разочаровывало, но это было и хорошо, трогательным было это человеческое создание, умиляла его слабость. Элизабет была целью небесной, но путь к этой цели — земной, и найти, проторить его для них обоих — вот в чем состояла его задача, невзирая на все его собственные большие слабости; где же все-таки дорожный указатель на пути к познанию в полном одиночестве? Где помощь? На ум ему пришли слова Клаузевица, который говорил, что правда — это предчувствия и смутные догадки, в соответствии с которыми и поступают, а его сердце смутно предчувствовало, что им в кругу христианской семьи будет дарована спасительная помощь милости, защищая их от того, чтобы им не пришлось бродить по земле в неведении, без помощи и без цели, и чтобы их не смогли превратить в ничто. Нет, это нельзя было назвать условностью чувств. Он выпрямился и нежно провел рукой по шелковому одеялу, которым было прикрыто ее тело; он ощущал себя немножечко человеком, который ухаживает за больным, ему казалось, что он хочет погладить больного отца или его посланца. "Бедная маленькая Элизабет", — сказал он; это были первые ласковые слова, которые он решился произнести. Она освободила руку и погладила его по волосам. "Так поступала и Руцена", — подумал он. Но она тихо прошептала: "Йоахим, мы ведь еще недостаточно близки". Он приподнялся чуть повыше и присел на краешек кровати, его рука ласково перебирала ее волосы. Затем он наклонился, опираясь на локти, и начал рассматривать ее лицо, которое лежало на подушках и все еще оставалось бледным и чужим, не лицом женщины и не лицом его жены; закончилось это тем, что он медленно, и сам того не замечая, занял рядом с ней лежащее положение. Она немного подвинулась, и ее рука с охваченным кружевной оборочкой запястьем, одиноко выглядывавшая из-под одеяла, покоилась

теперь в его руке. Лежа в таком положении, он немного примял форменный сюртук, распахнувшиеся полы обнажили черную ткань панталон, заметив это, Иоахим быстрым движением привел сюртук в порядок и прикрыл полами панталоны. Затем он выпрямил ноги и, дабы не касаться своими лакированными сапогами постельного белья, пристроил их, слегка напрягая, на стул, стоявший рядом с кроватью. Огоньки свечей начали мигать; вначале погасла одна, потом — другая. То тут, то там слышны были приглушенные шаги по ковровому покрытию коридора, один раз хлопнула дверь, издали доносились шумы гигантского города, интенсивный транспортный поток которого не затихал полностью даже ночью. Они лежали неподвижно и смотрели в потолок комнаты, на котором отражались полоски света из щелей оконных жалюзи, этот рисунок чем-то напоминал ребра скелета. Затем Иоахим задремал, и Элизабет, заметив это, улыбнулась. А вскоре уснула и она.

IV

Как бы там ни было, но через без малого восемнадцать месяцев у них родился первенец. Все произошло спокойно. А как именно, вряд ли стоит продолжать рассказывать. Представленные выше характеры помогут читателю и самому окинуть все мысленным взором.

1903 — Эш, или Анархия



I

2 марта 1903 года было плохим днем для тридцатилетнего торгового служащего Августа Эша; он поскандалил со своим шефом, и тот уволил его еще до того, как представилась возможность уволиться самому. Эша больше задевал не сам факт увольнения, а то, что ему не удалось нанести удар первым. Он не смог высказать все прямо в лицо этому человеку, человеку, который, собственно, и не ведал, что творится в его фирме, который полностью полагался на некоего Нентвига — своего стукача и который не имел ни малейшего представления о том, что этот самый Нентвиг стриг купоны везде, где только возможно было, человеку, который, может быть, специально закрывал глаза на поведение Нентвига, поскольку последнему, должно быть, было известно о кое-каких неблагоприятных поступках шефа. А Эш, как дурак, позволил им захватить себя врасплох: они ткнули его носом, словно нашкодившего кота, в ошибку при ведении бухгалтерского учета, и теперь, когда он раздумывал над этой ошибкой, то оказывалось, что это была вовсе и не ошибка. Но оба невероятно окрысились на него, и дело дошло до нелепейшей ругани, в ходе которой он вдруг обнаружил, что уволен. Сейчас-то Эш понимал, что надо было, потупив взгляд перед шефом, сказать "господин", да-да, "господин", но тогда ему на ум не пришло ничего более разумного, и он лишь саркастическим тоном процедил: "Вы хоть представляете себе, что вообще творится в вашей богадельне?..", да, ему следовало бы вести себя по-другому, но теперь было слишком поздно. После этого он налился, покуролесил

с какой-то бабенкой, но это не помогло, ярость осталась, и Эш чертыхался напрапалую, бредя по набережной Рейна к городу.

За спиной он услышал звуки шагов, а когда обернулся, то увидел Мартина, который ковылял что есть мочи на двух костылях, прижав носок укороченной ноги к одному из них. Этого чуда сзади ему только и не хватало. Эш охотно бы продолжил свой путь, рискуя получить костылем по черепушке — впрочем, он вполне заслужил того, чтобы его поколотили,— но он почувствовал, что поступит подло, если заставит калеку догонять его, и потому остановился. К тому же он должен искать работу и не исключено, что Мартин, который знал на этом свете абсолютно все, мог бы оказаться ему полезным. Калека наконец догнал его, расслабил на весу хромую ногу и так запросто выдал: "Что, вышвырнули?" Так, значит, этот уже в курсе. Эш со злостью в голосе бросил в ответ: "Вышвырнули". "Деньги еще есть?" Эш пожал плечами: на пару дней хватит. Мартин задумчиво проговорил: "Я знаю одно местечко для тебя". "Да, но вступать в твою организацию я не намерен". "Знаю, знаю, ты слишком хорош для этого... но всему свое время. Так куда мы отправимся?" Поскольку у Эша не было конкретной цели, то они зашли в забегаловку матушки Хентьен. В Капельном переулке Мартин притормозил: "Они выдали тебе мало-мальски приличную рекомендацию?" "Не знаю, еще не забрал". "Одной из контор в Мангейме требуется судебный кассир или что-то в этом роде... если, конечно, ты согласишься уехать из Кельна..." Они вошли в забегаловку. Она представляла собой умеренное в своей простоте мрачноватое помещение, служившее, вероятно, на протяжении не одной сотни лет тепленьким прибежищем для рейнских речников, правда, о столь далеком прошлом свидетельствовал лишь покрытый гарью цилиндрический свод. Стены до половины были обшиты деревом, а вдоль одной из них тянулась скамья. Сверху, на посудной полке, высились полулитровые мюнхенские пивные кружки, там же виднелась отлитая из бронзы Эйфелева башня. Она была украшена черно-красным флажком и, присмотревшись повнимательнее, на нем можно

было различить надпись "Столик для завсегдатаев", сделанную золотыми буквами, теперь уже наполовину стершимися. А между двумя окнами стоял оркестрион с открытой крышкой, которая выставила напоказ нотный ролик и внутренности. Крышке, собственно, полагалось бы быть закрытой — тогда желающим усладить свой слух музыкой пришлось бы бросать монетку в десять пфеннигов. Но матушка Хентьен не мелочилась: гостю достаточно было залезть вовнутрь и всего лишь потянуть за рычажок; завсегдатаи прекрасно знали, как обращаться с этим аппаратом. Стену напротив оркестриона полностью занимала стойка; за ней манили посетителей два застекленных шкафчика, уставленных ликерочными бутылками с пестрыми яркими этикетками, между шкафчиками поблескивало большущее зеркало. И когда по вечерам матушка Хентьен занимала свое место за стойкой, она имела обыкновение повернуться к зеркалу, чтобы поправить белокурую прическу, сидевшую на округлом крупном черепе подобно маленькой жесткой сахарной голове. На стойке стояло несколько больших бутылок с вином и шнапсом, ибо ликеры с пестрыми яркими этикетками заказывали редко. А картину завершал умывальник из листового цинка с водопроводным краном, скромно втиснутый между стойкой и застекленными шкафчиками.

Забегаловка не отапливалась, и холод в ней пробирал до костей. Пытаясь согреться, мужчины растирали руки; Эш тяжело опустился на одну из скамеек, а Мартин направился к оркестриону, и вскоре выстуженное пространство забегаловки заполнилось суровыми звуками марша гладиаторов. Через какое-то мгновение до их слуха сквозь рокочущую музыку донеслись звуки шагов по скрипевшей деревянной лестнице, и госпожа Хентьен распахнула качающиеся створки никогда не запиравшихся дверей рядом со стойкой. На ней было утреннее рабочее платье, поверх юбки повязан большой ситцевый фартук синего цвета, вечерний лифчик она еще не надела, так что ее грудь, словно два мешка, покоилась в бумазеевой кофточке в крупную клетку. Прическа, как всегда жесткой и правильной формы,

сахарной головой возвышалась над блеклым, с отсутствующим выражением лицом, глядя на которое невозможно было определить возраст его обладательницы. Но всем, правда, было известно, что госпожа Гертруда Хентьен имела тридцать шесть лет от роду и что она уже давно, очень давно — лишь недавно подсчитали, что, должно быть, не меньше четырнадцати лет, — является вдовой господина Хентьена, фотография которого в красивой черной с золотой отделкой рамке красовалась над Эйфелевой башней между лицензией на торговлю и картинкой с изображением лунного ландшафта, обрамленных такими же рамками. И хотя господин Хентьен со своей козлиной бородкой был похож на бедного подмастерья у портного, его вдова хранила ему верность; по крайней мере, ни у кого не было оснований ее в чем-либо обвинять, и если кто-то все-таки решался на попытку сойтись с ней поближе с соблюдением всех благопристойностей, то она с пренебрежением думала: "Да, хозяйство мое было бы ему как нельзя более кстати. Ну нет, уж лучше я сама буду здесь хозяйкой".

"Доброе утро, господин Гейринг, доброе утро, господин Эш, — обратилась она к вновь пришедшим, — сегодня вы что-то раненко". "Ну, так ведь не пять минут, как из кровати, матушка Хентьен, — ответил Мартин, — а кто трудится, тому и поесть охота", и он заказал сыр и вино; Эш, у которого при одном воспоминании о вчерашнем вине сводило судорогой рот и желудок, получил рюмочку шнапса. Госпожа Хентьен под села к мужчинам, дабы дать им возможность поделиться новостями; Эш был немногословен, и хотя он ничуть не стыдился своего увольнения, его все-таки злило, что Гейринг так много болтает по этому поводу. "Итак, еще одна жертва капитализма, — завершил свой рассказ профсоюзный деятель, — ну а теперь в самый раз опять за работу; какой-то там барон мог бы себе позволить побездельничать". Он заплатил за двоих, подавив на корню протест Эша, глубокомысленно сказав: "Безработным следует оказывать поддержку..." Взял костыли, которые покоились рядом с ним, прижал носок левой ноги к деревяшке и, громыхая между двумя палками, молча удалился.

Какое-то время после его ухода сидели молча; затем Эш кивнул в сторону двери. "Анархист",— выдал он. Госпожа Хентьен пожала мясистыми плечами: "А если и так, то он все равно порядочный человек..." "Порядочный",— согласился Эш, а госпожа Хентьен продолжила: "...но скоро, наверное, его опять загребут; на шесть месяцев его уже как-то сажали...", а затем: "но ведь такая у него работа". Снова повисло молчание. Эш задумался над тем, с детства ли страдает Мартин своей хромотой. "Врожденное уродство",— сказал он про себя, а вслух: "Он и меня хотел бы втянуть в свое социалистическое товарищество. Но я не пойду на это". "А что так?"— без интереса спросила госпожа Хентьен. "Не для меня. Я хочу жить по-своему; должен быть порядок, если хочешь жить по-своему". Госпожа Хентьен не могла не согласиться: "Да, это правильно, должен быть порядок. Но мне уже пора на кухню. Будете у нас сегодня ужинать, господин Эш?" Эш с одинаковым успехом мог бы ужинать как здесь, так и где-нибудь еще, но зачем ему слоняться на ледяном ветру. "Что-то сегодня ни снежинки,— удивленным голосом начал он,— а от пыли слезятся глаза". "Да, на улице отвратительно,— с пониманием отреагировала госпожа Хентьен.— Вы, значит, проведете весь день здесь". Она исчезла на кухне; створки двери еще какое-то время продолжали раскачиваться ей вслед; Эш тупо наблюдал за ними, пока они не застыли в своей неподвижности. Затем он попытался уснуть. Но вскоре его начало трясти от холода; он походил вдоль стойки — походка его была тяжелой и слегка нетвердой,— взял газету, которая лежала на стойке, но заочневшие пальцы не могли даже листать страницы; в глазах появились режущие боли. Собравшись с духом, он решил отправиться на кухню и, держа в руке газету, проскользнул сквозь дверь. "Вас, наверное, потянуло на аромат моих кастрюлек",— заметила госпожа Хентьен, лишь потом сообразив, что в забегаловке было слишком холодно, а поскольку обычно она протапливала там лишь во второй половине дня и твердо придерживалась этого правила, то не возражала, чтобы он составил ей компанию. Эш наблюдал за тем, как она возится

возле плиты, он охотно забрался бы к ней под кофточку, но это желание было подавлено в зародыше ее репутацией недотроги. Когда девочка-служанка, помогавшая ей по хозяйству, вышла из кухни, он задумчиво сказал: "И вам нравится жить в таком одиночестве". "Ну-ну,— отреагировала она,— заведите и вы уже известную мне мелодию". "Да нет,— начал оправдываться он,— это я просто так". Какое-то странное выражение застыло на лице матушки Хентъен; казалось, к ее горлу подкатила непонятная тошнота, ибо она вся так содрогнулась, что аж начала раскачиваться ее грудь, ну а затем она снова взялась за работу с тем отсутствующим выражением лица, к которому все так привыкли. Эш, расположившись у окна, читал свою газету, а затем устался в окно, за которым виднелся двор, где в порывах ветра закручивались небольшие столбики пыли.

Позже подошли с немывтыми и заспанными физиономиями две девушки, которые в вечернее время работали официантками. Матушка Хентъен, обе девушки, девочка-служанка и Эш уселись вокруг кухонного стола, широко расставив локти, каждый из них уткнулся в свою тарелку — они ели.

Эш приготовил предложение о своих услугах Среднерейнскому пароходству в Мангейме; ему оставалось только приложить отзыв. Он, собственно говоря, был рад тому, что складывалось таким вот образом. Не так уж это и хорошо постоянно торчать на одном месте. Необходимо переезжать, и чем дальше, тем лучше. А кроме того, следует всегда быть начеку; именно так он себя и вел в жизни.

После обеда он отправился на фирму "Штемберг и компания", которая занималась хранением и оптовой продажей вин, чтобы забрать отзыв бывшего работодателя. Нентвиг заставил его ждать у деревянной перегородки; толстый, с округлыми телесами, он восседал за своим письменным столом и что-то считал. Эш нетерпеливо постучал по перегородке ногтем. Нентвиг поднялся: "Терпение, терпение, господин Эш". Он приблизился к перегородке и свысока процедил: "Хотите, значит, по-

лучить отзыв, но это будет не так уж быстро. Значит так, дата рождения? Когда поступили к нам на работу?" Эш, глядя куда-то в сторону, продиктовал ему эти данные, и Нентвиг старательно записал их. Через некоторое время Нентвиг подал Эшу отзыв. "Какой же это отзыв?!"— удивился он и вернул бумажку обратно. "Любопытно, а что же это такое?" "Вы должны подтвердить, что я работал здесь бухгалтером". "Вы — бухгалтером! Ну так вы же продемонстрировали, что вы можете". Тут уж настал час расплаты: "Хочу заметить, что для системы вашего учета и отчета необходим особый бухгалтер!" Лицо Нентвига приняло настороженное выражение: "Как это прикажете понимать?" "Я сказал то, что сказал". Поведение Нентвига резко изменилось, он стал сама доброжелательность. "Своей агрессивностью вы постоянно вредите лишь самому себе; иметь прекрасное место и поссориться с шефом". Эш ощутил приближение победы и приступил к закреплению завоеванных позиций: "Вот с шефом-то я бы еще поговорил". "Если вы хотите услышать мое мнение, то вот оно: говорите с шефом о чем вам заблагорассудится,— отпарировал Нентвиг.— Итак, какой отзыв вы хотите получить?" Эш не заставил себя переспрашивать: "...Старательный, надежный, зарекомендовал себя самым лучшим образом при выполнении всех бухгалтерских и прочих работ". Нентвигу хотелось отделаться от него: "Правдой, конечно, это не является, но уж ладно". Он повернулся к писарю, чтобы продиктовать новый текст отзыва. Эш залился краской: "Так, правдой это не является, не так ли? В таком случае допишите еще следующее: достоин самых лучших рекомендаций. Вам понятно?" Нентвиг отвесил ему поклон: "К вашим услугам, господин Эш". Эш прочитал новый манускрипт и остался доволен. "И подпись шефа",— скомандовал он. Этого Нентвиг уже выдержать не смог, он заорал: "А моей что, будет вам недостаточно?!" "Ну, если у вас есть полномочия на это, то тогда должно быть достаточно". Ответ Эша был просто замечателен в своем саркастическом великодушии, и Нентвиг подписал.

Эш вышел на улицу и направился к ближайшему почтовому

ящику. Победоносно насвистывая, он ощущал себя реабилитированным. Отзыв у него есть, прекрасно; он сунул его в конверт с предложением своих услуг пароходству в Мангейме. То, что Нентвиг сдался, свидетельствует о его нечистой совести. Это означает, что он мошенничает с учетом, следовательно, надо было бы передать этого человека в руки полиции. Ну да, это же элементарный гражданский долг, немедленно сообщить куда следует. Письмо мягко скользнуло в почтовый ящик; Эш размышлял, не отправиться ли ему прямо в управление полиции. Нерешительной походкой побрел он по улице. Плохо то, что он уже отослал отзыв, ему следовало бы вернуть его Нентвигу; вначале шантажом добиться отзыва, а потом заложить — все это выглядело как-то неприлично. Но дело уже сделано, и без отзыва было бы сложновато рассчитывать на получение места в Среднерейнском пароходстве; ему не оставалось бы ничего другого, как снова поступить на службу в фирму "Штемберг". И он представил себе, как шеф за разоблачение мошенничества предлагает ему место Нентвига, который уже томился бы в тюрьме. Да, но что, если шеф сам замешан во всем этом свинстве? Тогда, впрочем, полицейское расследование приведет к краху всей конторы: фирма будет объявлена неплатежеспособной и сама собой отпадет необходимость в услугах бухгалтера. А в газетах можно будет прочитать о "мести уволенного служащего". В итоге его станут подозревать в соучастии, и тогда ему уже не нужен будет не только отзыв, он вряд ли вообще где-либо сможет найти работу. Эша порадовала его острота ума: он так четко просчитал все последствия, но это и разозлило его. "Говнюки", — чертыхнулся он про себя. Эш стоял на улице Ринг перед оперным театром и проклинал ветер, из-за которого прямо в глаза попадала холодная пыль, его мучили сомнения, но в конце концов он решил с мезью подождать; если ему не удастся получить место в Мангейме, тогда уж он призовет на помощь богиню возмездия Немезиду. На город опускались сумерки, и он, засунув руки глубоко в карманы своего потертого пальто, дошел, скорее формы ради, до управления полиции.

Подъехал автомобиль для перевозки заключенных, Эш подождал, пока всех не высадили из него, и был сильно разочарован, когда полицейский захлопнул дверцу автомобиля, а Нентвиг оттуда так и не появился. Он постоял еще какое-то мгновение, затем решительно повернулся и направился на Альтен Маркт¹. Продольные морщины на его щеках стали, казалось, еще глубже. "Жулики, морды козлиные",— ругался он про себя. Полный недовольства из-за омраченной радости победы, он снова напился и провел ночь с какой-то девицей.

Надев платье из коричневого шелка, которое она, как правило, носила только по вечерам, госпожа Хентьен нанесла во второй половине дня визит одной из своих подруг; ее охватила ставшая уже привычной злость, когда она, возвратившись домой, снова увидела перед собой и этот дом, и эту забегаловку, проводить жизнь в которой она вынуждена уже столько лет. Конечно, имея свое дело, можно кое-что подкопить, и когда подруги хвалили ее за трудолюбие, то это вызывало слабое чувство удовлетворения, которое было хоть какой-то компенсацией. Но лучше бы ей быть владелицей бельевого магазинчика или магазинчика всевозможных предметов женского туалета, или дамского салона-парикмахерской, а не проводить все вечера с этими нализовавшимися типами! Если бы на ней не было плотно облегающего корсета, то ее наверное бы стошнило, когда перед глазами снова возник ее дом: так сильно ненавидела она мужчин, которые вертелись там и которых ей приходилось обслуживать. Впрочем, женщин, наверное, она ненавидела еще больше за то, что они так глупы и всегда навязываются мужчинам. Нет, из числа ее подруг ни одна не относилась к числу этих легкомысленных баб, которые с мужиками всегда заодно, которые яхшуются с этими типами, ведут себя с ними, словно сучки. Вчера во внутреннем дворике она застала на

¹ Альтен Маркт — улица в центральной части Кельна, на которой сосредоточены торговые, питейные и увеселительные заведения.

горячем с одним парнем девушку, которая служила у нее на кухне, не без удовольствия она отметила, что у нее до сих пор печет рука, которой она надавала служанке по щекам, верхом блаженства было читать девчонке нотацию. Нет, бабы, наверное, еще отвратительнее мужиков. По душе ей были ее официантки и все те девушки, которые презирали мужчин, когда им приходилось ложиться с ними в постель: с этими женщинами она беседовала охотно и подолгу, выслушивала в мельчайших деталях все их истории, утешала и пыталась приласкать их, дабы облегчить страдания. Именно поэтому места в заведении матушки Хентьен пользовались популярностью, и девушки считали стоящим делом по возможности удержаться на такой работе. Ну а матушке Хентьен такие привязанность и любовь доставляли радость.

Наверху, на втором этаже, располагалась ее прелестная комната: большущая, с тремя окнами, выходящими в переулок, она простиралась во всю ширину дома над забегаловкой и площадкой первого этажа; в глубине, над тем местом, где располагалась стойка с буфетом, была своеобразная ниша, отгороженная и занавешенная светлой шторой. Приподняв ее, внутри, после того как глаза привыкнут к темноте, можно было увидеть супружескую постель. Но госпожа Хентьен этой комнатой не пользовалась, никто, впрочем, и не знал, пользовались ли ею вообще когда-либо. Отапливать такую большую комнату было очень сложно и сопряжено с большими расходами, так что госпоже Хентьен нельзя было ставить в вину то, что для сна и проживания она выбрала меньшего размера комнату над кухней, зато пребывающий в вечном полумраке зал с его ледяным холодом она использовала для хранения скоропортящихся продуктов. Орехи, которые госпожа Хентьен по обыкновению закупала осенью, тоже хранились там, они были рассыпаны на полу, по которому крест накрест тянулись две широкие полосы линолеума зеленого цвета.

Госпожа Хентьен, все еще пребывая в дурном расположении духа, поднялась в комнату, чтобы взять на вечер колбасу,

но, забыв об осторожности — что нередко случается с расстроенными людьми,— она наступила как раз на то место, где были рассыпаны орехи; с раздражающе громким звуком они выкатывались из-под ее ног; когда она к тому же еще и раздавила один из орехов, ее ярость усилилась; она, дабы не усугублять ущерб, подобрала его, осторожно освободила ядро из раздавленной скорлупы и отправила в рот белые кусочки с горькой желтовато-коричневой кожурой, не забыв при этом пронзительным голосом позвать служанку с кухни; эта нахалка поднялась, спотыкаясь, по лестнице, ее встретил целый поток беспорядочной брани: конечно, с парнями шуры-муры крутить и орехи воровать — это всегда пожалуйста (иначе орехи лежали бы у окна, а сейчас они разбросаны тут, у порога, неужто они сами сюда притопали?); она уже приготовилась дать ей оплеуху, и девушка прикрылась рукой, но тут на зуб госпоже Хентьен попала скорлупа ореха, и она ограничилась только тем, что презрительно сплюнула себе под ноги; затем она спустилась в забегаловку, а за ней плелась плачущая служанка.

Когда она вошла в общий зал, где в воздухе уже висели клубы густого табачного дыма, ее охватило — как это случалось почти ежедневно — то пугающее оцепенение, которое, хотя и с трудом, можно было понять, но стоило больших усилий его преодолеть. Она подошла к зеркалу, механически ощупала свою прическу, похожую на белую сахарную голову, привела в порядок одежду и, лишь убедившись в том, что ее внешность производит благоприятное впечатление, успокоилась. Теперь она уже различала среди своих гостей знакомые лица, и хотя на напитках можно было заработать куда больше, чем на закусках, она все-таки больше радовалась тем, кто приходил покушать, чем тем, кто предпочитал выпить. Она вышла из-за стойки и направилась к столикам, интересуясь, вкусно ли приготовлено. И с определенным удовлетворением она подозвала к себе официантку, когда один из гостей попросил заказ повторить. Да, кухня матушки Хентьен — это то, что следует попробовать.

Гейринг был уже там; его костыли стояли рядом с ним; мясо

на тарелке он разрезал на маленькие кусочки и механически его разжевывал, придерживая левой рукой одну из тех социалистических газет, целые пачки которых всегда торчали из его карманов. Госпоже Хентьен он был по душе, с одной стороны, потому, что он, как калека, не был настоящим мужчиной, с другой — потому, что он приходил сюда не в поисках приключений, и не для того, чтобы нализаться, и не из-за девочек, а просто потому, что его дело требовало сохранения контакта с моряками и портовыми рабочими; но главная причина ее симпатии к нему состояла в том, что каждый вечер он питался в ее заведении и всегда хвалил то, что приготовлено. Она под села к нему. "Эш уже здесь? — спросил Гейринг. — Он получил место в Мангейме, с понедельника уже должен приступать к работе". "Это вы ему все организовали, господин Гейринг", — констатировала госпожа Хентьен. "Нет, матушка Хентьен, обеспечивать устройство на работу — это еще пока выше наших возможностей... нет, пока еще нет... Но я навел, так сказать, Эша на след. Почему бы и не помочь такому молодцу, даже если он и не причислен к нашей организации". Матушка Хентьен проявила по этому поводу не столь большое участие: "Кушайте, кушайте на здоровье, господин Гейринг, я намерена угостить вас еще кое-чем". И она пошла к стойке, чтобы принести на тарелке довольно тонко нарезанный кусочек колбасы, который она украсила стебельком петрушки. Морщинистое лицо сорокалетнего ребенка по имени Гейринг благодарно улыбнулось ей, продемонстрировав плохие зубы, он коснулся ее белой пухловатой руки, которую она сразу же несколько нервно одернула.

Позже подошел Эш. Гейринг оторвался от газет и выдал: "Поздравляю, Август". "Благодарю, — ответил Эш, — ты, стало быть, уже знаешь, все прошло без сучка и задоринки, сразу же прислали ответ, что берут. Так что — большое спасибо, что ты мне подсказал, куда обратиться". Но черты его лица сохраняли задеревеневшее выражение недовольства. "Да не за что, — ответил Мартин и крикнул в направлении стойки: — У нас тут завелся теперь новый господин казначей". "Удачи вам, господин

Эш",— сухо отозвалась госпожа Хентьен, но затем все же вышла из-за стойки, подошла и подала ему руку. Эш, которому не терпелось показать, что не все является заслугой Мартина, достал из нагрудного кармана отзыв: "Все, конечно же, было бы куда сложнее, если бы в "Штемберге" им не пришлось выдать мне приличный отзыв". Он особый упор сделал на слове "пришлось" и добавил: "Этим уродам". Госпожа Хентьен пробежала по документу рассеянным взглядом и сказала: "Хороший отзыв". Гейринг тоже прочитал его и кивнул: "Да, в Мангейме должны быть наверняка довольны тем, что получили такого первоклассного специалиста... а с президента Бертранда я и вправду еще потребую выплаты комиссионных за такое посредничество".

"Отличный бухгалтер, это отлично, не так ли?" — чванливо заявил Эш. "Прекрасно, если о себе можешь сказать что-нибудь в этом роде,— согласилась госпожа Хентьен,— теперь вы очень гордитесь этим, господин Эш, и у вас есть все основания; хотите покушать?" Ну, конечно, он хочет, и пока госпожа Хентьен благоговейно взирала на то, как вкусно ему было, он рассказывал, что скоро будет путешествовать вверх по Рейну и надеется попасть даже на заграничную службу; а там можно было ездить аж до Келя и Базеля. К ним присоединились несколько знакомых, новый казначей велел принести всем им вина, и госпожа Хентьен удалилась. С отвращением она отметила, что Эш не упускает случая ущипнуть официантку Хеде всякий раз, когда она проходит мимо его столика, и что он усадил ее в конце концов возле себя, чтобы она с ним выпила. Но это была капитальная попойка, и когда господа за полночь поднялись и прихватили с собой Хеде, она сунула ей в руку одну марку.

Невзирая на все это, радоваться своему новому месту Эш не мог. У него было ощущение, словно он добился его ценой спасения собственной души или, по меньшей мере, ценой своей порядочности. Сейчас, когда все уже было сделано и он

успел даже получить в кельнском филиале мангеймского пароходства аванс на дорожные расходы, его снова охватили сомнения, не сообщить ли ему о своих бывших работодателях куда следует. Тогда, впрочем, ему придется присутствовать на дознании, он не сможет уехать, а это будет почти равноценно потере нового места. На какое-то мгновение ему в голову пришла мысль разрешить ситуацию с помощью анонимного письма в полицию, но он откинул этот план: одной непорядочностью уничтожить другую невозможно. В конце концов его разозлили эти угрызения совести; он все-таки уже не маленький ребенок, чихать он хотел на все это дерьмо, налипающее на всевозможные святости и морали; кое-чего он уже начитался, и когда Гейринг снова обратился к нему с настоятельным предложением вступить в социал-демократическую партию, он ответил: "Нет, к вам, анархистам, я не пойду, но чтобы, по крайней мере, хотя бы частично было по-твоему, я, наверное, присоединюсь к вольнодумцам". Неблагодарный тип ответил, что ему абсолютно все равно, какое решение примет Эш. Вот такие они, эти люди; ну что ж, Эшу тем более абсолютно все равно.

В конечном счете он поступил самым разумным образом — уехал в Мангейм в положенный срок. Но он, правда, ощущал себя вырванным из привычной обстановки, обычная радость от путешествия никак не наступала, ведь как бы там ни было, а часть своего имущества он оставлял в Кельне; он не взял с собой даже велосипед. Впрочем, аванс на дорожные расходы, который был ему выплачен, сделал его необыкновенно щедрым. Стоя на платформе в Майнце, держа в руках кружку с пивом, засунув билет за отворот шляпы, он вспоминал тех, кто остался, ему захотелось сделать для них что-нибудь хорошее, а поскольку рядом как раз катил свою тележку продавец газет, то он приобрел у него две открытки с видами города. Привета от него заслуживал в первую очередь Мартин; однако мужчинам как-то не принято посылать такие открытки. Поэтому он решил отправить ее Хеде; вторая предназначалась матушке Хентьен. Тут ему в голову пришла мысль, что госпоже Хентьен, которая,

увы, была гордячкой, может показаться оскорбительным получить открытку одновременно с кем-нибудь из своих работниц, а поскольку сегодня ему не хотелось ее обижать, он разорвал первую открытку и отправил лишь ту, которая предназначалась матушке Хентьен; он посылал сердечный привет из прекрасного Майнца ей, всем дорогим его сердцу друзьям, знакомым и очаровательным Хеде с Туснельдой. После этого его снова охватило едва уловимое чувство одиночества, он опрокинул вторую кружку пива и отправился дальше в Мангейм.

О своем прибытии на работу он должен был сообщить в центральную контору. Акционерное общество "Среднерейнское пароходство" располагало собственным зданием недалеко от порта Мюлау, это было тяжеловесное сооружение из камня с колоннами у входных дверей. Улица перед зданием заасфальтирована, что очень удобно для велосипедистов; это была новая улица. Тяжелые стеклянные в обрамлении кованого железа двери, которые двигались наверняка легко и бесшумно, были приоткрыты, и Эш вошел в здание; мрамор в вестибюле произвел на него благоприятное впечатление; над лестницей висела стеклянная табличка, на прозрачной поверхности которой золотые буквы сообщали: "Дирекция". Он направился прямо туда. Но как только он ступил на первую ступеньку лестницы, услышал за своей спиной: "Куда изволите?" Он обернулся и увидел портье в серой ливрее с поблескивающими на ней серебряными пуговицами, а фуражка имела серебряный околыш. Все это было очень мило, но Эш разозлился: какого черта этому парню от него нужно? Он коротко отрезал: "Я должен здесь зарегистрироваться" и намерился продолжить свой путь. Но портье не сдавался: "В дирекции?" "А где же еще?" — окрысился Эш. На втором этаже лестница выводила в просторный мрачноватый вестибюль. Посредине стоял большой дубовый стол, вокруг которого были расставлены стулья с мягкими сидениями. Это, очевидно, свидетельствовало о солидности. Снова возник тип — но уже другой — с серебряными пуговицами и спросил о цели визита. "Мне нужно в дирекцию", — сказал Эш. "Господа

на заседании наблюдательного совета,— ответил служитель,— у вас важное дело?" Поневоле Эшу пришлось раскрыть свои карты; он достал бумаги, документ о приеме на работу, направление на получение аванса на дорожные расходы. "У меня с собой еще и парочка отзывов",— сказал он и вознамерился извлечь отзыв Нентвига. Он был несколько разочарован тем, что этот тип на него даже не взглянул: "Со всем этим вам здесь нечего делать... на первом этаже, вдоль по коридору до второй лестницы... там спросите". Эш на какое-то время остолбенел; ему очень уж не хотелось признать триумф портье, поэтому он еще раз переспросил: "Так, значит, не здесь?" Но служитель уже отвернулся и бросил через плечо: "Нет, здесь приемная президента". В душе у Эша пробудилась злость; не слишком ли носятся они со своим президентом? Мягкая мебель и служители с серебряными пуговицами. Нентвиг тоже был бы не прочь покорчить из себя что-либо в этом роде; да, этот президент мало чем отличается от такого типа, как Нентвиг. Эшу пришлось спуститься вниз; там стоял портье. Эш смотрел на него так, словно у того на лице была злорадная мина; взгляд же служителя был абсолютно равнодушным, и Эш сказал: "Мне нужно в бюро по набору кадров", и тот объяснил ему, как пройти. Сделав пару шагов, Эш обернулся и показал указательным пальцем на ведущую вверх лестницу: "А как зовут того наверху, вашего президента?" "Президент фон Берtrand",— ответил портье, в его голосе прозвучали уважительные нотки. И Эш голосом, в котором также слегка улавливалось уважение, повторил: "Президент фон Берtrand"; имя это он уже когда-то слышал.

В бюро по набору кадров он узнал, что службу свою будет нести на портовом складе. Когда он снова вышел на улицу, перед домом притормозил экипаж. Было холодно; у бордюрных камней и в угловых изгибах стен лежал пригнанный сюда ветром рассыпчатый снег; одна из лошадей нетерпеливо била копытом об асфальт. Она проявляла явное нетерпение, и не без основания. "Без экипажа господину президенту ну никак не

обойтись,— проворчал Эш,— а наш брат может и так побегать”. Тем не менее ему нравилось происходящее и он испытывал чувство удовлетворения от принадлежности ко всему этому. Это была все-таки победа над Нентвигом.

Его место на складах Среднерейнского пароходства находилось за стеклянной перегородкой, в конце длинного складского помещения, стол стоял рядом со столом таможенника, а за столом горела маленькая железная печка. Если работа переставала радовать или снова наступало ощущение одиночества, то всегда можно было найти занятие возле вагонов и при погрузочно-разгрузочных работах. Возобновление судоходства ожидалось в ближайшие дни, поэтому возле судов наблюдалось суетливое движение: одни краны поворачивались и наклонялись, словно хотели осторожно извлечь из корпусов судов какие-то вещи, другие простирались над водой подобно начатым, но не достроенным мостам. В этом для Эша не было, естественно, ничего нового, ибо в Кельне все выглядело точно так же, но там длинный ряд складских помещений был чем-то обычным, чем-то, на что не обращаешь внимания, а если бы даже и пришлось задуматься над этим, то постройки, краны, железнодорожные платформы воспринимались бы как нечто бессмысленное, предназначенное для удовлетворения каких-то непонятных потребностей людей. Теперь же, когда он сам стал частью этого, все приобрело смысл и естественность, и от этого на душе становилось хорошо. Если раньше его в высшей степени удивляло, а иногда даже злило, что существует столько экспедиторских фирм и что одинаковой формы складские помещения на набережной украшены таким количеством разнообразнейших фирменных вывесок, то теперь предприятия приобретали индивидуальные черты, которые угадывались в толстых и худых управляющих товарными складами, в грубых и вежливых сторожах. Радовали также надписи Имперского немецкого таможенного ведомства у входа в закрытую зону порта: возникало ощущение, что ты ходишь уже по чужой земле. Это была полная ограничений и одновременно свободная жизнь в пристанище товара, который не облагался таможенными по-

шлинами, здесь пахло границей, а за стальной решеткой таможенной зоны можно было вдыхать этот запах полной грудью. И хотя у него еще не было формы и он, так сказать, был здесь всего лишь частным служащим, но здесь, в этом общем котле с таможенниками и железнодорожниками, сам становишься почти что работником соответствующих ведомств, поскольку у тебя в кармане законное разрешение, с которым ты беспрепятственно можешь перемещаться по закрытой зоне. Охранники у основного входа уже дружески приветствуют тебя, а ты, подняв руку в ответном приветствии, выбрасываешь описывающую в полете большую дугу сигарету, дабы придерживаться существующего на этой территории запрета на курение, отправляешься дальше, сам образцово некурящий, всегда готовый выставить претензию идущему навстречу гражданскому лицу за возможные нарушения предписаний, медленными важными шагами приближаешься к конторе, где распорядитель товарного склада уже положил на письменный стол списки. Потом натягиваешь серого цвета шерстяные перчатки с обрезанными пальцами — в противном случае в сером и пыльном холоде складского помещения мерзли бы руки,— берешь списки в руки и осуществляешь проверку заскладированных ящиков и тюков. Если один из ящиков пропущен, не преминешь бросить карающий и даже нетерпеливый взгляд на распорядителя товарного склада, в чьем ведении находится этот участок, чтобы он дал соответствующую взбучку складским рабочим. И когда во время обхода к тебе за стеклянную перегородку заходят таможенники — с поднятыми воротниками, зевая и разводя с ахами да охами руками — и откидываются на стулья, при этом расхваливая тепло пылающей печки, то списки уже проверены и перенесены в картотеку, и это уже и не строгая таможенная проверка, а оба мужчины сидят рядышком перед столом и не спеша обсуждают итоги проверки. Один из них скрепляет список привычной подписью синим карандашом, забирает копию, запирает ее в свой письменный стол, и поскольку их ждет обед, они вместе направляются в столовую.

Да, Эш не прогадал, хотя и ценой этому была справедли-

вость. Его часто беспокоили мысли — и это было единственное, чего ему не доставало для полного удовлетворения,— не поискать ли все-таки какую-либо возможность для того, чтобы выполнить свой долг и сделать соответствующее заявление в полицию; лишь тогда все было бы в полном порядке.

Таможенный инспектор Бальтазар Корн родом был из одной крайне безликой местности Германии. Он родился на границе между баварской и саксонской культурами и своими юношескими впечатлениями был обязан городу Хоф, расположенному на холмистой местности в Баварии. Его ум колебался между простоватой грубостью и трезвым корыстолюбием, и после того, как его вполне хватило, чтобы на действительной военной службе дослужиться до фельдфебеля, он воспользовался случаем, предоставляемым заботливым государством верным солдатам, и перешел на таможенную службу. Не обремененный семьей, он проживал вместе со своей тоже незамужней сестрой Эрной в Мангейме, а поскольку пустующая комната в его квартире была для него словно бельмо на глазу, то он предложил Августу Эшу отказаться от дорогого номера в гостинице и снять более дешевое жилье у него. И хотя Эш был для него не совсем идеальной фигурой, поскольку являлся выходцем из Люксембурга и не служил в армии, но для него не последнее значение имело то, что в распоряжение Эша он передавал не только комнату, но и собственную сестру; он не скупился на соответствующие намеки, а старая дева реагировала на них стыдливими защитными жестами и хихиканьем. Да, он заходил даже настолько далеко, что ставил под угрозу доброе имя собственной сестры, когда имел глупость называть Эша в столовой на глазах у всех "своjakом", так что любому не оставалось ничего другого как думать, что Эш уже спит в одной постели со своей хозяйкой. Причем Корн делал это отнюдь не шутки ради, наоборот, он стремился к тому, чтобы частично в силу привычки, частично под давлением общественного мнения заставить Эша превратить ту фиктивную жизнь, в которую он его вверг, в солидную реальность.

Эш перебрался к Корну достаточно охотно. Он, кого уже довольно много потаскало по свету, чувствовал себя в этот раз каким-то позабытым. Возможно, виноваты в этом были пронумерованные мангеймские улицы, возможно, ему не доставало аромата забегаловки матушки Хентьен, возможно, дело было в истории с этим уродом, Нентвигом, которую он никак не мог выбросить из головы, короче говоря, он чувствовал себя одиноким и остался у этой пары кровных родственников, остался, хотя давно уже понял, откуда ветер у Корнов дует, остался, хотя и не помышлял о том, чтобы связать свою жизнь с этой стареющей особой: на него не произвело впечатления богатое приданое, которое Эрна собирала годами и продемонстрировала ему не без некоторой гордости, не привлекла его и сберегательная книжка, на которой лежало более двух тысяч марок и которую она ему как-то показала. Но старания Корна завлечь его в западню были так забавны, что все-таки можно было попробовать рискнуть; нужно было только, естественно, постоянно быть начеку и не дать себя одурачить. Корн редко раскошеливался на то, чтобы оплатить свое пиво, когда в конце дня они встречались в столовой; возвращаясь вместе домой, они от души чертыхались относительно недоброкачества мангеймского пойла, называемого почему-то пивом, и Корна невозможно было отговорить от того, чтобы завернуть еще и в "Шпатенброй". И когда Эш торопливо засовывал руку в карман за бумажником, то Корн начинал отнекиваться: "У вас еще будет возможность рассчитаться, дорогой мой своячок". Потом они плелись по Рейнштрассе, и господин таможенный инспектор останавливался прямо перед освещенными витринами, а его лапа тяжело опускалась на плечо Эша: "Именно о таком зонтике уже давно мечтает моя сестра; его я куплю ей на именины", или: "Такой газовый утюг имеется в каждом хозяйстве", или: "Моя сестра была бы безмерно рада, если бы у нее была стиральная машина". А поскольку Эш на все это не откликнулся ни единым словом, то Корна охватывала такая злость, как когда-то на рекрутов, которые никак не хотели уяснить, как производится сборка и разборка винтовки, и чем безмолвнее шел

рядом с ним Эш, тем сильнее злился толстый Корн из-за нагло-го выражения, которое принимало лицо Эша.

Эш же в таких случаях замолкал вовсе не из жадности. Ибо хотя он и был экономным человеком и охотно пускался на определенные уловки для получения незначительных выгод, но солидная и справедливая бухгалтерия его души все же не позволяла принимать что-либо без соответствующей оплаты; услуга требует ответной услуги, а товар любит, чтобы за него платили; он считал к тому же излишним делать поспешные покупки, да, ему казалось откровенно глупым и нелепым на деле поддаться настойчивым притязаниям Корна. У него для начала всегда была наготове своеобразная форма реванша, которая позволяла ему оказать определенную услугу Корну и в то же время показывала, что с женьбой он не очень торопится: после ужина он обыкновенно приглашал Корна совершить с ним небольшую прогулку, которая приводила в забегаловки с дамским персоналом и для обоих неизбежно заканчивалась в пользующихся дурной репутацией переулочках неподалеку. Это иногда стоило приличных денег, подлежащих уплате по общему счету — даже если Корну и приходилось платить своей девочке самостоятельно, — и все-таки стоило потраченных денег увидеть, как Корн после этого плетется рядом с ним домой с брюзгливым выражением лица, с растрепанными взъерошенными усами, при этом он часто невнятно и ворчливо бормотал, что теперь той распутной жизни, на которую его подбивает Эш, следует положить конец. И более того, на следующий день Корн бывал настолько не расположенным к своей сестре, что не очень церемонился с ней и оскорблял ее, обвиняя в том, что ей никогда не удастся привязать мужика к такой особе, какой она является. И когда она при этом с руганью начинала перечислять, сколько раз ей это удавалось, он с пренебрежением тыкал ее носом в ее незамужнее положение.

Однажды Эшу удалось в значительной мере уплатить свой долг. Проходя по экспедиционным складам, он, благодаря сво-

ему бдительному любопытству, обратил внимание на беспорядочно сваленные ящики и места багажа одного театрального фонда, которые только что были разгружены. Рядом стоял гладко выбритый господин, он был сильно возбужден, кричал, что с его драгоценным грузом, которому и цены-то нет, обращаются так грубо, словно это дрова; Эш, посмотрев на положение дел с серьезным видом знатока, дал складским рабочим сверхкомпетентный совет и тем самым продемонстрировал свое положение, а господин увидел в нем сведущего специалиста из числа постоянного персонала и обрушил на него мощный поток своего красноречия; вскоре их общение переросло в дружескую беседу, в ходе которой гладко выбритый господин, приподняв шляпу, представился директором Гернетом и новым арендатором театра "Талия"¹ и заявил, что ему доставило бы необыкновенное удовольствие — а между тем разгрузочные работы уже были завершены,— если бы господин экспедиционный инспектор со своей уважаемой семьей почтил своим присутствием блестящее премьерное представление, к тому же он охотно обеспечит его входными билетами по льготной цене. И как только Эш с радостью согласился, директор немедленно порылся в карманах и, недолго думая, набросал записку с указанием предоставить три бесплатных билета. И вот теперь Эш, брат и сестра Корн сидели за покрытым белой скатертью столом театра-варьете, который начинал свою программу новым аттракционом: подвижными, или так называемыми кинематографическими картинками. Эти картинки, впрочем, не имели большого успеха как у них, так и у прочей публики, поскольку воспринимались как нечто несерьезное и всего лишь как прелюдия к настоящему наслаждению, тем не менее современная форма искусства захватывала, особенно когда в продолжение веселого представления были продемонстрированы комические последствия приема слабительных пилюль, а критические моменты подчеркивались барабанной дробью. Корн громко стучал

¹ Талия — в греческой мифологии муза комедии.

ладонями по столу, фрейлейн Эрн смеялась, прикрывая рот рукой, бросая украдкой сквозь пальцы лукавые взгляды на Эша, а Эш был горд, словно он сам являлся изобретателем и творцом этого удавшегося представления. Дым их сигар поднимался вверх и сливался с клубами табачного дыма, все это вскоре собралось под низким сводом зала в сплошное облако, его пронизывал серебристый луч фонаря, которым с галереи освещали сцену; в антракте, последовавшем за выступлением мастеров художественного свиста, Эш заказал три бокала пива, хотя в театральном буфете оно стоило значительно дороже, чем где бы то ни было, но он остался доволен, ибо оно оказалось выдохшимся и безвкусным, так что было решено воздержаться от дальнейших заказов, а после представления выпить еще в "Шпатенброй". Его опять охватила душевная щедрость, и в то время как примадонна выводила зажигательные и вызывающие душевную боль ноты, он многообещающим голосом проворковал: "Да, это любовь, фрейлейн Эрн". Когда после аплодисментов, которыми публика со всех сторон щедро наградила певицу, снова был поднят занавес, то сцена вся переливалась отблесками серебряного цвета, наверху стояли никелированные столики и такие же никелированные причиндалы жонглера. На красном бархате, которым была обтянута подставка, покоились шары и бутылки, флажки и булавы, а также большая стопка белых тарелок. На стоящей почти вертикально лестнице, которая тоже была изготовлена из отсвечивающего никеля, висела дюжина кинжалов, длинные лезвия которых блестили не меньше, чем отполированный металл вокруг. Жонглеру в черном фраке ассистировала помощница, которую он включил в свой номер, очевидно, для того лишь, чтобы продемонстрировать публике ее незаурядную красоту, да и переливающееся всеми цветами трико, в которое она была одета, служило, наверное, исключительно этой же цели, поскольку единственное, что она делала, так это подавала жонглеру тарелки и флажки или же в середине номера бросала ему их так часто, как он того требовал, хлопая в ладоши. Она выполняла свою работу, грациозно

улыбаясь, и когда она бросала ему булавы, с ее уст слетал короткий на чужом языке выкрик, может быть, для того, чтобы привлечь к себе внимание своего повелителя, а может быть, и для того, чтобы вымолить для себя хоть немножечко любви, которая ей строжайше возбранялась. И хотя ему, собственно, полагалось бы знать, что он рискует потерять симпатии толпы из-за своего жестокосердия, он тем не менее не удостоивал красавицу ни единым взглядом, и лишь тогда, когда он с поклоном принимал аплодисменты публики, его рука делала небрежное движение в сторону помощницы, демонстрируя, что какую-то долю аплодисментов он оставляет ей. Но затем он направился в глубину сцены, и они дружно, словно никогда и не было того оскорбления, которое он ей только что нанес, вынесли большой черного цвета щит, стоявший там, никем не замечаемый; они подтащили его к застывшему в ожидании никелевому каркасу, установили и прикрепили к специальной арматуре. Потом они вытолкали с короткими возгласами и смешками вертикально стоящий черный щит поближе к переднему краю сцены и зафиксировали его проводами, которые неожиданно оказались здесь, на полу и за кулисами. После того как они проделали все это, прелестная помощница снова издала свой короткий крик и подбежала к щиту, высота которого была такой, что, подняв руки, она едва ли могла достать до его верхнего края, где имелись две рукоятки, за которые и ухватилась помощница, прислонившись спиной к щиту, эта слегка напряженная и неестественная поза придавала ей, стоявшей в резко выделяющемся на фоне черного щита переливающимся блестящими одеянии, вид распятия. На ее лице продолжала играть грациозная улыбка даже тогда, когда мужчина, прищурился, пристально посмотрел на нее, подошел и почти незаметно изменил ее положение, так что стало абсолютно очевидно, что все здесь зависит от доли миллиметра. Подготовка происходила под негромкие звуки вальса, которые вскоре по едва уловимому знаку жонглера были полностью приглушены. В зале воцарилась тишина; сцена там, наверху, погрузилась в необычно-

венное уединение, официанты не решались больше разносить ни напитки, ни закуски, в непривычном напряжении они застыли у освещенных желтым светом дверей в глубине зала; кто ел, тот опустил вилку с наколотым кусочком обратно на тарелку, и только фонарь, луч которого осветитель задержал на распятой, продолжал монотонно гудеть. Но жонглер уже примерялся длинным кинжалом в убийственной руке; он слегка откинулся верхней частью корпуса назад и с хриплым экзотическим криком сделал резкое движение рукой так, что нож со свистящим звуком отделился от его руки, просвистел над сценой и с глухим звуком встрял в черное дерево рядом с телом распятой девушки. Публика не успела опомниться, как в обеих его руках снова заблестели кинжалы, и в то время как его крики следовали во все более быстром темпе, приобретали все более звериный и даже страстный характер, ножи молниеносно со свистом пронизывали дрожащий воздух сцены, звуки, свидетельствующие о том, что они встряли в дерево, становились все чаще, кинжалы обрамляли стройное тело, очаровательные обнаженные руки, выстраивались вокруг лица, которое все еще улыбалось с одновременно застывшим и напряженным, завлекательным и требовательным, холодным и испуганным выражением. У Эша было ощущение, что это едва ли не он сам стоит с поднятыми руками, словно распятие, он бы хотел стать перед этим хрупким созданием и перехватывать собственным телом летящие ножи, и если бы жонглер, как это обыкновенно бывает, обратился с вопросом, не желает ли какой-нибудь господин из числа почтенной публики подняться на сцену, чтобы стать перед черным щитом, то Эш наверняка бы согласился. Да, для него это была почти что сладострастная мысль: он стоит там одинокий и позабытый, а длинные ножи могут припилить его к щиту, словно какого-то жучка, но ему все-таки пришлось бы, наверное, исправить он себя в мыслях, повернуться лицом к щиту, ибо никакого жучка не припиливают брюшком вверх, и мысль о том, что он повернулся бы к темной поверхности щита, не зная, когда сзади подлетает смертельный нож, чтобы прон-

зить ему сердце и пришпилить к щиту, была полна такой необыкновенной и таинственной прелести, таким желанием новой мощи и зрелости, что он словно бы очнулся ото сна и святости, когда барабанная дробь, звон литавр и звуки фанфар приветствовали жонглера, который с победным видом метнул последний нож, после чего девушка выпорхнула из своего теперь уже завершенного обрамления, и они оба, держась за руки и описывая свободными руками круги, сделали пируэт и застыли перед восхищенной публикой в поклоне. Это были фанфары судного дня. Виновный был раздавлен, словно червь; почему не пришпилить его, словно жучка? Почему смерть вместо косы не может держать булавку или, по крайней мере, копье? Живешь-то в постоянном ожидании, что тебя призовут к ответу, ибо ведь однажды можно было вступить в союз вольнодумцев, в любом случае это остается на твоей совести. До него донеслись слова Корна: "Это было великолепно", и они прозвучали, словно кощунство; ну а когда фрейлейн Эрна сказала, что она, если бы ее спросили, не хотела бы стоять в таком вот обнаженном виде и чтобы в нее на глазах у всех швыряли ножами, то для Эша это было уже более чем достаточно, он в высшей степени не деликатно оттолкнул коленку Эрны, которая тесно прижалась к его колену; да такие люди и не стоят того, чтобы им показывать что-нибудь хорошее; без роду, без племени да и без совести — вот кто они такие, ему вовсе не импонировало и то, что фрейлейн Эрна использовала любую возможность, чтобы сбегать исповедаться, более того — ему казалось, что образ жизни его кельнских друзей все-таки более радужный и приличный.

Не говоря ни слова, тянул Эш в "Шплатенброе" свое темное пиво. Он и здесь не избавился от чувства, которое позволительно было бы назвать чистойшей тоской, особенно потому, что вокруг открытки с видами города для матушки Хентьен закрутились определенные события. То, что желание примазаться со словами "Сердечные пожелания от Эрны Корн" изъявила Эрна, было как-то само собой разумеющимся, но то, что сюда влез и Бальтазар и под своим "Привет от таможенного инспек-

тора Корна" твердой рукой подвел толстую жирную итоговую черту, приобрело очертания своего рода почитания госпожи Хентьен и столь слабо соответствовало позиции Эша, что он засомневался: а не полностью ли он уже исполнил свой долг и отблагодарил ее как порядочный человек? Ему, собственно говоря, для завершения праздника надо было бы подкрасться к двери Эрны, и если бы он перед этим не оттолкнул ее столь неделикатным образом, то наверняка нашел бы дверь не запертой изнутри. Да, таким, наверное, должно было бы быть правильное и соответствующее завершение, но он не предпринимал ровным счетом ничего для того, чтобы это случилось. На него нашло своеобразное оцепенение, он уже больше не уделял внимания Эрне, не искал ее коленок, ничего не произошло ни по дороге домой, ни после. Где-то давала о себе знать нечистая совесть, ну а затем Август Эш пришел к выводу, что он натворил все же достаточно много и что если он будет очень уж выкладываться перед фрейлейн Эрной, это может повлечь за собой плохие последствия; он ощущал нависшую над собой судьбу, поднявшую копые грозящей кары и готовую пронзить его, если он и дальше будет вести себя подобно свинье, он чувствовал, что должен сохранить верность кому-то, не зная, правда, кому.

В то время как Эш ощущал уколы совести на своей спине, да так отчетливо, что уж было подумал, не протянуло ли его холодным сквозняком, и вечером растирал спину, насколько мог достать, кусачей жидкостью, матушка Хентьен обрадовалась обоим открыткам, которые он ей послал, и до того, как они будут помещены для окончательного хранения в альбом с видовыми открытками, вставила их в раму, обрамляющую зеркало за стойкой. По вечерам же она доставала их оттуда и показывала своим постоянным посетителям. Не исключено, что делала она это еще и потому, чтобы никто не мог обвинить ее в том, что она втайне переписывается с каким-то мужчиной: если она пускала открытки по кругу, то это значило, что они уже предназна-

чены не для нее, а для забегаловки, которую она чисто случайно олицетворяет. Поэтому ей показалось вполне справедливым, когда Гейринг взял на себя заботы о том, чтобы дать ответ Эшу, но она не могла допустить, чтобы господин Гейринг трагился, более того, на следующий день она сама купила особенно красивую, так называемую панорамную открытку, которая была в три раза длиннее обычной почтовой карточки и на которой во весь размах была представлена панорама Кельна с набережной темно-синего Рейна и где имелось достаточно места для множества подписей. Сверху она написала "Большое спасибо от матушки Хентьен за прелестные открытки". Затем Гейринг скомандовал: "Сначала дамы", и свои подписи поставили Хеде и Туснельда. Ну а затем последовали имена Вильгельма Лассмана, Бруно Мзя, Хельста, Вробека, Хюльзеншмитта, Джона, было там имя английского монтера Эндрю, рулевого Вингста и, наконец, после еще нескольких имен, которые можно было с трудом разобрать, стояло имя Мартина Гейринга. Затем Гейринг надписал адрес "Господину Августу Эшу, старшему складскому бухгалтеру, экспедиционный склад АО "Средне-рейнское пароходство", Мангейм" и передал открытку госпоже Хентьен, которая, внимательно прочитав, открыла выдвижной ящик кассы, чтобы достать из сплетенной из проволоки шка-тулки, в просторной емкости которой хранились банкноты, почтовую штемпельную марку. Тут большая открытка со множеством подписей едва не показалась ей слишком уж большой честью для Эша, который, увы, никак не относился к числу лучших посетителей ее заведения. Но она во всем, что делала, стремилась к совершенству, а поскольку на большой открытке осталось, невзирая на множество имен, так много пустого места, что это не только оскорбляло ее чувство красоты, но и давало желаемую возможность указать Эшу на его место, позволив заполнить пустующее место подписью человека более низкого положения, матушка Хентьен отнесла открытку на кухню, дав расписаться на ней служанке, чем смогла доставить и ей благоговейную радость.

Когда она вернулась в зал, то Мартин уже сидел на своем обычном месте в углу рядом со стойкой, углубившись в чтение одной из своих социалистических газет. Госпожа Хентьен под села к нему и шутя, как она это часто делала, сказала: "Господин Гейринг, вы можете дискредитировать мое заведение, если будете здесь постоянно читать свои крамольные газеты". "Да меня самого в достаточной степени бесят эти газетные писаки,— раздалось в ответ,— наш брат может делать дело, а эти же распространяют всякую чушь". Госпожа Хентьен в очередной раз испытала чувство определенного разочарования Гейрингом, потому что она все еще ждала от него уничтожающих и пропитанных ненавистью высказываний, на фоне которых она могла бы насладиться собственным отвращением, какое вызывал у нее окружающий мир. Иногда она сама заглядывала в социалистические газеты, правда, то, что она там находила, всегда казалось ей довольно безобидным, так что она надеялась, что живое слово может дать ей куда больше печатного. Таким образом, с одной стороны, она испытывала чувство удовлетворения от того, что и Гейринг невысокого мнения о газетчиках, но, с другой стороны, он не оправдывал всех ее ожиданий. Нет, с этим анархистом, с таким, который восседает в своей профсоюзной конторе, ничем не отличаясь от полицейского фельдфебеля на своем посту, далеко не уедешь, и госпожа Хентьен снова убедилась в правильности своего твердого убеждения в том, что весь мир — это игра краплеными картами, которую ведут мужчины, усевшиеся за стол с единственной согласованной целью вредить женщинам и разочаровывать их. Она предприняла еще одну попытку: "А что вас не устраивает в ваших газетах, господин Гейринг?" "Они поднимают глупую трескотню,— проворчал Мартин в ответ,— своей революционной болтовней сдвигают людям мозги набекрень, а нам там, на улице, приходится все это расхлебывать". Госпожа Хентьен мало что поняла, но, впрочем, это ее уже и не интересовало. Больше из приличия она вздохнула: "Да, все это не так-то легко". Гейринг перелистнул страницу и рассеянно проговорил:

"Вы правы, матушка Хентьен, все это не так-то легко". "И такой человек, как вы, всегда на ногах, всегда неутомим с раннего утра до позднего вечера..." Гейринг не без удовлетворения отметил: "Нашему брату восьмичасовой рабочий день предоставят еще не скоро; получают его вначале все другие..." "А такому человеку, как вы, достанутся все шишки"; госпожа Хентьен удивленными глазами посмотрела на него, покачала головой, а затем бросила короткий взгляд на свою прическу в зеркале напротив. "В рейхстаге и в газетах они могут надирать глотки, господа евреи,— сказал Гейринг,— а вот что касается профсоюзной работы, то тут они пытаются всячески увильнуть". Это было вполне понятно госпоже Хентьен; оскорбленным тоном она добавила: "Они везде, все деньги — у них, они готовы вползти за любой женщиной, словно кобели". На ее лице снова застыла гримаса отвращения; Мартин оторвался от газеты и не смог не улыбнуться: "Ну, не так уж все плохо, матушка Хентьен". "Так, теперь и вы, наверное, с ними заодно? — в ее голосе пробивались слабые нотки истеричной агрессивности.— Вы же не можете без того, чтобы не поддерживать друг друга, вы, мужчины...— и как-то в высшей степени неожиданно добавила: — Другие местечки, другие девочки". "Все может быть, матушка Хентьен,— засмеялся Мартин,— но так вкусно, как у матушки Хентьен, не скоро начнут где-нибудь еще готовить". Госпожа Хентьен не стала упорствовать в своих обидах. "В Мангейме, наверное, тоже",— сказала она, передавая Гейрингу открытку Эшу, чтобы тот отправил ее почтой.

Директор театра Гернерт относился теперь к числу ближайших друзей Эша. Поскольку Эш был человеком с очень деятельным характером, он на следующий же день купил билет на представление, и не только потому, что снова хотел увидеть отважную девушку, он сделал это еще и потому, что по окончании представления хотел нанести визит слегка озадаченному Гернерту в его директорском кабинете, что он и сделал, но при этом представился уже как заплативший за удовольствие зри-

тель; Эш еще раз поблагодарил его за вчерашний прекрасный вечер, а директор Гернерт, который вначале предполагал, что речь опять пойдет о бесплатных билетах и уже почти что был готов полезть за ними в карман, растрогался до глубины души. И перед лицом столь дружеского приема Эш, не мудрствуя лукаво, принял приглашение присесть и достиг своей второй цели — познакомиться с жонглером господином Тельчером и его отважной подругой Илоной, они оба представились выходцами из Венгрии, это особенно было заметно по Илоне, которая почти не говорила по-немецки, тогда как господин Тельчер, работавший под актерским псевдонимом Тельтини и на сцене изъяснявшийся по-английски, родом был из Прессбурга.

Господин же Гернерт был эгерландцем, что при их первой встрече оказалось большой радостью для Корна; ибо Хоф и Эгер расположены настолько близко, что Корн увидел примечательное совпадение в том, что два почти что земляка встретились в Мангейме. Правда, бурные проявления его радости и удивления носили скорее риторический характер, потому что в менее желанном случае факт почти что землячества оставил бы его в непоколебимом равнодушии. Он пригласил Гернерта к себе и своей сестре и сделал это, наверное, еще и потому, что не смог стерпеть, чтобы его вероятный свояк самостоятельно заводил частные знакомства, господин Тельчер тоже вскоре получил приглашение на чашечку кофе.

Они сидели за круглым столом, на котором рядом с пузатым кофейником возвышалась изящная пирамида из принесенных Эшем пирожных; по оконным стеклам струился дождь, придававший послеобеденным часам воскресного дня сумрачный характер. Господин Гернерт, пытаясь завязать разговор, сказал: "У вас очень милая квартира, господин таможенный инспектор, просторная, светлая..." И он посмотрел в окно на мрачную улицу пригородного района, на которой стояли огромные дождевые лужи. Фрейлейн Эрна заметила, что то, как они живут,— это скромно, но вот собственный дом — действительно, единственное, что делает жизнь прекрасной. Господина

Гернерта охватило грустное настроение: собственный дом — это на вес золота, да, она может так говорить, но для актера сия мечта неисполнима; ах, для него нет пристанища, квартира у него, впрочем, есть, прелестная уютная квартира в Мюнхене, где живут его жена и дети, но со своей семьей он почти не видится. А почему в таком случае он не возьмет ее с собой? Эта жизнь не для детей, каждый сезон в другом месте. И вообще. Нет, его дети актерами не будут, его дети — нет. Он явно был хорошим отцом, и не только фрейлейн Эрна, но и Эш были тронуты проявлением его сердечной доброты. Может, ощущая свое одиночество, Эш сказал: "Я сирота и почти не помню своей матери". "О Боже", — пролепетала фрейлейн Эрна. Но господин Тельчер, которому эти грустные разговоры, казалось, не доставляли удовольствия, запустил кофейную чашечку крутиться на кончике пальца, да так, что все не смогли сдержаться, дабы не расхохотаться, все, за исключением Илоны, которая с невозмутимым видом сидела на стуле, отдыхая, наверное, от той массы улыбок, которыми ей приходится украшать вечер. Сейчас вблизи она была далеко не столь милой и очаровательной, как на сцене, возможно даже немножечко грузноватой; ее лицо, слегка обрюзгшее, с тяжелыми слезными мешками было густо усыпано веснушками, и Эш, испытав разочарование, заподозрил, что прелестные белокурые волосы тоже были не настоящими, а всего лишь париком; но мысль эта улетучилась, поскольку у него перед глазами опять засвистели ножи, втыкающиеся рядом с ее телом. Затем он заметил, что Корн тоже обшаривает глазами эту фигурку, и поэтому, пытаясь привлечь внимание Илоны к себе, спросил, нравится ли ей в Мангейме, познакомилась ли она уже с Рейном, задал еще пару подобных географических вопросов. Эта попытка, к сожалению, не увенчалась успехом, потому что Илона реагировала на все одной единственной фразой и то невпопад: "Да, пожалуйста", возникло впечатление, что она не хочет никаких отношений ни с ним, ни с Корном; напряженно и со всей серьезностью она пила свой кофе, и даже когда сам Тельчер что-то шептал ей на

своем языке — очевидно, какие-то неприятные вещи, — она к нему практически не прислушивалась. Между тем фрейлейн Эрна обратилась к Гернерту, сказав, что хорошая семейная жизнь — это самое прекрасное, что есть на свете, при этом она слегка ткнула Эша носком ноги, было это сделано, дабы побудить Эша к тому, чтобы он приободрил Гернерта, а может, она преследовала иную цель — отвлечь его внимание от венгерки, красоту которой она тем не менее признала, от ее внимательного змеиного взгляда не ускользнула та страстность, с которой смотрел на эту женщину ее брат, и она считала вполне приемлемым, чтобы эта красавица досталась брату, а не Эшу. Она поглаживала руку Илоны, восхищаясь ее белизной, она даже слегка закатила ей рукав и сказала, что у фрейлейн прекрасная кожа, Бальтазар может в этом убедиться. Бальтазар положил сверху свою волосатую лапу. Тельчер засмеялся и заметил, что у всех венгерок кожа, словно шелк, на что Эрна, которая сидела тоже вроде бы не без кожи, ответила, что это зависит всего лишь от ухода за кожей — она же ежедневно моет лицо молочком. Ну конечно, вмешался Гернерт, у нее изумительная, прямо-таки высшего класса кожа, и дряблая физиономия фрейлейн Эрны расплылась в широкой улыбке, открыв желтоватые зубы и щербину слева вверху, она залилась краской до корней редких коричневых волос, которые были собраны в довольно безликую прическу.

Опустились сумерки; Корн все крепче сжимал в своем кулаке руку Илоны, а фрейлейн Эрна томилась ожиданием, что Эш или по крайней мере Гернерт сделают то же самое с ее рукой. Она медлила зажигать лампу, не в последнюю очередь потому, что Бальтазар основательно воспротивился бы такой помехе, но в конце концов ей все же пришлось подняться, чтобы принести самодельный ликер, который красовался в голубом графинчике на комод. С гордым видом она заявила, что рецепт приготовления ликера — ее секрет, она налила этой бурды, которая по вкусу напоминала выдохшееся пиво, Гернерт, правда, нашел ее очень вкусной; в подтверждение своих слов он приложился

губами к ее ручке. Эшу вдруг вспомнилось, что матушка Хентьен не очень жаловала любителей шнапса, особое удовлетворение он испытывал от мысли, что Корн в любом случае не пользовался бы у нее популярностью, поскольку опрокидывал рюмочку за рюмочкой, каждый раз при этом причмокивая и облизывая кустистые темные усы. Корн налил и Илоне, ее невозмутимой безучастности и неподвижности целиком соответствовало то, что она позволила ему поднести рюмку к ее устам и не отреагировала на то, что он сам разок отхлебнул из этой же рюмки, обмакнув туда свой ус и заявив, что это поцелуй. Илона, очевидно, этого не поняла, но Тельчеру, в отличие от нее, должно было быть понятно, к чему все это идет. Просто непостижимо, что он наблюдал за всем этим с таким спокойствием. Может быть, он страдал внутренне, но был слишком воспитан, чтобы устраивать скандал. Эшу доставило бы невероятное удовольствие учинить сцену ревности вместо него, но тут он вспомнил, как грубо обращался Тельчер с отважной девушкой на сцене; или он совершенно осознанно стремился к тому, чтобы унижить ее? Что-то должно было произойти, необходимо было помешать этому! Но Тельчер с веселым видом хлопнул его по плечу, назвал его своим коллегой и confrere¹, а когда Эш с недоуменным видом уставился на него, тот кивнул в сторону обеих пар и сказал: "Нам, холостякам, следует держаться вместе, не так ли". "Ну, тут уж, видимо, мне придется сжалиться над вами", — проворковала Фрейлейн Эрна и пересела так, что оказалась теперь между Тельчером и Эшем, на что господин Гернерт обиженным тоном протянул: "Вот так вот всегда, как бедный комедиант, так по носу... да, деловые люди". Тельчер задумчиво проговорил, что Эшу, должно быть, не так-то просто узреть в чисто предпринимательском положении солидность и хорошую перспективу. А к театральному делу тоже неплохо было бы относиться, как к предпринимательству, причем в самой сложной его форме, и он не может не высказать своего всецелого уважения к господину Гернерту, который является не

¹ Confrere — собрат, товарищ (фр.).

только его директором, но в определенной степени и компаньоном и который в своей области по праву пользуется репутацией толкового предпринимателя, даже если и не всегда надлежащим образом использует те возможности, которые ему предоставляет успех. Он, Тельчер-Тельтини, может судить об этом достаточно компетентно, ибо сам, прежде чем стать актером, начинал предпринимателем. "И что же в конце этой повести? Я сижу здесь, где мне могли бы предложить первоклассный ангажемент в Америку... или я не номер первый в своем деле?" В душе у Эша взбунтовалось какое-то смутное воспоминание: зачем им нужно так уж возносить это предпринимательское сословие; не столь много у него той пресловутой солидности. И он выдал им все, что думал по этому поводу, в заключение сказав: "Встречаются, конечно, разные люди, например Нентвиг и президент фон Берtrand, оба предприниматели, только один — отъявленная свинья, а другой... кое-что получше". Корн пренебрежительно буркнул, что Берtrand — сбежавший со службы офицер, и это всем известно, так что нечем тут особо восхищаться. Ну что ж, Эш воспринял эту информацию не без удовольствия, значит, различия не столь уж велики. Но это ничего не меняло; Берtrand все же чуть получше, и вообще это были мысли, о которых, если честно, Эшу не очень хотелось распространяться дальше. А Тельчер между тем продолжал об Америке: там красота, там можно сделать карьеру, там нет необходимости бесцельно надрываться так, как здесь. И он продекламировал: "Америка, ты — лучше". Гернерт вздохнул; да, будь он просто коммерсантом до мозга костей, сейчас кое-что было бы совсем по-другому; сказочно богатым он уже однажды был, но, невзирая на всю свою предпринимательскую хватку, он страдал всего лишь детской доверчивостью комедианта и благодаря мошенникам снова лишился всего капитала, почти миллиона марок. Так что господин Эш может себе только представить, каким богачом был директор Гернерт! *Tempi passati!*¹. Но он снова добьется своего. Он планирует создать театральный

¹ *Tempi passati* — давно ушедшие времена (итал.).

трест, крупное акционерное общество, за право участия в котором люди еще и будут конкурировать между собой. Просто потребуется время, и нужно достать денег. Поцеловав еще раз ручку фрейлейн Эрны, он позволил еще разочек наполнить свою рюмку и полным блаженства тоном проворковал: "Очаровательно", руку он уже больше не отпускал, и она охотно и с удовлетворением была оставлена в его распоряжении. Эш же, впавший под впечатлением услышанного в задумчивое настроение, почти что не замечал, что туфля фрейлейн Эрны устроилась на его ноге, в сумерках он видел лишь желтую руку Корна, она, собственно, лежала на плече Илоны, и несложно было догадаться, что Бальтазар Корн обнял своей крепкой рукой Илону за плечи.

В конце концов все же пришлось зажечь свет, завязалась беседа, участия в которой не принимала одна Илона. А поскольку приблизилось время представления, а расходиться не хотелось, то Гернерт пригласил гостеприимных хозяев посетить представление. Они собрались и на трамвае отправились в город. Обе дамы прошли в вагон, мужчины же устроились на платформе, дабы покурить сигары. Холодные капли дождя падали на их разгоряченные лица, и это было приятно.

Август Эш покупал обыкновенно свои дешевые сигары у торговца Фрица Лоберга. Это был молодой человек приблизительно возраста Эша, и это вполне могло быть причиной, по которой Эш, постоянно общавшийся с людьми более старшего возраста, обращался с ним, словно с идиотом. Тем не менее идиот этот занял, должно быть, определенное место в жизни, конечно, не ахти какое, однако Эш, как, собственно, и многие другие, был озадачен тем, что столь быстро привык именно к этому магазинчику и стал постоянным клиентом Лоберга. Удобно то, что магазинчик был ему по дороге, но это еще далеко не причина, чтобы сразу же ощутить себя там как дома. Это был чистенький магазинчик, и в нем было приятно находиться: светлые клубы табачного дыма витали в помещении, легонько

щекотали в носу, и доставляло удовольствие провести рукой по полированному столу, на краю которого постоянно лежали открытые коробки со светло-коричневыми сигарами для пробы и спички рядом с блестящим никелированным кассовым аппаратом. Тот, кто совершал покупку, получал в подарок еще и коробку спичек, и это свидетельствовало об изящной широте натуры владельца магазинчика. Здесь имелось устройство для обрезания сигар, которое господин Лоберг держал всегда под рукой, и если высказывалось пожелание сразу же прикурить сигару, то резким коротким щелчком он отрезал кончик протягиваемой ему сигары. Это было подходящее местечко для времяпрепровождения: за сверкающими витринами светло, солнечно и приятно, в эти холодные дни над белыми каменными плитами, которыми выложен пол помещения, распространялось мягко окутывающее тепло, что выгодно отличало магазинчик от наполненной нагретой пылью стеклянной клетки экспедиционного склада. А этого было достаточно, чтобы с удовольствием зайти сюда после работы или в обеденный перерыв, но не более того. В подобной ситуации хвалишь порядок, проклинаешь дерьмо, в котором сам сидишь, не разгибая спины; все это, конечно, не на полном серьезе, поскольку Эшу было хорошо известно, что отличный порядок, поддерживаемый им в учетных книгах и складских списках, не может быть перенесен на складирование ящиков, тюков и бочек, даже если бы распорядитель склада очень пристально за всем этим следил. Здесь же, в магазинчике, царила странно успокаивающая прямолинейность и почти женская педантичность, которая тем более казалась странной, что Эш едва ли мог, а если и мог, то только с большой головой, представить себе, чтобы сигареты продавала девушка; при всей ее изысканности это была мужская работа, напоминающая ему хорошую дружбу: именно так должна выглядеть мужская дружба, а не столь бегло и фамильярно, как беспорядочная готовность помочь какого-то там профсоюзного секретаря. Но над этими вещами, собственно, Эш не так уж сильно ломал голову. Комичным и странным было то, что Ло-

берг не казался довольным тем, что выпало на его долю и чем он вполне мог бы быть счастлив, еще комичнее были причины, которыми он все это объяснял и из которых абсолютно однозначно следовало, что имеешь дело с идиотом, потому что хотя он и повесил возле кассового аппарата картонную табличку с надписью: "Курение еще никому не навредило" и в коробки со своими сигаретами вложил симпатичные фирменные карточки, на которых был указан не только адрес его магазинчика и названия специальных сортов сигар, но и написана пара стихотворных строк: "Курить, вдыхать и наслаждаться — к врачам за помощью не обращаться", сам он тем не менее во все это не верил. Да, он курил собственные сигареты, но просто из чувства долга и осознания своей вины, пребывая в постоянном страхе перед так называемым курительным раком; он испытывал на себе, на своем желудке, своем сердце, своей глотке все отрицательные воздействия никотина. Он был хилым, маленького роста человечком с жалким подобием усов темного цвета и блеклыми глазами, в которых, казалось, не было зрачков, а его слегка странные аллюры и движения находились в не менее примечательном противоречии с прочими его убеждениями, чем дело, которым он занимался и о смене которого даже не помышлял: в табаке он усматривал отравление народа и мотовство национального благосостояния, непрерывно повторяя, что следует избавить народ от этого яда, он вообще выступал за широкую, созвучную природе, истинно немецкую жизнь, и большой трагедией для него было жить, лишившись мощной груди и яркой, кричащей белокурости. Он все же постоянно стремился хотя бы частично возместить этот недостаток членством в антиалкогольных и вегетарианских обществах, поэтому возле кассы постоянно валялись соответствующие журналы, которые он получал в основном из Швейцарии. Он был, и в этом не приходилось сомневаться, идиотом.

На Эша, который с удовольствием курил, поглощал огромные порции мяса и попивал вино везде, где только представля-

лось возможным, аргументы господина Лоберга, несмотря на завлекательные слова о спасении, не производили бы особого впечатления, если бы только в них не наблюдались довольно странные параллели с позицией матушки Хентьен. Впрочем, матушка Хентьен была умной женщиной, даже мудрой, у нее не может быть ничего общего с этой тарабарщиной. Но когда Лоберг, верный кальвинистским мыслям, которых он нахватался в журналах из Швейцарии, критиковал, подобно пастору, чувственные наслаждения и в то же время, словно оратор-социалист на митинге вольнодумцев, выступал за свободную, простую жизнь на лоне природы, когда он таким образом позволял ощутить на примере своей жалкой персоны, что мир болен, что сделана ужасная бухгалтерская ошибка, что к спасению может привести только чудодейственная новая запись, то в таком смещении просматривалось прежде всего одно — дело с заведением матушки Хентьен обстояло точно так же, как и с лавкой по продаже сигар Лоберга: ей приходилось зарабатывать на пьяных мужиках, и она тоже ненавидела и презирала как свой заработок, так и свою клиентуру. Это, без сомнения, было довольно редкое совпадение, и Эш даже подумывал над тем, не написать ли ему об этом госпоже Хентьен, чтобы она тоже удивилась столь странному стечению обстоятельств. Но он отбросил эту идею, когда представил, какой будет реакция госпожи Хентьен, она может даже обидеться на то, что он сравнил ее с человеком, который, невзирая на все его добродетели, был идиотом. Эш решил оставить эту тему для устного рассказа; все равно он скоро должен побывать в Кельне по делам службы.

Несмотря на все это, случай с Лобергом стоил того, чтобы о нем поговорить; как-то вечером Эша, который с Корном и Фрейлейн Эрной сидел за столом, прорвало.

Само собой разумеется, что брат и сестра знали торговца сигарами. Корн уже как-то делал у него покупки, но никаких странностей за этим человеком он не заметил. "А я к нему что,

присматривался?" — заключил он после длительной паузы, которая свидетельствовала о его согласии с Эшем в том, что речь идет об идиоте. Фрейлейн же Эрна испытывала живую антипатию к духовному двойнику госпожи Хентьен и прежде всего поинтересовалась, не является ли госпожа Хентьен столь долго скрываемым от них сокровищем господина Эша. Это ведь должна быть очень добродетельная дама, но Эрна предполагает, что вполне могла бы помериться с ней силами. А что касается добродетели господина Лоберга, то это, конечно, плохо, когда кто-нибудь, подобно ее почтенному братцу, прокурирует в доме абсолютно все, но, по крайней мере, замечаешь, что в доме есть мужчина. "Мужчина, попивающий только водичку...— она задумалась, подыскивая подходящие слова,— ...меня бы тошнило от такого". Затем она справилась, познал ли уже господин Лоберг любовь женщины. "Ну что ж, еще одним девственником больше, идиот", — высказал свое мнение Эш, а Корн, предвидя, что еще представится возможность над ним позабавиться, весело заорал: "Целомудренный Иосиф!"

Потому ли, что Корн стремился удержать своего квартиросъемщика под контролем, потому ли, что просто так получилось, но он отныне тоже стал клиентом в магазинчике Лоберга, а у того поджилки начинали трястись, когда в последнее время столь часто стал заруливать к нему мягким шагом господин таможенный инспектор. Страх не был необоснованным. Это случилось в один из ближайших вечеров; буквально перед самым закрытием магазинчика к Лобергу зашел Корн с Эшем и тут же скомандовал: "Собирайся, дружище, сегодня самое время тебе потерять свою невинность". Глазки Лоберга беспомощно забегали, показывая на человека в форме Армии спасения, который находился в магазинчике. "С бал-маскарада, что ли", — сделал вывод Корн, и Лоберг растерянно представил: "Мой друг". "Мы тоже друзья", — отреагировал Корн и протянул человеку из Армии спасения ручищу. Это был веснушчатый, слегка прыщеватый с рыжей шевелюрой малый, который усвоил, что к любой душе следует относиться с дружеским участии-

ем; он улыбнулся прямо Корну в лицо и пришел на помощь Лобергу: "Брат Лоберг обещал нам принять сегодня участие в нашем диспуте. Я зашел за ним". "Значит, вы отправляетесь подискутировать, ну так и мы с вами,— Корн был в восторге,— мы же друзья..." "Мы рады приветствовать у нас друзей",— обрадовался солдат Армии спасения. Лоберга никто не спрашивал; на его лице просматривался испуг, он с озадаченным видом запер свой магазинчик. Эш с удовольствием положился на волю событий, но поскольку у него вызывала раздражение заносчивость Корна, он снисходительно похлопал Лоберга по плечу точно так, как это имел обыкновение проделывать с ним самим Тельчер.

Они направились в пригородный район Мангейма Неккар. Уже на Кефертальской улице до их слуха донеслись удары барабана и звон литавр, солдатские ноги Корна тут же взяли ритм. Дойдя до конца улицы, они в вечерних сумерках на краю скверика рассмотрели членов Армии спасения. Падал мелкий мокрый снег, там, где собралась небольшая группка людей, снег превратился в черное месиво, которое въедалось в сапоги. Лейтенант, возвышаясь на скамейке, выкрикивал в опускающуюся темноту: "Приходите к нам, да будете спасены, Спаситель грядет, спасайте заблудшие души!" Но его призыву последовали лишь немногие, и если его солдаты под удары барабанов и звон литавр пели о спасительной любви и постоянно повторяли свое "аллилуйя" ("О Господь Саваоф, спаси, спаси нас от смерти"), то из стоявших вокруг людей к ним никто не присоединился, большинство, вне всякого сомнения, наблюдали за этим спектаклем из чистого любопытства. И хотя brave солдаты пели что было мочи, а обе девушки изо всех сил колотили в свои тамбурины, небольшая толпа зрителей, по мере того как на улице становилось все темнее, редела, вскоре они остались одни со своим лейтенантом, а единственными зрителями были Лоберг, Корн и Эш. Лоберг и сейчас еще охотно подпевал бы, причем не испытывая перед Эшем и Корном ни стеснения, ни страха, если бы только Корн не приказывал ему,

постоянно подталкивая снизу в бок: "Лоберг, подпевай!" Приятным для Лоберга это положение не назовешь, и он был рад, когда к ним подошел полицейский и потребовал, чтобы они разошлись. Тут все вместе и отправились в "Томасброй". Было бы так хорошо, если бы Лоберг запел, да, произошло бы, наверное, маленькое чудо, ибо недоставало не так уж многого, и Эш тоже поднял бы свой голос во славу Господа и спасительной любви, да, нужен был всего лишь маленький толчок, и кто знает, может быть именно пение Лоберга могло бы стать этим самым толчком.

Что происходило там, на улице, Эш сам практически не понимал: обе девушки колотили в тамбурины, в то время как их командир стоял на скамейке и давал знак, когда начинать, и это странным образом напоминало команды, которые Тельчер отдавал на сцене Илоне. Может, это был вечерний покой, внезапно застывший здесь, на окраине города, словно музыка в театре, неподвижный, как черная ветвь дерева, устремленная в сгущающуюся темноту неба, а сзади на площади зажгли фонари с дугowymi лампами. Все было непонятным. Эш куда охотнее согласился бы стоять там сверху, на сухой скамейке, чтобы проповедовать святость и спасение, но не только потому, что холод мокрого снега проникал, кусаясь, сквозь обувь; но и потому, что он снова ощутил это чужое ему чувство сиротского одиночества, как-то внезапно стало до ужаса очевидно, что на смертном одре быть ему суждено одному-одинешенькому. В душе поднялась какая-то смутная и все же неожиданная надежда, что было бы лучше, намного лучше, если бы он смог стоять там, сверху, на скамейке: и он увидел перед собой Илону, Илону в форме Армии спасения, она внимательно смотрела на него и неподвижно ждала спасительного знака, позволяющего ударить в тамбурин и воскликнуть "аллилуйя". Но рядом, из высоко поднятого воротника намокшего форменного пальто, выступила физиономия Корна, он оскалил зубы, и во взгляде исчезла надежда. Эш скривил губы, его лицо приобрело пренебрежительное выражение, теперь ему было почти понятно, что никакого

товарищества нет. В любом случае он был рад тому, что полицейский потребовал от них разойтись.

Впереди вышагивал Лоберг с прыщеватым солдатом Армии спасения и одной из девушек. Эш тяжело ступал следом. Да, колотить ли в тамбурины или бросать тарелки, им нужно просто приказывать, они все одинаковы, одежды лишь разные. Как и там, здесь они тоже распевали о любви. "Спасительная совершенная любовь", по лицу Эша промелькнула улыбка, и он решил присмотреться к одной из этих славных солдаточек Армии спасения именно в преломлении романтических лучей. Когда они приблизились ко входу в "Томасброй", девушка остановилась, поставила ногу на выступ стены, наклонилась и начала подтягивать шнурки своих мокрых, потерявших форму сапог. То, как она сложилась пополам, наклонив к коленям черную соломенную шляпку, выглядело в высшей степени нечеловеческой массой, каким-то уродством, которое тем не менее имело определенную механическую, так сказать, деловитость, и Эш, который в другой ситуации отреагировал бы на такую позу шлепком по выставленной части тела, немного даже испугался, когда не испытал в такой момент никакого желания сделать это, к нему даже начала подкрадываться мысль, что опять разрушен мост к ближнему, и его снова потянуло обратно в Кельн. Тогда на кухне ему так хотелось залезть к ней под кофточку; да, матушке Хентьен было бы позволительно так наклониться и зашнуровать обувь. Мысли всех мужиков одинаковы, и Корн, который, пребывая в хорошем расположении духа, со всем миром бывал на "ты", кивнул в сторону девушки: "Думаешь, эта даст?" Эш одарил его уничтожающе ядовитым взглядом, но Корн не унимался: "Уж в своем кругу они такое не упустят, солдаты эти". Между тем они уже достигли "Томасброя" и вошли в светлый шумный зал, в котором приятно пахло жареным мясом, лучком и пивом.

Тут, впрочем, Корна постигло разочарование. Нечего было и думать заставить этих активистов Армии спасения тоже занять местечки за столом, они разошлись, чтобы собраться потом на

этом же месте и начать продавать свои газеты. Эшу как-то не очень хотелось, чтобы они оставляли его с Корном. С другой стороны, было хорошо, что они избавлялись от подтруниваний Корна, и было бы еще лучше, если бы с ними ушел Лоберг, потому что Корн намылился взять реванш и начал потешаться над ним, пытаясь с помощью порции приправленного луком мяса и кружки пива заставить беспомощного изменить своим принципам. Между тем это слабое существо проявило упорство, тихим голосом просто заявив: "С человеческой жизнью не играют", и не прикоснулось ни к мясу, ни к пиву, так что Корну, которого постигло новое разочарование, пришлось самому умять эту порцию, дабы ее не унесли нетронутой. Эш рассматривал темный осадок на дне своей пивной кружки; странно как-то, что святость должна зависеть от того, выпил ты это или нет. И все же он был почти что благодарен этому мягко упирающемуся идиоту. Лоберг сидел с молчаливой улыбкой на лице, и иногда даже начинало казаться, что из его больших блеклых глаз вот-вот хлынут слезы. Но когда снова приблизились активисты Армии спасения, совершающие обход столиков, он поднялся, и возникло впечатление, что он хочет им что-то крикнуть. Вопреки ожиданию, этого не произошло, а Лоберг просто остался стоять. Внезапно с его уст непонятно, бессмысленно, непостижимо для любого, кто это слышал, слетело одно единственное слово; он громко и внятно произнес: "Спасение", а затем снова сел на свое место. Корн уставился на Эша, а Эш — на Корна. Но как только Корн поднес палец к виску, чтобы, покрутив им, показать, что происходит в голове Лоберга, картина изменилась примечательнейшим и ужаснейшим образом, будто отпущенное на свободу слово "спасение" витало над столом, удерживаемое и все-таки отпущенное невидимо вращающейся механикой и устами, которые его произнесли. И хотя пренебрежение к идиоту не стало ни на йоту меньшим, казалось, возникло Царство спасения, и не могло не возникнуть, просто потому, что Корн, эта масса бесчувственных мышц с широкими плечами, сидел в "Томасброе" и мысль его не способна была

достичь и ближайшего угла на улице, не говоря уже о спасительной свободе, приходящей издалека. И хотя Эш не был и близко образцом добродетели, колотя кружкой по столу и требуя принести еще пива, он все же молчал, как и Лобберг, и когда Корн, поднявшись из-за стола, предложил отправиться с целомудренным Йозефом по девочкам, Эш отказался в этом участвовать, оставил окончательно разочарованного Бальтазара Корна стоять на улице и проводил торговца сигарами к его дому, не без удовольствия улавливая ругательства, которые посылал им вдогонку Корн. Снег прекратился, и на резком ветру скабрезные слова трепетали подобно весенним ярмарочным лентам.

В той необыкновенной печали, которая наполняет человека с момента, когда он, выйдя из детского возраста, начинает осознавать, что обречен неотвратимо и в жутком одиночестве идти навстречу своей будущей смерти, в этой необыкновенной печали, которая, собственно, уже имеет свое название — страх перед Богом, человек ищет себе товарища, чтобы рука об руку с ним приближаться к покрытой мраком двери; и если он уже познал, какое бесспорное наслаждение доставляет пребывание в постели с другим существом, то считает, что это очень интимное слияние двух тел могло бы продолжаться до гробовой доски; такая связь может даже казаться отвратительной, поскольку события-то развиваются на несвежем и грубом постельном белье и в голову может прийти мысль о том, что девушка рассчитывает оставаться с мужчиной до конца своих дней, однако никогда не следует забывать, что любое существо, даже если его отличают желтоватая увядающая кожа, острый язычок и маленький рост, даже если у него в зубах слева вверху зияет бросающаяся в глаза щербина, что это существо вопреки своей щербатости вопиет о той любви, которая должна избавить на веки вечные от смерти, от страха смерти, который постоянно опускается с наступлением ночи на спящее в одиночестве создание, от страха, который, подобно пламени, уже

начинает лизать и охватывать полностью, когда ты сбрасываешь одежду, так, как это делает сейчас фрейлейн Эрна: она сняла зашнурованный красноватого цвета корсет, потом на пол опустилась темно-зеленая суконная юбка, а за ней — нижняя юбка. Она сняла также обувь; чулки, правда, она не стала трогать, так же, как и накрахмаленную комбинацию, она не могла решиться даже на то, чтобы расстегнуть лифчик. Ей было страшно, но она спрятала свой страх за лукавой улыбкой и при свете мерцающего огонька свечи, не раздеваясь дальше, скользнула в кровать.

Дальше стало тихо, и она могла слышать, как Эш несколько раз продефилировал через переднюю, при этом он шумел так, словно было совершенно невозможно тише отправлять естественные надобности. Не исключено, что и не в нужде-то дело было, ибо зачем тогда он два раза набирал в ведро воду. Да и ведро само не было, конечно, таким уж тяжелым, чтобы ставить его с таким грохотом прямо перед дверью Эрны. И каждый раз, когда до фрейлейн доносились эти звуки, она не хотела оставаться в долгу и тоже начинала шуметь: потягиваться в скрипящей кровати, преднамеренно ударяя в стенку ногой и производя отчетливо слышимые вздохи спящего человека: "Ах, Господи", с этой целью она также использовала кашель и покашливания. А поскольку Эш был человеком страстным, то, получая от нее достаточно недвусмысленные намеки, он, недолго думая, приоткрыл дверь в ее комнату и вошел.

Фрейлейн Эрна возлежала на кровати, хитро и лукаво улыбаясь ему своей щербиной, в то же время в этой улыбке было нечто дружественное по отношению к нему, но она ему не очень понравилась. Невзирая на это, он не последовал ее требованию: "Господин Эш, вам надо, наверное, закрыть дверь с той стороны", а остался спокойно стоять в комнате, и он поступил так не только потому, что обладал грубой чувственной силой, которая, кстати, присуща большинству людей, не только потому, что два человека разного пола, живущие в тесном повседневном общении, едва ли способны противостоять механике

своих тел и, рассуждая "а почему бы и нет", легкомысленно предаются ее законам, он поступил так не только потому, что предполагал, будто она думает приблизительно так же, и не воспринимал всерьез ее требование, и, конечно же, не вследствие просто своих низменных чувств, если даже сюда отнести и ревность, которая зарождается в мужчине, когда ему приходится созерцать, как девушка флиртует с господином Гернертом, а для такого человека, как Эш, речь идет о том, что наслаждение, поиск которого иные считают самоцелью, служит более высокой цели, о которой человек едва ли подозревает и во власти которой тем не менее пребывает, потому что цель эта — не что иное, как желание приглушить тот великий страх, который проникает до мозга костей, охватывая даже делового человека во время его поездок, когда тот вдали от жены и детей укладывается в уединенную гостиничную кровать. Конечно, Эш, ставя с грохотом ведро с водой на пол, больше не думал о том одиночестве, которое снова одолевало его с тех пор, как он уехал из Кельна, он не думал также о том одиночестве, которое нависало над сценой, пока Тельчер не начинал метать летящие со свистом блестящие отливающие ножи. Сейчас, присев на краешек кровати фрейлейн Эрны и наклонившись над ней, он жаждал ее, поскольку хотел от нее большего, чем хочет страстный мужчина, ибо за этой кажущейся бесспорной доступностью, даже ординарностью, всегда скрывается стремление, стремление плененной души к избавлению от своего одиночества, к спасению, в котором нуждаются он и она, да, наверное, все люди, не исключая, конечно, Илону, к спасению, которого девушка Эрна не могла ему дать, ибо ни она ни он не знали, что кроется в его голове. Так что злость, охватившая его, когда она удержала его от последнего шага, мягко сказав: "Если только мы станем мужем и женой", была не просто злостью разочарованного мужчины и не просто яростью, поскольку он обнаружил комичность ее одеяний, это было чем-то большим, было отчаянием, оно вряд ли могло приобрести более пристойные формы, когда он грубо и разочарованно отрезал: "Ну то-

гда — нет". И хотя ему ее отказ показался перстом Божиим, указующим на целомудрие, он сразу ушел из дома, направившись к более сговорчивой бабенке. Это обидело Эрну.

С того вечера началась открытая война между Эшем и фрейлейн Эрной. Она не упускала ни малейшей возможности возбудить в нем страстные желания, он с не меньшим рвением использовал любой повод, дабы возобновить попытку затащить упрямо в свою постель, не обещая при этом жениться. Борьба начиналась утром, когда она приносила ему, еще почти совсем не одетому, завтрак в комнату — вызывающая сильное вожделение забота, которая повергала его в неистовство, — и завершалась вечером, абсолютно независимо от того, запирала она свою комнату изнутри или же разрешала ему войти. Никто из них не проронил ни слова о любви, и если они не начали испытывать откровенной ненависти друг к другу, а их поведение принимало форму злых шуток, то только потому, что они еще не обладали друг другом.

Ему часто приходило в голову, что взаимоотношения с Илоной должны были бы быть другими и лучше, но подойти к ней в своих мыслях поближе он не решался. Илона была чем-то более достойным, приблизительно таким же достойным, как президент Берtrand. Эшу не просто не нравилось то, что Эрна лишь забавлялась, срывая ему любую возможность побыть с Илоной, он буквально выходил из себя, столь сильно злили его эти хихикающие шуточки и лукавое жеманство. К тому же теперь Илона стала бывать в доме едва ли не каждый день и между ней и Эрной возникло что-то наподобие дружбы. Впрочем, Эшу было абсолютно непонятно, чем они там занимались вдвоем, когда, приходя домой, он улавливал сильный запах дешевых духов Илоны, который его всегда так возбуждал, то всегда заставлял обеих женщин за странной немой беседой с глазу на глаз: Илона практически не знала ни одного немецкого слова, и фрейлейн Эрна была вынуждена ограничиваться тем, что поглаживала подругу, подводила к зеркалу и восторженно ошупы-

вала ее прическу и наряд. Правда, Эш в основном был лишен возможности созерцать все это, потому что Эрна имела обыкновение скрывать от него присутствие своей подруги. Так, однажды вечером он, ни о чем не догадываясь, сидел в своей комнате, когда у входной двери зазвенел колокольчик. Он слышал, как Эрна открыла дверь, ни одна дурная мысль не пришла бы ему в голову, если бы кто-то внезапно не щелкнул ключом, вставленным в замочную скважину его двери с внешней стороны. Одним прыжком Эш подскочил к двери: его заперли! Эта баба заперла его! Ему следовало бы как раз проигнорировать дурацкую выходку, но это оказалось выше его сил, и он начал стучать в дверь, пока наконец фрейлейн Эрна не соизволила открыть ее и, хихикая, не проскользнула в его комнату. "Итак,— выдала она,— теперь я к вашим услугам... у нас, собственно, гость, но им сейчас уже занимается Балтазар". Тут Эш в дикой ярости выскочил из своей комнаты и понесся на улицу.

Когда как-то ночью он вернулся домой поздно, в передней снова витал аромат ее духов. Значит, она снова была здесь или, должно быть, все еще здесь, и тут на крючке вешалки он увидел ее шляпку. Да, но где она прячется? В жилых комнатах было темно. В своей конуре посапывал Корн. Не могла же она уйти без шляпки! Эш прислушался к тому, что происходит в комнате Эрны; в его воображении возникла волнующая и удручающая картина — там внутри обе женщины лежат вместе в постели. Он осторожно надавил на ручку двери; дверь не поддавалась, она была заперта, фрейлейн Эрна всегда поступала так, когда действительно хотела спать. Эш пожал плечами и, больше не таясь, прогромыхал в свою комнату. Он лег в постель, но ему не спалось; он выглянул в переднюю; в воздухе все еще витал аромат духов, а шляпка по-прежнему висела на том же месте. Что-то здесь было не так, это чувствовалось, и Эш выскользнул в переднюю. Вдруг ему показалось, будто из комнаты Корна донесся какой-то шепот; Корн, увы, не был человеком, способным шептать, и Эш еще больше напряг слух: тут раздался стон, вне всякого сомнения, Корн стонал, Эш,

вовсе не будучи малым, который боялся бы какого-то там Корна, все же ретировался, шлепая босыми ногами, в свою комнату, словно за ним мчалось что-то ужасное. Лучше бы он ничего не слышал.

Утром из тяжелого сна его вывела Эрна, не успел он еще и рта раскрыть, как она прошептала: "Тсс, сюрприз, а ну, поднимайтесь-ка!" и удалилась. Он поспешно оделся и вышел на кухню, где возилась Эрна, она взяла его под руку и на цыпочках подвела к своей комнате, приоткрыла дверь и разрешила заглянуть. Там он увидел Илону; ее белая пухлая рука, на которой все еще отсутствовали следы от ножевых ранений, свисала с кровати, на слегка одутловатом лице выделялись тяжеловесные слезные мешки, она спала.

Теперь Илона стала чаще засиживаться у них допоздна, это продолжалось относительно долго, и до Эша наконец окончательно дошло, что она спит с Бальтазаром Корном, а Эрна прикрывает этот роман своего братца собственным, так сказать, телом.

Мартин навестил его в складской канцелярии. Удивляло, как этот объявленный вне закона человек, которого любой вахтер на любом предприятии был обязан гнать взащей, умудрялся проникать внутрь и на глазах у всех, сохраняя абсолютное спокойствие, ковылять на своих костылях по территории предприятия, никто его не задерживал, многие дружески приветствовали, естественно потому, что никто не решался сделать что-либо калеке. Правда, на рабочем месте Эшу как раз только профсоюзного активиста и не доставало; Мартин с таким же успехом мог бы подождать его и у проходной, но с другой стороны, на него можно было положиться: он знал, когда можно прийти, а когда следует удалиться, он был порядочным малым. "Доброе утро, Август,— сказал он просто,— мне только хотелось взглянуть, чем ты тут занимаешься. У тебя здесь неплохо; правильно сделал, что приехал сюда". Не хочет ли этот калека ему напомнить, что он должен быть благодарным ему за этот проклятый

Мангейм? За историю, которая приключилась с Корном и Илоной, Мартина, конечно, винить не стоит, поэтому Эш в ответ проворчал: "Да, правильно". Где-то, нужно признать, это так и было. Потому что теперь Эш был рад-радешенек не иметь ничего общего с Кельном. Подобно соучастнику, он все еще покрывает преступление Нентвига, и то, что в Кельне можно на каждом углу столкнуться с этим уродом, отбивает всякую охоту туда когда-либо возвращаться. Кельн или Мангейм, какая, впрочем, разница, где, собственно, можно найти такое местечко, чтобы быть застрахованным от всего этого дерьма! Невзирая на столь мрачные мысли, Эш поинтересовался, как дела в Кельне. "Потом, попозже,— ответил Мартин,— сейчас я спешу; где ты обедаешь?" Выяснив это, он поспешно удалился.

Эш все же обрадовался этой встрече, и поскольку он был очень нетерпеливым человеком, то никак не мог дожидаться обеда. Весна наступила как-то внезапно и в одночасье, и Эшу пришлось оставить верхнюю куртку на складе; между луж на ярком полуденном солнце весело поблескивали камни мостовой, и, казалось, в одно мгновение меж этих камней у стен зданий пробилась ростки свежей зелени. Проходя мимо погрузочной платформы, он прикоснулся к металлической планке, которой был окантован серый шероховатый деревянный пол, и рука ощутила приятное тепло, накопленное металлом. Если его не переведут з Кельн, то ему нужно постараться как можно скорее переправить сюда свой велосипед. Дышалось глубоко и легко, даже еда имела совершенно другой вкус, может потому, что окна забегаловки были распахнуты настежь. Мартин рассказал, что приехал сюда в связи с забастовками; иначе это случилось бы не столь скоро. На юге и в Эльзасе кое-что созревает, а такие ситуации имеют свойство довольно быстро распространяться: "Что касается меня, то они могут бастовать столько, сколько им влезет, нам же эта неразбериха сейчас абсолютно ни к чему. Забастовка транспортников сегодня была бы чистейшим безумием... мы бедный профсоюз, а получить деньги от центрального правления — не стоит и мечтать... это было бы

катастрофой, которую можно запрограммировать. Какое там внимание речникам, если одному ослу приспичило бастовать, да его никакая зараза не удержит. Рано или поздно, а они меня все-таки как-нибудь пришибут". Он говорил это дружеским тоном, безо всякой злости. "Они и сейчас надрываются за моей спиной, возмущаясь, что мне пароходства денежку платят". "Бертранд?" — заинтересованно спросил Эш. Гейринг кивнул: "Бертранд, конечно, тоже". "Ну и скотина", — вырвалось у Эша. Мартин улыбнулся: "Бертранд? Да это в высшей степени порядочный человек". "Ах, так, он еще и порядочный... а это правда, что он уволившийся офицер?" "Да, он, должно быть, оставил военную службу — но это ведь говорит в его пользу". "Ого, даже так! Это говорит в его пользу? Ни о чем нельзя судить наверняка, ни о чем нельзя судить наверняка, даже об этом прелестнейшем весеннем дне", — подумал Эш, кипя от возмущения, а вслух добавил: "Мне хотелось бы просто понять, зачем тебе нужно продолжать заниматься этим делом?" "Каждый стоит там, где ему предначертано Богом", — ответил Мартин, и лицо стареющего ребенка приобрело благочестивое выражение. Затем он передал привет от матушки Хентьен и сказал, что все с радостью ждут его скорого приезда.

Поев, они направились в магазинчик Лоберга. У них еще было немного времени, и Мартин получил возможность передохнуть на тяжеловесном стуле из дубового дерева, который стоял у прилавка и производил впечатление солидности и ухоженности, как, впрочем, все в этом магазинчике. Привыкнув хватать все напечатанное, лежащее в пределах досягаемости, Мартин начал листать антиалкогольные и вегетарианские журналы из Швейцарии. "Ни фигя себе, — пророкотал он, — почти что единомышленник". Лоберг был польщен, но Эш отравил ему эту радость: "Вот-вот, он из компании трезвенников", а дабы уж окончательно уничтожить его, добавил: "У Гейринга сегодня большое собрание, но собрание — что надо, а не какая-то там Армия спасения!" "К сожалению", — сказал Мартин. Лоберг, питавший большую слабость ко всевозможным обще-

ственным собраниям и речам ораторов, немедленно предложил пойти вместе с ними. "Лучше бы вам туда не ходить,— ответил Мартин,— по крайней мере, Эшу не стоит туда соваться, ему может повредить, если его там увидят. К тому же, кто знает, чем все это закончится". Эш нисколько не опасался поставить под угрозу свое рабочее место, но посещение этого собрания странным образом воспринималось им как какое-то предательство Бертранда. Лоберг же холодным тоном отрезал: "В любом случае я пойду", и Эш ощутил себя посрамленным этим трезвенником: нет, не годится оставлять друга в беде, когда ему угрожает опасность, поступи он сейчас таким образом, как он сможет впредь являться пред ясные очи матушки Хентьен? Но о своем намерении он решил все же пока промолчать. Мартин попытался объяснить: "Думаю, что владельцы пароходства подойдут нам парочку провокаторов; они очень заинтересованы в том, чтобы прошла неуправляемая забастовка". И хотя Нентвиг не был владельцем пароходства, а всего лишь жирным прокуристом фирмы, торгующей вином, у Эша было ощущение, словно сей нечестивец замешан и во всей этой мерзости тоже.

Собрание проходило, как это обычно бывало, в зале небольшого ресторанчика. У входа стояло несколько полицейских, они внимательно рассматривали входящих, те же делали вид, что вовсе и не замечают этих охранников. Эш опоздал; когда он хотел войти, чья-то рука хлопнула его по плечу; обернувшись, Эш увидел инспектора полицейского участка, который обеспечивал охрану порта. "Что вас привело сюда, господин Эш?" Эшу удалось довольно быстро сориентироваться. Да, собственно, простое любопытство; он узнал, что здесь будет выступать профсоюзный секретарь Гейринг, которого он знал еще по Кельну, а поскольку сам Эш имеет отношение к пароходству, то все, что тут происходит, ему небезразлично. "Я бы не советовал вам сюда приходить, господин Эш,— сказал инспектор,— тем более, что вы имеете отношение к пароходству; здесь полагивает керосином, и вряд ли вы извлечете из всего этого

какую-либо пользу". "Я только на одну секундочку, взгляну и все", — произнес Эш и вошел вовнутрь.

Низкий зал, украшенный портретами кайзера, великого герцога Баденского и короля Вюртембергского, был забит до отказа. На эстраде стоял накрытый белым стол, за ним сидели четверо мужчин; одним из них был Мартин. Эш, которого первоначально кольнула даже какая-то зависть, что не ему позволено занимать то привилегированное место, в следующее мгновение уже испытал чувство удивления, что он вообще заметил этот стол — такой беспорядочный шум и гам стоял в зале. По истечении какого-то времени он заметил, что в центре зала на стул взобрался человек, произносивший абсолютно непонятную речь, при этом каждое слово — а особенно по душе выступавшему было слово "демагог" — он сопровождал резким подчеркивающим жестом и бросал его в лицо сидящим за столом на эстраде. Это было похоже на своеобразный неравный диалог, ибо ответом сидящих за столом был слабый звук колокольчика, который едва пробивался сквозь шум, последнее слово, правда, осталось за Мартином: он поднялся, опираясь на костыль и спинку стула, и шум начал стихать. Хотя не совсем было понятно, что сказал Мартин усталым и ироничным голосом опытного оратора, но то, что он имел здесь куда больший вес, чем все надрывающие глотку вокруг него, это Эш ощутил абсолютно отчетливо. Казалось даже, что Мартин и не стремится к тому, чтобы его слушали, ибо он с едва заметной улыбкой, спокойно, не говоря ни слова, слушал обрушивающиеся на него выкрики "шкура продажная", "скотина", "социалист карманный"; внезапно среди этого шума и гама раздался резкий свисток — сразу воцарилась тишина, и на эстраде все увидели фигуру офицера полиции, который кратко сказал: "Именем закона собрание объявляется закрытым; освободите помещение". Эша подхватил поток людей, ринувшихся из зала, но он успел заметить, что офицер полиции направился к Мартину.

Словно сговорившись, большая часть людей стремилась поскорее пробиться к выходу из ресторанички. Но улизнуть

никому не удавалось, так как все здание было уже окружено полицейским кордоном и у каждого производилась проверка документов, тех, кому нечего было предъявлять, задерживали. Эшу повезло, он опять натолкнулся на участкового инспектора и поспешно пролепетал: "Вы были абсолютно правы, но это первый и последний раз"; таким образом ему удалось избежать установления личности. Но этим дело не закончилось. Теперь народ толпился перед входом в ресторанчик, сохраняя в целом спокойствие, лишь вполголоса чертыхаясь в адрес забастовочного комитета, профсоюза и самого Гейринга. Но очень скоро стало известно, что забастовочный комитет и Гейринга арестовали и просто ждут, когда толпа рассосется, чтобы увезти их. Это резко изменило настроение; возмущенные крики и свист стали громче, толпа явно намеревалась двинуть против полицейского кордона. Дружески настроенный инспектор полиции, возле которого все еще ошивался Эш, подтолкнул его: "А теперь, господин Эш, настоятельно рекомендую вам все-таки исчезнуть", и Эш, осознавший наконец, что вряд ли его ждет здесь что-либо хорошее, дернул до угла ближайшей улицы, надеясь, по крайней мере, встретить где-нибудь здесь Лоберга.

Перед ресторанчиком какое-то время еще раздавались выкрики и свист. Затем на лошадях, бежавших быстрой рысью, подъехали шестеро полицейских, а поскольку лошади, имеющие репутацию послушных, но все же довольно норовистых животных, оказывают на людей прямо-таки магическое воздействие, то появление этого небольшого подкрепления оказалось решающим. Эшу еще удалось рассмотреть, как под возмущенное молчание толпы вывели и увезли нескольких рабочих со связанными руками, затем улица стала пустеть. А там, где стояли рядом хоть два человека, немедленно появлялись грубые и проявлявшие явное нетерпение полицейские и, не церемонясь, разгоняли их, Эш, не без основания предполагавший, что ему может достаться не в меньшей степени, сделал ноги.

Он направился к Лобергу. Тот домой еще не вернулся, и Эш, остановившись у двери дома, стал ждать, поеживаясь в

прохладе весенней ночи. Он все же надеялся, что Лоберга не увели. Хотя это, собственно, скорее должно было бы радовать: батюшки мои, что бы сказала Эрна, увидев перед собой эту ходячую добродетель со связанными руками! Когда Эш уже намеревался уходить, появился Лоберг, он был в страшном возбуждении и едва не плакал. Такое ему переживать еще не приходилось, и вообще все это было неслыханно. Из сбивчивого и беспорядочного рассказа Эш узнал, что вначале собрание протекало абсолютно спокойно, хотя в адрес господина Гейринга, который произнес великолепную речь, и выкрикивали всевозможные оскорбления. Так вот, а затем поднялся один тип, очевидно из числа провокаторов, о которых сегодня в полдень упоминал сам господин Гейринг, и произнес ужасную речь, направленную против власть имущих, против государства и даже против кайзера, так что офицер полиции сразу же предупредил, что закроет собрание, если все будет продолжаться в таком же духе. Непонятнейшим образом господин Гейринг, которому ведь должно было быть ясно, что за гусь распинается перед ним, не только не разоблачил его как провокатора, но даже взял под свою защиту, требуя для него свободы слова. Ну а дальше ситуация стала все больше выходить из-под контроля, и собрание в конечном итоге было запрещено. Членов забастовочного комитета и господина Гейринга действительно арестовали: он может утверждать это с полной ответственностью, поскольку был в числе последних, кто покидал зал.

Эша охватило чувство растерянности, причем чувство это было гораздо сильнее, чем он мог предположить. Он понимал только, что должен выпить, иначе разобратся в существующем в этом мире беспорядке будет ему не под силу: Мартин, который был против забастовки, арестован, арестован полицией, которая заодно с владельцами пароходства и с каким-то бросившим военную службу офицером, полицией, которая гнуснейшим образом обрушилась на невинного — может быть потому, что ей задолжали голову Нентвига! И при всем при этом участковый инспектор был так дружески расположен к

нему, что даже взял под свою защиту. Его охватила внезапная злость на Лоберга; этот чертов идиот со своим неизменным лимонадом, наверное, и не предполагал, что все может принять такие жесткие и жестокие формы. Мельтешение этого великого множества обществ вызвало неожиданно у Эша чувство тошноты: к чему так много обществ? Они еще больше усиливают существующий беспорядок, а может быть, и сами являются его причиной; он грубо обрушился на Лоберга: "Послушайте, да уберите вы в конце концов этот чертов лимонад, иначе я сам смахну его со стола... выпей вы хоть чуточку хорошего вина, вы были бы, наверное, способны хоть на какой-нибудь маломальски разумный ответ". Но Лоберг лишь пялил на него неправдоподобно большие глаза, в белках которых виднелись красные прожилочки, он был абсолютно неспособен рассеять сомнения Эша, сомнения, которые на следующий день усилились еще больше, когда стало известно, что грузчики и моряки прекратили работу из-за того, что был арестован секретарь их профсоюза Гейринг. Гейрингу же прокуратурой было предъявлено обвинение в подстрекательстве к общественным беспорядкам.

Во время представления Эш сидел у Гернерта в так называемом кабинете директора, который всегда напоминал ему стеклянную клетушку на складе. На арене работали Тельчер и Илона, и до его слуха доносился свистящий звук ножей, вонзающихся в черную поверхность доски. Над письменным столом висел ящичек белого цвета с красным крестом, в котором должен был храниться перевязочный материал. Не вызывало никакого сомнения, что десятилетиями туда не заглядывала ни одна живая душа, но Эша не покидала внутренняя уверенность, что в любое мгновение сюда могут занести Илону, чтобы перевязать ее кровоточащие раны. Но вместо Илоны на пороге появлялся Тельчер, слегка вспотевший и с не сразу бросающимся в глаза гордым видом, он вытер полотенцем руки и сказал: "Добротная работа, хорошая и качественная работа... и она

требует, чтобы за нее платили". Гернерт набросал в своей записной книжке: аренда зала — 22 марки, налоги — 16 марок, освещение — 4 марки, гонорары... "Не пудрите мне мозги", — взорвался Тельчер. — Я и без вас уже наизусть знаю все расчеты... я вложил в это дело четыре тысячи крон, и мне их уже никогда не увидеть... господин Эш, у вас есть кто-нибудь, кто мог бы меня здесь заменить? Он может иметь двадцатипроцентную скидку, а для вас еще и десять процентов комиссионных". Эшу были хорошо знакомы эти стычки и предложения, поэтому он на них практически не реагировал, хотя охотно выкупил бы пай Тельчера, дабы тот исчез вместе со своей Илоной.

Эш был не в духе. Со времени ареста Мартина жизнь и во все потускнела, постоянные перебранки с Эрной стали невыносимы и утомительны, Бернард, увы, снюхался с полицией, которая вела себя подло и мерзко, это более чем не давало Эшу покоя, и было отвратительно наблюдать за отношениями Корна с Илоной, их связь уже не скрывали ни они сами, ни Эрна. От всего этого тошнило. Ему вообще не хотелось ни о чем думать. Илона выгодно выделялась из общей толпы. Да, лучше всего было бы ничего более не знать о ней и чтобы она исчезла навсегда. А вместе с ней не худо было бы испариться и президенту Берtrandу с его Среднерейнским пароходством. Эш отчетливо осознал это только сейчас, когда вошла, переодевшись, Илона, серьезная, молчаливая, не удостоенная вниманием ни одного из мужчин. Сейчас самое время появиться бы Корну, чтобы забрать ее; он уже шнырял здесь не так давно.

Илоной овладела настоящая страсть к этому тучному мужчине, может, потому, что Бальтазар Корн напомнил ей о юношеской любви к какому-нибудь унтер-офицеру, а может, всего лишь потому, что он был полной противоположностью изворотливому, тщедушному, черствому и в своей слабости все же жестокому Тельчеру. Ломать голову над этим Эш, конечно, не стал; довольно того, что женщина, от которой он сам отказался, поскольку предполагал, что она предназначена для чего-то бо-

лее возвышенного, теперь унижена каким-то там Корном. В высшей степени непонятным оставалось поведение Тельчера. Малый, вне всякого сомнения, был сводником, но это совершенно никому не мешало. Впрочем, вся эта история могла быть для Тельчера и не такой уж обременительной: Корн не поскупился, и на Илоне появилось новое платье, подаренное им, оно смотрелось на ней просто великолепно, настолько великолепно, что фрейлейн Эрна приветствовала дорогостоящую любовь своего брата уже далеко не с той благосклонностью, которая была вначале, но при всем при том деньги Илона у Корна не брала, а свои подарки ему пришлось буквально всучивать ей: столь сильной была ее любовь.

Порог переступил Корн, и Илона, пролепетав что-то ласковое на своем восточном наречии, бросилась на его покрытую форменной курткой грудь. Нет, на это решительно невозможно было смотреть! Тельчер усмехнулся: "Вам нужно поговорить", и как только они подошли к двери, чтобы выйти, бросил ей вдогонку что-то по-венгерски, очевидно, слова были оскорбительны, ибо он получил за это не только исполненный ненависти взгляд Илоны, но и полушутливое полусерьезное обещание Корна все-таки набить морду этому еврейскому мяснику. Тельчер не обратил на угрозы никакого внимания, а вернулся к своим любимым размышлениям, касающимся дела: "Мы должны найти нечто, не требующее от нас больших расходов, но привлекающее публику". Гернерт оторвался от своих записей: "Кстати, а как насчет дамской борьбы?" Тельчер присвистнул: "Нужно подумать, совсем без денег, конечно, и здесь ничего не получится". Гернерт нацарапал несколько цифр: "Нужны небольшие затраты, но это не так страшно, бабы стоят не очень дорого. Впрочем, трико... но нужно же еще кого-нибудь заинтересовать этим". "Мне бы хотелось их уже обучать,— оживился Тельчер,— и судью я тоже мог бы сыграть. Но Мангейм? — он скорчил пренебрежительную мину.— Как будто не видно, как идут здесь дела. А что вы думаете по этому поводу, Эш?" У Эша не было определенного мнения, но в нем шевельнулась

надежда: изменив место выступлений, можно вырвать Илону из когтей Корна. И поскольку для него это было самым важным и срочным, он ответил, что предпочтительным местом для борьбы ему кажется Кельн, в прошлом году там в цирке уже проводились схватки, правда, настоящие, так яблоку негде было упасть. "У нас тоже будут настоящие",— подхватил Тельчер. Они еще долго обсуждали это дело, и в конце концов Эш получил задание переговорить в ходе своей предстоящей поездки в Кельн с агентом Оппенгеймером, которому Гернерт напишет письмо. А если бы Эшу удалось кроме того еще и денег заработать для данного предприятия, то это была бы уже не просто дружеская услуга, но и ему самому могло бы уже кое-что перепасть.

Эш пока что не знал никого, кто мог бы дать денег. Но спокойно поразмыслив, он вспомнил Лоберга, которого можно было считать чуть ли не богачом. Вот только заинтересует ли целомудренного Иосифа дамская борьба?

Хотя арестовав инакомыслящих, портовых рабочих и моряков лишили компетентного руководства, все же забастовка продолжалась уже десятый день. Нашлись, правда, и желающие продолжать работу, но таких было немного, а поскольку для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожной ветке их не хватало, а судоходство и так было частично парализовано, то их использовали просто при выполнении самых срочных и неотложных работ. На складах царил покой, который бывал только по воскресеньям. Эш был зол — до окончания забастовки он, вероятно, может не понадобится — и бесцельно слонялся по складу; почесавшись спиной о косяк двери, он решил наконец набросать письмо матушке Хентьен, в котором поведал о событиях, приведших к аресту Мартина, о Лоберге, ни слова не написал о Корне и Эрне, ибо его тошнило при одном воспоминании о них. Затем он достал открытки с видами города и отправил их некоторым девицам, с которыми в последние годы переспал и имена которых он мог вспомнить.

Снаружи в тени стояли мастера и управляющие складами, а за приоткрытой скользящей дверью пустого товарного вагона ре-зались в карты. Эш призадумался: "Кому бы еще следовало написать?" и попытался пересчитать женщин, с которыми был близко знаком. То, что всплыло в памяти, было похоже на испорченный список с его склада, чтобы привести все в порядок, он записал имена на бумаге, проставляя рядом месяц и год. Затем суммировал написанное и остался доволен, еще больше взбодрила Эша его статистика, когда приперся Корн и, верный своей привычке, снова сообщил, что Илона — роскошная женщина и темпераментная венгерка. Эш спрятал список в карман и дал Корну выговориться; долго говорить тот все равно был не в состоянии. Только бы закончилась эта забастовка, а тогда господину таможенному инспектору придется бежать за своей Илоной аж до Кельна, или еще дальше, на край света. Ему стало почти жалко Корна, ибо тот не знал, что его ожидает; беззаботно хвастался Бальтазар своим завоеванием, выговорившись в достаточной степени об Илоне, он вытащил пачку карт. Они нашли третьего игрока, а затем проиграли в карты до самого вечера.

Вечером Эш отправился к Лобергу, тот восседал в своем магазинчике с зажатой в губах сигарой, углубившись в чтение одной из вегетарианских газет. Когда Эш вошел, он отложил газету и принялся говорить о Мартине: "Мир отравлен,— лепетал он,— не только никотином, алкоголем и животной пищей, но еще более пагубным ядом, о котором нам почти ничего не известно... это подобно прорыву нарывов". Его глаза были влажными и лихорадочно блестели, он весь производил нездоровое впечатление, может, в нем и вправду начал действовать какой-то яд. Эш, жилистый и коренастый, остановился перед Лобергом, голова после длительной игры в карты была подобна пустому барабану, и он никак не мог уловить смысл идиотских речей Лоберга, до него почти не доходило, что они имели отношение к аресту Мартина; все было подернуто какой-то идиотской дымкой, единственным трезвым желанием было прояснить

проблему с участием в театральном предприятии. Он не любил ходить вокруг да около: "Как вы смотрите на то, чтобы вложить деньги в театр Гернерта?" Для Лоберга это был неожиданный вопрос, и все, на что он оказался способен, это вытаращить глаза и промямлить: "Хм?" "Да, да. Я спрашиваю, не хотите ли вы вложить деньги в театральное дело?" "Но я же торговец сигарами". "Вы все время хныкали, что вам это не нравится, ну, тут я и подумал, что, может быть, занимаясь другим делом, вы будете более счастливым человеком". Лоберг покачал головой: "Пока жива моя мать, мне придется продолжать заниматься торговлей сигарами; ведь половина в деле принадлежит ей". "Жаль,— сказал Эш, — ибо Тельчер утверждает, что прибыль от вложенного в женскую борьбу капитала должна составить сто процентов". Лоберг даже не поинтересовался, какое, собственно, отношение он имеет к борьбе, а просто пробормотал: "Жаль". Эш продолжал: "Своим занятием я тоже сыт по горло. Сейчас они бастуют; меня тошнит от этих тупоголовых". "А чем же вы хотите заняться? Тоже театром?" Эш задумался; театр означает торчать плечом к плечу с Гернертом и Тельчером в каком-нибудь запыленном директорском кабинетике. Артисточки с тех пор, как он начал ошиваться за кулисами, ему уже тоже успели надоесть; не так уж сильно отличались они от Хеде или Туснельды. Сегодня он, собственно говоря, вообще не знал, чего хочет, настолько тоскливым и пустым выдался денек. Он ответил: "Уехать... в Америку". В одной иллюстрированной газете он видел фотографии Нью-Йорка; они всплыли сейчас у него перед глазами; там также был помещен снимок американского боксера, а это снова вернуло его мысли к схваткам борцов. "Если бы мне удалось быстренько заработать денег на дорогу, я бы смылся отсюда",— он сам удивился тому, что подумал об этом абсолютно серьезно, и так же серьезно начал производить расчеты: у него есть около трехсот марок; вложив их в дело — в эту борьбу,— он мог бы действительно приумножить свой капитал, и почему бы ему, здоровому, трудоспособному человеку с опытом бухгалтерской работы, не попытаться

счастья в Америке так же, как он пытается сделать это здесь, по крайней мере, хоть мир посмотришь. Может быть, к тому времени Тельчер с Илоной уже получили бы ангажемент в Нью-Йорке, о чем постоянно тараторит Тельчер. Течение его мыслей прервал Лоберг: "У вас нет проблемы с языками, чего, к сожалению, не могу сказать о себе". Эш с удовлетворением кивнул; да, с французским он уж как-нибудь разобрался бы, да и английский — невелика премудрость; но для того, чтобы участвовать в финансировании борьбы, Лобергу вовсе ни к чему знание языков. "Нет, это нет, разве что только ради Америки", — размышлял Лоберг. И хотя Лобергу была абсолютно чужда мысль о том, что он сам или даже кто-либо иной должен жить не в Мангейме, а в каком-то другом городе, он все же начал обсуждать стоимость транспортных расходов и где им достать таких денег, они стали почти что компаньонами по переезду. Таким образом, путем абсолютно естественных логических рассуждений они снова вернулись к вероятности получения прибыли от дамской борьбы, и после некоторых размышлений Лоберг пришел к заключению, что он мог бы изыскать в своем деле целых тысячу марок и вложить их в дело Гернерта. Впрочем, этого все равно не хватало, чтобы выкупить долю Тельчера, но как бы там ни было, начало оказалось неплохим, особенно если добавить сюда три сотни, принадлежавших Эшу.

Исход дня был более приятным, чем его начало. По дороге домой Эш ломал себе голову над тем, где же достать недостающие деньги, и в голову пришла мысль о фрейлейн Эрне.

Насколько Эрна пыжилась привязать к себе Эша своими деньгами, настолько же она уцепилась за принцип, что требуемое может быть предоставлено в распоряжение только законного супруга. Когда она в игривом тоне изложила эту мысль, Эш разозлился: что она о нем думает! Он что, требует деньги для себя? Но выдав это, он почувствовал, что здесь что-то не так, и что речь, собственно, идет вовсе не о деньгах, и что фрейлейн Эрна заблуждается даже куда больше, чем она может

себе представить; конечно, деньги нужны, но только для того, чтобы выкупить Илону, нужно просто прекратить, чтобы снова швыряли ножами в беззащитную девушку, конечно же, деньги он просит не для себя лично, но это было далеко не все, самое главное состояло в том, что ему ведь уже ничего от Илоны не нужно, плевать он хотел на Илону! На карту были поставлены большие ценности, и вполне обоснованно он возмущался тем, что Эрна занимала по отношению к нему столь эгоистичную позицию, оправданным было и то, что он нагрубил ей: ну и пусть сидит здесь со своими деньгами. Она же восприняла его грубость как чувство вины, обрадовалась тому, что удалось подловить его, и хихикнула: уже всем известно, что она у себя в доме пригрела проходимца, который не только пользовался ее расположением, но и помимо этого нанес ей довольно ощутимый ущерб в пятьдесят марок.

Да, в целом день этот выдался хорошим для фрейлейн Эрны. Эш попросил у нее то, в чем она могла отказать ему, к тому же она обзавелась новыми ботиночками, которые значительно поднимали ей настроение и в которых было так удобно ходить. Она устроилась на старомодном диване и, выставив ноги из-под края платья, раскачивала ими; легкое поскрипывание кожи услаждало слух, и в подъеме ноги возникало приятное ощущение. Естественно, ей не хотелось заканчивать столь сладостный для нее разговор, и, не обращая внимания на грубо поставленную Эшем точку в разговоре, она все же поинтересовалась, зачем ему столь большая сумма. Эш снова отрезал, что она может сидеть на своих деньгах, а господин Лоберг рад, что может вложить свой капитал в театральное дело. "Ах, господин Лоберг,— проворковала фрейлейн Эрна,— так они ж у него есть, и он может себе это позволить". В сложившейся ситуации фрейлейн Эрна скорее отдалась бы кому-нибудь постороннему, чем господину Эшу, которому позволительно было обладать ею лишь связав себя узами брака, она вся прямо сгорала от нетерпения позлить Эша и предоставить деньги в распоряжение Лоберга. Она продолжала раскачивать ногами: "О, быть ком-

паньоном господина Лоберга — это совсем другое дело. Он же солидный предприниматель". "Он идиот", — отрезал Эш отчасти из убеждения, отчасти из ревности, и ревность сия пролилась бальзамом на душу фрейлейн Эрны, ибо именно на это и было рассчитано. Она попробовала подсыпать еще соли на его рану: "Вам я ничего не дам". Но эта фраза явно не дала желаемого эффекта. На кой черт ему все это, собственно говоря, нужно? Он же отказался от Илоны, и теперь пусть у Корна болит голова о том, как освободить ее от этих ножей. Взгляд Эша опустился на раскачивающиеся носки ног Эрны. Она бы опешила, услышав, что свои денежки, в конце концов, может отдать и Бальтазару, это тоже, естественно, не решило бы всей проблемы. А может, как раз настал черед Нентвига платить по счету. Если уж подошло время спасать мир, то необходимо, как говорит Лобберг, бить по месту сосредоточения яда; ну а местом сосредоточения яда был как раз Нентвиг, может, даже не он сам, а нечто, что за ним прячется, нечто такое большое и недоступное, что никому неизвестно. Все это могло вывести из себя кого угодно, и Эш, который был крепким и отнюдь не слабонервным парнем, с трудом сдерживался, чтобы не наступить на болтающиеся ноги фрейлейн Эрны, дабы они наконец перестали мелькать перед глазами. Она же спросила: "Вам нравятся мои ботиночки?" "Нет", — резко ответил Эш. Фрейлейн Эрна была удивлена: "Уж господину Лоббергу они понравятся... когда же вы его сюда приведете? В последнее время вы его ну прямо прячете от меня... и все ведь из-за ревности, господин Эш?" Да, ради Бога, он может его притащить хоть сейчас, если она так уж сгорает от желания увидеться с ним, высказал свои соображения Эш, которого все же не покидала надежда, что эти двое вполне смогут договориться о деле. "Сейчас это ни к чему, — рассудительно заключила фрейлейн Эрна, — лучше вечером, пригласите его на чашечку кофе". "Отлично, я так и сделаю", — ответил Эш и удалился.

Лобберг последовал приглашению. Он держал в руках чашечку с кофе и механически помешивал в ней ложечкой. Даже

когда он пил кофе, ложечка оставалась в чашке и постоянно цеплялась за его нос. Эш, восседая с заносчивым видом, поинтересовался, придет ли Бальтазар с Илоной, он задавал и другие беспардонные вопросы. Фрейлейн Эрна не очень прислушивалась к нему. Ее интерес пробудила рахитичная головка господина Лоберга с большущими белыми глазными яблоками; он действительно выглядел так, словно достаточно было приложить незначительные усилия — и он расплчется. Она задумалась над тем, а плакал бы он в состоянии воодушевления и любовного неистовства; со злостью вспомнила она своего брата, который втянул ее в эту безнадежную аферу с Эшем, с этим беспокоящим ее грубияном, тогда как в паре домов отсюда живет хорошо обеспеченный предприниматель, лицо которого заливаётся краской, когда она на него смотрит. А познал ли он уже женщину? И она, чтобы подразнить Эша, ловко перевела разговор на любовь: "Вы же тоже закоренелый холостяк, господин Лоберг? Вам еще придется сожалеть, когда наступит старость и начнут доставать болезни, а поухаживать за вами будет некому". Лоберг покраснел: "Я просто жду ту единственную, фрейлейн Корн". "А она еще не появилась?" — Фрейлейн Эрна многообещающе улыбнулась и выставила ножку из-под подола юбки. Лоберг поставил чашечку на стол, он производил впечатление беспомощного человека. Эш ядовито процедил: "Да он еще и не нюхал, что это такое". Лобергу удалось выразить словами свои убеждения: "Ведь любят один раз в жизни, фрейлейн Корн". "О!" — восторженно протянула фрейлейн Эрна.

Все было абсолютно однозначно и понятно. Эшу стало почти что стыдно за свою беспутную жизнь, ему даже показалось не таким уж и невероятным, что большой и единственной любовью было то, что привязывало госпожу Хентьен к своему супругу, может быть, именно поэтому она требовала от своих гостей целомудрия и сдержанности. Впрочем, должно быть ужасным для госпожи Хентьен заплатить за столь быстротечную услугу отказом от последующей любви, и Эш сказал: "Чудненько, а как же быть со вдовами? Тогда ни одной из них непозволительно

жить дальше... особенно, если у нее нет детей...", и вспомнив кое-что, вычитанное в иллюстрированных газетах, он добавил: "Вдов в таком случае следовало бы сжигать, дабы они... да, дабы они, так сказать, получили спасение".

"Вы грубый человек, господин Эш,— возмутилась фрейлейн Эрна,— такие ужасные вещи никогда не пришли бы в голову господину Лобергу".

"Спасение в руках Господа,— сказал господин Лоберг,— тот, кому он дарует милость любви, будет обладать ею и после смерти".

"Вы умный человек, господин Лоберг, и кое-кому было бы очень неплохо запомнить ваши прекрасные слова,— проворковала фрейлейн Эрна,— занятия нет получше, чем сгореть на костре из-за какого-то мужика! Какая мерзость..."

Эш вспыхнул: "Если спасение в руках Господа, то на кой нужны ваши дурацкие общества, да, да, и не удивляйтесь...— он уже почти кричал,— не нужна никакая Армия спасения, если бы полиция сажала людей, которые этого заслуживают... вместо невиновных".

"А я бы просто вышла за мужчину, который в состоянии содержать меня или оставить своей вдове кое-что на жизнь, определенную безопасность, так сказать,— удерживала разговор в своем русле фрейлейн Эрна,— за такого мужа — это заслуженно".

Эш презирал ее. Матушка Хентьен никогда бы не позволила себе говорить подобные вещи. Но Лоберг поддержал разговор: "Кто не заботится о своем доме, тот плохой хозяин".

"Ваша жена будет очень счастлива с вами",— сказала фрейлейн Эрна. Лоберг продолжил: "Если Бог дарует мне счастье найти спутницу жизни, то я уповаю на то, что скажу с уверенностью: супружество наше будет глубоко христианским. Мы уединимся от мира, жить будем только нашим счастьем".

Эш издевательски заметил: "Прям как Бальтазар с Илоной... а по вечерам кое-кто будет швырять в нее свои ножи".

Лоберг был возмущен: "Упивающийся дешевой сивухой не

способен оценить, что значит глоток кристально чистой воды, фрейлейн Корн. Увлечение — это еще не любовь”.

Кристальную чистоту фрейлейн Эрна отнесла на свой счет и была польщена: “Платье, которое он ей подарил, стоило тридцать восемь марок; я спрашивала в магазине. Так очистить карманы у мужика... я бы никогда на такое не решилась”.

Эш гнул свое: “Должен быть наведен порядок. Один сидит, не имея за собой никакой вины, а другой в это время болтается на свободе; убить его надо или себя самого”.

Лоберг попробовал успокоить Эша: “Нельзя играть человеческими жизнями”.

“Нет,— вставила словечко фрейлейн Эрна,— женщина, которая не питает к мужу никаких чувств, достойна смерти... а я, если уж мне придется заботиться о муже, по натуре своей эмоциональный человек”.

Лоберг сказал: “Истинная евангельская любовь основывается на взаимном уважении”.

“И вы будете уважать жену, даже если она не столь образованна как вы... даже если ей присуще быть более эмоциональным человеком, чем должно быть жене?”

“Только чувствующий человек способен к истинно спасительной милости, и он готов к ней”.

Фрейлейн Эрна сказала: “Вы, наверняка, хороший сын, господин Лоберг, тот, который может быть благодарным своей матушке”.

Эш пришел в ярость, его ярость была даже сильнее, чем он осознал: “Хороший сын тут, хороший сын там... чихать я хотел на всю эту благодарность; пока люди соглашаются с тем, что происходит несправедливость, никакого спасения в мире не существует... почему Мартин пожертвовал собой и сидит?”

Лоберг ответил: “Господин Гейринг — жертва яда, разъедающего мир. Лишь только тогда, когда люди найдут дорогу обратно к природе, они не будут совершать злых поступков”.

Фрейлейн Эрна не преминула вставить, что она тоже любит природу и частенько ходит гулять. Лоберг продолжил: “Лишь на

свободной Божьей природе, которая придает нам силы, пробуждаются истинные благородные чувства людей”.

Эш сказал: “Этим вы не спасли от тюрьмы еще ни одну живую душу”.

Фрейлейн Эрна задумчиво произнесла: “Это вы так думаете... а я говорю, что человек, не способный чувствовать, и не человек вовсе. А такой коварный человек, как вы, господин Эш, вообще не смел бы здесь и словечко вставить... Да все вы такие”.

“Как только можно так плохо думать о мире, фрейлейн Корн?”

Фрейлейн Эрна вздохнула: “Разочарования жизни, господин Лоберг”.

“Но все же нас поддерживает надежда, фрейлейн Корн”.

Фрейлейн Эрна задумчиво уставилась в пустоту: “Да, если бы не надежда...— она встряхнула головой,— мужчины не способны чувствовать, а слишком много ума тоже плохо”.

Эш задумался: могли ли вести такие разговоры госпожа Хентьен и ее супруг, когда они обручились. Но Лоберг прервал его мысли: “Вся надежда наша в Боге и в Божьей природе”.

Эрне никак не хотелось отставать от Лоберга: “Слава Богу, я регулярно хожу в церковь и на исповедь...— и победным тоном добавила: — Наша святая католическая религия таит в себе, наверное, куда больше чувства, чем лютеранская, на месте мужчины я бы не стала связывать свою жизнь с лютеранкой”.

Лоберг был слишком хорошо воспитан, чтобы возражать: “Любое обращение к Богу достойно одинакового внимания... кого Бог сводит воедино, тому он дает возможность и жить вместе... должна быть лишь добрая воля”.

Добродетель Лоберга вызывала у Эша чувство тошноты, хотя именно по этой причине он часто сравнивал его с матушкой Хентьен, он не унимался: “А, лясы точить может любой идиот”.

Фрейлейн Эрна пренебрежительно заметила: “Господин Эш, естественно, готов жениться на любой, не спрашивая ни о чувствах, ни о святой религии; если, конечно, у нее имеются денежки”.

"Я не могу в это поверить",— заметил Лоберг.

"Можете не сомневаться, я знаю его, он абсолютно лишен каких бы то ни было сантиментов и вообще ни о чем не думает... думать, как вы, господин Лоберг, способен далеко не каждый".

"Ну, тогда мне просто жаль того, кто не разделяет мои взгляды,— высказал очередную мысль Лоберг,— ибо для него заказано все счастье сего мира". Эш пожал плечами: что может этот тип знать о новом мире! Он издевательски процедил: "Наведите-ка вначале порядок".

Но фрейлейн Эрна нашла решение проблемы: "Если два человека работают вместе, если вам, например в вашем деле, помогает жена, тогда все уладится само собой, даже если мужчина лютеранин, а жена католичка".

"Конечно",— согласился Лоберг.

"Когда два человека имеют что-нибудь общее, например общие интересы, тогда не страшно соединить свои судьбы, не так ли?"

"Конечно",— ответил Лоберг.

Змеиный взгляд фрейлейн Эрны скользнул по Эшу, когда она произнесла: "Не будете ли вы возражать, господин Лоберг, если и я приму участие в том театральном предприятии, о котором тут говорил господин Эш? Теперь, когда мой братец стал таким легкомысленным, я должна позаботиться о том, чтобы в дом приходили деньги".

Ну как может господин Лоберг возражать! А когда фрейлейн Эрна сказала, что она намерена вложить половину своих сбережений, то есть около тысячи марок, он издал радостный возглас, и фрейлейн Эрна не без удовольствия услышала: "О, так мы же будем теперь компаньонами!"

Несмотря на это, Эш не испытал чувства удовлетворения. То, что он добился своего, как-то сразу лишилось привлекательности, может, потому, что он и так отказался от Илоны, может, потому, что речь шла о более важных целях, а может, и потому лишь — и это было единственное, что для него было

ясно,— что в нем неожиданно шевельнулось сомнение: "Переговорите сперва с Гернертом, директором театра Гернертом. Я просто обратил ваше внимание на это дело, но я не беру на себя никакой ответственности".

"Так, так",— проворчала фрейлейн Эрна. Ей же было известно, что он безответственный человек, но он может не бояться, никто и не собирается привлекать его к ответственности. На нем вообще креста нет, и даже палец господина Лоберга ей дороже всего господина Эша. "Вы доставите мне удовольствие, господин Лоберг, если будете почаще заглядывать ко мне на чашечку кофе",— довольная собой, произнесла Эрна. Было уже довольно поздно, они поднялись со стульев, и Эрна взяла господина Лоберга под руку. От лампы под потолком на их головы струился мягкий свет, и оба они стояли перед Эшем, словно пара молодоженов.

Эш снял куртку и повесил на вешалку. Затем он начал чистить ее щеткой, выбивать пыль и рассматривать ее изношенный воротник. В очередной раз его мучило ощущение, что что-то не так. Он отказался от Илоны, теперь же ему приходилось наблюдать за тем, как от него отворачивается Эрна и предлагает свое сердце этому идиоту. Это было против всех бухгалтерских правил, в соответствии с которыми любое почтовое отправление требует, как известно, ответного почтового отправления. Впрочем — он с деловым видом вертел куртку в руках,— если бы он захотел, то Лобергу не удалось бы так уж быстро взять над ним верх, с ним он еще сможет поквитаться, ну, нет уж, Августа Эша еще никто никогда не выставлял в таком уродливом свете, и он уже было направился к двери, но остановился прежде, чем открыть ее: а зачем, ему ведь, собственно, вообще ничего не нужно. В противном случае эта особа там, в гостиной, может вообразить себе, что он приковылял к ней из чистой благодарности за ее жалкие тысячу марок. Эш вернулся к кровати, сел на нее и начал расшнуровывать ботинки. Все было в полном порядке. И то, что ему, в принципе, было жаль, что спать с Эр-

ной ему заказано, тоже был полный порядок. Жертва есть жертва. И все же в расчетах оставалась какая-то непонятная ошибка, которую он никак не мог уловить: ну, хорошо, не идешь к бабе, отказываешь себе в удовольствии; одно лишь непонятно — зачем? Затем только, чтоб избежать женитьбы? Жертвуешь меньшим, дабы избежать большей жертвы, которую придется принести собственной персоной. "Какая же я скотина", — пробормотал себе под нос Эш. Да, скотина, ни на йоту не лучше Нентвига, который тоже уклонился от ответственности. Бардак, в котором самое место пошустрить черту!

А без порядка в бухгалтерских книгах не будет порядка и в мире, и пока не наступит этот порядок, беззащитная фигурка Илоны будет по-прежнему стоять перед свистящими ножами, Нентвиг и дальше нагло и лицемерно будет избегать кары, а Мартин вечно будет томиться в тюрьме. Он задумался над всем этим, и в тот момент, когда он стаскивал штаны, как-то непроизвольно созрело решение: другие дают на эту затею с женской борьбой деньги, значит он, у кого денег нет, должен заплатить за это своей особой, если и не женитьбой, что, впрочем, не так уж и плохо, то тем, что предоставить себя в распоряжение нового предприятия. А поскольку это, к сожалению, невозможно соединить с его работой в Мангейме, то ему придется уволиться. Таким будет его взнос. И, словно пройдя испытание, он ощутил в этот миг, что оставаться в конторе, которая засадила Мартина за решетку, он больше не может. И никто не вправе обвинить его в предательстве; даже самому господину президенту придется признать, что Эш порядочный парень. Мысли об Эрне улетучились из его головы, и он со спокойной душой лег в кровать. То, что при этом он мог вернуться в Кельн и в забегаловку матушки Хентьен, лишь незначительно отодвигало стрелку на весах жертвоприношения; ведь матушка Хентьен ни разу не ответила на его письма. А забегаловок и в Мангейме более чем достаточно. Нет, возвращение в Кельн, в этот скотский город, вовсе не оправдывало самопожертвования.

Желание проинформировать кого положено об успехе подняло и притащило его к Гернерту уже ранним утром: так быстро достать две тысячи марок — это же успех! Гернерт похлопал его по плечу и назвал молодчиной. Это было приятно. Гернерт удивился его решению уволиться с работы, дабы полностью посвятить себя затее с женской борьбой, впрочем, ничего против увольнения он не имел. "Мы еще покажем себя, господин Эш", — сказал он, и Эш отправился в центральную контору своего пароходства.

На верхних этажах здания правления Среднерейнского пароходства тянулись длинные тихие коридоры, пол которых был покрыт коричневым линолеумом. На каждой двери имелась аккуратная табличка, в конце одного из коридоров за столиком, освещенном светильником, восседал служащий, который поинтересовался, куда изволит следовать посетитель, он записал имя и цель визита в блокнот, проложенный копировальной бумагой. Эш шел по коридору и, поскольку это было в последний раз, старался внимательно все рассмотреть. Он читал имена на дверных табличках; наткнувшись неожиданно для себя на женское имя, он остановился и попытался представить особу, находящуюся там, за дверью: была ли она похожа на обыкновенного чиновника, который в черных нарукавниках считает что-то за наклоненным столиком и холодным, безучастным тоном разговаривает с посетителем? Эша внезапно охватила тоска по этой незнакомой женщине за дверью, и на него вдруг нахлынуло чувство любви в новой, простой, так сказать, деловой и существующей согласно необходимости форме любви, которая должна быть такой же гладкой, такой же прохладной и в то же время такой же широкой и всеохватной, как и эти коридоры с их гладким линолеумным покрытием. Но затем перед его взором предстал целый ряд дверей с великим множеством мужских имен, и он невольно подумал о том, что та одинокая женщина должна испытывать не меньшее отвращение от такого мужского окружения, чем мадушка Хентьен в своем заведении. В нем снова вспыхнуло ощу-

щение ярости, злости на организацию, которая под покровом хорошего порядка, гладких коридоров, отличных приглашенных бухгалтерских расчетов прячет море мерзости. И это называется солидность. Предприниматель есть предприниматель независимо от того, как он называется — прокуррист или президент. Если на какое-то мгновение Эш и пожалел, что уже не является членом хорошей организации, что больше не относится к тем, кому позволено без расспросов и регистрации служащими входить и выходить из здания, то теперь и намек на сожаление не осталось, ибо за каждой дверью он видел Нентвига, одних только Нентвигов, они все сговорились, чтобы сгноить Мартина в тюрьме. Лучше всего было бы, конечно, спуститься в бухгалтерию и сказать слепцам, торчащим там, что им тоже нужно было бы вырваться наконец из плена обманчивых цифр и колонок и освободиться, подобно ему, да, они должны были бы сделать это хотя бы для того, чтобы уехать с ним в Америку.

"Это была достаточно кратковременная гастроль к нам", — произнес начальник отдела кадров, к которому он зашел и попросил выдать отзыв. Тон его был дружеским, а Эш уже был готов к тому, чтобы высказать истинные причины, побудившие его оставить столь непорядочную фирму. Но ему пришлось отказать от этой затеи, потому что дружески расположенный начальник отдела кадров уже занялся другими делами, постоянно, впрочем, при этом повторяя: "Кратковременная гастроль... кратковременная гастроль"; повторял он это откровенно любезным тоном, так, словно ему очень нравилось это слово и он пытался словом "гастроль" показать, что театральное дело является не таким уж отличным и даже не лучшим делом, чем предприятие, которое Эш как раз вознамерился оставить. Но что мог знать об этом начальник отдела кадров? Возможно, он хотел на прощание упрекнуть его в неверности и нанести ему удар в спину? Нагадить ему при поиске нового места? Недоверчивым взглядом он рассматривал выданный документ, хотя отлично понимал, что в деле с женской борьбой его никто и

никогда не спросит ни о каком отзыве. А поскольку его не покидали мысли о театральном предприятии, а также потому, что он спешил по коричневому линолеуму коридоров к лестнице, ведущей на улицу, он больше уже не обращал внимания на покой и порядок в конторе, не думал о двери с женским именем, мимо которой пронесся на повышенной скорости, не обратил внимания на табличку "Бухгалтерия", да, даже кабинеты дирекции и президиума там впереди, в главном здании со всей их помпой были ему целиком безразличны. Лишь оказавшись на улице, он бросил взгляд на главное здание, прощальный взгляд, и был как-то даже расстроен, что перед главным корпусом не было экипажа. Он, собственно говоря, охотно взглянул бы еще разочек на Бертранда, этот тоже всегда прячется, как и Нентвиг. Лучше, конечно, его не видеть, вообще не видеть, его и этот Мангейм со всем, что в нем тут и там валяется. "Ну, что ж, глаза б мои тебя больше не видели", — сказал Эш, но все же ему не удалось пересилить себя и быстро проститься, он постоял еще, щуря глаза, поскольку асфальт новой дороги отражал яркий свет полуденного солнца, постоял, ожидая, что может, все-таки беззвучно раскроются стеклянные двери и пропустят господина президента. А поскольку в мерцающем солнечном свете возникало впечатление, будто полотна стеклянных дверей вибрируют, то в голове невольно всплыло воспоминание о качающейся двери за стойкой, это был так называемый обман чувств, ибо полотна стеклянной двери прочно сидели в своем мраморном обрамлении. Они оставались неподвижными и никого не выпустили из здания. Эш воспринял это как обвинение: теперь он должен стоять здесь под палящим солнцем, потому что Среднерейнское пароходство расположилось на этой спесивой новой заасфальтированной улице вместо того, чтобы занять место в прохладном глухом переулочке; ему нестерпимо захотелось выругаться, он повернулся, пересек улицу широкими, немного нетвердыми шагами, завернул за ближайший угол и, ступив на ступеньку подошедшего трамвайного вагона, принял окон-

чательное решение уже на следующий день оставить Мангейм и отправиться в Кельн, дабы приступить к переговорам с театральным агентом Оппенгеймером.

II

Эшу, конечно, было обидно, что госпожа Хентьен все еще не ответила на его письмо, поскольку в деловой переписке отвечать на письма в положенные сроки — дело обычное, а частное письмо, без сомнения, не такое уж повседневное событие. Впрочем, молчание матушки Хентьен вполне можно было объяснить ее характером. Известно, что достаточно было кому-нибудь дотронуться до ее ручки или попытаться пощупать за округлые формы, как сразу же на ее лице возникала та застывшая мина отвращения, которой она молча сажала смельчака на место, может, она с такими же чувствами брала в руки и его письмо. В конце концов письмо — это то, к чему прикасалась рука писавшего и испачкала его, приблизительно то же самое, что и грязное белье, вполне можно было предположить, что матушка Хентьен так и считает. Она была женщиной, не похожей на других; такой, которой он позволял бы входить утром в его неубранную комнату и мешать ему во время утреннего туалета; это была не Эрна, она никогда не требовала бы от него, чтобы он думал о ней и писал ей хорошие, наполненные чувствами письма. Не была она и такой, которая могла бы связаться с каким-то там Корном, хотя земного в ней было куда больше, чем в Илоне. Матушка Хентьен, конечно, была чем-то лучшим, ему даже приходило в голову, что в окружении всего земного ей надо специально бороться за то, что Илоне дано от рождения. И если от его писем у нее возникло брезгливое чувство, то, наверное, это вполне справедливо и уместно; он даже захотел, чтобы она отругала его: ему казалось, что ей хорошо известно, как он себя тут вел, и Эш словно ощутил на себе тот взгляд, которым она всегда с укоризной награждала его, когда

он начинал крутить шуры-муры с Хеде; она не хотела мириться даже с этим, к тому же девушка служила в ее заведении.

Теперь же, снова оказавшись в Кельне, он первым делом отправился к матушке Хентьен; его встретили без особой сердечности, но и без пренебрежения, которого он так опасался. Она просто сказала: "Да это вы снова, господин Эш, надеюсь, надолго", и он оказался в положении человека, с которым не очень считаются, у него даже возникло ощущение, будто он теперь обречен навечно прозябать на корновских харчах. Когда позже госпожа Хентьен все же подошла к его столику, она обидела его еще больше, поинтересовавшись: "Ну и чего добился господин Гейринг? Я его достаточно часто предупреждала". Ответ Эша был скупым: "Все, о чем мне известно, я вам писал". "Точно так, а за ваше письмо я должна поблагодарить вас",— сказала госпожа Хентьен, и это было все. Невзирая на свое разочарование, он вытащил небольшой пакетик: "На память о Мангейме я кое-что привез"; это была маленькая бронзовая копия памятника Шиллеру, установленного перед Мангеймским театром, и Эш показал на посудную полочку, с которой выглядывала Эйфелева башня с черно-бело-красным флажком: там, наверху, она, наверное, очень неплохо смотрелась бы. А поскольку вещицу эту он просто вот так взял и привез ей, то поступок этот вызвал у госпожи Хентьен довольно неожиданную искреннюю радость, ведь это было то, что она могла бы показать своим подругам: "О нет, здесь же ее никто не увидит; какая прелесть, я заберу ее в свою комнату... господин Эш, вам, право же, не нужно было входить в такие расходы". Эта ее сердечность вернула ему хорошее настроение, и он начал рассказывать о своей жизни в Мангейме, не упуская при этом возможности высказывать мысли, которые хотя и принадлежали этому идиоту Лобергу, но, как ему все же казалось, могли понравиться матушке Хентьен. Иногда прерываясь, когда ей приходилось отлучаться к стойке, он восхвалял красоты природы и особенно Рейна, удивлялся тому, что она постоянно сидит в Кельне и не получает удовольствие от того, что так дос-

тупно. "Это для парочек",— пренебрежительно отмахнулась госпожа Хентьен, с чем Эш, прибегая к обтекаемым формулировкам, не согласился, заявив, что такую вылазку она вполне могла бы совершить одна или в сопровождении какой-нибудь из своих подруг. Для госпожи Хентьен это прозвучало вполне убедительно и респектабельно, и она сказала, что, быть может, как-нибудь воспользуется его советом. "Впрочем,— высокомерным тоном заявила она,— с Рейном я хорошо знакома еще с девических лет". Голос ее еще звучал в его ушах, а взгляд вдруг застыл, устремленный в пустоту. Эша это не удивило, ибо ему были хорошо знакомы эти внезапные перепады в настроении матушки Хентьен. Только в этот раз они имели под собой особую причину, о которой Эш, естественно, и не подозревал: первый раз случилось такое, что госпожа Хентьен поделилась с одним из своих гостей воспоминаниями из своей собственной жизни, она была так напугана этим, что быстренько ретировалась к стойке, дабы, став перед зеркалом, поправить легким прикосновением пальцев сахарного цвета прическу. Она сердилась на Эша за то, что он вторгся в ее сокровенное, и она больше не подходила к нему, хотя памятник Шиллеру по-прежнему стоял на его столике. Больше всего ей хотелось крикнуть, чтобы он убрал его, тем более, что вокруг Эша уже сгрудилась парочка старых друзей, которые ощупывали подарок мужскими глазами и пальцами. Она вообще скрылась на кухне, и Эш понял, что совершил какой-то необъяснимый проступок. Когда наконец она снова показалась в зале, он поднялся и принес статуэтку к стойке. Она вытерла ее полотенцем для протирания посуды; Эш, который всегда с трудом улавливал тот момент, когда пора и честь знать, остался стоять у стойки, начав рассказывать, что в театре, который возвели напротив памятника, дают премьерные постановки — словечки эти стали ему известны благодаря общению с Гернертом,— так вот, дают премьерные постановки пьес Шиллера. А сейчас он вообще располагает многогранными связями в театральном мире, и если все будет в порядке, то скоро он сможет обеспечивать ее

билетами на спектакли. Так у него связи в театральном мире? Ну да, он же всегда вел довольно бессмысленный и пустой образ жизни. Для матушки Хентьен представления о связях в театральном мире всегда ограничивались певичками, и она пренебрежительно и свысока заявила, что терпеть не может театр, поскольку единственное, о чем там идет речь, так это любовь; а ей подобная тема скучна. Эш не решился спорить с ней, а когда госпожа Хентьен, дабы сохранить свой подарок в целостности и сохранности, понесла его в свою комнату, он попытался завязать разговор с Хеде, которая лишь слегка кивнула ему, обиженная, очевидно, тем, что он не посчитал достойным своих усилий черкнуть и ей пару строк на почтовой открытке. Хеде вообще производила впечатление человека, постоянно пребывающего в дурном расположении духа, да и во всей забегаловке витала беспросветная тоска, в тяжелую атмосферу которой изрыгнул грохочущие звуки музыкальный автомат, запущенный одним из "подогретых" посетителей. Хеде ринулась к автомату, чтобы остановить его, поскольку музыка в столь поздний час строжайше запрещалась полицией, а мужики заржали удавшейся шутке. Сквозь приоткрытое окошко внутрь проник порыв ночного ветерка, и Эш, вздохнув полной грудью, выскользнул в мягкую прохладу ночи прежде, чем Хеде успела снова вернуться к нему, он спешил, чтобы не встретиться еще раз с госпожой Хентьен; иначе она чего доброго растрезвонит, что он оставил свою работу в Среднерейнском пароходстве; матушка Хентьен ни за что не позволила бы вешать себе лапшу на уши утверждениями, будто борьба — дело серьезное, она не поверила бы в гарантированный успех в будущем, скорее наоборот, отпускала бы язвительные замечания по этому поводу, может, и по праву. Но на сегодня с него было достаточно, так что он счел разумным уйти.

В темных мрачных переулках было свежо, летом здесь всегда так бывает. Эш испытывал какое-то необъяснимое чувство удовлетворения. Воздух и темные стены вызвали ощущение уюта; чувство одиночества ушло. У него даже возникло же-

лание встретить Нентвига. С каким удовольствием он бы его сейчас основательно поколотил. Душа Эша радовалась тому, что в жизни хоть иногда можно прибегнуть к простым решениям. Лотерейные выигрыши все же встречаются, хотя и редко, тем более он должен продолжить свою затею с борьбой.

У театрального агента Оппенгеймера не было ни приемной с мягкой мебелью, ни служителя с блокнотом для записи посетителей. Наверное, ничего удивительного, но люди неохотно меняют лучшее на худшее, вот и у Эша в глубине души таилась надежда встретить контору, которая хоть в чем-то напоминала бы Среднерейнское пароходство, эта надежда распространялась, конечно же, и на театральные дела. Но все было по-другому. Поднявшись по темной узкой лестнице в бельэтаж, найдя на двери табличку агентства Оппенгеймера, он постучал, на его стук никто не ответил, и он, толкнув дверь, вошел без приглашения. В комнате стоял таз с грязной водой; на множестве полок висели горы макулатуры. На одной из стен висел большой рекламный календарь какого-то страхового общества, на другой, в рамке и под стеклом — рекламный плакат акционерного судоходного общества "ХАПАГ" с цветным изображением парохода "Императрица Августа Виктория", который в окружении судов меньшего размера покидал акваторию порта, рассекая пенящуюся синеву Северного моря.

Бегло осмотрев комнату, Эш, находясь здесь по делу, не стал терять времени и, поскольку застенчивость не была свойством его характера, вошел, хотя и несколько замедленным шагом, в другую комнату. Там он нашел письменный стол, который в отличие от прочего бардака демонстрировал только лишь гладкую поверхность без единого намека ну хоть на какую-нибудь письменную принадлежность, правда, на нем было безумное количество чернильных пятен, старых серого цвета и новых желтого цвета надразов и царапин, покрывавшая часть стола зеленая скатерка была вся изодрана. Другой двери в этой комнате не было. Стены также имели множество украше-

ний, прикрепленных к обоям канцелярскими кнопками, тут было довольно много фотографий, так что внимание Эша привлекли снимки одетых в трико или блестящие костюмы дам в соблазнительных вызывающих позах, он попробовал определить, нет ли среди них Илоны. Затем, правда, он понял, что более пристойным будет выйти из помещения и попытаться выяснить, куда же подевался господин Оппенгеймер. Поскольку в доме не оказалось ни портье, ни дворника, он позвонил в некоторые из соседних дверей и получил презрительным тоном справку, которая свидетельствовала, что особой популярности господин Оппенгеймер здесь не снискал, ему сказали, что определить часы работы агентства господина Оппенгеймера в высшей степени затруднительно. "Ну, вы можете, конечно, подождать, если у вас нет более пристойного занятия",— посоветовала одна женщина.

Делать нечего, пришлось ждать. То, как соседи отзывались об этом типе, приятным не назовешь, а если такое презрение является составной его новой профессии, то это тем более не радует. Но изменить что-либо было уже невозможно, он взвалил на себя сию ношу из-за любви к Илоне (в груди в области сердца шевельнулось едва уловимое сладострастное чувство), теперь все это является его новой профессией, поэтому Эш терпеливо ждал. Нет, все-таки прелестнейшим образом организовал работу у себя в конторе этот господин Оппенгеймер. Эш криво усмехнулся; да, это не та фирма, где просят предъявить отзыв с предыдущего места работы. Он стоял перед входом в дом, бросая на улицу нетерпеливые взгляды, пока наконец его внимание не привлек белокурый, розовощекий, до неприличия маленького роста мужчина, который повернул к дому и начал подниматься по лестнице. Эш последовал за ним. Это и был господин Оппенгеймер. Когда он объяснил ему цель своего визита, господин Оппенгеймер сразу же ответил: "Из-за дамской борьбы? Займусь, займусь я этим. Но ответьте мне на такой вопрос, зачем вы нужны этому Гернерту?" Да, зачем он нужен Гернерту? Почему он здесь? Как он вообще оказался

здесь теперь, когда уволился с работы в Среднерейнском пароходстве? Ведь это уже была отнюдь не командировочка, о которой он раньше так много думал. Зачем он, собственно, вообще прибыл в Кельн? Ну не потому же, что Кельн ближе к морю?

Когда молодцеватый мужчина уезжает в Америку, то его родственники и друзья стоят на набережной и машут вслед носовыми платочками. В портовой часовне играют "Ибо пришла пора, пришла пора город мой оставить", и видно, что из-за регулярности выходов судов из порта выражение святости на лице капельмейстера кажущееся, но тем не менее мелодия многих берет за душу. Когда напрягается трос, тянущийся от маленького буксира, океанский исполин начинает медленно скользить по темной несущей зеркальной поверхности воды, а над волнами все еще раздаются скудные и одинокие аккорды успокаивающей душу мелодии, которой заботливый капельмейстер пытается приободрить тех, кому приходится разлучаться. Затем некоторые из них начинают осознавать, как сильно разбросаны люди по поверхности земли и моря, сохраняются лишь тонкие-претонкие ниточки, которые тянутся от одной человеческой души к другой. А когда океанский исполин выходит в открытое море, цвет воды под ним блекнет, и уже не ощущается течения реки, более того, начинает казаться, что течение повернуло вспять, и теперь море устремляется в гавань, а океанский исполин углубляется в гигантское облако невидимого, но тем не менее ощутимого страха, и уже многие хотели бы остановиться и повернуть назад. Мимо судов, расположившихся вдоль запущенного, подернутого дымкой берега, над которыми с визгом вращаются краны, разгружая и загружая неопределенные грузы для неопределенных целей, мимо заброшенного берега, покрытого ближе к реке пыльной зеленью, переходящей в скудные сельскохозяйственные насаждения, наконец, мимо дюн, где уже просматривается башня маяка, океанского исполина буксируют все дальше и дальше, и он, словно изгнанник, послушно следует за своим стражем, а на кораблях и на

берегу стоят люди, которые наблюдают за всем происходящим, они поднимают руки, словно пытаются удержать его, и ограничиваются слабым и беспомощным прощальным взмахом. И вот за линией горизонта почти совсем исчезает его корпус, с трудом просматриваются лишь три трубы, и кто-нибудь из тех, кто на берегу, спрашивает, возвращается корабль в порт или же уходит в одиночество морского плавания, которое находящимся на берегу ощутить никак не дано. Узнав, что корабль держит курс к берегу, спрашивающий успокаивается, словно корабль этот несет ему нечто самое дорогое или же, по меньшей мере, письмо, которого он так давно ждет. Иногда там вдали, в светлой дымке, на границе территориальных вод встречаются два судна, и видно, как они скользят мимо друг друга. Это мгновение, во время которого оба мягких силуэта сливаются друг с другом, превращаясь в один,— мгновение хрупкого величия, исчезающего по мере их нежного разделения, такого же беззвучного и мягкого, как и далекая дымка, в которой все это происходит, и где каждый продолжает следовать своей дорогой. Сладостная надежда, которой никогда не суждено исполниться.

Но тот, который плывет там вдали на корабле, не знает, что мы переживаем за него. Он видит лишь проплывающую мимо волнистую полоску берега, и только тогда, когда, будто случайно, на горизонте возникает желтоватая полоска маяка, он осознает, что там, на земле, остались люди, которые беспокоятся за него и думают о его безопасности. Он не осознает опасности, в которой находится, не ощущает, что от морского дна, называемого землей, его отделяет огромная толща воды. Опасности боится только тот, у кого есть цель, ибо за нее он и переживает. Но вот он ходит по гладким корабельным доскам, ведущим, подобно велодрому, по кругу вдоль палубы, по такой ровной дорожке ему еще никогда в жизни не приходилось ходить. У того, кто в море, цели нет, да он и не в состоянии к ней стремиться; он погружен в себя. Все, что только может быть в душе его, спит. Тот, кто любит его, делает это просто потому,

что обещал, но только не во имя своих чувств, и не для того, чтобы тот, кто в море, почувствовал эту любовь, он никогда ее не поймет и не ощутит. А значит, людям, находящимся на суше, неизвестно, что такое любовь. Путешествующий по морю вскоре осознает это, и нити, соединяющие его с теми, кто остался на берегу, рвутся еще до того, как очертания берега исчезнут за линией горизонта. Иногда даже кажется излишней попытка капельмейстера приободрить его своей мелодией, ибо морскому путешественнику для полного успокоения достаточно просто провести рукой по гладкой, отполированной поверхности коричневого дерева или по блестящим латунным планкам обшивки. Перед ним распахнуты мерцающие морские просторы — и он доволен. Его несут мощные машины, и их гул обозначает дорогу, ведущую в никуда. Становится другим взгляд морского путешественника, это взгляд помудревшего человека, взгляд, который нас уже и знать не хочет. То, что когда-то называлось задачей, уже забыто, его больше не интересует правильность суммированных колонок, и когда он проходит мимо каюты телеграфиста и слышит, как трещат аппараты, то удивление у него вызывает только механика, до его сознания даже не доходит, что кто-то с помощью этого аппарата получает весточку с земли или отправляет такую же весточку на землю, и не будь морской путешественник трезвомыслящим человеком, он, пожалуй, мог бы подумать, что кто-то разговаривает с космосом. Он испытывает теплые чувства к китам и дельфинам, играющим вокруг корабля, и не боится айсбергов. Он не желает видеть вдали очертания берега, он может даже забиться в брюхо корабля, пока они не исчезнут, он ведь знает, что на берегу ждут его не любовь, не расслабленность и свобода, а напряженный страх и стены крепости, за которыми — цель. Тот же, кто ищет любви, стремится к морю: он спокойно может говорить о земле, лежащей по ту сторону морских просторов, но не ее он имеет в виду, он думает о путешествии, о надежде одинокой души, о времени, когда он сможет открыться и воспринять другую любовь, возникающую в светлой дымке и вливающуюся в него, в осво-

божденного, воспринимая его сущим, нерожденным и бес-
смертным, таким, какой он есть.

Такие мысли, конечно, не роились в голове у Эша, когда он помышлял уехать в Америку, прихватив с собой на пароход бухгалтеров Среднерейнского пароходства. Но придя в бюро господина Оппенгеймера, он долго и пристально рассматривал "Императрицу Августу Викторию", которая мощным корпусом рассекала морские волны.

Он вернулся к своему прежнему образу жизни, занял свою предыдущую комнату и частенько наведывался к матушке Хентьен отобедать. Он старательно эксплуатировал свой велосипед, правда, теперь его ежедневный путь лежал не на "Штемберг и К^о", а к господину Оппенгеймеру. Госпожа Хентьен наблюдала за изменением его деятельности взглядом, в котором, несмотря на все его безразличие, проскальзывало что-то похожее на пренебрежение, недовольство и даже озабоченность, и хотя Эшу и приходилось признавать, что ее озабоченность не лишена основания, а может быть, именно поэтому он старался представить ей преимущества и перспективы своей новой профессии в как можно более светлых тонах, но это удавалось ему лишь отчасти. И хотя госпожа Хентьен прислушивалась, правда, вполуха, к его бодрящим рассказам о той новой, большой жизни, на пороге которой он сейчас стоял и которая может охватить не только Америку, но и все остальные части света, однако эта мешанина сияющего богатства, творческой богемы и радости от путешествий, которую он усиленно разрисовывал перед ней, будоражила в ней мысли о той цели, достигнуть которую дано не ей, а другому — столь сильной была зависть женщины, уже пятнадцать лет ненавидящей жалкий жребий, брошенный ей судьбой. Можно даже сказать, что она была преисполнена своего рода язвительного восхищения, потому что в то время, как она, с одной стороны, постоянно помнила о пустоте и недостижимости его целей, с другой — старалась превзойти его фантазии, давая ему высокомерные советы и постоянно напоминая о том, что он мог бы стать хозяином или, как он сам го-

ворил, президентом этого полчища художников, артистов и директоров. "Прежде всего это собрание нужно привести в чувство и навести порядок,— имел он обыкновение отвечать ей,— это то, чего в первую очередь недостает". Да, в этом он был совершенно уверен, и это глубокое пренебрежение ко всему, что имело отношение к искусству, было вызвано не только созерцанием толстой записной книжки Гернерта и бюро Оппенгеймера, где царил абсолютный бардак, оно также почти полностью совпадало с мнением матушки Хентьен. И в такой момент удивительного совпадения мнений — проблемы мирового масштаба часто находят свое решение в уюте домашних стен — госпожа Хентьен приняла его предложение предоставить ему для бухгалтерской проверки свои счета и деловые записи; она пошла на это с пренебрежительной улыбкой и в полной уверенности, что ее предельно простая кассовая книга и без того ведется правильно и образцово. Но не успел Эш углубиться в колонки цифр, как матушка Хентьен налетела на него с возгласами, что ему вовсе ни к чему надувать щеки, что от такой бухгалтерии ее всегда воротило и что пусть лучше он займется своими театральными делами, которые куда больше нуждаются в его контроле, чем ее дела. И она выхватила у него из-под носа бухгалтерские книги.

Да, театральное дело! В постоянной неопределенности этого дела Оппенгеймер уже привык без особых эмоций воспринимать случайности, а настойчивость Эша ставила его в определенной степени в тупик, он посмеивался над тем, что каждое утро к нему на велосипеде заявляется мужчина, который мнит себя чуть ли не компаньоном; но он стал относиться к нему несколько иначе, узнав, что Эш вкладывает в эту затею с борьбой деньги, он даже терпеливо сносил все ежедневные неприятные замечания Эша, касавшиеся бардака в его агентстве. Вместе они провели переговоры с владельцем театра "Альгамбра"¹ по вопросу аренды помещения на июнь и июль, а

¹ Альгамбра — дворец мавританских властителей в Испании около Гранады.

поскольку рабочему усердию Эша необходимо было найти применение, то он получил задание заняться набором дам для борьбы.

Эш, который хорошо был знаком с забегаловками, борделями и вращался в кругу дам соответствующего уровня, словно был создан для этой задачи. Он прочесал нужные заведения и нашел подходящих девочек, которые были бы не прочь дерзать на спортивном поприще, он вносил их имена и личные данные в заведенную им записную книжку, при этом в отдельную колонку с аккуратной надписью "Примечания" он не забывал записывать напротив каждой фамилии свое мнение о пригодности кандидатуры и ее квалификации. Особое предпочтение он отдавал девушкам с иностранными именами или же иностранкам по происхождению, ведь соревнования должны будут иметь статус международных, вот только венгерок он отметал напроць. Это занятие выглядело достаточно комично, когда приходилось ощупывать девичьи мышцы, а бывало и такое, что кто-нибудь из этих крепких очаровашек соблазнял его. Тем не менее деятельность эта радости ему не доставляла, и когда он пренебрежительно рассказывал о ней матушке Хентъен, то говорил он правду; такое занятие он уже не мог считать достойным себя и предпочитал отсиживаться за голым столом у Опенгеймера или же решать вопросы, касающиеся "Альгамбры".

Там он частенько прохаживался по пустому серому залу, сопровождаемый гулким звуком собственных шагов, по неустойчивому перекрытию, которым была закрыта оркестровая яма, поднимался на сцену, серые голые огромные стены которой казались слишком уж тяжеловесными для легкого драпа кулис. Меряя сцену размашистыми шагами, он словно праздновал триумф по поводу того, что здесь уже никогда не позволено будет метание ножей, он заглядывал в канцелярию директора, взвешивая, не пришло ли время ему заняться обустройством этого кабинета. Иногда его посещали мысли и о том, что кто-нибудь надо будет показать свою новую империю госпоже Хентъен. Прикосновение воздуха внутри было чужим и холодным,

тогда как открытая площадка ресторанчика снаружи изнывала от яркого жгучего солнца, и эта замкнутая в себе империя открытого пылью отчуждения была подобна уединенному острову неведомого, затерявшегося в мире известных вещей, она манила и указывала на то, что отчужденно и многообещающе лежало там, за серым морем. Иногда он заглядывал в "Альгамбру" и вечером. Тогда открытая площадка ресторанчика была ярко освещена, а посетителей развлекал довольно большой оркестр, расположившийся на деревянной сцене под деревьями. Темная и почти незаметная громада театра высилась за фонарями, погруженная до самой крыши в сумерки, никому даже в голову не приходило задуматься над тем, какой он большой и как устроен. Эш охотно приходил сюда в эти часы, приятно было осознавать, что именно ему, а не кому-то другому было доверено право снова пробудить к жизни эту темную громаду.

Когда Эш в один из дней после обеда завернул в "Альгамбру", то застал владельца театра за карточной игрой у стойки. Он присоединился к нему и просидел за игрой аж до самого вечера. К концу дня Эш ощутил, что голова его пуста и лицо задеревенело, ему стало ясно, что жизнь здесь точно такая же, как и на мангеймских складах во время забастовки. Единственное, чего не доставало, так это Корна и его хвастливых речей о любовных отношениях с Илоной. Какой же тогда смысл имело его увольнение из Среднерейнского пароходства? Он торчал здесь в деловой праздности, прожирал свои деньги и не мог даже отомстить за Мартина. Если бы он остался в Мангейме, то, по крайней мере, имел бы возможность навестить его в тюрьме.

За ужином он посетовал на то, что столь бесстыдным образом бросил Мартина, а когда госпожа Хентьен ответила на это, что каждый сам кузнец своего счастья и господину Гейрингу, которого она неоднократно предупреждала, непозволительно требовать, чтобы друг из-за него оставался торчать в этом

Мангейме, отказываясь от блестящей карьеры, разозлился и так окрысился, что она моментально ретировалась за стойку и начала поправлять прическу. Он немедленно уплатил по счету и ушел, кипя от ярости: такое безделье она называет отличной карьерой. Впрочем, ему не хотелось признавать, что именно это является причиной его ярости, он обвинял ее просто в холодном, бессердечном отношении к Мартину и всю ночь ломал себе голову над тем, чем можно помочь Мартину.

Рано утром Эш отправился к Оппенгеймеру. Найдя ручку и пару листов бумаги, он добрую половину дня провел за сочинением злой статьи, в которой рассказывал о том, что заслуженный профсоюзный секретарь Гейринг стал жертвой дьявольских демагогических интриг Среднерейнского пароходства и мангеймской полиции. Эту статью он немедленно отнес в редакцию социал-демократической "Фольксвахт".

Здание, в котором располагалась редакция "Фольксвахт", впечатления газетного дворца не производило. Не было и намека на мраморные вестибюли и двери из кованого железа. Здесь даже чувствовалось какое-то сходство с конторой Оппенгеймера, разве что только в беготне сотрудников просматривалось больше усердия; но по воскресеньям, когда газета не выходила, все здесь должно было выглядеть точно так же, как и у Оппенгеймера. При прикосновении к металлическим перилам ощущалась их липкая, грязная поверхность, на осыпавшейся в некоторых местах и ободранной стене угадывались следы частых покрасок, а выглянув в окно, можно было увидеть узкий дворик, в котором стояла телега с рулонами бумаги. Печатные станки работали с какими-то астматическими выдохами и вдохами. Через некогда белую дверь, беспрерывно издающую резкие звуки, поскольку замок не защелкивался, попадаешь в редакцию. Вместо календаря страховой компании там висит расписание движения поездов, а вместо изображений танцовщиц — фотография Карла Маркса. Все остальное было таким же, как у Оппенгеймера, и то, что он пришел, стало как-то сразу совершенно излишним, даже статья, которая все-таки про-

изводила сильное и грозное впечатление, показалась вдруг блеклой и никому не интересной. "Везде один и тот же сброд,— подавляя в себе злость, подумал Эш,— демагогический сброд, который везде живет в абсолютно одинаковом бардаке". Нет, абсолютно лишено смысла всучивать тем или другим оружие; оно будет бесполезным в их руках, ибо они не знают, что находится по эту, а что по ту сторону баррикад.

Его отправили в другую комнату. За столом, который, вероятно, разочек все же обтягивали полотном, сидел мужчина в коричневом бархатном пиджаке. Эш протянул ему рукопись. Редактор бегло пробежался по ней, пролистал и положил в коробку рядом с собой. "Вы же ее даже не прочитали",— резко заметил Эш. "Что вы, что вы, я в курсе... мангеймская забастовка; посмотрим, сможем ли мы это использовать". Эш был поражен тем, что этот тип не поинтересовался содержанием написанного, а представляет все так, словно ему все уже известно. "Я настаиваю, чтобы вы посмотрели, это факты, которые представляют забастовку в совершенно новом свете",— заявил Эш. Редактор еще раз взял в руки рукопись для того, правда, чтобы тут же снова бросить ее, "Какие факты? Я не вижу здесь ничего нового". У Эша возникло впечатление, что этот тип хочет похвастать тем, что все знает. "Я же был очевидцем; я присутствовал на этом собрании!" "Ну и что? Наши люди тоже были там". "Значит, вы уже об этом писали?" "Я считаю, что там ничего особенного не произошло". Это заявление настолько ошарашило Эша, что он опустился на стул, хотя никто ему этого не предлагал. "Уважаемый господин и товарищ,— продолжал редактор,— мы в конце концов не можем ждать, пока вам заблагорассудится принести нам статью". "Да, но...— Эш ничего не понимал,— но почему в таком случае вы ничего не предпринимаете, почему вы бросили Мартина,— он поправился,— почему вы бросили Гейринга, который невиновен и вынужден сидеть в тюрьме?" "Ах, вон оно что... все мое уважение у ног вашего правосознания,— редактор начал читать рукопись, подписанную фамилией Эша,— господин Эш... вы,

значит, полагаете, что опубликовав эту статью, мы сможем освободить Гейринга?" Он усмехнулся. Эш не позволил ввести себя в заблуждение непринужденностью редактора: "В тюрьме должны находиться совершенно другие люди... это более чем понятно тем, кто присутствовал на собрании!" "Итак, вы считаете, что мы должны засадить на место Гейринга дирекцию Среднерейнского пароходства?" "Дерьмо собачье,— подумал Эш, не отвечая ни слова. Засадить Бертранда? Значит, и Бертранда тоже, а не только Нентвига! Ведь в конечном счете, если посмотреть на все это при хорошем освещении, не так уж и велика разница между каким-то там президентом и каким-то Нентвигом. Впрочем, тот, который в Мангейме, был штучкой в чем-то получше, просто засадить такого было бы явно недостаточно. Но примирительным тоном он сказал: "Бертранда — в тюрьму". С лица редактора по-прежнему не сходила улыбка: "Может случиться такое, что мы пожалеем". "Почему это?" — заинтересованно спросил Эш. "Потому что это милый и обходительный господин,— ответил редактор,— отличный предприниматель, с которым всегда можно найти общий язык". "Вам что, так нравится находить общий язык с тем, кто снюхался с полицией?" "Ах ты ж, Боже мой, то, что предприниматели сотрудничают с полицией,— само собой разумеющееся дело; если бы мы были на их месте, мы поступали бы точно так же..." "Хорошенькая справедливость",— возмущенно протянул Эш. Редактор, уступая, игривым жестом поднял руки: "А чего вы хотите, это же капиталистический правопорядок. Пока что наблюдательный совет, который заботится о том, чтобы предприятие работало, нам куда милее того, который ведет его к краху. А если бы было по-вашему и всех руководителей фабрик, которые выступают против нас, упрятали бы за решетку, то вероятнее всего, наступил бы экономический кризис, за который нам пришлось бы благодарить самих себя, разве не так?" Эш, закипая, упрямо повторил: "И все же его место — в тюрьме". Веселое настроение редактора раздражало все больше. "А, теперь я вас понимаю, вы имеете в виду то, что он голубой..." Эш уста-

вился на него: редактор этот становился к тому же и забавным. "...Значит, это вам не по душе? Ну, что касается данной проблемы, то я должен вас успокоить: он занимается этим там, на юге, в Италии. А вообще-то засадить такого господина куда сложнее, чем, скажем, какого-нибудь социал-демократа". Вот такие, значит, дела: мягкая мебель, служители в серебряных ливреях, экипажи и голубой, а на фоне всего этого наслаждается свободой Нентвиг! Эш продолжал внимательно смотреть на веселую физиономию редактора: "Но Мартин-то в тюрьме!" Редактор положил на стол карандаш и развел руками: "Дорогой друг и товарищ, мы с вами ничего не сможем здесь изменить. Забастовка в Мангейме была изначально великой глупостью, и нам не оставалось ничего другого, как позволить событиям развиваться так, как они развивались, и смириться с неудачей; теперь же мы можем разве что радоваться тому, что те три месяца, которые получил Гейринг, дают нам материал для агитации. Так что большое спасибо за вашу статью, дорогой друг и товарищ, и если у вас появится еще что-нибудь, несите к нам быстрее, чем в этот раз". Он протянул Эшу руку, и Эш, невзирая на наполнявшую его ярость, отвесил ему слабый поклон.

Приближался июнь. Эш обеспечил Оппенгеймеру выход на типографию и фирму по изготовлению плакатов; все было подготовлено, эффектные объявления на рекламных тумбах и щитах сообщали жителям города, что самые сильные женщины из различных стран встретятся здесь, чтобы помериться силами, а кто в этом сомневается, может прочесть список участниц и убедиться в правильности такого утверждения: там была Татьяна Леонова, русская чемпионка, Мaud Фергюсон, победительница чемпионата в Нью-Йорке, Мирзль Оберляйтнер, обладательница Кубка Вены, не стоит забывать и о немецкой чемпионке Ирментрауд Крофф. Имена по большей части были плодами фантазии Оппенгеймера, которому настоящие имена девушек казались слабоватыми для эффектного воздействия. Эш безуспешно пытался возражать против такого надувательства: для

того что ли он рыскал в поисках дам иностранного происхождения, чтобы теперь этот еврей химичил с их именами? Он воспринял это как еще один признак анархического состояния мира, в котором никто толком не знает, где левая сторона, а где — правая, понятия не имеет, где он находится: по эту сторону баррикад или по другую, и в котором в итоге становится абсолютно все равно, дает господин Оппенгеймер то имя или это; нужно радоваться хотя бы тому, что в списке пока что нет венгерского имени. Видит Бог, лучше бы этой Венгрии совсем не существовало. И то, что в перечень борцов Оппенгеймером была включена Италия, тоже казалось ему неподходящим. Есть ли уверенность в том, что на юге вообще встречаются женщины? Там шастают лишь толпы голубых. И все же бросить взгляд на плакат с иностранными именами было приятно: страна выстраивалась рядом со страной, и большой мир, казалось, служил гарантом успеха в будущем. Он притащил плакат в забегающую матушки Хентьен и без лишних вопросов прикрепил его на деревянную стену под Эйфелевой башней.

Но госпожа Хентьен все еще дулась на него за то, что он тогда окрысился на нее из-за Гейринга, она крикнула ему из-за стойки, что свои плакаты он может расклеивать там, где ему будет позволено; здесь же она все решает сама. Ее рассерженная физиономия снова напомнила Эшу об инциденте, о котором он и думать позабыл, и он сделал вид, что намерен последовать ее требованию. Такая покладистость разоружила матушку Хентьен; продолжая браниться, она вышла из-за стойки и подошла поближе, чтобы рассмотреть плакат. Когда же ей удалось прочесть женские имена, ее душа наполнилась состраданием и отвращением: ей казалось, что эти бабы вполне заслужили унижение возиться на глазах у этих отвратительных мужчин, но в то же время она им сочувствовала. Эш, который организовал все это, казался ей каким-то пашой среди женской толпы, и это выглядело так низко и подло, что она не могла поставить его даже рядом с остальными мужчинами, которые высиживали здесь со своими низменными желаниями. Его ко-

роткие, торчащие ежиком волосы, эта темноволосая голова, желтовато-красноватая кожа, ух, ей было страшно, нет, она решительно не понимала, как сможет терпеть здесь этого человека вместе с его плакатом, она испугалась, что он схватит ее сейчас за руку; казалось, он намеревается накинуться на нее, обезоружить, чтобы пристроить ко всем этим женщинам, имена которых значились на плакате. Она была даже немного разочарована, когда не произошло ничего подобного, а Эш послушно водил пальцем по именам на плакате: "Россия, Германия, Соединенные Штаты Америки, Бельгия, Италия, Австрия, Богемия", — читал он, и поскольку это звучало пристойно и безопасно, госпожа Хентьен успокоилась. Она сказала: "Но здесь еще не представлены некоторые страны, например Швейцария и Люксембург". Затем она отвернулась от плаката, словно от него исходил неприятный запах: "Неужели вам нравится возиться со всеми этими женщинами?!" Эш ответил ей словами Мартина: каждый человек находится там, где его поставил Бог, а что касается взаимоотношений с этими борцами в юбках, то это задача не его, а Тельчера; сам он занимается чисто административными делами.

Тельчер приехал в Кельн и созвал выбранных Эшем дам в бюро Оппенгеймера. Он торчал там до самого обеда, некоторых отсеял с самого начала, остальным же велел прибыть в "Альгамбру", где намеревался дать первый урок и проверить их пригодность к представлению.

Это было веселое мероприятие: Тельчер сразу же прихватил с собой борцовские трико, и после того как Эш проверил присутствующих по своим записям, господин Тельтини пригласил дам зайти в костюмерную и надеть трико. Большинство барышень отказались сделать это, они хотели сначала посмотреть на других в этом необычном костюме. А когда те, обнаженные и сильно смущаясь, вышли из костюмерной, все рассмеялись. Дверь на открытую площадку ресторанчика была широко распахнута; внутрь весело заглядывала зелень деревьев, а когда врывался порыв ветерка, то в зале ощущалось тепло

утреннего солнца. В дверях стоял владелец театра, столпились поварахи из ресторана, а Тельчер взобрался на сцену, чтобы на расстеленном там мягком коричневом ковре показать правила греко-римской борьбы. Затем он позвал для пробы на сцену одну пару; но никто не изъявил желаний; хихикая, девушки толкались, выпихивали то одну, то другую вперед, те противились и норовили снова втиснуться в толпу. Наконец, две из них решились; но как только Тельчер вознамерился показать первые приемы, они захихикали и опустили руки, не решаясь схватить друг друга. Тельчер потребовал к себе другую пару, а поскольку история повторилась, то он обратился к Эшу с просьбой еще раз зачитать список имен и попытался с помощью шуточных замечаний создать строгую и вместе с тем азартную атмосферу для работы. Если звучало французское имя, то он рассыпался в похвале галлийской отваге и приглашал "гордость Франции" на сцену, не меньше почестей досталось и "польской великанше", короче, он уже сейчас демонстрировал, в каких уважительных и зажигательных выражениях он будет представлять дам публике. Некоторые поднялись на сцену, тогда как другие с визгом упирались, утверждая, что это занятие не для них и что они хотели бы снова одеться, на это Тельчер согласился с выражениями сожаления и комичным отчаянием. Не обошлось, конечно, без инцидента: когда Эш громким голосом произнес имя Ручена Хруска, а Тельчер ответил: "Поднимись, о, ты, богемская львица", к рампе протиснулась полная рыхлая женщина, которая была еще не раздета, певуче резкой интонацией, присущей ее языку, она завопила, что не будет выставлять себя на посмешище за эти презренные деньги; "Я отказывалась, я уже много раз отказывалась от денег, потому что не могу позволить, чтобы над моим телом насмехались", — кричала она Тельчеру, и пока он подыскивал шуточное слово, дабы разрядить обстановку, она взмахнула своим солнцезащитным зонтиком, словно желая его выбросить. Затем она замолчала; ее округлые полные плечи начали вздрагивать, и стало видно, что она плачет. Проходя мимо расступившихся притихших и перепуганных де-

вушек, она вдруг остановила взгляд на Эше, который устроился со своим списком за каким-то столом; она наклонилась к нему и прошипела прямо в лицо: "Вы... вы плохой друг, притащить меня сюда на позор". Затем со слезами на глазах она вышла. Между тем Тельчер снова овладел ситуацией, а инцидент имел и свою положительную сторону: девушки, словно устыдившись своей прежней беспечности, были уже готовы к более серьезной работе; Тельчер радостным тоном похвалил их, и вскоре все забыли об неуравновешенной чешке. Даже Эш уже не думал о ее обвинениях, хотя все же признал, что был плохим другом, но он был уверен, что еще заставит этих уродов освободить Мартина. С такими мыслями он отправился домой.

Госпожа Хентьен осторожно высморкала нос и рассмотрела результат этой процедуры на носовом платке. Эш рассказал ей об инциденте с неуравновешенной чешкой — его, вероятно, угнетало чувство вины, а госпожа Хентьен набросилась на него, говоря, что он вполне заслужил того, чтобы эта достойная сочувствия особа выцарапала ему глаза. Для того, кто снюхался с подобными женщинами, все еще очень даже хорошо закончилось. Неужели он этого ну совсем не понимает? Какая-то особа, которой бы радоваться, что он предоставил ей возможность заработать! Да, вот она благодарность. Но эта чешка совершенно права, именно так следует обращаться с мужчинами: лучшего они не заслуживают. Радоваться тому, что пара бедных баб, одетых в трико, возьмется на сцене! Да они в десять раз лучше этих мужиков, от которых терпят все на свете. Со злостью в голосе она бросила ему: "Да отложите вы в конце концов вашу сигару". Эш уважительно последовал ее требованию, но не только потому, что она накрыла ему более чем богатый стол за просто смехотворную цену, а и потому, что оставлял за ней право представлять греховный перелом в его жизни в таком свете, какой он заслуживал. Он попал в довольно сложную ситуацию: из тех трехсот марок, которые предназначались для затеи с борьбой, у него оставалось теперь каких-то там двести пятьдесят, и хотя он в первый же день должен был получить

свою долю с прибыли, он не знал, что делать дальше. Ему нужна была работа, чтобы та жертва, о которой он, собственно, уже и не вспоминал, но которую принес ради Илоны, не обернулась для него катастрофой; он бы охотно поговорил об этом с матушкой Хентьен, но его тщеславие удерживало его, ибо она была вовсе не расположена к тому, чтобы осознать, что даже самая блестящая карьера имеет свои истоки в бедности. Он просто сказал: "Лучше уж борьба, чем это метание ножей". Госпожа Хентьен уставилась на нож в руке Эша; хотя она и не поняла его слов, но ей это было неприятно. Поэтому она ответила кратко: "Может быть". "Хорошее мясо", — похвалил Эш, наклонившись над тарелкой, на что она с достоинством знатока ответила: "Филе". "А та жратва, которой они сейчас потчуют бедного Мартина..." "Мясо лишь по воскресеньям... — сказала госпожа Хентьен и добавила с едва уловимой радостью: — В остальные дни в основном свекла, вот так вот". Ради кого должен Мартин жрать свеклу? Для кого он пожертвовал собой? Известно ли это самому Мартину? Мартин был мучеником и смотрел на это мученичество просто как на профессию, иногда приносящую радость, а иногда огорчение; и все же он был порядочным малым. Госпожа Хентьен проговорила: "Кто не желает слушать, должен чувствовать". Эш ничего не ответил. Вполне возможно, что Мартин скрывал что-то такое, что никто, кроме него, не знал; мученик всегда должен страдать за какие-либо убеждения, за знания, которыми он обладает и которые приписывают ему, как действовать. Мученики — порядочные люди. Госпожа Хентьен разъяснила: "Все это от этих анархистских газет". Эш согласился: "Да, это свора мерзавцев, теперь они бросили его в беде". Конечно, над этими социалистическими газетами посмеивался и сам Мартин, хотя именно на них, должно быть, и была возложена задача представлять и распространять социалистические убеждения. Так были ли убеждения Мартина социалистическими? Эша злило, что Мартин что-то утаил от него. Тот, у кого правда, способен приносить избавление другим; этому всегда учили, и так поступали христианские

мученики. И поскольку Эш гордился своим образованием, то сказал: "Во времена Римской империи тоже проводились схватки борцов, но только со львами. Там проливалась кровь. В Трире, в самом городе, сохранился один такой цирк". Госпожа Хентьен с напряжением в голосе спросила: "Ну и?" Не дождав-шись ответа, она продолжила: "Вы, наверное, хотите внедрить еще и это, не так ли?" Эш молча покачал головой. Если Мартин пожертвовал собой и жрет свеклу без всяких убеждений, пони-мая, что никто ему за это спасибо не скажет, значит, он сделал это просто во имя самой жертвы. Может, и вправду нужно вна-чале пожертвовать собой для того, чтобы — как же говорил этот идиот из Мангейма? — познать милость спасения. Но тогда, может, и Илоне нужны эти ножи просто во имя чистой жертвы? Кто разберется во всем этом? И Эш сказал: "Я вообще ничего не хочу. Не исключено, что все эти борцовские схватки — чушь собачья". "Вот, вот,— согласилась матушка Хентьен,— именно так оно и есть". И тут у него в душе снова шевельнулось то глу-бокое уважение к матушке Хентьен, за которым чувствуешь себя в безопасности.

В воздухе витали запахи блюд и табака, а иногда улавли-вался сладковатый аромат вина. Матушка Хентьен была права: женщины ничего другого и не хотят. Именно поэтому Илона согласилась быть с этим Корном. А обладай и вправду этот хитрый калека хорошими знаниями, он не распространялся бы о них, не делился бы ими с кем-нибудь еще. Подбегает с радо-стным видом, словно собачонка на трех ногах, быстро-быстро ковыляет за угол и — в тюрьму, а тюрьма эта имеет на него такое же влияние, как на собаку трепка. "Может, вам даже удо-вольствие доставляет быть битым, приносить себя в жерт-ву..." — задумчиво проговорил Эш. "Кому? — поинтересовалась матушка Хентьен,— кому, женщинам?" Эш задумался: "Да, им всем..." Матушка Хентьен осталось довольной: "Принести вам еще кусочек мяса?" И она отправилась на кухню. Эшу было жалко эту чешку: она так жалобно плакала. Но и здесь матушка Хентьен совершенно права: Хруска тоже не желала ничего дру-

гого. А когда госпожа Хентьен вернулась с тарелкой к его столику, он выдал даже больше, чем от него можно было ожидать: "Ей еще придется искать своего метателя ножей, чешке этой". "Вот именно", — согласилась с ним матушка Хентьен. "Бедное создание", — не унимался Эш, сам не зная, кого он имеет в виду, Мартина или чешку. Матушка Хентьен, в отличие от него, в виду имела только чешку и язвительно заметила: "Ну, вы же всегда можете ее утешить, если уж вам так жалко ее..., отправляйтесь к ней прямо сейчас, что же вы медлите?"

Он ничего ей не ответил; а хорошо поев, молча взял свою газету и углубился в изучение рекламной части, поскольку с тех пор, как начали печатать рекламные объявления о предстоящих борцовских схватках женщин, эта часть газеты стала для него наиболее важной. Но справедливая бухгалтерия его души требовала, чтобы госпожа Хентьен также получила возможность заработать на этом мероприятии: разве у нее меньше прав, чем у Илоны, которая позволяла себе даже пренебрегать тем, что кто-то делает для нее доброе дело? Его взгляд зацепился за объявление о винном аукционе в Санкт-Гоаре, и он поинтересовался, откуда матушка Хентьен получает свое вино. Она назвала одного кельнского виноторговца; Эш презрительно поморщил нос: "Вы, значит, отдаете свои денежки ему на съедение! Ну почему вы не обратились за советом ко мне? Я не буду утверждать, что все поступают так, как в гадючнике моего незапятнанного господина Нентвига, но могу поспорить, что вы очень много переплачиваете". Она изобразила на лице обиженную мину: кому-кому, а одинокой слабой женщине придется со многим мириться. Он предложил ей свои услуги: съездить в Санкт-Гоар и закупить вино для ее хозяйства. "Жалко накладных расходов", — нерешительно проговорила она. Эш загорелся своей идеей: накладные расходы без проблем закладываются в цену, а если качество вина будет соответствующим, то можно смешать его с более дешевыми сортами; в этом уж он разбирается. Дело в конечном итоге не в накладных расходах; вылазка вверх по течению Рейна — в голову ему пришла

идиотская тарабарщина Лоберга о радости общения с природой — это же всегда удовольствие, а накладные расходы она может возместить ему тогда, когда ее забегаловка будет работать с действительной прибылью. "И вы наверняка прихватите с собой свою чешку?" — недоверчивым тоном поинтересовалась матушка Хентьен. Эта мысль показалась ему довольно заманчивой; но он громко и с негодованием отверг ее; матушка Хентьен может сама убедиться, что это не так, и поехать с ним, тем более, что совсем недавно она говорила о своем намерении как-нибудь выбраться на природу и отдохнуть. "А тут — сочетание приятного с полезным", — возбужденно добавил он. Она заглянула ему в лицо, взгляд отметил желтовато-коричневый цвет кожи, она решительно отпрянула от него: "А кого прикажете оставить на хозяйстве?.. Нет, ничего не получится".

Ах да, он не придавал этому такого значения; к тому же его финансовые возможности сейчас не позволят совершить эту поездку вдвоем, и Эш не стал больше распространяться на эту тему, что вернуло к нему доверие матушки Хентьен. Она взяла газету, убедилась, что аукцион должен состояться лишь через две недели, и с сомнением в голосе сказала, что ей нужно еще обо всем этом подумать. Да, естественно, она может подумать, сухо сказал Эш и поднялся из-за столика. Ему пора в "Альгамбру", где Тельчер проводит пробы. Он отправился на своем велосипеде той дорогой, на которой располагалась забегаловка, где работала чешка. Но, задумавшись, проехал мимо.

Прибыл наконец директор Гернерт, и Эш, поскольку для этого годились его хорошие знания экспедиционного дела, а также движимый жадной деятельностью, ежедневно ходил в порт, справляясь, не прибыл ли груз, отправленный по Рейну. Может быть, он ходил туда для того лишь, чтобы, видя экспедиционную суету, испить до дна чашу сожаления по поводу преждевременного увольнения из Среднерейнского пароходства, чтобы, видя винные склады, еще раз ощутить, как ноющей занозой в его теле сидит Нентвиг; он охотно видел и переживал

это, ибо ему казалось, что его самопожертвование (а именно так он расценивал свою деятельность) может стать в один ряд с самопожертвованием Мартина. И то, что Илона не приехала в Кельн, а осталась с Корном, вполне вписывалось в эту цепочку и казалось ниспосланным свыше судьбой. Эша, конечно же, невозможно было представить таким мучеником со святыми помыслами. Чего нет, того нет! В своих размышлениях и внутренних диалогах он не стеснялся называть Илону шлюхой и даже затасканной шлюхой, а Тельчера — сводником и вероломным убийцей. И если бы ему пришлось встретиться здесь среди уложенных штабелями винных бочек этого козла Нентвига, он основательно набил бы ему морду. Но когда он проходил вдоль вытянувшихся складов Среднерейнского пароходства, в глаза ему бросилась фирменная вывеска, которую он ненавидел, и над всем этим вонючим сбродом мелких убийц возникла фигура, величественная и неправдоподобно большая, фигура в высшей степени порядочного человека, даже чего-то большего, чем человека, столь могучей и громадной она была, и тем не менее — фигура суперубийцы; призрачно и угрожающе поднимался образ Бертранда, мерзкого президента этого общества, голубого, который засадил в тюрьму Мартина. И эта увеличившаяся так, что не верилось собственным глазам, фигура поглотила, казалось, обоих меньшего размера резников¹, иногда даже возникало впечатление, что достаточно всего лишь преклонить колени перед этим антихристом, дабы уничтожить всех более мелких убийц на этом свете.

Кому-то все это может показаться мишурой, ведь есть проблемы куда более важные, а ты лазишь тут по этому порту, не получая ни гроша. Зачем живет человек, если у него нет хорошей работы? Такой вопрос вполне могла бы задать матушка Хентьен. Да, самым разумным наверняка было бы, если бы пришел этот суперубийца и одним движением руки отвернул бы ему голову. И когда на глаза Эшу, который продолжал вышаги-

¹ Резник — лицо, закалывающее скот по религиозному еврейскому обряду.

вать вдоль линии причалов, снова попалась вывеска АО "Среднерейнское пароходство", с уст его слетела громкая и внятно произнесенная фраза: "Или он, или я".

В итоге Эш оказался у баржи и начал наблюдать за разгрузкой. Он видел, что к нему приближаются Тельчер и розовощекий Оппенгеймер: оба они передвигались, так сказать, рывками, поскольку постоянно останавливались, часто кто-нибудь из них хватался за пуговицу или лацкан пиджака другого, и Эш невольно спросил самого себя, о чем таком важном и неотложном они там разговаривают. Когда они подошли достаточно близко, до него донеслись слова Тельчера: "А я вам говорю, Оппенгеймер, что это дело не для меня, вот посмотрите, я вызову Илону и голову даю на отсечение, что через полгода стану первым номером в Нью-Йорке". Так, так, Тельчер, значит, от Илоны все еще не отвязался. Ну что ж, этот тип заговорит по-другому, когда в одно прекрасное мгновение будет наведен порядок. И мысли о смерти уже больше не забавляли Эша. Он разворчался на обоих, что, мол, они тут забыли, не считают ли они, что ему никогда в жизни не приходилось руководить разгрузочными работами, и не думают ли они, что он хочет что-нибудь упереть, а может, господам вздумалось проконтролировать его? И вообще, ему до безумия жаль денег тех людей, которые вложили их в это начинание, не говоря уже о самом себе. А теперь он уже около месяца ни за понюх табаку горбатится на это сомнительное предприятие, не считается ни с чем в своей жизни, и зачем же? Оказывается затем, чтобы известный господин Тельчер, который и сам не прочь слинять, заговаривал ему зубы. Разозлившись, он начал до непристойного копировать еврейский говор господина Оппенгеймера. "Да он антисемит", — возмутился Оппенгеймер, а Тельчер высказал соображение, что настроение господина экспедиционного директора придет в норму уже послезавтра, после первого подведения итогов в кассе. А поскольку сам он был в хорошем настроении и ему хотелось подразнить Эша, то он обошел повозку, на которую были погружены ящики, специально пересчитал

их, затем подошел к лошадям, достал из кармана сахарку, чтобы дать полакомиться животным. Эш, кипя от злости и чувствуя себя оскорбленным этими двумя евреями, отвернулся и начал записывать ящики; он наблюдал за Тельчером и удивлялся его добродушию, в глубине души он надеялся, что животные, мотнув головой, откажутся от угощения. Но лошади — это всегда лошади, и они взяли своими ласковыми мягкими губами сахар с плоской ладони Тельчера, что рассердило Эша еще больше: ему, впрочем, тоже могло бы прийти в голову сунуть им хотя бы кусочек хлеба; когда погрузка была завершена, то не оставалось ничего другого, как сухо хлопнуть обеих лошадей по крупу, что Эш и сделал. Затем все трое, расположившись на ящиках, отправились на повозке обратно в город. Оппенгеймер отклонялся у моста через Рейн; а Тельчер и Эш поехали дальше, они намеревались сойти возле забегаловки матушки Хентьен.

Тельчеру уже приходилось несколько раз бывать в забегаловке, и он мнил себя старым завсегдатаем. Эш чувствовал вину за то, что приволок в дом матушки Хентьен такого уroda... Он охотно скинул бы его с повозки. А тот уселся на место Мартина, Иуда этакий, ему и невдомек, что есть люди лучше его, приятнее и приличнее, он ведь понятия никакого не имеет, что Мартин пал от руки человека, который в сторону какого-то там ножеметателя и плюнуть-то побрезговал бы. И этот фигляр, этот сводник разыгрывает из себя победителя, которому заслуженно досталось место Мартина. Все это фокусы! Вертеть безделушками — бесплодная работа, полная сплошного обмана.

Они приехали. Тельчер слез с повозки первым. Эш заорал ему вдогонку: "Эй, а кто разгружать будет? Контролировать и шпионить — так это для вас, а если речь о настоящей работе — вы в кусты". "Я хочу есть", — просто ответил Тельчер и толкнул дверь, ведущую в забегаловку. Еврея не перепрешь; пожав плечами, Эш последовал за ним. А чтобы снять с себя ответственность за гостя такого рода, он отпустил шуточку: "Славненького гостя привел я вам, матушка Хентьен, лучше, уж не обессудьте, никого не нашлось". Им как-то внезапно овладело безразличие,

он был готов согласиться со всем: пусть Тельчер сидит на месте Мартина, а Мартин — на месте Нентвига; возникло состояние полной растерянности, хотя где-то ведь был порядок, где-то речь больше не шла о людях, они все одинаковы и не имеет никакого значения то, что кто-то сливается с кем-то и усаживается на его место, нет, где-то мир больше не делится на добрых и злых людей, он делится на некие добрые и злые силы. Эш бросал ядовитые взгляды на Тельчера, который начал показывать фокусы с ножом и вилкой, а затем объявил, что достанет нож из лифчика госпожи Хентьен. Она с визгом отпрянула в сторону, но Тельчер уже демонстрировал нож, зажатый между большим и указательным пальцем: "Минуточку, минуточку, ма-тушка Хентьен, так вот что вы носите в лифчике!" Затем он вознамерился загипнотизировать ее, и она без лишних расспросов уставилась застывшим взглядом перед собой. Во всем же нужно знать меру! И Эш напустился на Тельчера: "Уважаемый, да вас надо было бы посадить". "Интересно", — отреагировал Тельчер. "Гипноз запрещен законом", — буркнул Эш. "Прелюбопытнейший человек", — махнул подбородком в сторону Эша Тельчер, призывая таким образом госпожу Хентьен тоже позабавиться над чудаком; но у нее в руках и ногах все еще покалывали иголки страха, и непослушными пальцами она пыталась поправить прическу. Эш отметил про себя успех его спасательной акции и остался доволен. Да, одному типу, Нентвигу, это как-то раз сошло с рук, но второго раза не будет, и все это невзирая на лица, даже если кто-то сливается с кем-то и их уже невозможно отличить друг от друга; возникает отделившаяся от виновника несправедливость, и эта несправедливость — единственное, что нужно искупить.

А позже, отправившись вместе с Тельчером в "Альгамбру", он ощутил, что на душе у него легко и приятно. Он по-новому взглянул на мир. Ему даже стало жаль Тельчера. И Бертранда тоже. Да и самого Нентвига.

Эшу удалось вытрясти из Гернерта сведения о том, что ему с учетом его сотрудничества гарантируется прибыль в размере

ста марок в месяц — а на что в противном случае прикажете ему жить? Но уже самый первый вечер принес ему семь марок. Если дела пойдут так и дальше, то его вложение через месяц удвоится. Уговорить госпожу Хентьен поприсутствовать на премьерном представлении не удалось, и Эш, расположившись за обеденным столом, взволнованно рассказывал о вчерашнем успехе. Но когда он дошел до, так и хочется сказать кульминационного момента, когда одно из трико, заранее надрезанное и лишь слабо заметанное Тельчером, во время схватки треснуло на известном всем округлом месте — и такая хохмочка будет повторяться каждый вечер, — когда он над этим смеялся так, что уже не мог говорить, а только взмахивал рукой, госпожа Хентьен поднялась, сообщив резким тоном, что с нее достаточно. Неслыханно, чтобы человек, которого она считала порядочным и у которого раньше была вполне пристойная работа, опустил так низко. И она удалилась на кухню.

Эш с озадаченным видом сидел за столиком, вытирая слезы, выступившие от смеха на глазах. Угрызения совести он загнал в дальний уголок своей души, в этом уголке матушка Хентьен была абсолютно права; лопнувшее на сцене трико имело какое-то смутное родство с ножами, метание которых на этой сцене было более недопустимым; но об этом матушка Хентьен наверняка не имела ни малейшего понятия, и, собственно, гнев ее было трудно понять. Он испытывал уважение к ней и не хотел обижать, как того идиота Лоберга, но с ним она, без сомнения, куда быстрее нашла бы общий язык, Эш ведь не был столь славным, как этот Лоберг. Он начал рассматривать фотографию господина Хентьена, висевшую над стойкой: нет ли там общих черт с Лобергом? Чем пристальнее он всматривался в нее, тем и вправду сильнее начали сливаться друг с другом лица окруженного ореолом святости бывшего владельца пивной и мангеймского торговца сигарами. И уже невозможно было даже отличить, кто из них живой, а кто мертвый. Никто не является тем, чем он себя считает: ты ведь уверен, что прочно стоишь на ногах, что загреб свои семь марок прибыли и мо-

жешь отправляться, куда тебе заблагорассудится; а в действительности же ты то здесь, то там, и даже если ты жертвуешь собой, то не ты это вовсе. Его охватило непреодолимое желание доказать, что это не так, что так не должно быть, и если уж он не может никому другому доказать, то придется, по крайней мере, доказать этой женщине, чтобы она не путала его ни с господином Лобергом, ни с господином Хентьеном. Недолго думая, он направился на кухню и предупредил госпожу Хентьен, что в следующую пятницу состоится винный аукцион в Санкт-Гоаре. "У вас не будет недостатка в сопровождающих", — отрезала, стоя у плиты, госпожа Хентьен. Ее ответ подзадорил его. Что этой особе надо? Ей что, так хочется, чтобы он сказал те слова, на которые она так упорно его толкает и которые так жаждет услышать? Ему вспомнился музыкальный аппарат, внутренности которого были открыты для каждого. Но его-то она как раз терпеть и не может. Если бы там не было девушки, которая служила на кухне, он не отказал бы себе в удовольствии овладеть ею прямо там, у плиты, где она стояла, дабы она наконец убедилась, что он существует. В данной ситуации ему ничего другого не оставалось, как просто сказать: "Я уже все спланировал: поездом мы едем до Бахараха, оттуда по реке до Санкт-Гоара. На место мы прибудем в одиннадцать, поспеем еще и на аукцион. После обеда сможем подняться к скале Лорелеи". Она слегка опешила от такой напористости, но ей удалось придать своему голосу насмешливый тон: "Обширные планы, господин Эш". Эш сохранял уверенность в себе: "Это только начало, матушка Хентьен; к следующей неделе я в любом случае заработаю свою сотню монеток". Присвистнув, он покинул кухню.

В зале он просмотрел газеты, которые принес с собой, и красным карандашом отметил сообщения о первом представлении. То, что в "Фольксвахт" он не нашел о премьерке ни строчки, разозлило его. Оставить томиться в тюрьме товарища по партии и друга, который пожертвовал собой, это они могут. Напечатать же пару строк — на это их уже не хватает. Здесь

тоже необходимо навести порядок. Он ощутил в себе силы для этого и был уверен, что ему удастся пройти и ликвидировать тот хаос, в котором, испытывая муки, погрязло все, в котором с ожесточением и все же обессиленно слились воедино как друзья, так и враги.

Прожаживаясь в антракте по залу, он оцепенел от ужаса, и на ум ему даже пришло выражение "как нож в сердце", когда он увидел Нентвига. Тот в компании четырех человек сидел за столиком, а одна из выступающих дам пристроилась к ним. Купальный халатик на ней слегка распахнулся, и Нентвиг был занят тем, что хитро манипулируя округлыми ручками, пытался расширить щелочку. Отвернувшись, Эш продефилировал мимо, но девушка окликнула его, и ему пришлось повернуться. "Здравствуйте, господин Эш, а что вы здесь делаете?" — донесся до него голос Нентвига. Эш медлил: "Добрый вечер". Это единственное, что он смог выдать, но до Нентвига не дошло нежелание Эша общаться с ним, потому что он поднял бокал за его здоровье, а девушка сказала: "Я освобождаю вам место, господин Эш, мне все равно пора на сцену". Нентвиг, который уже порядком наливался, ухватил Эша за руку и, наливая ему бокал, пялился на него пьяно-умиленными глазками: "Нет, ну это ж надо, такой сюрприз". Эш сказал, что ему тоже пора на сцену, и Нентвиг, не выпуская его руку, приснул со смеху: "Так, к дамочкам на сцену, я тоже, я тоже пойду". Эш попытался объяснить, что он здесь работает. Наконец до Нентвига дошло: "Так вы здесь служите? И хорошее место?" Чувство собственного достоинства не позволило Эшу ответить на этот вопрос односложно и утвердительно; нет, он здесь не служит, он здесь в доле. "Ах, вон оно что, вот какие дела,— удивленно протянул Нентвиг,— проворачиваете дела, хорошие дела, явно хорошие,— он осмотрел набитый до отказа зал,— и забыли, что есть на свете старый добрый друг Нентвиг, который всегда с большой охотой готов участвовать в чем-то подобном". Он полностью пришел в себя: "Эш, а как дела с поставкой вина?" Эш

объяснил: "Что касается этих проблем, то это забота владельца зала". "Так, а все остальное,— Нентвиг широким жестом руки обвел и зал и сцену,— это вас касается? Ну, выпейте хотя бы бокальчик", и Эш не смог уйти от того, чтобы не чокнуться своим бокалом с бокалом Нентвига, ему пришлось также подать руку спутникам Нентвига и выпить с ними. Невзирая на все то коварство, с каким Нентвиг обошелся с ним когда-то, он не смог показать свою ненависть к нему, хотя просто обязан был поступить именно так. Он попытался снова представить себе преступление прокуриса; ничего не получалось; в итоге всплывали всевозможные свинства, отвратительные гадости, Эш даже немного вытянулся, дабы держать в поле зрения полицейского, который находился в зале. Но все получалось столь на редкость непонятно и бестолково, что Эш сразу же осознал бессмысленность своих намерений; несколько неловко и пристыженно он ухватился за свой бокал с вином. Нентвиг поглядывал между тем на старого доброго бухгалтера затуманенным взглядом, и тут Эшу показалось, словно вся эта округлая фигура стремится через свой затуманенный взгляд слиться с равнодушным. Эта морда нанесла ему удар в спину, обвинив в том, что он допустил ошибку в бухгалтерском учете, лишила его хлеба и средств к существованию, и в будущем она по-прежнему всегда будет готова сделать то же. Но тем не менее сердиться на него больше уже не получалось. Из запутанного клубка событий торчала рука, грозившая кулаком с мечом, а когда до Эша дошло, что это была рука Нентвига, то все это приняло очертания глупого и даже где-то жалкого случая. Смерть, принятую от руки Нентвига, уже едва ли можно было назвать убийством, а суд, проводимый над Нентвигом, был бы ничем иным, как, собственно, жалкой мстостью за какую-то там бухгалтерскую ошибку, которой и не было вовсе. Нет, бесполезно предавать прокуриса в руки правосудия, ибо речь идет не о том, чтобы отсечь руку, даже если она и держит угрожающий меч, а о том, чтобы поразить всего его или, по крайней мере, голову. В душе Эша что-то проговорило: "Тот, кто жерт-

вует собой,— порядочный человек”, и он решил впредь не обращать на Нентвига никакого внимания. Маленького толстого человечка снова окутали винные пары, а поскольку музыка заиграла марш гладиаторов, с первыми аккордами которого на сцену начали выходить дамы под руководством Тельчера, то Нентвиг и не заметил, что Эш удалился.

Гернерт же сидел с кружкой пива в директорском кабинете и, когда вошел Эш, причитал: “Что за жизнь, что за жизнь...” Прохаживался, раскачивая в разные стороны головой и всем телом, Оппенгеймер: “Хотелось бы узнать, что вас так взволновало?” Перед Гернертом лежала его записная книжка: “Все сжирают проценты. Для чего горбатится и надрывается наш брат? Чтобы выплатить проценты!” Снаружи доносились шлепки по потным жировым складкам женских тел, и Эша возмутило то, что здесь кое-кто треплется о том, что надрывается, производя на самом-то деле расчеты в записной книжке. Гернерт продолжал причитать: “Нужно отправить сейчас детей на каникулы: это стоит денег... откуда я их возьму?” Тут он нашел понимание со стороны Оппенгеймера: “Дети — это счастье, дети — это хлопоты, директор; ну, ну, все образуется, не убивайтесь так уж”. В душе у Эша шевельнулась жалость к Гернерту, который был хороший малый; тем не менее на него снова нахлынули реальности жизни, подумалось о том, что вот сейчас вот там, на сцене, должно будет лопнуть трико, чтобы дети Гернерта получили возможность съездить на каникулы. Все-таки где-то матушка Хентьен со своим отвращением к этому делу была права, конечно, совсем не там, где она сама думала. Эш тоже не знал этого; может, это был тот бардак, который наполнял его отвращением и яростью. Он вышел; в кулисах стояли несколько дам, от которых исходил запах пота; Эшу, дабы пройти, пришлось ухватиться за полные руки сзади или спереди на уровне груди и прижаться нижней частью тела, так что некоторые начали кокетливо хихикать. Затем он вышел на сцену и занял свое место в качестве так называемого секретаря у судейского столика. Тельчер с судейским свистком в зубах ле-

жал на полу и внимательно смотрел под мостик, на котором находилась одна из дам, тогда как другая навалилась на нее и притворно пыталась прижать к ковру, само собой разумеется, что всего лишь притворно, ибо та, что внизу, была немкой, которой вменялось в обязанность вскоре освободиться в патриотическом порыве из затруднительного положения. И хотя Эш знал, что это игра крапленными картами, тем не менее он с облегчением вздохнул, когда дама, находившаяся на волосок от поражения, снова оказалась на ногах, он был преисполнен возмущенного сожаления к ее противнице, когда Ирментрауд Крофф ринулась на нее и под национальное ликование зала прижала плечи противницы к борцовскому ковру.

Едва начало светать, когда госпожа Хентьен поднялась с постели. Она открыла окно, дабы узнать, какая сегодня погода. Чистое, безоблачное небо простиралось над все еще погруженным в серые сумерки двором — маленьким четырехугольником, зажатым мрачными стенами. Там, внизу, молча высилась светлая бочка, используемая при уборках. Порывы ветерка доносили запахи города. Она прошлепала наверх к комнате, где жила девушка, работавшая на кухне, и постучала в дверь; ей не хотелось отправляться в дорогу еще и без завтрака, этого только не хватало. Затем она все внимание уделила туалету и надела платье каштанового цвета. Когда Эш зашел за ней, она с неприветливым видом сидела за чашечкой кофе в зале своей забегаловки. "Пойдемте", — недовольно проворчала она, лишь в дверях вспомнив, что, может быть, и Эш был бы не против выпить чашечку; она пошла на кухню и наспех сварила ему кофе, Эшу пришлось проглотить его стоя. На улице уже играли солнечные лучи, разделявшие длинные тени стен на мостовой. Однако солнечные блики не смогли улучшить их угрюмого настроения. Эш кидал лишь короткие отрывистые фразы: "куплю билеты", "платформа пять". Молча сидели они друг подле друга в купе; лишь в Бонне он высунулся из окна, поинтересовался, есть ли свежая выпечка, и купил ей булочку. Она сердито и

с претенциозным видом вцепилась в нее зубами. После Кобленца люди прильнули к окнам, чтобы полюбоваться прирейнскими ландшафтами, оживилась в намерении сделать то же самое и госпожа Хентьен. Эш же, напротив, даже не шевельнулся; местность ему была знакома до пресыщения, к тому же он намеревался приступить к показу красот природы госпоже Хентьен уже после корабля. Ну а сейчас он злился, что она заранее лишала его этого удовольствия, а кроме того, внимала содержательным разъяснениям попутчиков по купе. Так что каждый туннель, прерывавший обзор, был для него словно бальзам на душу, а злость его достигла таких размеров, что в Обер-Везеле он, недолго думая, оттащил ее от окна: "В Обер-Везеле меня как-то угораздило..." Госпожа Хентьен выглянула из окна; вокзал не представлял собой ничего особенного. Она вежливым тоном сказала: "Да, бывает и такое". Но Эш не закончил еще свою мысль: "...проторчать на одном отвратительнейшем местечке, как бы там ни было, а я на нем продержался пару месяцев, из-за девушки в селении... Хильда ее звали". Так он может сойти прямо сейчас и навестить ее, раздраженно заметила госпожа Хентьен, ему вовсе ни к чему принуждать себя к чему-либо ради нее. Но вскоре они оказались в Бахарахе, и Эш впервые в своей жизни испытал чувство беспомощности праздного путешественника, который стоит на вокзале и у которого целый час времени. В соответствии с его программой завтрак им предстоял бы на пароходе, и только из-за смущения он предложил завернуть здесь в одну из известных ему забегаловок. Но как только они оказались на узких улочках города, тихо и уютно покоившихся в предполуденном свете, перед одним из фахверковых зданий¹ матушка Хентьен внезапно выдала: "Как бы я хотела жить здесь, это мой идеал". Может, это было украшенное цветами окно, которое произвело на нее такое впе-

¹ Фахверковое здание — здание, построенное так, что несущие стены разделены многими деревянными балками, которые по завершении строительства остаются видны снаружи.

чатление, может, не что иное, как просто свободное дыхание полной грудью, которое часто становится недоступным людям в преддверии неизвестного, или, может, запас ее плохого настроения элементарно иссяк,— короче говоря, мир стал светлее; восторженно глазели они теперь на все вокруг, поднялись даже к развалинам церкви, они даже не знали, зачем они им нужны были, потом заблаговременно поспешили к пристани, чтобы не пропустить паром, настроение им не испортило даже то, что на пристани пришлось прождать еще добрых полчаса.

В пути, впрочем, между ними неоднократно вспыхивали перебранки, ибо гордость госпожи Хентъен никак не позволяла, чтобы единственным, кто знал эти края, был Эш. Она рылась в памяти в поисках знакомых названий, принималась со своей стороны с вытянутой рукой высказывать предположения и получения и сильно обижалась, что его прямота не пропускала незамеченной ни одну из ее ошибок. Но это не портило им хорошего настроения, и, прибыв в Санкт-Гоар, они даже пожалели, что приходится сходить с корабля, да, в первое мгновение они даже не знали, зачем они вообще сошли здесь на берег. Деловая цель их поездки как-то потеряла свое значение, а когда в аукционном зале они узнали, что продажа дешевых сортов уже завершилась, то это не расстроило их, у них даже словно гора с плеч свалилась, потому что куда более важным казалось отправиться к парому, который по натянутому тросу направлялся к завлекающе залитому солнцем Гоарсхаузену. Эш, имитируя заботливость солидного предпринимателя, записал цены, зафиксированные на аукционе. "Для другого раза",— сообщил он, при этом намеренно пропуская слишком уж низкие цены, однако на пароме она вынудила его добавить по памяти пропущенные цены, при этом он смерил госпожу Хентъен пару раз недовольным взглядом.

Госпожа Хентъен сидела на раскаленной солнцем палубе парома, с видимым удовольствием она макала палец в воду, очень осторожно так, чтобы не намочить свою кремового цвета кружевную митенку, и что касается ее, то она еще несколько

раз охотно пересекла бы Рейн, поскольку странное чувство легкого головокружения, которое возникало, когда она смотрела на проплывающую наискось воду, было приятным, да и посидеть под кронами деревьев открытого ресторанчика тоже доставляло удовольствие. Они ели рыбу, пили вино, а когда дело дошло до сигары, то Эш засомневался в необходимости восхождения, серьезно раздумывая над тем, нужно ли это восхождение матушке Хентьен, тяжеловесно и роскошно расположившейся рядом. Конечно, она не была похожа на других женщин, так что он очень осторожно завел разговор о Лоберге, ему он, собственно, обязан тем, что родилась идея этой прекрасной поездки. Эш похвалил Лоберга за это, дабы после вступления об абсолютно безобидных вещах перейти наконец к настоящей любви; но госпожа Хентьен, от напряженного внимания которой не укрылось, куда он метит, прервала разговор и, хотя она сама испытывала усталость и с куда большим удовольствием отдохнула бы, напомнила о программе, согласно которой им самое время к скале Лорелеи. Эш был возмущен: он из кожи вон лезет, чтобы говорить, как Лоберг, и никакого признания. Наверное, он все еще недостаточно хорош для нее.

Он поднялся и заплатил по счету. А пересекая террасу открытого ресторанчика, он обратил внимание на летних отдыхающих; среди них были молодые очаровательные женщины и молодые девушки; Эш никак не мог понять, чего он, собственно, хочет от этой стареющей бабы, даже если она и вправду производит впечатление в своем коричневом шелковом наряде. Девочки были разодеты в легкие светлые летние платья, а коричневый шелк на улице быстро покрывался пылью и терял свой вид. Несмотря на все это, он не позволял себе расслабиться, надо же ведь совесть иметь и не забывать о Мартине, который томится в тюрьме, не видя солнца, которому отплатили за его жертву черной неблагодарностью, так что тебе здесь, на свободе, пожалуй, даже слишком уж хорошо! И то, что он сейчас месил с госпожой Хентьен пыль по сельской дороге, вместо того чтобы нежиться с прелестной девчушкой где-нибудь на

травке, тоже было в самый раз для него, ибо ждать благодарности от этой женщины за свою жертву для него такое же гиблое дело. Кто жертвует собой, тот порядочный человек. Он задумался: а нельзя ли как-нибудь получше преподнести пред ее ясные очи свою жертву, но затем ему вспомнился Лоберг, и он оставил все, как было: хороший человек страдает молча. Когда-нибудь потом, когда, может быть, будет уже слишком поздно, до нее дойдет все это. В душе как-то жалостливо защемило, и он, шагая впереди, снял сначала пиджак, а затем жилетку. Матушка Хентьен с отвращением увидела два огромных влажных пятна, на месте которых рубашка прилипла к лопаткам, а когда он, свернув на лесную дорогу, остановился, чтобы подождать ее, и она догнала его, то ей в нос ударил отталкивающе теплый запах его тела. Добродушным тоном Эш сказал: "Ну как, матушка Хентьен?" "Оденьте пиджак,— строгим тоном произнесла она, а затем почти что материнским добавила: — Холодно здесь, прямо-таки холодно, и вы можете простудиться". "Когда переставляешь ножки, то замерзнуть никак невозможно,— ответил он,— лучше бы вы расстегнули пару пуговиц на шее". Она покачала головой, на которой красовалась старомодная расфуфыренная маленькая шляпка: нет, этого сделать она не может, ну как это будет выглядеть! "О, да здесь ведь нас никто не увидит",— попытался втолковать ей Эш, и эти внезапные уединенность и общность, когда совершенно нет необходимости стесняться друг друга, поскольку никто тебя не видит, повергли ее в смятение. До нее через мгновение дошло, что он, так сказать, доверительно обнажил перед ней свой пот; но она все еще испытывала отвращение, однако теперь это чувство забралось под кожу, тут он в очередной раз оскалил зубы: "Итак, с новыми силами — вперед, матушка Хентьен, оправдания, будто вы устали, не принимаются". Ей было обидно, ведь он, очевидно, не верит в то, что она может шагать с ним нога в ногу, и с легкой одышкой, опираясь на хрупкий, розового цвета солнцезащитный зонтик, она отправилась дальше. Но теперь Эш занял положение рядом с ней и на более крутых подъемах пытался ей

даже помогать. Вначале она кидала на него недоверчивые взгляды, не является ли это непозволительным сближением — и лишь помедлив, взялась наконец за его руку, для того, впрочем, чтобы сразу же отпустить эту опору, даже отталкивать ее, как только показывался идущий навстречу путник или даже ребенок.

Они поднимались медленно, и лишь когда, запыхавшись, они остановились передохнуть, то только тогда обратили внимание на то, что их окружало: ломкие от жары куски беловатой глины на лесной дороге, растения, блеклая зелень которых торчала из засохшей почвы, корни, распластавшие покрытые пылью нити по узкой дороге, привядший от жары лес, кусты, в листьях которых проблескивали черные безжизненные ягоды, готовые по осени засохнуть. Они внимали этому, не зная даже, как все это назвать, но когда они достигли первой смотровой площадки и увидели раскинувшуюся перед их взором долину, им показалось, хотя до скалы Лорелеи было еще ой как далеко, что цель достигнута; они присели; госпожа Хентьен аккуратно разгладила сзади коричневый шелк платья, дабы не измять его своим весом. Стояла такая тишина, что до их слуха долетали голоса с пристани и с террасы открытого ресторанчика в Санкт-Гоаре, а также звуки глухих ударов парома о мостик пристани; и обоим необычность такого впечатления была хоть немного, но приятной. Госпожа Хентьен рассматривала сердечки и инициалы, которые были выцарапаны на спинке и сиденье лавки, сдавленным тоном она спросила у Эша, не увековечил ли здесь и он вместе с Хильдой из Обер-Везеля свое имя. Когда же он шулки ради попытался кое-что выцарапать, она попросила его оставить эту затею: явно или неявно, но где бы не ступала нога мужчины, она всегда оставляет после себя оскорбительное прошлое. Эш же, которому не хотелось отказываться от своей затеи, спросил, а что если он вдруг в одном из сердечек найдет и ее имя, чем не на шулку рассердил госпожу Хентьен: что он только себе позволяет? Ее прошлое безукоризненно чистое, и в этом она может потягаться с любой молоденькой

девушкой. Тому, кто всю жизнь необузданно волочился за бабами, этого, конечно, не понять. И Эш, которого сказанное за дело за живое, почувствовал себя низко и подло, ведь он оценил ее ниже тех молоденьких девочек в открытом ресторанчике, некоторые из них вполне могут быть недостойными подать ма-тушке Хентьен даже воды. И ему было приятно, что здесь вот есть человек, который ведет себя однозначно и определенно, человек, который знает, где правая сторона, а где левая, что такое хорошо, а что такое плохо. На какое-то мгновение у него возникло ощущение, будто здесь находится то желанное место, четко и несокрушимо поднимающееся из всеобщего беспорядка, где можно было бы остановиться; но тут возникла мысль о господине Хентьене и его фотографии в забегаловке, она разрушила это его ощущение и уже не покидала его, ему казалось, что где-то все же должно быть выцарапано сердечко, в котором сливались бы его и ее инициалы. Он не рискнул коснуться этого вопроса, а просто поинтересовался, где стоял дом ее родителей. Она коротко бросила ему в ответ, что родом из Вестфалии, а все остальное никого не касается, а поскольку до прически добраться ей было нелегко, то она ощупала свою шляпку. Нет, она решительно не может переносить, когда кто-то сует свой нос в дела других людей, а так всегда ведут себя только люди вроде Эша или подобные посетители ее забегаловки, которые не могут себе даже и представить, что не у каждого прошлое состоит из грязи и мерзости. Если такие типы не могут сами овладеть женщиной, то они стремятся, по крайней мере, хотя бы выдумать ей любовную жизнь и прошлое. Негодуя, она слегка отодвинулась от него, а Эш, мысли которого все еще крутились вокруг господина Хентьена, все больше и больше убеждался в том, что она должна быть очень несчастным человеком. Его лицо приобрело кисло-печальное выражение. Возможно даже, что в этом браке по ее бокам гуляли палки. И он сказал ей, что не хотел сделать ей больно. Привыкнув утешать женщин, которые плакали или вообще казались ему несчастными, прикосновением собственного тела, он взял ее руку

и погладил ее. То ли вследствие необыкновенной тишины, царившей в природе вокруг, то ли потому, что ею овладела усталость и истома, она не сопротивилась, придав своим мыслям словесную форму, но последние слова были унесены с ее уст порывом ветерка, словно пушинки, она и сама не смогла их расслышать, и теперь она была совершенно опустошена, не способна даже ощущать протест или отвращение. Госпожа Хентьен смотрела на расprostертую долину и не видела ее, ей было непонятно, где же она. Те многие годы, прожитые между стойкой забегаловки и парой известных улиц, сжались в одну маленькую точку, и словно в каком-то просветлении ей показалось, что на этом залитом светом месте она сидела всегда. Мир так неведом, что невозможно его ни уяснить, ни понять, и ничто уже более не связывает ее с ним, ничто, кроме веточки с колючими листочками, свисающей над спинкой скамейки, по которой поглаживающими движениями скользят пальцы ее левой руки. Эш спросил себя, не должен ли он ее поцеловать, но желания сделать это у него не возникало, что тоже показалось ему недостаточно хорошим признаком.

Так и сидели они, не проронив ни единого слова. Солнце клонилось к западу и начинало светить им прямо в лицо, но матушка Хентьен не воспринимала ни жары, ни жжения напрягшейся, покрасневшей, припавшей пылинками кожи. Казалось даже, словно Эша намеревается окутать сновидение, какая-то полудрема, ибо воспринимая широкие и длинные тени горных вершин в долине расчетливой ловушкой, он все же боялся менять положение и, лишь помедлив, потянулся наконец за жилеткой, которая лежала рядом и в которой были серебряные часы. Наступило время отправляться к поезду, и она безучастно последовала за ним. Спускаясь, она тяжело опиралась на его руку, тоненький розового цвета зонтик от солнца он перекинул через плечо, на нем болтались в такт шагам пиджак и жилетка. Чтобы облегчить ей путь, он расстегнул на ее высоко застегнутой талии пару крючков, и матушка Хентьен смирилась с этим, она не оттолкнула его, когда показался идущий навстречу пут-

ник, которого теперь она просто не замечала. Ее юбка из коричневого шелка подметала пыль проселочной дороги, и когда на вокзале Эш усадил ее на скамейку, оставив на минуточку, дабы утолить жажду, она застыла безучастно и беспомощно, ожидая его возвращения. Ей он также принес кружечку пива, и она выпила ее по его требованию. В темном вагоне пассажирского поезда он уложил ее голову на свое плечо. Он не знал, спит ли она, она наверняка и сама не знала этого. Безвольно перекатывалась ее голова по его крепкому плечу. Попытка привлечь к себе ее широкое тело встретила упорное сопротивление, а шпильки, которыми к покачивающейся голове была прикреплена шляпка, представляли серьезную угрозу его лицу. Недолго думая, он сдвинул ее шляпку назад, сместив одновременно и прическу, что придало ей вид подвыпившей женщины. Запах шелка платья был пыльным и разогретым; лишь изредка улавливался приятный лавандовый аромат, еще сохранившийся в складках. Затем он поцеловал щеку, которая скользнула по его губам, взял наконец ее округлую тяжелую голову в свои руки и повернул к себе. Она ответила на поцелуй полными пересохшими губами, словно зверек, прижавший носик к стеклу.

И лишь когда они оказались на пороге ее дома, она немного пришла в себя. Она толкнула Эша в широкую грудь и все еще нетвердыми шагами заняла свое место за стойкой. Там она присела и осмотрела зал забегаловки, который лежал перед ней, словно в тумане. Наконец она узнала Вробека за первым столом и пролепетала: "Добрый вечер, господин Вробек". Но она не видела, что Эш последовал за ней вовнутрь, она также не заметила, что Эш был в числе последних, кто оставил ее заведение. Когда он простился с ней, она безучастно сказала: "Доброй ночи, господа". И тем не менее, выходя из забегаловки, он испытывал особое, почти что гордое чувство: он — любовник матушки Хентьен.

Если ты хоть раз поцеловал женщину, то все, что обычно следует за этим, происходит неизбежно и неотвратимо, воз-

можно, правда, сдвиги во времени, но изменить законы природы никто не в силах. Уж это было известно Эшу наверняка. Тем не менее он никак не мог представить себе продолжение своих отношений с матушкой Хентьен, поэтому для него было кстати, что в обед следующего дня вместе с ним в забегаловку направился и Тельчер; это облегчало встречу с матушкой Хентьен, и вообще — так было проще.

Тельчер придумал кое-что новенькое: нужно было найти негритянку, это придало бы заключительным раундам особую прелесть; он хотел назвать ее "Черная Звезда Африки", и немка после двух раундов вничью должна была в конце концов победить Черную Звезду. Эш немного опасался, что Тельчер начнет расписывать эти африканские планы перед матушкой Хентьен, и предчувствия не обманули его — не успели они войти в забегаловку, как Тельчер выложил свою новость: "Госпожа Хентьен, а наш Эш должен достать нам негритянку". Она ничего не сообразила, ни вначале, ни потом, когда Эш с искренним недоумением на лице пытался заверить, что не имеет ни малейшего понятия, где ему найти эту негритянку, нет, матушка Хентьен и слушать ничего об этом не желала, она лишь саркастически заметила: "Одной больше, одной меньше, какое это для него имеет значение". Тельчер возбужденно хлопнул его по коленке: "Еще бы, мужичку, к которому дамочки так и липнут, так и липнут, никто не страшен". Эш посмотрел в сторону фотографии господина Хентьена: один из тех, кто ему не страшен. "Да, Эш такой", — повторил Тельчер. Для госпожи Хентьен это было подтверждением ее плохого мнения, и она попыталась укрепить дальше свой союз с Тельчером; ее взгляд упал на короткие, жестко торчащие волосы Эша, из-под которых проблескивала его лысина, и она почувствовала, что сегодня ей понадобится союзник. Отвернувшись от Эша, она начала хвалить Тельчера; оно и понятно, что мужчина, который знает себе цену, не желает и слышать обо всех этих похабных похождениях, препоручая их лучше какому-то там господину Эшу. Эш раздраженно ответил, что препоручается то, за что следовало бы драться и что,

конечно, не по зубам. И в его душе шевельнулось глубочайшее презрение к Тельчеру, которому так ни разу и не удалось уложить Илону в постель. Но спокойно, скоро уже никто не сможет укладывать ее в постель. "Ну, господин Эш,— поддела его госпожа Хентьен,— за дело, негритянка заждалась, немедля за работу". "А как же",— отрезал он и, почти не прикоснувшись к тому, что было на столе, поднялся, оставив слегка озадаченную госпожу Хентьен в обществе Тельчера.

Какое-то время он бесцельно бродил по городу. Дел у него не было никаких. Он злился на себя за то, что оставил ее с Тельчером одну, и это в итоге пригнало его обратно. Сложно было предположить, что он еще застанет там Тельчера; и все же ему хотелось удостовериться. Забегаловка была пуста, на кухне он тоже никого не нашел. Значит, Тельчер ушел, и он тоже может удалиться; но ему было известно, что в это время госпожа Хентьен имеет обыкновение находиться в своей комнате, и до него как-то сразу дошло, что именно этот факт заставил его вернуться. Он немного помедлил, затем не спеша поднялся по деревянной лестнице, без стука вошел в комнату. Матушка Хентьен сидела у окна и штопала чулки; увидев его, она тихонько вскрикнула и застыла в испуганной растерянности. Твердыми шагами он подошел к ней, прижал к спинке стула и поцеловал прямо в губы. Пытаясь уклониться и защититься, она замотала головой, хрипло бормоча: "Выйдите... Вам здесь нечего искать". Больше его насилия была мысль о том, что он пришел от какой-то там чешки или негритянки, что он был в ее комнате, в комнате, куда не входил еще ни один мужчина. Она сражалась за комнату. Но он держал ее крепко, и в конце концов пересохшими полными губами она ответила на его поцелуи, может, для того лишь, чтобы такой уступкой заставить его уйти, потому что в перерывах между поцелуями она снова и снова умудрялась, плотно сжав зубы, повторять: "Вам нечего здесь искать". Наконец она взмолилась: "Не здесь". Эш, уставший от безрадостной борьбы, опомнился, что перед ним женщина, заслуживающая почтения и уважения. Если она желает

смены места действия, то почему бы и нет? Он отпустил ее, и она оттеснила его к двери. Когда они оказались на пороге, он хриплым голосом спросил: "Куда?" Она не поняла вопроса, ибо думала, что теперь он уйдет. Эш, наклонившись к ее лицу, переспросил: "Куда?" и, поскольку ответа не последовало, снова обхватил ее с намерением затащить обратно в комнату. Единственное, что было у нее в голове, это защитить комнату. Она беспомощно оглянулась, увидела дверь в соседнюю комнату, в ее душе неожиданно шевельнулась надежда, что пристойность комнаты приведет его в чувство и заставит придерживаться правил приличия, и она взглядом указала на соседнюю дверь; он освободил ей дорогу, но последовал за ней, не снимая руку с ее плеча, словно она была его пленницей.

Войдя в комнату, она неуверенно проговорила: "Так, теперь, думаю, вы будете вести себя разумно, господин Эш" и хотела подойти к окну, чтобы открыть потемневшие ставни, но его руки обвили ее сзади, так что госпожа Хентьен не могла сделать ни шагу. Она пыталась освободиться, тут они шатнулись в сторону и, наступив на орехи, чуть не упали. Орехи затрещали под ногами, и когда, желая сохранить запасы, она отпрянула назад и приблизилась к нише, где располагалась кровать, дабы там обрести твердую опору, в голове, словно во сне, промелькнуло: не она ли сама завлекла его сюда? Но мысль эта разозлила ее еще больше, и она прошипела: "Отправляйтесь к своей негр-тянке... меня так просто, как своих баб, вам не получить". Она судорожно ухватилась за угол ниши, но зацепилась за занавеску; деревянные колечки на карнизе тихонько застучали; опасаясь повредить хорошую занавеску, она отпустила ее, так что теперь ее беспрепятственно можно было оттеснить в темную нишу к супружеской кровати. Все еще стоя сзади, он завел ее освободившиеся руки за спину и прижал ее к себе, так что ей поневоле пришлось ощутить охватившее его возбуждение. Поэтому ли, или потому, что при виде супружеской кровати ее охватило беззащитное оцепенение, но она сдалась под его задыхающимся напором. И поскольку, не соблюдая особую

аккуратность, он срывал с нее одежду и в опасности оказалось ее белье, она сама стала помогать ему там, где у него возникали сложности, подобно осужденной, которая стремилась подсобить палачу; его наполнило почти что страхом то, как все гладко получалось и как матушка Хентьен, когда они оба опрокинулись на кровать, по-деловому улеглась на спину, дабы отжаться ему. И еще больший страх охватил его, когда до сознания дошло, что матушка Хентьен, неподвижно и с застывшим выражением лица, словно она следует своей старой повинности, словно она просто продолжает выполнять свою старую и привычную обязанность, беззвучно и безрадостно смирилась с этим. Только ее округлая голова каталась по покрывалу, будто повторяя постоянное "нет". Ощувив тепло ее обнаженного тела, он всячески хотел показать свою страсть, дабы возбудить с ее стороны такое же желание. Он обхватил ее голову руками, сжал в объятиях, словно пытался выдавить из нее застывшие и не принадлежавшие ему мысли, его губы скользили по некрасивым тяжеловесным поверхностям полных щек и низкого лба, которые оставались напряженными и безучастными, такими же безучастными и напряженными, как та масса, ради которой пожертвовал собой Мартин и которая тем не менее осталась не спасенной. Может, именно так воспринимает жирную массивность Корна Илона, и на какое-то мгновение он испытал чувство удовлетворения, что он поступает подобно ей, и что это справедливо, и что все это происходит для нее и во имя спасения справедливости. О, забыть все, что было, становиться все более одиноким, уничтожить себя самого всей этой несправедливостью, которую носят и которую накапливают, забыть также ту, уста которой ищешь, забыть время, что было и ее временем, время, которое оставило свой отпечаток на стареющих щеках, желание уничтожить женщину, которая жила в то время, дать ей спастись вне времени, застывшей и покорившейся в слиянии с ним! Тут ее губы прижались к его ищущим устам, словно носик зверька к стеклу, и Эш пришел в ярость от того, что душу свою, дабы она не досталась ему, она продолжает прятать за крепко

сжатыми зубами. И когда с хриплым бормотанием она наконец открыла губы, он испытал блаженство, какое не испытывал ни с одной из женщин, он влился в нее без остатка, стремясь подчинить ее своей воле, но она была уже вовсе не она, а полученная обратно в подарок, отвоеванная у неизвестного материнская жизнь, забывшая о своем "я", вырвавшаяся за пределы своих границ, исчезнувшая и растворившаяся в своей свободе. Ибо человек, желающий добра и справедливости, жаждет абсолютного, и Эш впервые обладал женщиной не из похоти, а из жажды слияния, которое возникло, из жажды забытья в этом слиянии, которое, само существуя вне времени, отменяет время, и возрождение человека неизбежно, как неизбежно существование вселенной, которая заключает его в себе, если возторженная воля человека требует, чтобы ему принадлежало то, что единственно должно ему принадлежать — спасение.

Это уж кое-что значит — быть любовником матушки Хентьен! Есть много мужчин, которые считают, что центральным моментом жизни является близость с определенной женщиной. Эш с некоторых пор освободился от таких предрассудков. Совсем не так, даже если госпожа Хентьен иногда примечательным образом и напирает. Ну, совершенно не так. Для его жизни имеются более весомые и высокие цели.

Он остановился возле одного книжного магазинчика недалеко от Ноймаркта¹. Его внимание привлекло изображение Статуи Свободы, золотистого цвета, выдвинутое на зеленом полотне; ниже подпись "Америка сегодня и завтра". В своей жизни ему приходилось покупать не так уж много книг, и он сам удивился тому, что вошел внутрь. Книжный магазинчик со своими гладкими прилавками и уютным порядком четырехугольных книг отдаленно напоминал магазинчик по продаже сигар. Он охотно покрутился бы там подольше, чтобы поболтать, но поскольку никто не обратил на него внимание, то он заплатил за книгу и получил в руки пакет, с которым не знал

¹ Ноймаркт — одна из центральных площадей Кельна.

теперь что делать. Подарок для матушки Хентьен? Она, наверняка, не проявит к нему ни малейшего интереса, и тем не менее было нечто, необъяснимым образом слившееся воедино эту покупку с матушкой Хентьен. Он еще немного потоптался у витрины. За стеклом на шнуре были развешены яркие тоненькие разговорники, а на их обложках развевались флаги соответствующих стран, словно радостное приободрение для желающего изучать языки. В обеденное время Эш отправился в забегаловку.

С неподходящим подарком лучше не соваться, и Эш уселся со своей книжкой у окна; здесь он имел обыкновение после обеда просматривать газету, так почему бы ему не посидеть с книгой. Прошло совсем немного времени, и в пустом зале забегаловки раздался голос матушки Хентьен: "Ну, господин Эш, у вас, видно, уйма времени, если середь бела дня вы можете позволить себе усесться и полистывать книгу". "Вот именно,— оживленно откликнулся он,— я вам сейчас ее покажу". Он поднялся и подошел с книгой к стойке. "Ну и..." — поинтересовалась она, когда он протянул ей книгу; движением головы он показал, что она может посмотреть; она немного полистала ее, чуть задержав свое внимание на некоторых картинках, и просто вернула ему книгу со словами "Ну что ж, прелестно". Эш был разочарован; конечно же, он знал, что она не проявит к такому подарку никакого интереса — что может знать женщина о более значительных и высоких целях! Однако он оставался стоять у стойки в ожидании чего-то, но случилось только то, что матушка Хентьен сказала: "Вы собираетесь, наверное, всю вторую половину дня торчать там с этой вашей штукой", на что Эш ответил: "И в мыслях не было", с обиженным видом он унес книгу домой. Для себя он решил, что уедет один. Один как перст. И все же он решил изучить эту американскую книжку не только для себя, но и для матушки Хентьен.

Каждый день он прочитывал несколько страниц. Вначале он просто просмотрел иллюстрации, и теперь, когда он думал об Америке, ему казалось, будто деревья там не зеленые, луга не

многоцветные, небо не голубое, а вся жизнь имеет блестящие и элегантные тона серо-коричневых фотографий или четкие контуры тонко заштрихованных перьевой ручкой рисунков. Позже он углубился в текст. Многочисленные статистические данные хотя и были ему скучноваты, но он был слишком добросовестным человеком, чтобы взять и просто пролистнуть их, ему удалось многое запомнить. Большое внимание он уделил американской полиции и судебным инстанциям, которые, как утверждала книга, были поставлены на службу демократической свободе, так что каждому, кто мог прочесть эту книгу, было очевидно, что там не принято бросать за решетку калеку по требованию безнравственного владельца пароходства; Мартин, значит, может отправляться вместе с ним. Эш перелистнул страницу и на фотографии океанского исполина в нью-йоркском порту почему-то увидел матушку Хентьен в платье из коричневого шелка, у нее в руках — тоненький розового цвета солнцезащитный зонтик; она прислонилась к поручням, направив взор на толпу прибывающих, а на ящике сидит с костылями Мартин, вокруг раздается многоголосье английской речи.

И со свойственной Эшу основательностью он, поколебавшись немного, решил снова найти тот книжный магазинчик, вид которого вызвал тогда у него определенные хорошие воспоминания. Не пересчитывая сдачу, он схватил английский разговорник с привлекательным, выполненным яркими цветами государственным флагом Соединенного королевства и, не медля, начал учить английские слова, а за каждым словом стояло слово "свобода", обрамленное серо-коричневым тоном отдающей шелковистым блеском фотографии, словно слово это растворяло в забвении и спасало все, что имелось и что было отражено в старом языке. Он решил, что они, общаясь, будут пользоваться английским языком и что с этой целью матушке Хентьен также придется овладеть английским. Но его здоровое пренебрежение ко всему мечтательному не позволяло погрязнуть в пустом прожектерстве: прибыль от его доли росла, и даже если в последние дни посещаемость борцовских схваток несколько

упала, то в любом случае он оставался с положительным сальдо в двести марок, которыми он теперь окончательно решил положить начало накоплению денег на переезд; таким образом можно было бы действовать, можно было бы избежать тюрьмы, можно было бы начинать новую жизнь. Теперь его частенько ноги сами приводили к собору. Когда с лестницы собора он осматривал Домплац¹ и видел говорящих по-английски людей, это было словно дуновение свободы, которое воспринимаешь щеками и которое, словно теплый летний ветерок, касается твоего чела. Даже улицы Кельна приобретали другой, можно откровенно сказать, более невинный облик, и Эш взирал на них доброжелательно, а где-то даже злорадно. Просто сначала нужно оказаться там, по ту сторону этой огромной лужи, тогда и здесь все будет выглядеть совсем иначе. И если случится тебе как-то вернуться обратно, то группу твою по собору будет водить англоязычный экскурсовод.

После представления он подождал Тельчера; они шли в сырой дождливой темноте ночи. Эш остановился: "Значит так, Тельчер, вы постоянно долдонили о вашем ангажементе в Америке: сейчас самое время серьезно заняться этим". Тельчер обожал разговоры о грандиозных планах: "Если я захочу, то получу там ангажемент, какой только захочу". Эш отмахнулся: "С вашими ножами... Ну а вам не кажется, что там тоже можно было бы организовать схватки борцов или что-то в этом роде?" Тельчер презрительно оскалился: "Вы что же, хотите туда и баб наших прихватить?" "А почему, собственно, нет?" "Они — ограниченные простушки, Эш, и с этим материалом вы хотите туда! А если уж серьезно... там нужны спортивные достижения, а то, что показывают наши бабы..." — он снова оскалил зубы. Эш продолжил: "Но можно подобрать спортсменов". "Чушь собачья, нас там только и ждут, — отрезал Тельчер, — и где вы наберете так обученных людей?" Тельчер задумался: "Имей эти

¹ Домплац — название одной из центральных площадей Кельна, в переводе означает "соборная площадь" или "площадь у собора".

коровы хоть внешность приятную, тогда еще можно было бы попытаться. Впрочем, отбор можно произвести просто в Мексике или Южной Америке". Эш был не в курсе, и Тельчера злила такая ограниченность: "Нет, при дефиците телок, который у них там имеется... даже если дело не пойдет с борьбой, то для этих коров стойло в любом случае будет уже приготовлено, а путевые расходы и провиант — в кармане". Это очевидно. В конце концов, а почему не Южная Америка или Мексика? И серо-коричневая фотография в голове у Эша приобрела переливающееся многоцветье юга. Да, это было убедительно. Тельчер сказал: "Эш, ведь вы справились со своим делом действительно хорошо. А теперь послушайте, мы создадим наш новый цирк с бабами, которые того стоят. Я знаю пару человек, которые прекрасно организуют нам всю эту поездку. И тогда мы отправимся со всем нашим барахлом". Эш понимал, что все чертовски смахивает на торговлю девочками. Но ему вовсе ни к чему было ломать над этим голову, борьба ведь легальное дело, а если здесь чем-то, может быть, и попахивает, то что из этого: на счету полиции — невинный человек, томящийся в тюрьме, и это в значительной степени компенсировало сомнительные моменты. Полиция, работающая на службе свободы и не берущая от владельцев пароходств денег, не будет требовать таких уточнений. Торговля девочками — это, конечно, нехорошее дело, но в конечном счете матушка Хентьен тоже ведет хозяйство против своих убеждений. И Лобергу не нравится его магазинчик. И все-таки лучше отправить Тельчера вместе с цирком в Америку, чем оставить его метать ножи здесь. Они прошли мимо полицейского, который, скучая, нес патрульную службу под ночным дождем, и Эш охотно заверил бы его, что как бы там ни было, но предъявлять претензии к полиции не стоит, и что она еще получит от него своего Нентвига! Эш придерживался порядка и выполнял свой долг даже в том случае, если его партнер был порядочной скотиной. "Подлая полиция", — пробормотал он. В свете желтых фонарей асфальт отсвечивал, словно черно-коричневая фотография, и Эш видел

перед собой Статую Свободы, факел которой сжигал и спасал все то, что было оставлено из прошлого, предавая все сущее и все мертвое огню; если это и убийство, то не такое, о котором позволительно впредь судить полиции. Во имя спасения. Решение было принято, и когда Тельчер крикнул ему при расставании: "И не забудьте: блондинки и еще раз блондинки, вот кто там пользуется спросом", он понял, что будет искать и доставать белокурых девушек. А до того он должен еще рассчитаться по старым счетам, и затем они отправились бы со всем своим белокурым грузом. Они взирали бы с высокой верхней палубы океанского исполина на мельтешение более мелких судов. Крикнули бы Старому Свету свое последнее "прости-прощай". Может, белокурые девушки завели бы на корабле прощальную песню, пели бы ее хором, и когда корабль, буксируемый на туго натянутом тросе, скользил бы мимо берега, то на берегу, может быть, прогуливалась бы Илона, сама блондинка, и размахивала бы руками, избавленная от всех опасностей, а водная гладь становилась бы все шире и шире.

Он, собственно, должен признать, что его возлюбленная была стоящим его партнером: переспали вместе, более об этом матушка Хентьен ничего и знать не хотела. В этом она была похожа на него, имелось множество и других мотивов, которые двигали ею в жизни, а постель была чем-то настолько тайным, что она не решалась произнести даже его название. Каждый раз она снова и снова забывала о существовании любовника, который был у нее только раз и удерживать которого подле себя она не намерена, ему нужно было во второй половине дня во время послеобеденной дремы или ночью, после того как последние посетители расходились по домам, проникать к ней, и каждый раз их сближение было для нее сковывающей ее неожиданностью, которая отступала лишь потом, когда их принимала заполненная сумерками комната и ниша: тогда все растворялось в чувстве безответного одиночества, и темная ниша, где она лежала, и потолок, в которой она смотре-

ла, куда-то возносились, скоро начинало казаться, что они уже вовсе и не часть хорошо знакомого ей дома, а свободно плывущий челнок, покачивающийся где-то во тьме и бесконечности. Лишь тогда она начинала осознавать, что рядом присутствует некто, кого она интересуется, и это был уже не Эш, это вообще был уже не кто-то, кого она знала, это было существо, которое странно и с силой проникло в ее одиночество, но которое тем не менее нельзя было упрекнуть в насилии, ибо само существо это было частью одиночества, которое это существо и породило, существо, успокаивающее и угрожающее, требующее, чтобы ублажали его желания; поэтому приходилось играть с ним в игры, которых оно настоятельно требовало, и если даже игра была принуждением, то это странным образом было позволено, потому что было частью одиночества, и даже сам Господь Бог закрывал на это глаза. Тот же, с кем она делила ложе, едва ли имел хотя бы малейшее представление о таком одиночестве, и она строго следила за тем, чтобы он не разрушил это одиночество. Он был окружен глубочайшим молчанием, и она не позволяла себе ничего менять в этом молчании, даже если он и воспринимает это неуклюжее молчание за тупость и грубость. Молчание погребало стыд, ибо со словом стыд и возник. То, что она переживала, было не сладострастием, а освобождением от стыда. Он никак не мог понять это молчание, и его подавляла бесстыдная немота, требовательно подкладываясь под него в животной неподвижности. Она не выдала ему ни вдоха, и все в нем измучилось в ожидании крика освободившегося неприглаженного сладострастия — голоса, вырвавшегося наконец из плена. И, конечно, напрасно он ждал извиняющихся ужимок, с которыми она могла бы пригласить его подремать на своем полном плече. Каждый раз она внезапно и резко прогоняла любовника прочь, словно ей хотелось сразу же уничтожить и его самого, и его соучастие во всем этом: она выталкивала его за дверь, а когда он скользил по лестнице вниз, то ощущал на своей спине ее враждебный взгляд. Тогда ему казалось, что он в чужой и враждебной стране, и тем не

менее, осознавая это, он мучительно и со все усиливающейся жадой постоянно ощущал, как его влекло обратно к ней, ибо погружение в блаженство, бессловесное и безымянное действие в бесстыдстве постели непреодолимо будило жажду принудить женщину к тому, чтобы она признала его, чтобы страсть вспыхнула в ней, словно факел, и обожгла, чтобы в спасительном огне она стала его частицей и из обволакивающей все ночной тишины прозвучал голос, говорящий ему, единственному, “ты”, словно своему ребенку. Он не знал уж больше, как она выглядит, она пребывала по ту сторону красоты и уродства, молодости и старости, она стала его молчаливой целью, и спасти ее означало преодолеть эту цель.

Вероятно, можно признать, что то, что сейчас происходило между ними, было искусной, превосходящей обычные масштабы чувств любовью, в русле которой он пребывал, и все же Эш каждый раз мучился чувством обиды, когда заходил в забегаловку, а матушка Хентъен, преисполненная страха, что посетители могут что-либо заподозрить, уделяла ему так мало внимания, хотя именно на это, вопреки ее ожиданиям, сразу же и обращали внимание. Он, не мудрствуя лукаво, вообще перестал бы туда заходить, если бы такое его поведение не вызывало разнотолков и речь не шла о дешевых и вкусных обедах. А значит, он старался быть покладистым и не впадать во время своих визитов ни в какие крайности; но это не удавалось, он просто никак не мог угодить матушке Хентъен: как только он показывался в забегаловке, ее лицо сразу приобретало неприветливое выражение, открыто демонстрируя, что его присутствие здесь нежелательно, а если же он оставался, то она ядовитым тоном с шипящими звуками в голосе интересовалась, не нашли ли ему убежище у своей негритянки.

Тельчер придерживался мнения, что приличия ради следует предложить участие в южноамериканском проекте Гернерту — проект приобрел бы определенную солидность. Но Гернерт отказался, ссылаясь на свою семью, которую осенью, как толь-

ко вступит в силу его новый договор аренды, он хотел забрать к себе. Значит, единственным компаньоном оставался этот ветреный Тельчер. С ним, конечно, не блеснешь, но дело не терпело отлагательства; Эш сразу же приступил к набору спортсменок, отправившись на поиски девушек, которые могли бы поехать за рубеж. Может, и вправду раздобыть еще и недостающую негритянку, это, конечно, была бы суперизюминка.

Он снова прочесал забегаловки и бордели, и если он сам испытывал иногда определенные угрызения совести, то только потому, что госпожа Хентьен, узнай она об этом, никогда бы не поверила, что он делает это исключительно из-за специфики своей работы. Чтобы доказать, так сказать, эротическую незаинтересованность и одновременно иметь определенное моральное, равно как и бессмысленное алиби, он распространил свои деловые поиски и на забегаловки, где собирались представители однополрой любви, заведения, которые раньше он с опаской избегал. То, что там происходило, оставляло его почти равнодушным, хотя иногда и накатывал страх, когда он видел двух мужчин, которые танцевали, прижавшись щечками друг к другу. В таких ситуациях ему всегда вспоминалось его первое посещение такого рода выгребной ямы и как он, выброшенный в мир парнишка, который и матери-то своей почти не знал (а то, конечно же, убежал бы оттуда и прибежал бы к ней), впервые увидел трансвестита, который в корсете и платье со шлейфом кастратическим голосом пел похабные песни. И когда теперь он снова видел перед собой это дерьмо и погружался в него, то к горлу подкатывало ощущение тошноты, так что матушка Хентьен, эта гусыня, могла бы наконец сообразить, какое удовольствие доставляют ему эти деловые рейды. Видит Бог, что лучше убежать к ней, чем слоняться здесь в поисках чего-то такого, что подобно потерянной невинности. Именно поэтому смешно было надеяться встретить какого-то там президента пароходства в обществе, где эти продажные мальчики были товаром откровенно не для него. Но в этой своре тем не менее следует обращать внимание на все. А поскольку человеку в

рискованных жизненных ситуациях всегда нужно самообладание, то Эш воздерживался от того, чтобы заехать смазливим господам в их наштукатуренные физиономии, когда они заводили с ним разговоры; напротив, он был сама любезность, предлагал им сладкие ликеры, интересовался их благополучием, а также — если они готовы были откровенничать — источниками доходов и оплачивающими их услуги дядюшками. Откровенно удивляясь, чего ради выслушивает всю эту болтовню, он, однако, наострил уши, когда вдруг промелькнуло имя президента Бертранда; затем очерченный в воображении лишь несколькими слабыми штрихами образ этого знатного человека, едва заметный, но размером больше человеческого роста, начал медленно наполняться цветом, он приобрел характерную нежную окраску и одновременно немного уменьшился в размерах, став более четким и плотным: тот совершал поездку по Рейну на моторной яхте, у него были самые красивые матросы; все на этом сказочном корабле отливало белым и небесно-голубым цветами; однажды он остановился в Кельне, и маленькому Гарри повезло попасть ему в руки; на волшебной яхте они дошли до Антверпена, а в Остенде жили словно боги; правда, обычно он с нашим братом не водился; его дворец расположен в огромном парке возле Баденвайлера; на лужайках пасутся косули, а редчайших сортов цветы испускают нежный аромат; он обитал там, если не находился в дальних странах; никому не позволено туда входить, а друзьями его были англичане и индусы, владеющие неопишескими богатствами; у него есть автомобиль, такой большой, что его смело можно использовать для ночного отдыха. Он богаче кайзера.

Эш чуть не забыл, зачем он сюда пришел, настолько сильно он был обуреваем желанием найти Гарри Келера; а когда ему это удалось, то у него учащенно забилось сердце, однако вел он себя с таким почтением, словно и не ведал, что молодой парень был не кем иным, как проституткой. Он позабыл о своей ненависти, забыл, что Мартину приходится страдать, чтобы эти парни вели прелестную жизнь, да, его почти что охватило чув-

ство ревности, что мальчишке, привыкшему к аристократическому и щедрому обхождению, он не может предложить ничего подобного, разве что только посещение борцовского представления, на которое он самым дружеским тоном и пригласил господина Гарри. Но на того это не произвело ровным счетом ни малейшего впечатления, брезгливым тоном и с отрицательной интонацией он процедил: "Фу", так что Эш невольно залился краской, словно он предложил что-то неподходящее; но поскольку это его еще и разозлило, он грубо отрезал: "Ну да, пригласить на яхту я вас, конечно, не смогу". "Как вам будет угодно", — прозвучало в ответ разочарованным, но очень сладостным голосочком. Альфонс, толстый белокурый музыкант, сидящий за столом без пиджака, в одной лишь пестрой шелковой рубашке, жировые складки которого угадывались под рубашкой, словно женские прелести, оскалил белые зубы: "Он ведь говорит то, что нужно, Гарри". Гарри выставил свою обиженную физиономию: "Надеюсь, вы не хотели тут никого обидеть, уважаемый". Боже упаси, засуетился Эш, как можно, он просто искренне сожалеет, поскольку ему известно, что господин Гарри привык к более аристократическому обхождению. Гарри, продемонстрировав едва заметную примирительную улыбку, слабо махнул рукой: "Забыто". Альфонс погладил его по руке: "Не спеши обижаться, малыш, много ли здесь тех, кто желает утешить тебя?" С мягкой грустью Гарри покачал головой: "Любовь приходит только раз в жизни". А он ведь говорит, как Лоберг, подумал Эш и сказал: "Да, это так". Может же хоть изредка этот мангеймский идиот бывать правым, а тут именно тот случай, и Эш повторил: "Да, да, это так". Гарри откровенно обрадовался, найдя единомышленника, и благодарно взглянул на Эша, но Альфонс, не желавший слушать что-либо в таком духе, возмутился: "Гарри, а вся та дружба, с которой к тебе относятся, что, ничего не значит?" Гарри покачал головой: "Что такое чуть-чуть доверия, которое вы называете дружбой? Будто любовь имеет что-то общее с вашей дружбой и с этим доверием!" "Да, малыш, а у тебя свое собственное представление о

любви",— ласковым тоном проворковал Альфонс. Гарри говорил словно в полужабыти: "Любовь — это большая неизвестность". Эшу вспомнилось молчание госпожи Хентьен, когда Альфонс сказал: "Для бедного музыканта это слишком уж заумно, малыш". Со стороны оркестра понеслись звуки громкой музыки, и Гарри, наклонившись над столом, чтобы не кричать, но быть услышанным, тихо и таинственно проговорил: "Любовь — это большая неизвестность: это — двое, и каждый на своей звезде, и ни один из них равным счетом ничего не может знать о другом. И вдруг, в одно мгновение исчезает расстояние и перестает существовать время, они растворяются друг в друге и уже ничего больше не знают о себе, да и не нужно им ничего больше знать. Это — любовь". Эш подумал о Баденвайлере: отрешенная любовь в отрешенном замке; что-то в этом роде было наверняка предназначено Илоне. Размышляя об этом, он внезапно ощутил сильнейшую боль — никогда не понять ему, такая ли любовь была или какая-то иная та, которой любили друг друга и с которой ладили между собой господин и госпожа Хентьен. Гарри продолжал, говоря словно бы словами из Библии: "Лишь с рождением неизвестности, только тогда, когда неизвестность заводит, так сказать, в бесконечность, может расцвести то, что может считаться недостижимой целью любви, что составляет ее суть: таинство единства... да, это так называется". "Вот тебе и на",— печально проговорил Альфонс, но у Эша возникло ощущение, словно парню дано высшее знание, и пробудилась надежда на то, что знание, которым обладал этот парень, содержит ответы и на его собственные вопросы. И хотя его мысль никак не лепилась к тем, что были произнесены вслух Гарри, он сказал то, что как-то говорил Лобергу: "Но в таком случае никому не дано пережить другого", душа при этом наполнилась частично радостной, частично горькой уверенностью в том, что вдова Хентьен, поскольку она была еще живой, никак не могла любить своего супруга. Альфонс зашептал Эшу: "Ради всего святого, не говорите в присутствии этого малыша о таких вещах", но было уже поздно, Гарри впе-

рил в него возмущенный взгляд и глухо сказал, на самую малость глуше, чем нужно было: "А я и не живу больше". Альфонс пододвинул ему двойную порцию ликера: "Бедный мальчик, вот после той истории он ведет такие разговоры... тот совершенно погубил его". Эш ощутил себя вернувшимся к реальности; он разыграл ничего не понимающего типа: "Тот это кто?" Альфонс пожал плечами: "Ну тот, великий бог, белый ангел..." "Заткнись, или я выцарапаю тебе глаза",— зашипел Гарри, и Эш, которому стало жаль малыша, прикрикнул на Альфонса: "Оставь его в покое". Гарри внезапно разразился истерическим плачем: "А я и не живу больше, не живу больше..." Эш оказался в довольно-таки беспомощной ситуации, поскольку не мог прибегнуть к тем же методам, которые привык использовать в обращении с плачущими девушками. Значит, и жизнь этого парня тот тоже разрушил; желая сделать для Гарри что-нибудь приятное, Эш неожиданно выпалил: "Поставить бы нам этого Бертранда к стенке". Гарри взорвался: "Ты не сделаешь этого!" "А почему? Это же должно тебя обрадовать, он ведь наверняка заслужил такое наказание". "Ты, ты не сделаешь этого...— вопил малыш с безумными глазами,— ты не смеешь к нему прикасаться..." Эша разозлило, что парень был настолько глуп, что не уловил благого намерения. "Такая мразь подлежит выбраковке",— настаивал он на своем. "Он не мразь,— взмолился Гарри,— он самый благородный, самый хороший, самый красивый на всем белом свете". В чем-то малыш был, конечно, прав, и Эш был уже почти что готов пообещать не трогать Бертранда. "Безнадежно",— вяло промямлил Альфонс и выпил свой ликер. Гарри, зажав лицо между двумя кулаками и раскачивая головой, словно фарфоровый игрушечный человечек, начал смеяться: "Он и какая-то мразь, он и какая-то мразь"; затем его смех снова сменился всхлипываниями. Когда Альфонс попытался прижать Гарри к своей покрытой шелком жирной груди, Эшу, дабы предотвратить потасовку, пришлось вмешаться. Он распорядился, чтобы Альфонс проваливал отсюда, и обратился к Гарри: "Мы уходим. Где ты живешь?" Парень сник и послушно

назвал свой адрес. На улице Эш взял его за руку, словно шел с девушкой, и, один — обеспечивая защиту, другой — приняв ее, они оба были почти счастливы. С Рейна налетали слабые порывы ветра. У своей двери Гарри прижался к Эшу, показалось, что он хочет подставить свое лицо мужчине для поцелуя. Эш втолкнул его в дверь. Но Гарри удалось выскользнуть обратно, и он прошептал: "Ты ничего ему не сделаешь", и не успел Эш опомниться, как парень обнял его, неловко чмокнул в руку чуть ниже плеча и исчез в доме.

Посещаемость борцовских представлений заметно упала, и нужно было что-то делать для их пропагандирования. Не спрашивая согласия остальных, Эш решил на свой страх и риск предложить "Фольксвахт" статью о борцовских схватках. Но перед грязно-белой дверью редакции он ощутил, что его сюда привело опять-таки что-то другое. Сам по себе этот визит был абсолютно бессмысленным и бесцельным: все это борцовское шоу стало ему безразличным, ведь оно не принесло Илоне ровным счетом ничего, для Илоны должно было бы произойти нечто более важное, вероятно, действовать надо было более решительно, да и ясно ему было, что "Фольксвахт" не даст никакого сообщения, если она до сих пор не сделала этого по каким-то пролетарским соображениям. В принципе позиция социалистической газеты была достойна похвалы: на ее страницах, по крайней мере, просматривалось, где лево, а где право, имелось четкое разделение между буржуазным мировоззрением и пролетарским. Собственно, неплохо было бы обратить внимание матушки Хентьен на этих людей, которые, хотя и были обычными социалистами, но, подобно ей, чертыхались по адресу борцовских представлений, и она не смела бы больше посматривать свысока на социалиста Мартина. Вспомнив о Мартине, Эш оторопел, самому черту, наверное, неизвестно, что он, Август Эш, ищет сегодня здесь, в этой редакции! То, что причиной этому была не борьба, было совершенно ясно. Уже переступая порог редакции, он все еще ломал голову над этим,

и только когда редактор самым оскорбительным образом его не узнал, только когда пришлось извлекать на свет Божий ту историю с забастовкой, дабы помочь человеку со столь плохой памятью, только тогда Эшу стало ясно, что дело-то все в Мартине. Он с ходу выпалил: "У меня для вас важная новость". "Ах, забастовка,— одним жестом редактор попытался приуменьшить значение данного события,— это дела давно минувших дней". "Конечно,— раздраженно отрезал Эш,— но Гейринг-то еще в тюрьме". "Ну и что? Он получил свои три месяца". "Так нужно же в конце концов хоть что-то делать!.." — не жалея голосовых связок, завопил Эш, что получилось помимо его воли. "Послушайте, да не орите вы на меня столь сильно, ведь не я же его засадил за решетку". Эш не был человеком, которого можно было легко сбить с толку. "Нужно что-то делать,— яростно и нетерпеливо настаивал он,— я знаю мальчиков, с которыми ваш порядочный господин Берtrand крутил шуры-муры... они в Кельне, а не в Италии!" — с триумфом добавил он. "Да они нам известны уже не один год, дорогой друг и товарищ. Или это и есть та новость, которую вы хотите нам предложить?" Эш остолбенел: "Да, но тогда почему вы ничего не предпринимаете? Он ведь пожертвовал собой". "Дорогой товарищ,— вмешался другой сотрудник редакции,— у вас, кажется, довольно детские представления о жизни. Но, по крайней мере, вам следовало бы знать, что мы живем в правовом государстве". Он ждал, что Эш теперь попытается как-то объяснить, но тот, застыв, не говорил ни слова, так какое-то время они сидели, уставившись друг на друга, не зная, что сказать, не понимая друг друга, и каждый видел только наготу и отвратительность другого. На щеках Эша от волнения выступили красные пятна, слившись затем с коричневатым оттенком кожи. На редакторе, как и в прошлый раз, был легкий коричневый бархатный пиджак, а его полноватое лицо с коричневыми свисающими усами было таким же мягким, как бархат его пиджака и одновременно таким же прочным. В таком сочетании было нечто кокетливое, и это напомнило Эшу напыщенные наряды мальчиков в забегаловках

для гомосексуалистов. Он решительно встrepенулcя: "Значит, защищаете голубого, который там, наверху? А другой за это должен гнить за решеткой". Он скорчил брезгливую физиономию, продемонстрировав свои лошадиные зубы. Редактор начал терять терпение: "Скажите, уважаемый, а почему, собственно, это так трoгает вас?" Эш залился краской: "Вы преднамеренно препятствуете всему, что я могу спасти... статью вы не напечатали; малого, который упрятал его в тюрьму, этого Бертранда, вы защищаете... и вы... вы преподноситe себя человеком, выступающим за свободу?!" Он горько усмехнулся. "В вашем лице свобода попала в хорошие руки!" Шут какой-то, подумал редактор, а поэтому ответил спокойно: "Послушайте, это ведь технически невозможно, чтобы мы опубликовали как новость то, что вы принесли нам с опозданием в недели и месяцы, так что..." Эш подхватился на ноги. "Уж вы от меня еще узнаете новости",— завопил он и бросился на улицу, громыхнув за собой грязно-белой дверью, которая закрылась лишь после того, как несколько раз хлопнула.

На улице он остановился и задумался. Почему он вел себя таким образом? По силам ли ему было изменить то, что все эти социалисты — мерзавцы? Опять-таки госпожа Хентьен оказалась права, когда презирала эту свору. "Продажные писаки",— пробормотал он. А ведь он приходил к ним с самыми хорошими намерениями, желая дать им шанс оправдаться перед госпожой Хентьен. Опять самым неприятным образом возобновилось смещение и смешение вещей и точек зрения. Однозначным было то, что редактор вел себя как мерзавец, во-первых, вообще, а во-вторых, потому, что он пытался защищать этого президента Бертранда всеми средствами продажного писаки, да, именно продажного писаки. Ну и конечно мерзавцем был этот господин президент, хотя малыш и не хотел этого признавать, и нельзя ничего было этой скотине сделать. Правда, то, что малыш говорил о любви, опять-таки было правильным. Все относительно! Но одно становилось в высшей степени понятным: госпожа Хентьен не могла любить своего мужа; ее вынудили

вступить в брак с этим хмырем. И поскольку Эш думал о мире, окружающем его, с величайшей ненавистью и о мерзавцах, которым, естественно, не место среди людей, тоже, сердце его наполнялось все большей враждебностью к президенту Берtrandу, он ненавидел его независимо от его пороков и преступлений. Он попытался представить себе его, как тот восседает с надменным видом, с толстой сигарой в руке на мягком диване у обеденного стола в своем замке, а когда возвышенная картина наконец-то вырисовалась в табачном дыму, то он сравнил ее с изображением франтоватого портного, очень похожим на портрет, который висел над стойкой забегаловки и являл посетителям господина Хентьена.

На день рождения матушки Хентьен, который ежегодно надлежащим образом отмечался завсегдатаями, Эш раздобыл маленькую бронзовую Статую Свободы, подарок казался ему исполненным смысла, и не только как напоминание об американском будущем, но и как удачно подходящий к статуе Шиллера, благодаря которой он имел такой успех. В обед он вместе с подарком появился в забегаловке.

К сожалению, его постигло разочарование. Если бы он всучил свой подарок где-нибудь втихаря, то, вероятно, она оказалась бы в состоянии воспринять всю прелесть скульптуры; но панический страх, который охватывал ее при любом публичном сближении и проявлении на людях доверительности, настолько ослепил ее, что радость свою она высказала более чем скупое, ничего не изменилось в ее поведении и после того, как он извиняющимся тоном заметил, что, может быть, статуэтка удачно сочеталась бы со статуей Шиллера. "Да, если вы находите..." — безучастно процедила она, и это было все. Конечно, она могла бы использовать и этот подарок для украшения своей комнаты; но чтобы он не воображал себе, что все, что он тащит сюда, может претендовать на столь привилегированное место, и чтобы он раз и навсегда зарубил себе на носу, что она все еще достаточно высоко ставит чистоту своей комнаты, она поверну-

лась и достала статуэтку Шиллера, дабы поставить ее вместе с новой Статуей Свободы на стойку рядом с Эйфелевой башней. Теперь там стояли певец свободы, американская статуя и французская башня, словно символы мыслей, которые были чужды госпоже Хентьен, а статуя протягивала руку, держащую факел, к господину Хентьену. Эшу показалось, что взгляд господина Хентьена оскверняет его подарки, он охотно бы потребовал, чтобы, по крайней мере, убрали портрет; а, впрочем, что бы это дало? Забегаловка, в которой вершил свои дела господин Хентьен, осталась бы в любом случае той же, а для него было даже лучше, что все честно и понятно остается на своем месте. Зачем врать и пытаться скрыть то, что скрыть невозможно! Для себя же он сделал открытие, что привлекла его сюда не только дешевизна угощения, которое он поглощал под взглядом господина Хентьена, но и что ему нужно его лицо для чего-то таинственного, подобного особой и горьковатой приправе к этому угощению: это была та же неизбежная горечь, с которой он позволил оскорбить себя неприветливому поведению матушки Хентьен и ощутил себя все же неизбежно сдавшимся, когда она в тот же момент ворчливо шепнула ему, что ночью он может заглянуть к ней.

Вторую половину дня он провел в похотливых мыслях о деловой любовной церемонии матушки Хентьен. В груди снова шевельнулись неприятные ощущения от этой деловитости, которая вступала в такое вопиющее противоречие с ее обычным отрицанием. В какие из ночей набралась она этих привычек? Забрехала надежда, в которую он и сам не очень-то верил, и появилась уверенность, что все это исчезнет, однажды им нужно просто оказаться в Америке, и мягкость такой надежды растаяла в возбуждении, охватившем его, когда он ощутил в кармане ключ от двери ее дома. Он достал ключ и положил его на ладонь, ощущая гладкое железо стержня. Учить английский язык она, конечно же, отказалась, но дуновение будущего снова ощущалось в этих переулках. Ключ к свободе, подумал Эш. Собор высился серой громадой в поздних сумерках, торчали

серые с металлическим отблеском башни, овеваемые ветрами нового и необычного. Эш считал часы, оставшиеся до полуночи. Важнее "Альгамбры" был бы набор девушек для Южной Америки. Целых пять часов, а затем откроются двери дома. Перед глазами Эша стояла ниша для постели, он видел ее, лежащую в постели: будто он скользит к ней, будто она вздрагивает от прикосновения его руки и его возбуждения, все это делает его дыхание частым и хриплым. А ведь еще на прошлой неделе и всегда до того она принимала его в глухой неподвижности, и хотя едва уловимое жесткое вздрагивание было чем-то очень незначительным, все же эта масса приподнялась в одном местечке, пусть крошечном, но все же девственном местечке, и это было подобно сигналу будущего и надежды. Эшу показалось неприличным сегодня, в день рождения матушки Хентьен, шляться по кабакам с проститутками; и он направился в "Альгамбру".

Подходя к забегаловке, он уже издали заметил желтый свет, отражавшийся на ухабистой мостовой. Окна с круглыми стеклами были открыты, и внутри была видна "новорожденная", сидевшая с чопорным видом в шелковом платье в окружении шумящих гостей; на столе стояла чаша для пунша. Эш остался в темноте, ему было противно заходить внутрь. Он развернулся и пошел прочь, не для того, чтобы шататься по кабакам, выполняя свой долг, он в ярости понесся по улицам. На мосту через Рейн он прислонился к железным перилам, уставившись в черную воду. У него аж задрожали колени — столь сильно охватило его желание разорвать корсет, в котором пряталась эта женщина; в обязательно возникшей вследствие этого ожесточенной борьбе должны были хрустнуть прутья из китового уса. С опустошенным выражением лица он потащился обратно в город.

В доме уже было темно. Матушка Хентьен, держа в руках светильник, ждала его, стоя наверху лестницы. Он сразу же задул огонек светильника и обнял ее. Но корсет уже был снят, да и не сопротивлялась она вовсе, более того — одарила его нежным поцелуем. И хотя такое приветствие в высшей степени

ошарашило его, и хотя это, вероятно, было не менее новым, чем то вздрагивание, которого он с нетерпением ждал, тем не менее этот поцелуй прояснил ужасным и отвратительным образом, что это входит в ее старую привычку завершать празднование дня рождения нежной любовной вечеринкой; и то, как только что настал с таким нетерпением ожидавшийся момент, как прошло по ее телу исполненное счастья вздрагивание, стало для Эша яростной болью оттого, что прикосновение кожи господина Хентьена к ее телу, которое он в данной ситуации вообще не хотел себе представлять, приводило к такому же вздрагиванию: призрак, от которого он решил, что избавился, восстал снова, с еще большим злорадством и непобедимостью, чем когда бы то ни было прежде, и чтобы победить его, а женщине доказать, что здесь есть только он один, Эш набросился на нее и впился лошадиными зубами в ее мясистое плечо. Ей, должно быть, было больно, но она терпела молча, впрочем, выражение ее лица было таким, словно она проглотила кусочек лимона, а когда он в изнеможении отпрянул, она, словно в благодарность, крепко обняла его, как будто в тиски зажала, своей тяжелой неуклюжей рукой, да так сильно, что он с трудом мог дышать и сердито пытался освободиться. Но она не ослабила объятий, а сказала — впервые она заговорила с ним в этой нише — своим обычным деловым тоном, в котором он, будь он более чутким, смог бы уловить нечто похожее на страх: "Почему ты пришел так поздно?.. Потому что я стала еще на год старше?" Эш был настолько поражен ее необычными словами, что даже не уловил смысл сказанного, да он даже и не пытался уловить, поскольку неожиданное звучание ее голоса было для него словно завершение, словно озарение после долгих и мучительных размышлений, знаком того, что все может быть по-другому, и он произнес: "С меня хватит, я уываю руки". Госпожа Хентьен ощутила прилив крови к голове, вряд ли она хотела ослабить сжимающую его плечи руку, но на душе стало так холодно и тяжело, что рука превратилась в бессильно свисающую плеть. До нее дошло только, что нельзя показывать свое

замешательство какому-то мужчине, что надо было дать ему от ворот поворот до того, как он сам от нее уйдет, и, с трудом собравшись, она тихо выдавила из себя: "Пожалуйста, как будет угодно". Эш пропустил это мимо ушей и продолжил: "На следующей неделе я отправляюсь в Баден". Зачем он сообщает ей еще и это? В какой-то мере она ощутила себя польщенной, поскольку намерение покончить свои отношения с ней, видимо, настолько потрясло его, что он решил куда-нибудь уехать. Только если уж он задумал поставить точку, то что-то тут не так, поскольку он сейчас снова уткнулся своими губами в ее плечо. Или он просто жаждет ублажать свою похоть до самого последнего момента? От этих мужчин всего можно ожидать! Тем не менее в ней снова шевельнулась надежда, и хотя говорить ей было еще довольно трудно, она спросила: "Зачем? Там что, тоже девочка, как в Обер-Везеле?" Эш засмеялся: "Да уж, девочка что надо". Госпожа Хентьен была возмущена тем, что он еще и насмехается над ней: "Большое искусство поиздеваться над слабой женщиной". Эш по-прежнему относил сказанное к "женщине" в Баденвайлере, и это рассмешило его еще больше: "Ну, не такая уж она откровенно слабая". Ее недоверие получило новое подтверждение: "И кто же это?" "Секрет". Она обиженно замолчала, терпеливо снося его новые ласки. А между тем спросила: "А зачем тебе другая?" Он не смог не сознаться самому себе, что эта женщина с ее деловыми, даже бюрократическими и все же так странно противоречивыми и благочестивыми ухватками вызывает в нем гораздо больше сладострастия и желания, чем любая другая, и что ему действительно никакая другая не нужна. Она повторила: "Зачем тебе другая? Нужно просто сказать, если я для тебя недостаточно молода". Он ничего не ответил, ибо его внезапно охватило возбуждение и ощущение счастья от того, что теперь она начала говорить, она, которая до сего дня лишь молча с перекатывающейся головой лежала в его объятиях, настолько невозмутимо молча, что для него эта молчаливость всегда была словно наследие со времен господина Хентьена. Она уловила его чувства и не без

гордости продолжила: "Зачем тебе молодая, я не уступлю ни одной девушке..." Это же бессмыслица, печально подумал Эш, или она врет. С грустью он вспомнил Гарри; тот говорил: "Любовь бывает только раз", и поскольку госпожа Хентьен просто сказала "да", словно этим она хотела подчеркнуть, что именно он является тем, кого она любит, то становилось ясно, что она говорит неправду: утверждать, что ее тошнит от мужчин, и сидеть, выпивая с ними за одним столом, празднуя свой день рождения, утверждать теперь, что любит только его одного, и быть при этом строгой и деловой. Но, может, все обстояло и не так; у нее ведь не было детей. Его желание однозначности и абсолютности снова натолкнулось на непреодолимую стену. Если бы только все это было в прошлом и решенным делом! Поездка в Баденвайлер казалась ему в этот момент необходимым начальным аккордом, неизбежной прелюдией к поездке в Америку. Очевидно, она почувствовала его мысли о поездке, поскольку спросила: "А как она выглядит?" "?" "Ну, та, баденская девушка?" Так как же выглядит Берtrand? И отчетливее чем когда-либо он ощутил, что Берtrand предстает в его воображении только в облике Хентьена. Он резко ответил: "Фотографию нужно убрать". Она не поняла: "Какую фотографию?" "Ту, которая внизу...— он опасался называть имя,— ту, которая над Эйфелевой башней". Наконец до нее дошло, но она воспротивилась, поскольку он хотел влезть в ее дела: "Она еще никому не мешала". "Именно поэтому",— настаивал он. Вдруг он понял, что тот спор, который он должен разрешить с Берtrandом, является спором и с Хентьеном, и продолжил свою мысль: "И вообще, нужно поставить точку". "Только вот...— задумчиво отвечала она и, пытаясь не согласиться, добавила: — точку в чем?" "Мы уезжаем в Америку". "Да,— сказала она,— я знаю".

Эш приподнялся. Он охотно начал бы прохаживаться по комнате, как он имел обыкновение делать, когда его что-то занимало, но в нише не было места, а по комнате были рассыпаны орехи. Так что он уселся на краю кровати. И хотя он хотел

всего лишь повторить сказанное Гарри, речь эта в его устах прозвучала совсем по-другому: "Любовь возможна только на чужбине. Если хочешь любить, должен начинать новую жизнь, уничтожив все старое. Лишь в новой жизни, где все прошлое настолько мертво, что и забывать-то его не нужно, два человека могут так слиться воедино, что для них уже больше не будет существовать прошедшего да и вообще никакого времени".

"У меня нет прошлого",— обиженно протянула матушка Хентьен.

"Тогда,— Эш скорчил злую гримасу, которую, к счастью, госпожа Хентьен в темноте не рассмотрела,— тогда нельзя больше говорить неправду, ибо правда превыше всего и правда не имеет времени".

"Я никогда не говорила неправду",— защищалась матушка Хентьен.

Эш не позволил ввести себя в заблуждение: "Правда уже не имеет ничего общего с миром, и с Мангеймом тоже...— он почти кричал,— ничего общего с этим старым миром".

Матушка Хентьен вздохнула. Эш пристально посмотрел на нее: "Тут нечего вздыхать; чтобы стать свободным самому, следует освободиться от старого мира..."

Матушка Хентьен продолжала озабоченно вздыхать: "А что будет с заведением? Продадим его?"

Эш убежденно сказал: "Без жертв не обойтись... даже на верняка, ибо без жертв не бывает избавления".

"Уезжая, мы должны пожениться,— и снова в голосе зазвучали нотки страха,— ...я слишком стара для тебя, чтобы на мне жениться?"

Эш, сидя на краю кровати, рассматривал ее в свете мерцающей свечи. Его палец нарисовал цифру 37 на поверхности пуховика. Он мог бы принести ей торт с тридцатью семью свечами, но лучше уж так, она ведь скрывает свой возраст и просто бы рассердилась. Он рассматривал ее тяжеловесные неподвижные черты и вдруг ощутил, что куда охотнее смотрел бы на нее еще более старую. Так ему показалось надежнее, он и

не знал, почему. Стань она в одно мгновение молодой, лежи она тут в легкомысленной одежде девушки, труба дело было бы с жертвой. А жертва должна быть, ее масштабность должна расти с возрастом, дабы порядок пришел в этот мир и Илона была защищена от ножей, дабы всему живому снова вернуть состояние невинности, дабы ни одной душе не приходилось больше гнить в тюрьме. Мир показался ему ровным, бесконечным и гладким коридором, и он задумчиво произнес: "Пол в забегаловке нужно покрыть коричневым линолеумом, было бы неплохо".

В душе у матушки Хентьен снова шевельнулась надежда: "Да, а также покрасить весь дом, он уже в довольно плохом состоянии... все эти годы ничего не делалось... но если ты хочешь в Америку?.."

Эш повторил: "Все эти годы..."

Матушка Хентьен почувствовала, что снова должна оправдываться: "Нужно откладывать деньги, а тут переносишь все из года в год... а время идет...— затем она добавила: —... и ты стареешь".

Эш разозлился: "Если нет детей, то откладывание это — просто смешно... для меня тоже никто не откладывал".

Но матушка Хентьен не слушала. Хотелось бы ей знать, стоит ли начинать покраску своего заведения; она спросила: "Ты возьмешь меня с собой в Америку... или какую-нибудь молодую?"

Эш грубо отрезал: "Что за вечные определения: "молодая" или "старая"... тут ведь нет больше ни молодых, ни старых... потому что нет вообще никакого времени больше..."

Эш запнулся. Тот, кто стар, не сможет иметь детей. Может, это тоже являлось жертвой. Но в состоянии невинности ни у кого не бывает детей. Девственницы не имеют детей. И, юркнув обратно в кровать, он закончил: "Тогда все будет прочно и надежно. А то, что у кого-то за плечами, не может больше иметь никакого значения".

Он взбил пуховик и заботливо натянул его на плечи матушки

Хентьен. После этого взял латунный колпачок для гашения свечей, который висел на светильнике и которым тоже, наверное, пользовался в подобных ситуациях господин Хентьен, и прихлопнул им огонек мерцающей свечи.



По дороге в Баден лежал Мангейм. И Эш напомнил самому себе, что перед друзьями тоже существуют обязательства. Уже довольно длительное время его что-то угнетало, теперь он знал, что взносы своих друзей нельзя оставлять в столь быстро исчерпывающем себя деле. То, что они смогли получить пятидесятипроцентную прибыль, было, конечно же, прекрасно, но сейчас речь шла о том, чтобы эта прибыль оказалась в безопасном месте. Прочь из этого дела. Его собственные триста марок были уже в другом деле. Окажись они потерянными, это было бы просто справедливо. Ибо заработать пятьдесят процентов да к тому же жить два месяца и неплохо жить — где уж тут та жертва, посредством которой хотелось освободить Илону? А финансировать бегство в американскую свободу бешеными деньгами — это тоже было довольно-таки неправильным расчетом! Самое время, значит, чтобы эта затея с борьбой квакнула вместе с денежками. Матушка Хентьен оказалась, стало быть, совершенно права, когда предсказывала, что в итоге он и весь этот бабский театр переживут стыд и позор.

Сейчас же речь шла о деньгах для Лоберга и Эрны. Обсудить это дело с Гернертом было непросто: по вечерам господин директор жаловался на пустой зал, а найти его днем было еще сложнее; в "Альгамбре" он никогда не появлялся, свою квартиру, казалось, он вообще никогда не посещает, а у Оппенгеймера было две дерьмовые пустые комнаты и ни единого человека в них. Если же его спрашивали, где он принимает пищу, то он отвечал: "Ах, мне достаточно одного бутербродика, отцу семейства не пристало кутить", что, естественно, не со-

всем соответствовало истине, потому что, когда английская транспортная фирма перешла из собора в отель, кто это там выходил из мраморного вестибюля отеля? Господин Гернерт собственной персоной, сытый и с толстой сигарой в зубах. "Визит престижа, дорогой друг",— сказал он и начал изображать такое, будто ему вовсе и не нравится жить в отеле у собора, даже и со всей семьей. Сегодня, впрочем, дела обстояли по-другому: не дать господину директору улизнуть!

А вечером Эш открыл дверь директорского кабинета, ухмыляясь, запер ее за собой, спрятал ключ в карман брюк и, продолжая ухмыляться, представил пойманному таким образом Гернерту чистый "Расчет прибыли на вложения господина Фрица Лоберга и фрейлейн Эрны Корн", объясняя, что оба указанных лица должны получить на свое вложение капитала в размере 2000 марок прибыль по 1123 марки, итого 3123 марки, а внизу стояло: "В качестве доверенного лица собственноручно подписано, Август Эш". Кроме того, он хотел бы получить и свои собственные денежки. Гернерт поднял ужасный крик. Во-первых, Эш не имеет законных полномочий, а во-вторых, борцовские представления еще не завершены, а прибыль, приносимая еще не завершенным делом, обычно не выплачивается. Какое-то время продолжалась словесная перепалка, с многочисленными стонами и причитаниями Гернерт наконец согласился выплатить Эшу половину требуемой для Лоберга и Эрны суммы, тогда как вторая половина должна была остаться в деле и сослужить хорошую службу при возможном получении дальнейшей прибыли. Но для себя Эш, кроме дорожных расходов в сумме пятьдесят марок, не смог больше выбить ни марки. Может, он оказался слишком уж уступчивым. Впрочем, для поездки этого вполне хватало.

Госпожа Хентьен пришла на вокзал в платье из коричневого шелка, она осторожно посматривала по сторонам: не видно ли кого-нибудь из знакомых, кто бы мог потом распустить слухи, ибо народу, невзирая на утренние часы, было видимо-невидимо. С другой платформы в противоположном направлении от-

ходил поезд, в котором имелось несколько вагонов для переселенцев, чехов или венгров, и там было чем заняться несколькими членам Армии спасения. То, что матушка Хентьен провожает его, свидетельствовало о полном порядке; самое время расстаться ей со своей глупой скрытностью. Но о переселенцах и членах Армии спасения Эш был крайне невысокого мнения. "Сброд чертов", — ругнулся он. одному Богу известно, почему они так злили его. Может быть, он тоже заразился этим глупым желанием делать из всего тайну, ибо проходя мимо девушки из Армии спасения, он демонстративно отвернулся в другую сторону. Госпожа Хентьен заметила это: "Может, тебе неудобно, что я здесь с тобой? Может, она вообще едет с тобой, твоя зазноба?" Эш довольно грубым образом запретил ей нести подобную чушь. Но, увы, безуспешно: "Ну, к чему это, компрометировать себя из-за мужчины... с кем поведешься, того и наберешься". Эш снова поймал себя на том, что не понимает, что привязывает его к этой женщине. Когда она стояла перед ним здесь в дневном свете, то исчезали видения ее женских прелестей и темной ниши, те видения, которые преследовали его, как только он оказывался вдали от нее, они исчезали в никуда, словно их никогда и не было. В тот раз он и матушка Хентьен ездили тем же поездом в Бахарах; тогда это началось, не исключено, что сегодня оно и закончится. Она, наверное, почувствовала его безучастность, потому что внезапно выпалила: "Если ты только мне будешь изменять, то увидишь..." Ему, польщенному, захотелось побольше послушать обо всем этом; к тому же его забавляло наступать ей на мозоли: "Чудненько, еще сегодня я кого-нибудь найду себе... и что же я увижу?" Она опешила, не сказав ни слова в ответ. Ему стало жаль ее, и он сжал руку, тяжело лежавшую в его руке. "Ну, ну, так что же произойдет?" Она ответила с отсутствующим взглядом: "Я убью тебя". Это прозвучало словно клятва, словно избавляющая надежда; тем не менее он заставил себя засмеяться. Она же осталась при своих мыслях. "А что мне еще остается? — и после непродолжительного молчания продолжила: — Может,

ты вообще едешь в Обер-Везель?.. К той особе?" "Чушь какая, я тебе уже сто раз говорил, что я должен закончить свои дела с Лобергом в Мангейме... мы ведь все-таки собираемся в Америку". Госпожу Хентьен это не убедило: "Не обманывай меня". Эш с нетерпением ждал, когда же подадут сигнал к отправлению; он никак не может расколоться, что едет к Берtrandу: "Разве я тебе не предлагал поехать со мной?" "Это же было несерьезно". Но сейчас, перед самым сигналом к отправлению, ему показалось, что его предложение было более чем серьезным, и держа ее за руку выше локтя, он попытался поцеловать ее, ему захотелось этого; она оттолкнула его: "Послушай-ка, здесь, на глазах у всех!" И тут подошло время садиться в вагон.

Он, собственно, намеревался ехать прямо до Баденвайлера, и только увидев вывеску на станции Санкт-Гоар, окончательно решил еще сегодня сделать остановку в Мангейме. Да, а из Мангейма он черкнул бы ей пару строк; это ее успокоит; Эш нежно улыбнулся, подумав о том, что она намеревалась его убить; ну что ж, можно, собственно, сделать все это небезосновательным. Впрочем, посещение Баденвайлера таило в себе опасность, было чем-то, где речь шла обо всем, но существовала некая заповедь приличия — прежде всего доставить по назначению чужие деньги. В памяти всплыло выражение: "Нельзя играть человеческой жизнью", и его звучание постепенно слилось с ритмом стучащих колес. Эш видел, как матушка Хентьен поднимает изящный револьвер, а затем снова услышал голос Гарри: "Ты ничего ему не сделаешь". Теперь перед ним толпились и Лоберг, и Илона, и фрейлейн Эрна, и Бальтазар Корн, и было странно, что он так давно их не видел; а может, все это время они и не жили вовсе. Они ритмично, в такт, поднимали руки, приветствуя его, и казалось, что ими двигает, дергая за внезапно появившиеся ниточки, невидимый и приятный кукольник. Купе третьего класса похоже на тюремную камеру, а на подмостках слева сверху, там, где у человека обычно дырка на месте выпавшего зуба, задернуты серые кулисы, кулисы из картона, за которыми не скрывается ничего,

кроме серых, припавших пылью сценических стен. Но на кулисах можно прочесть слово "Тюрьма", и хотя известно, что там ничего нет, все-таки знаешь, что в тюрьме сидит кто-то, кого просто не существует, и тем не менее он — главное действующее лицо. Но подмостки, на которые наезжают подобно зубам тюремные кулисы, очерчены в глубине полотном, на котором нарисован изумительной красоты парк. Среди могучих деревьев пасутся косули, и девушка, на которой платье с переливающимися блестками, рвет цветы. Возле темного пруда, фонтан которого, обеспечивая прохладу, извергает в воздух белый луч, подобный блестящему кнуту, стоит садовник в широкополой шляпе, в руках он держит бросающие отблески ножницы, а рядом с ним — собачка. И уж совсем в глубине угадываются огни и украшения великолепного замка, на стенах которого развеваются черно-бело-красные флаги. И все это снова вызывает сомнения в его существовании.

Теперь, когда поезд все ближе и ближе подъезжал к Мангейму, Эшу пришло в голову, что Эрна наверняка уже спит с целомудренным Иосифом, хотя, собственно, это было настолько естественно, как нос на лице или ноги для ходьбы, что не стоило себе и голову ломать. Ничто и никто не смог бы заставить Эша изменить такое мнение: а чем еще прикажете тем двоим друг с другом заниматься? И тем не менее он ошибался. Ибо если само собой разумеющимися могут быть ситуации, когда жизнь становится убогой или два лица противоположного пола не могут прийти к согласию, то кое-что может все же быть не столь естественным, как хотелось бы думать. Тот, кто подобно Эшу пребывает в обыденно-земной жизни или приподнялся над ней лишь на самую малость, легко забывает, что существует еще царство избавления, в котором все земное превращается во что-то неосязаемое, так что в какое-то мгновение может возникнуть вопрос, ногами ли люди ходят, не говоря уж о том, спят ли два человека в одной постели. Здесь, впрочем, случилось так, что Лоберг частично из-за своей стеснительности, а

частично из-за постоянного недоверия к особам женского пола, особенно после того, как он, получив один мерзкий опыт, начал испытывать страх перед ядом отвратительной болезни, не решился переступить черту благородной и душевной дружбы, да и вообще он думал, что Эрна была подвержена постоянным искушениям со стороны распутника, жившего рядом. Да, вот таким был Лоберг. Он просто совершал с фрейлейн Эрной Корн прогулки, попивал с ней кофе и считал это временем очищения и покаяния, которое закончится лишь тогда, когда он получит знак свыше, когда, так сказать, будет дан знак истинной избавляющей милости.

Хотя Эшу и была известна добродетель этого идиота, но он не представлял себе масштабов этой добродетели, однако еще меньше он мог ожидать, что сам не отказался от мысли утешить фрейлейн Эрну, что он, если и не был ей близок по духу, то уж по плоти был просто родным, и что она, может быть, по этой причине не особо спешила подавать Лобергу знак избавляющей милости, а может, даже и специально затягивала время, поскольку усматривала в этом правильную подготовку к супружеству. Да, всего этого Эш не мог представить, ну а меньше всего могло уложиться в его воображении то, что оба охотно занимались выискиванием в его характере отталкивающих черт и, склонные к мечтательности, они даже верили, что в таком общем интересе найдут хорошую основу для жизненного союза.

Не имея понятия обо всех этих обстоятельствах, Эш рассчитывал на дружески-праздничную встречу. Но вместо этого фрейлейн Эрна, увидев его у двери своего дома, скорчила испуганную физиономию. "Ах,— сказала она, быстро взяв себя в руки,— как это мило, господин Эш, снова видеть вас в наших краях, особенно любезно с вашей стороны, господин Эш, что вы так дружески напоминали о своем существовании, что даже ни разу не потрудились прислать хоть бы открыточку. Да уж, кто платит, тот заказывает музыку", за этим последовали всякие прочие колкости, так что Эшу как-то даже не сразу удалось войти в переднюю. Корн же, услышав голоса, вышел из своей

комнаты в одной рубашке, а поскольку он по складу характера был более грубым человеком, чем его сестра, то практически не вспоминал об Эше в течение этих двух месяцев и, следовательно, не ставил ему в вину его молчание, более того, он бы крайне удивился, если бы Эшу взбрело в голову написать ему; так вот, Корн был искренне рад, и не только потому, что оставался привязанным ко всему, что когда-либо знал, он снова увидел в вернувшемся Эше источник веселья и, более того, достойную похвалы прибыль от пустующей комнаты. К тому же ему нужны были средства на Илону. С дружескими возгласами он тряс гостю руку и пригласил его сразу же заруливать в пустую комнату. Такая сердечность для человека, который начинал ощущать себя не совсем в своей тарелке, что бальзам на душу, и Эш собрался было занести пожитки в свою комнату, которая только его и ждала, как фрейлейн Эрна попридержала его и, слегка повернувшись к брату, сказала, что она не знает, возможно ли это. Ну тут уж Корн психанул: "А почему это вдруг невозможно! Если я сказал, что возможно, значит возможно". Вне всякого сомнения, Эшу, будь он тактичным человеком, нужно было бы откланяться со словами сожаления, но если бы он даже и был таковым, в чем его ни в коем случае нельзя было заподозрить, то слишком уж он близко знал это семейство, чтобы не задвинуть правила приличия за собственное любопытство; что здесь произошло? Он просто застыл с выражением удивления на лице. Фрейлейн Эрна между тем, не привыкшая особо церемониться, достаточно быстро удовлетворила его любопытство, поскольку с шипением набросилась на брата: он не может ее, которая стоит на пороге добропорядочного брака, заставляя спать с посторонним мужчиной под одной крышей; ей и без того пришлось испытать в этом доме достаточно сраму, и если бы ее избранник не был столь великодушным человеком, то она не смела бы даже и мечтать о совместной жизни с ним. На что Корн на своем местном наречии отрезал: "Как бы не так, закрой пасть, голуба. Эш остается здесь". А Эш, пропустив мимо ушей все намеки фрейлейн Эрны, вос-

кликнул: "Вот это сюрприз, от всего сердца поздравляю, фрейлейн Эрна, и кто же тот счастливец?" Тут уж, естественно, фрейлейн Эрне не оставалось ничего другого, как принять поздравления и сообщить, что они с господином Лобергом почти что уже договорились. Она взяла Эша под руку и отвела его в комнату. Да, кстати, с минуты на минуту должен подойти и ее жених. И поскольку они только что заговорили о Лоберге, то у Корна появилась великолепная идея спрятать Эша в темный угол с тем, чтобы ничего не знающий господин жених схватился как ошпаренный, когда Эш, словно привидение, внезапно вмешается в разговор.

Когда в передней раздался звонок и Эрна побежала открывать дверь, Эш послушно ретировался в темный угол. Корн, оставшись за столом, подавал ему решительные знаки, чтобы тот еще сильнее зажался в угол. Корн ведь был человеком, для которого совершенство определялось технической точностью, и он жутко злился, если что-то было не так. Но не из-за страха перед сердящимся Корном застыл Эш, словно мышь, в своем углу, о нет, он ни в коем случае не был малым, который по первому требованию кидался бы в угол, к тому же угол, где он находился, совсем не был местом наказания или унижения; абсолютно добровольно он еще сильнее прижался к стене, его даже не волновало то, что он испачкает побелкой рукава одежды, потому что в этом затененном углу ему неожиданно и странно захотелось, чтобы расстояние между ним и теми, кто сидел за столом, стало как можно большим. Тех нескольких минут, которые прошли до того, как Лобберг вошел в комнату, ему оказалось недостаточно, чтобы объяснить себе все это, но ему представилось, что он снова соскальзывает в то характерное одиночество, которое как-то было связано с Мангеймом и запрещало сходить там с кем-либо очень близко, в то требуемое одиночество, которое сейчас воспринималось им как такое благо, что даже казалось недостаточно полным, и если бы он вжимался все больше и больше в свой угол, то превращался бы в избавляющегося и возвышенного отшельника, уединившегося от

мира в своей келье, в дух над столом тех, кто был связан плотью. Это, конечно, не могло продолжаться долго, ведь такие размышления могут тесниться в голове только в том случае, если не хватает времени додумать их до конца или даже реализовать, Эш тоже выпустил эти мысли из сознания, когда Лобберг, как и планировалось, вошел в комнату и был так ошарашен, что даже обрадовался присутствию гостя. Эш, конечно, не был составной частью сего круга, к этим людям он имел самое скромное отношение, как, впрочем, и Илона, но сейчас, сидя вокруг стола, они стали похожи на одну семью и принялись расспрашивать друг друга о многих вещах. А поскольку эти вопросы скоро коснулись проблем благосостояния, то Эш с гордым видом извлек бумажник и кошелек и отсчитал 1561 марку и 50 пфеннигов. Фрейлейн Эрна радостно ухватила за деньги, ибо решила, что это ее доля вместе с прибылью; когда же Эш объяснил, что она должна была бы получить так много, но пока ей придется разделить эту сумму с Лоббергом, поскольку вторая половина осталась в деле, она раскричалась: теперь вот вместо прибыли она получила только лишь убыток. И даже когда он попытался ей все объяснить, она не захотела слушать, вопя, что она не даст заговорить себе зубы, что она очень даже хорошо умеет считать; она притащила листок бумаги и карандаш, пожалуйста — двести девятнадцать марок и двадцать пять пфеннигов насчитала она на листке, черным по белому, и продолжая ругаться, сунула листок Эшу под нос. Лобберг молчал как рыба; будучи предпринимателем, он, должно быть, очень даже хорошо понял расчет. Что, не хочешь портить отношений с госпожой невестой, идиот трусливый? Эш грубо отрезал: "И у нашего брата есть понятие о приличии, пожалуй, даже большее, чем кое у кого, кто здесь воды в рот набрал". Он схватил Эрну за руку, сжимающую листок, зло и в высшей степени резко прижал ее к столу. Может, до нее все-таки дошла суть дела, или же причиной была жесткая хватка Эша, но фрейлейн Эрна заткнулась. Корн, который до сих пор сидел за столом с безучастной физиономией, просто сказал, что Тельчер, морда жи-

довская, наверняка мошенник. Ну что ж, тогда он должен сообщить куда следует, ответил Эш, о каждом мошеннике необходимо сообщать куда следует, вместо того, чтобы кидать за решетку невиновных. И поскольку трусливое и непорядочное поведение Лоберга тоже должно быть наказано, Эш унизил его словами: "Невиновных забывают! Соизволил ли, к примеру, господин Лоберг проведать бедного Мартина?" Эрна, сидевшая рядом, сгорбленная и преисполненная горькой обиды, возразила, сказав, что ей известны другие люди, которые забывают своих друзей, наносят им даже убытки, тем более, что это было задачей господина Эша позаботиться о господине Гейринге. "А я для этого сюда и приехал", — выпалил Эш. "Ага, — встрепенулась фрейлейн Эрна, — значит, в противном случае мы бы только и видели господина Эша. — И помедлив, почти с испугом, естественно, из-за желания не сдаваться в своей мужественной борьбе, добавила: — и наши денюжки тоже". Но Корн, соображающий довольно туго, произнес: "Жидовскую морду следовало бы засадить".

Впрочем, теперь это было замечательное решение, и хотя Эш, собственно, сам его предложил, ему захотелось возразить: это всего лишь убогое и половинчатое решение по сравнению с лучшим, более радикальным, духовным, так сказать, решением. Что это даст засадить Тельчера на пару месяцев в тюрьму, если Илона после его выхода снова будет стоять перед ножами. Только сейчас он обратил внимание, что ее, которая в общем-то принадлежала к этому кругу, здесь нет, словно так и нужно было: избежать того, чтобы он попадался ей на глаза до тех пор, пока не управится со своими делами. Впрочем, дело там, дело здесь — мысли роятся вокруг великой жертвы, — а одновременно даются обещания, что это принесет дивиденды! Если действительно навести порядок, то затее с борьбой без сомнения придет каюк. И поскольку он таким образом только усилил подозрения ворчащей Эрны, что намерен все-таки рисковать для себя ее деньгами, возникло чувство долга, которое, по сути, и не было неприятным; но поскольку остальных это не тро-

гало, то его голос сорвался на крик: значит, вот она, благодарность, и вообще он сильно жалеет, что приехал сюда с деньгами, раз уж его здесь так принимают, то по поводу оставшейся суммы он напишет Гернерту. Пусть поступает так, как ему заблагорассудится, отрезала фрейлейн Эрна. Впрочем, она сама может написать, он ведь однозначно снял с себя всякую ответственность. Она не будет делать этого. Прекрасно, в таком случае он напишет, он ведь порядочный человек. "Скажите пожалуйста!" — съязвила фрейлейн Эрна. Эш потребовал чернил и бумаги и уединился в своей комнате, потеряв всякий интерес к присутствующим.

В своей комнате он принялся расхаживать размашистыми шагами, как это он обычно делал в состоянии сильного волнения. Затем он начал насвистывать песенку, чтобы те за стенкой не вообразили себе, что он злится, а может, он насвистывал потому, что на душе было чертовски одиноко. Скоро послышались голоса Эрны и Лоберга. Они разговаривали в передней шепотом; очевидно, Лоберг все еще испытывал страх перед гневом Эша: его белесые глазенки от беспомощности так и бегали туда-сюда. Эш, как он частенько делал это, сравнил образ Лоберга с образом матушки Хентьен. Бедная, сейчас и она бессильна что-либо сделать и вынуждена со всем смириться. Он прислушался, не моют ли Эрна с Лобергом ему косточки. Хорошенькое положение, в которое поставила его своей дурацкой ревностью матушка Хентьен; на кой ему все это нужно было, он уже давным-давно мог бы быть в Баденвайлере. В передней все стихло, Лоберг ушел; Эш уселся за стол и написал ровным бухгалтерским почерком: "Господину Альфреду Гернерту, директору театра, в настоящее время пребывающему в Кельне, театр "Альгамбра". Прошу переслать мне мой актив в сумме 780,75 марок с одновременным производством соответствующего расчета. С уважением". Зажав лист бумаги в одной руке, а чернильницу с пером в другой, он направился в комнату Эрны.

Эрна в войлочных шлепанцах как раз расстилала постель,

Эш удивился, что она успела так быстро сменить обувь. Она уже намерилась было возмутиться вторжением, но тут обратила внимание на его оснащение: "Ну и что вы хотите со своей бу-мажкой?" "Подпишите",— скомандовал Эш. "У вас я не подпи-шу больше ничего..." Но, подумав, она все-таки просмотрела письмо и пошла с ним к столу: "А впрочем, как угодно"; хотя и бесполезно все это, денежки-то тю-тю, промотали, прокутили, с этим придется смириться, господину Эшу на это, конечно, на-плевать. В ходе ее причитаний в нем снова возникло странное чувство долга перед ней; а что, уж он поможет ей с ее деньга-ми, он взял ее за руку, чтобы показать, где расписаться. По-пытка высвободить руку снова разозлила его; он сжал руку еще сильнее, можно даже сказать, что он вел себя с Эрной грубо, и это было уже во второй раз, когда фрейлейн Эрна, оказавшись беззащитной, не знала, что сказать. Эш как-то не особо задумывался над своим поведением, он просто тянул ее руку к мес-ту подписи, но тут его резанул ее косой змеиный взгляд, это было похоже на вызов. Когда он схватил ее в объятия, ее щека прижалась к его груди. Он не стал утруждать себя ответами на вопросы, был ли этот порыв отголоском ее прежней влюблен-ности, или она просто хотела отомстить Лобергу за его неспо-собность быть мужчиной, или — и это казалось Эшу наиболее близким к истине — она пошла на это просто потому, что он оказался в этот момент именно здесь, что так должно было произойти, ибо уже отпала необходимость устраивать перепал-ку по поводу их женитьбы. Все вдруг стало на свои места: у Эрны появился жених, а он вместе с матушкой Хентьен слиняет в Америку; улеглась также злость на Лоберга, возникло даже какое-то чувство жалости к этому идиоту, который был так по-хож на матушку Хентьен, к тому же и фрейлейн Эрна могла вполне набраться от своего жениха кое-чего в интимном обще-нии, так что было ощущение, будто Эрна — частичка матушки Хентьен, и говорить об измене было бы неуместным. Поскольку воспоминания о старых стычках еще не окончательно испари-лись, то они медлили, это было подобно моменту враждебной

стыдливости, и Эш почти был готов, не сделав задуманное, снова ретироваться в свою комнату, как это уже однажды случилось. Тут она вдруг прошептала: "Тсс, тихо", и отпрянула от него; в коридоре скрипнула дверь, и Эш сообразил, что пришла Илона. Они стояли, не двигаясь. Но как только шаги затихли и в двери Корна щелкнул замок, они тут же бросились в объятия друг друга.

Когда позже он залезал в свою кровать, его голова была забита мыслями о матушке Хентьен, он успокаивал себя тем, что остановился в Мангейме только для того, чтобы рассеять ее ревнивое недоверие. Ну вот вам и результат дурацкой ревности. Еще сегодня утром его угроза изменить ей была, естественно, просто шуткой. А сейчас то, чего так боялась матушка Хентьен, случилось, но не по его вине. К тому же это была, собственно говоря, даже и не измена; такой женщине не так-то просто изменить. Тем не менее он поступал по-свински. А почему? Да потому, что платить по счетам нужно было без промедления, потому что ему, как порядочному человеку, надо было бы быть уже в Баденвайлере, а не обращать внимание на эту дурацкую ревность. Ну а теперь есть что есть. Вот тебе и сюрприз, но изменить, увы, ничего невозможно. Эш повернулся к стене.

Открыв глаза, он узнал свою старую комнату; яркое утреннее солнце пробивалось сквозь гардины, его лучи покалывали, словно наконечники шпаги: не пора ли уже идти на свой склад? Тут он вспомнил, что у него уже нет ничего общего со Средне-рейнским пароходством. Некому было звать его к столу. Он мог валяться в постели столько, сколько ему хотелось, хотя это уже и не доставляло никакого удовольствия. Очень возможно, что теперь матушка Хентьен его прикончит, она же ведь никогда не поймет, что он оставался ей верен, она хочет его прикончить, и в этом не было никакого сомнения. Тот, кто стоит в преддверии смерти — свободен, а тот, кто получил избавление ради свободы — обречен на смерть. Перед его глазами возникли зубчатые

стены замка, на которых беззвучно развевалось черное знамя, но это могла бы быть и Эйфелева башня, ибо кому дано отличить будущее от прошлого! В парке — гробница девушки, убитой кинжалом. Да, перед смертью девушке все позволено, все свободно, все, так сказать, безвозмездно и странным образом ни к чему не обязывает. Позволено подойти на улице к любой женщине и пригласить ее переспать с кем-нибудь, и это так же приятно не накладывает на нее никаких обязательств, как в случае с Эрной, которую он оставит сегодня или завтра, дабы исчезнуть во мраке. Он слышал, как она возится там, за стеной его комнаты, маленькая костлявая коза, и он ждал, что она пойдет к нему как прежде — ведь надо же пользоваться моментом, пока еще не сыграл кое-куда. Матушке Хентьен не дано было понять, что разрешение на измену можно получить лишь самой изменой и что грудь распирает желание быть убитым за это; что могла она понимать в таких сложных бухгалтерских расчетах, как ей удалось бы обнаружить ошибки в этих бухгалтерских расчетах? Да и способна ли малейшая ошибка покачнуть здание свободы. Тут до него донесся с кухни голос фрейлейн Эрны: "Можно ли занести почтенному господину чашечку кофе?" "Нет,— спохватился Эш,— я сейчас выйду"; он спрыгнул с кровати, моментально оделся, выпил свой кофе и оказался на трамвайной остановке, сам удивленный тем, как быстро все это было сделано. Лишь ожидая трамвай, который отвез бы его к тюрьме, он задумался над тем, только ли мысль о посещении тюрьмы столь быстро согнала его с кровати или, может быть, виной тому был голос Эрны? Однако прелестным этот голосок не назовешь, несмотря на то, что он звучал так же жалобно, как вчера вечером. Нытьем еще никому не удавалось подтолкнуть Эша к чему-либо. Дело, значит, не в голосе, иначе Эш уже давным-давно покинул бы этот дом, еще тогда, например, когда она позвала его на кухню посмотреть на спящую Илону. Впрочем, смотреть на Илону ему вообще ни к чему, ни здесь, ни где-либо еще. А лучше всего, наверное, держаться от всего этого подальше и не знать, что это, вероятно, было просто бегство от

Эрны и ее злых утех, бегство от этого ни к чему не обязывающего удовольствия, которое должно содержать в себе все, но которое испытывает отвращение к дневному свету, ибо ночь — единственно подходящее время для свободы.

В тюрьме он узнал, что посетителей допускают только три раза в неделю; ему следует подъехать еще раз завтра. Эш задумался. Как быть? Немедленно продолжить свой путь в Баденвайлер? Поскольку свобода его действий была нарушена, он начал чертыхаться, но наконец произнес: "Ну, ладно, отсрочим время казни", и выражение "отсрочка казни" настолько прилипло к нему, что постоянно звучало в ушах, даже давало ему ощущение какой-то благодной гордой дружелюбности по отношению к такому могущественному человеку, каким был президент Берtrand, поскольку отсрочка казни была теперь дарована и ему тоже. Нет, он не может уехать, исчезнуть во мраке, не повидав Мартина, да к тому же было бы просто смешно остановиться в Мангейме просто ради ночи, проведенной с Эрной. Отправляясь в дальний путь, не оставляют после себя нерешенных дел, тем более, если речь идет о том, чтобы перекинуться несколькими словами да проститься. Так что он прежде всего отправился в порт, чтобы навестить знакомых на складах и в столовой. Он ощущал себя почти как родственник, который вернулся из американского далека к дорогим его сердцу людям и которому только немножечко страшно, что его, теперь бородатого, не узнают. Вполне, например, могло случиться, что охрана на входе вообще не пропустит его на территорию порта. Но события развивались в более чем дружественном ключе, не в последнюю очередь потому, что все, кого он встречал, наверняка чувствовали, что претензий друг к другу уже быть не может; с волнующей сердечностью его сразу же поприветствовали охранники таможни, с ними у него завязался ни к чему не обязывающий разговор. Да, смеясь заметили они, поскольку он уже не работает в пароходстве, то и сотворить здесь чего-нибудь он тоже не должен был бы, и хотя Эш ответил, что он им еще покажет, что здесь он все же должен кое-что сделать, они

все же не предприняли ни малейшей попытки удержать его, когда он заходил на территорию. Никто не мешал ему пребывать в великолепном расположении духа и с удовольствием рассматривать все эти баржи и краны, склады и железнодорожные вагоны, а когда он заглянул внутрь склада, на свежий воздух вышли сторожа и содержатели товарных складов и сгрудились вокруг него, словно братья. Чувства сожаления о том, что он оставил парходство, не возникало, он просто пытался очень хорошо запечатлеть все в памяти и прикасался иногда к стенкам железнодорожного вагона или погрузочной платформы. Только в столовой его поджидало некоторое разочарование, ибо он не нашел там Корна, тот был глуп и чего-то опасался, а Эшу не оставалось ничего другого, как усмехнуться, он не держал зла на него из-за Илоны — она ведь упорхнула, исчезла в неприступном замке. Так что он с одним полицейским опрокинул рюмочку шнапса, а затем отправился привычной дорогой, которая вела до угла улицы, где располагалась сигаретная лавка, поглядывавшая на него с преисполненным надежды видом, словно бы Лоберг сгорал от жуткого нетерпения поболтать с ним.

Лоберг сидел за кассовым аппаратом и держал в руке большое устройство для обрезания сигар, когда Эш вошел, он с дружеским видом отложил устройство, поскольку считал себя обязанным за многое перед ним извиниться, во что никто из них не стал углубляться, ибо Эш готов был все простить и не хотел, чтобы Лоберг плакал. Вероятно, было против правил, что Лоберг заговорил об Эрне, но это была такая мелочь, что Эш едва ли обратил на это внимание, он был свободен! "Вы прекрасный товарищ,— сказал Лоберг,— и у нас во многом общие интересы". А поскольку Эш был свободен в том, чтобы говорить, что ему заблагорассудится, то он выдал: "Да, вас она не укокошит"; при этом он рассматривал его жалкую фигурку, которую матушка Хентьен могла бы раздавить одним большим пальцем, и ему стало жаль Эрну, поскольку она не способна даже на это. Лоберг испуганно улыбнулся, он немного побаи-

вался грубоватых шуток и становился под взглядом своего свирепого гостя более жалким и мелким. Нет, это не тот противник, с которым Эшу хотелось бы помериться силами; сильны прежде всего мертвые, неужели же в жизни они выглядят как жалкие неудачники? Эш расхаживал по магазину, словно призраком, высматривая что-то по сторонам, он открывал то один ящичек, то другой, провел ладонью по гладкому прилавку, наконец, он сказал: "Будь вы мертвецом, вы были бы сильнее меня... но вас же вообще нельзя укокошить". Он добавил последнюю фразу пренебрежительным тоном, поскольку в голову внезапно пришла мысль, что даже мертвого Лоберга вряд ли нужно будет принимать во внимание; он знал Лоберга слишком уж хорошо, он останется идиотом. Но Лоберг, недоверчиво относящийся к женщинам, поинтересовался: "Кого вы здесь имеете в виду? Вы говорите об обеспечении вдовы? Я заключил договор о страховании жизни". "Впрочем, это основание подсыпать муженьку яду",— выдал Эш и засмеялся так громко, что у него заболело где-то в горле. Да, матушка Хентьен — вот это женщина! Она работает не с ядом, какого-то там Лоберга она просто наколола бы на булавку, словно жучка. Такую нужно уважать и с такой нужно считаться. Эша удивляло, что он мог сравнивать ее с Лобергом. Его даже немного трогало то, что она при этом выглядела как слабая женщина, и не исключено, что так оно и было. По спине у Лоберга поползли мурашки, глазки его забегали. "Яд",— выдавил он, словно слышал это слово, используемое им ведь довольно часто, в первый раз или, по меньшей мере, в самой окончательной редакции. Смех Эша был благодушным и слегка пренебрежительным: "Ну, уж вас она не отравит; на это Эрна наверняка не способна". "Нет,— произнес Лоберг,— у нее золотое сердце; она не в состоянии даже муху обидеть..." "Наколоть на булавку жучка",— уточнил Эш. "Ах, ну конечно, нет",— подтвердил Лоберг. "Но если вы не будете ей верны, она вас тем не менее укокошит",— с угрозой в голосе проговорил Эш. "Я никогда не изменю своей супруге",— заявил идиот. И тут Эшу в голову внезапно

пришла приятная мысль: ему стало абсолютно понятно, почему он сравнивает Лоберга с матушкой Хентьен: Лоберг, собственно, был всего лишь бабой, эдаким своеобразным трансвеститом, и поэтому ему было абсолютно все равно, когда он спал с Эрной; Илона ведь тоже лежала в постели Эрны. Эш поднялся, занял прочное и устойчивое положение на ногах и широко развел руки в стороны и вверх, словно проснувшийся ото сна или распятый на кресте. Он ощущал себя крепким, сильным и благополучным малым, убить которого все-таки стоит. "Или он, или я",— выпалил Эш и ощутил, что мир принадлежит ему.— Или он, или я",— повторил он, меряя размашистыми шагами лавку. "Что вы имеете в виду?" — спросил Лоберг. "Не вас,— ответил Эш и продемонстрировал ему свой лошадиный оскал: — Вам, вам достается Эрна". И так оно будет справедливо: у него здесь прелестная ухоженная лавка вместе со страхованием жизни, он получит маленькую Эрну и сможет жить без мучений и головной боли; Эш же, напротив, очнулся и взял на себя бремя. А поскольку Лоберг продолжал петь Эрне дифирамбы, Эш сказал ему то, что тот хотел услышать и, собственно, уже давно ждал, как знак свыше: "Эх вы, со своей бредовой Армией спасения... если вы будете и дальше медлить, то девушка ускользнет из ваших рук. Уже время приниматься за дело. Вы, любитель лимонада". "Да,— согласился Лоберг,— да, я думаю, что время очищения теперь уже прошло". Лавка в свете немного мрачного летнего дня выглядела светло и дружелюбно; желтая дубовая мебель производила солидное и надежное впечатление, а рядом с кассой лежала книга с колонками тщательно суммированных цифр. Эш уселся на место Лоберга и написал матушке Хентьен, что доехал благополучно и намерен заняться решением своих дел.

То, что его вторая ночь была также проведена с Эрной, он рассматривал как формальность, выполнить которую вправе свободный человек. Они, словно друзья, обсудили брак с Лобергом и занимались любовью почти что с нежностью и гру-

стью, так, словно бы они никогда не враждовали друг с другом. А после этой долгой и бессонной ночи он поднялся с хорошим чувством, что помог Эрне и Лобергу в их счастье, ибо в человеке заключены разнообразные возможности, и в зависимости от логической цепи, которую он выстраивает вокруг жизненных проблем, он может доказать, какие они — хорошие или плохие.

Покушав, он сразу же отправился в тюрьму. У Лоберга он купил сигареты, которые намеревался передать Мартину; ничто другое в голову ему не пришло. Стало угнетающе жарко, и это напомнило Эшу послеобеденные часы в Гоарсхаузене, когда он почувствовал Мартину, который изнемогал от жары. В тюрьме его отправили в комнату свиданий, зарешеченные окна выходили прямо в пустой двор. Покрашенные в желтый цвет здания отбрасывали резкие тени на голое пространство двора. Посередине площади что-то возводили, вероятно, эшафот, на котором должен был опускаться на колени осужденный, ожидая, когда на его шею опустится острый топор. Выяснив это для себя, Эш потерял всякое желание продолжать рассматривать двор и отвернулся от окна. Он принялся изучать комнату. Посередине стоял покрашенный в желтый цвет стол, чернильные пятна на котором свидетельствовали о том, что его притащили сюда из какой-то канцелярии, имелось также несколько стульев. Невзирая на тень, в комнате было невероятно жарко, дообеденное солнце сильно накалило ее, а окна здесь не отпирались. Эша начало клонить ко сну.

Затем он услышал шаги по вымощенному каменными плитами коридору и щелканье Мариновых костылей. Эш поднялся со стула, словно должен был зайти какой-то начальник. Но в комнату с таким же видом, как и в забегаловку матушки Хентьен, вошел Мартин. Если бы здесь был музыкальный автомат, то он наверняка поковылял бы к нему и начал бы в нем ковыряться. Он осмотрелся и, как показалось, удовлетворенный тем, что Эш был в комнате один, подошел к нему и протянул руку: "Добрый день, Эш, любезно с твоей стороны, что ты решил

проведать меня". Он прислонил костыли к столу, как он делал это у матушки Хентьен, и опустился на стул. "Ну, так садись же и ты, Эш". Надзиратель, который привел его, напоминал, благодаря своей форме, Корна; он, как и положено, остался стоять у двери. "Не хотите ли и вы присесть, господин старший надзиратель? Никто ведь больше не придет, а закладывать вас я, конечно же, не намерен". Мужчина пробормотал что-то о служебной инструкции, но подошел к столу и положил на него большую связку ключей. "Так,— протянул Мартин,— теперь всем удобно", а затем трое мужчин молча сидели вокруг стола и рассматривали царапины на нем. Лицо Мартина пожелтело еще больше; Эш никак не решался спросить, как у него дела. Мартину не оставалось ничего другого, как улыбнуться, и он спросил: "Ну, Август, что новенького в Кельне? Как дела у матушки Хентьен и у других?"

Эш, невзирая на свои разогретые жарой щеки, залился краской, потому что внезапно у него возникло ощущение, будто он воспользовался тюремным заключением человека для того, чтобы похитить у него его друзей. К тому же он не знал, можно ли говорить о знакомых и друзьях откровенно в присутствии надзирателя. Не каждому понравится, что его имя упоминают в комнате свиданий. Он ответил: "Дела у всех идут нормально".

Мартин, должно быть, угадал его мысли, поскольку не стал настаивать на подробном рассказе: "А у тебя самого?"

"Еду в Баденвайлер".

"Лечиться?"

Эш подумал, что у Мартина нет оснований мешать ему, и он сухо ответил: "К Берtrandу".

"Черт побери, вот это поворот! Хороший человек, этот Берtrand".

Эш не понял, продолжает ли Мартин шутить или он говорит это с иронией. Хороший голубой этот Берtrand, вот это правильно. Но говорить что-либо в таком роде в присутствии надзирателя он не решился, а только буркнул: "Ну, будь он таким уж хорошим, ты не сидел бы здесь".

"?"

"Ты ведь не виноват".

"Я? Так это же написано черным по белому, в строгом соответствии с законом, что я потерял свою невинность несколько раз".

"Ах, оставь, наконец, эти свои глупые шуточки. Если уж Берtrand такой хороший человек, значит, необходимо ему рассказать, что тогда было. И он позаботится о том, чтобы тебя выпустили".

"Это и есть истинная причина твоей поездки в Баденвайлер? — Мартин улыбнулся и протянул ему руку через стол: — Но, Август, что это пришло тебе в голову! Просто счастье, что Бертранда не будет на месте..."

Эш встрепнулся: "А где он?"

"О, да он же постоянно в разъездах, в Америке или еще где-то".

Эш насторожился: значит, Берtrand бывал в Америке! Опредил его, побывав раньше в сияющей свободе. И хотя он постоянно представлял себе, что величие и свобода далекой страны должны находиться в очень значительной, хотя и не совсем осознаваемой взаимосвязи с величием и свободой этого недостижимого человека, теперь у Эша возникло впечатление, что из-за поездки президента в Америку его собственные планы переселения потерпели абсолютный крах. А поскольку у него возникли такие мысли и потому, что все стало таким далеким и недостижимым, его охватила злость: "У президента нет проблем, чтобы поехать в Америку... в Италию, впрочем, тоже".

Мартин охотно согласился: "Да ради Бога, хоть в Италию".

Эш решил навести справки в центральном правлении Среднерейнского пароходства о местонахождении Бертранда. Но вдруг это показалось ему излишним и он сказал: "Он в Баденвайлере".

Мартин засмеялся: "Ну что ж, ты, наверное, прав; они тебя все равно не пропустят... уж не скрывается ли какая-то зазноба за этой поездкой, а?"

"Я уж отыщу средства и способы, чтобы меня пропустили", — в голосе Эша звучала угроза.

У Мартина возникли какие-то предчувствия: "Не делай глупостей, Август, не лезь к нему; он порядочный человек и достоин уважения".

Очевидно, он не представляет себе всего того, что кроется за именем Берtrand, подумал Эш, но не мог ничего рассказать, поэтому просто выпалил: "Все они порядочные, даже Нентвиг, — и после короткого размышления добавил: — Мертвые тоже бывают порядочными, только цена этой порядочности определяется наследством, которое они оставляют кому-то".

"Как это понимать?"

Эш пожал плечами: "Никак, я просто так... да и, в конце концов, до лампочки, порядочный кто-то там или нет; это всего лишь одна сторона медали; дело-то вообще не в нем, а в том, что он сделал. — И со злостью добавил: — В противном случае вообще невозможно будет ничего понять".

Мартин насмешливо и в то же время озабоченно покачал головой: "Послушай, Август, здесь в Мангейме у тебя есть дружок, он вечно всем недоволен. Мне кажется, это он сбивает тебя с толку..."

Но Эш непоколебимо продолжал: "И без того невозможно разобраться, где белое, а где черное. Все перемешалось. Ты даже не знаешь, что произошло и что происходит..."

Мартин снова улыбнулся: "А еще меньше я знаю, что произойдет".

"Будь в конце концов серьезным. Ты жертвуешь собой для будущего; это твои слова... единственное, что остается, — жертва для будущего и искупление за то, что произошло; порядочный человек жертвует собой, иначе все пойдет прахом".

Тюремный надзиратель подозрительно прислушался: "Здесь запрещено вести всякие там революционные разговоры".

Мартин сказал: "Это не революционер, господин надзиратель. Скорее вас можно обвинить в этом".

Эш был просто ошарашен, что его мнение воспринято таким

образом. Теперь он стал еще и социал-демократом! Ну и пусть! И с упрямым видом добавил: "А мне все равно, пусть будут революционными. Впрочем, ты сам всегда убеждал, что не имеет абсолютно никакого значения, порядочный человек капиталист или нет, потому что бороться нужно с капиталистом, а не с человеком".

Мартин сказал: "Вот видите, господин старший надзиратель, стоит ли после этого встречаться с теми, кто тебя проведывает? Этот человек своими речами растравил мне душу. Где уж мне тут исправляться.— И повернувшись к Эшу, добавил: — Как был ты, дорогой Август, бестолочью, так и остался".

Надсмотрщик вмешался: "Служба есть служба", а поскольку ему и без того было невыносимо жарко, он посмотрел на часы и заявил, что время свидания истекло. Мартин взялся за костыли: "Ну что ж, забирайте меня снова".

Он протянул Эшу руку:

"И позволь дать совет тебе, Август, не делай глупостей. Ну, и большое тебе спасибо за все".

Эш был не готов к такому резко изменившемуся ходу событий. Он задержал руку Мартина в своей и, задумавшись, подать ли руку не вызывавшему дружественных чувств надзирателю, решил подать — они ведь все-таки вместе сидели за одним столом, а Мартин удовлетворенно кивнул головой. Затем Мартина увели, и Эша опять удивило то, что выглядело это так, словно Мартин выходил из забегаловки матушки Хентьен, а он шел при этом в тюремную камеру! Все, что происходило в этом мире, казалось теперь безразличным. Но тем не менее это было не так: нужно просто пересилить себя.

Перед воротами тюрьмы Эш вздохнул; он похлопал себя по бокам, чтобы убедиться в своем существовании, и обнаружил в кармане предназначавшиеся Мартину сигареты, в нем начала закипать эта проклятая необъяснимая злость, а с его губ снова слетели сочные ругательства. Даже Мартина он назвал вызывающим насмешки болтуном, демагогом, хотя, по существу, его не в чем было обвинить, максимум в том, что разыгрывает из

себя главное действующее лицо, тогда как здесь в действительности речь идет о более важных делах. Но таковы все демагоги.

Эш отправился обратно в город, разозлился на кондуктора трамвая из-за его неосведомленности и забрал свои вещи от фрейлейн Эрны. Она приняла его с большим расположением. А он в ярости на крайнюю запутанность всего в этом мире оставил это без внимания. Затем он наспех простился и поспешил на вокзал, чтобы успеть к вечернему поезду на Мюльхайм.

Если желания и цели начинают сгущаться, если мечты простираются аж до великих изменений и потрясений в жизни, то тогда путь сужается до темного туннеля и дремотное предчувствие смерти опускается на того, кто до сих пор бродил во сне: то, что было — желания и мечты,— проходит еще раз перед глазами умирающего, и можно назвать почти что случайностью, если это не приводит к смерти.

Мужчина, тоскующий на далекой чужбине по своей жене или всего лишь только по родине своего детства, стоит в начале лунатизма.

Кое-что, вероятно, уже подготовлено, он просто не обращает на это внимания. Так бывает, например, когда по дороге на вокзал ему бросается в глаза, что дома состоят из покрашенного кирпича, двери — из распиленных досок, а окна — из квадратных стекол. Или когда он вспоминает редакторов и демагогов, которые делают вид, словно они знают, где лево, а где право, тогда как ведомо это только женщинам, да и то далеко не всем из них. Но нельзя же постоянно думать о таких вещах, и со спокойной душой он пропустил на вокзале кружечку пива.

Но когда он увидел, как, фыркая и пыхтя, подошел поезд на Мюльхайм, этот так уверенно движущийся к цели огромный и длинный червяк, то в его душу внезапно закралось сомнение в

надежности локомотива, который может перепутать пути, его обуял страх: ведь он, как известно, должен выполнить очень важные земные обязанности, а его лишат возможности выполнить эти обязанности и даже могут похитить и увезти в Америку.

Со своими сомнениями ему, по примеру неопытного путешественника, следовало бы поспешить к служащему железной дороги в форме, но платформа была такой вытянутой, такой неизмеримо длинной и пустой, что он едва ли мог к нему успеть, и оставалось только радоваться, что удалось все же, хотя и запыхавшись, но удачно поспеть на поезд, который неизвестно куда ехал. Тогда, как правило, предпринимаются попытки разобраться с висящими на вагонах табличками, указывающими направление следования, и вскоре обнаруживается, что это бесцельное занятие, поскольку то, что показывают таблички, это же просто слова. И путешествующий топчется немного нерешительно у вагона.

Нерешительности и запыхавшегося дыхания, естественно, достаточно, чтобы заставить разозленного человека извергать проклятия, тем более, если он, подгоняемый сигналом отправления, вынужден с быстротой молнии взбираться по неудобным ступенькам вагона, ударившись при этом ногой о подножку. Он чертыхается, проклинает ступеньки и их неудачную конструкцию, проклинает свою судьбу. А между тем за этой грубостью кроется более правильное, даже более приятное знание, и обладай человек большей ясностью ума, он, наверное, смог бы свои ощущения выразить словами: все это просто творение рук человеческих, да, эти ступеньки соответствуют изгибу и размеру человеческой ноги, эта неизмеримо длинная платформа, эти таблички с написанными на них словами, и свисток локомотива, и отливающие сталью рельсы, все это — избыток творений рук человеческих, все они — дети бесплодия.

Путешествующий не совсем отчетливо понимает, что благодаря таким рассуждениям он возвышается над обыденностью, и он охотно сохранил бы это на всю жизнь, ибо такого рода рас-

суждения заслуживают, чтобы их причисляли к общечеловеческим, так что им больше подвержены путешествующие, особенно те, которые злятся, чем домоседы, которые ни о чем не думают, даже если они в течение дня частенько спускаются и поднимаются по лестнице. Домосед не замечает, что он окружен творениями рук человеческих и что его мысли тоже есть простое творение человека. Он посылает мысли так же, как их посылает уверенный в себе и охотно занимающийся делом путешествующий с тем, чтобы они обошли весь мир, и он полагает, что привлечет таким образом этот мир в свой дом и к своему собственному делу.

Человек же, посылающий вместо мыслей самого себя, лишен такой уверенности; его гнев направлен против всего, что есть творение рук человеческих, против инженеров, которые сконструировали эти ступеньки так, а не иначе, против демагогов, которые мелют вздор о справедливости, порядке и свободе, словно они могут устроить мир по своему соображению, против тех, кто знает, как лучше, направлен гнев человека, в котором начинает брезжить понимание своего незнания.

Болезненная свобода сообщает, что может быть и по-другому. Слова, которыми обозначаются вещи, соскальзывают в неопределенность; возникает впечатление, будто слова осиротели. Неуверенно пробирается путешествующий по длинному коридору вагона, немного удивленный тем, что здесь такие же стеклянные окна, как и в домах, он касается их холодной поверхности рукой. Так человек, совершающий путешествие, легко впадает в состояние ни к чему не обязывающей безответственности. Теперь, когда поезд набрал полную скорость, словно стремясь к безответственности, а его порыв вперед возможно остановить только с помощью аварийной системы торможения, когда путешествующий несется с огромной скоростью прочь, только теперь он пытается, еще не потеряв в болезненной свободе дневного света свою совесть, двигаться в противоположном направлении. Но путь этот бесконечен, ибо здесь все принадлежит будущему.

Железные колеса отделяют его от доброй твердой земли, и путешественнику, который расположился в коридоре, приходят в голову мысли о кораблях с длинными коридорами, где койка лепится к койке, о кораблях, плывущих на водяной горе высоко над дном моря, что является землей. Сладкая надежда, которой не суждено сбыться! Что дает, если ты забьешься в утробу корабля, ведь свободу может принести просто убийство,— ах, никогда не пришвартуется корабль к замку, в котором обитает любимая. Путешествующий прекращает свои блуждания по коридору, он начинает рассматривать пейзаж и далекие замки, плотно прижимая к оконному стеклу нос, как делал это еще ребенком.

Свобода и убийство, они настолько же близки друг другу, как зачатие и смерть! И кого забросило на свободу, тот осиротел так же, как и убийца, который на пути к эшафоту взывает к матери. В несущемся с фырканием прочь поезде все есть частью будущего, поскольку каждое мгновение уже принадлежит другому месту, а люди в вагонах довольны, словно бы им ведомо, что они избавляются от искупления. Оставшиеся на платформе еще стремятся прикоснуться к совести спешащих прочь возгласами и размахиванием платочков и воззвать к их чувству долга, но путешественники уже не расстаются с безответственностью, они закрывают окна под тем предлогом, что из-за сквозняка можно простудить шею, распаковывают свои съестные припасы, которыми теперь нет нужды ни с кем делиться.

Некоторые из них заправляют билеты за поля своих шляп, так что издалека видно, что они невиновны, большинство, впрочем, с поспешной боязливостью начинают искать свои билеты, когда раздается голос совести и показывается одетый в железнодорожную форму служащий. Того, кто думает об убийстве, скоро ловят, и ему уже ничего не поможет, даже то, что он, словно ребенок, беспорядочно запихивает в себя разнообразные блюда и сладости; это — прощальный обед.

Они сидят на скамейках, которые бесстыдным и, вероятно, поспешным образом были подогнаны конструкторами под

скорчившуюся изломанную форму сидящего тела, сидят, разделенные по восемь и прижатые друг к другу в своей дощатой клетке, они раскачивают головами, прислушиваются к шуму колес и легкому поскрипыванию конструкций над катящимися постукивающими колесами. Сидящие по ходу поезда презирают остальных, которые смотрят в прошлое; они опасаются сквозняка, а когда распахивается дверь, то они опасаются того, кто мог бы войти и свернуть им голову, ибо с кем это произойдет, тому уже неведома будет справедливость взаимосвязи между виной и искуплением; они ставят под сомнение, что дважды два четыре, что они дети своих матерей, а не какие-то там уроды. Так что даже носки их ног направлены строго вперед и указывают на дела, к которым они стремятся. Ибо в деле, которым они занимаются, содержится их общность, общность без мощи, зато преисполненная неуверенности и наполненная злой волей.

Только мать может успокоить свое дитя, уверяя, что оно не урод. Путешествующие же и сироты, все те, кто сжег за собой мосты, больше не знают, кто же они. Ввергнутые в свободу, они должны сами заново возводить здание порядка и справедливости; они больше не хотят выслушивать вранье от инженеров и демагогов, они ненавидят творенье рук человеческих в государственных и технических сооружениях, единственное, на что они не решаются, так это восстать против тысячелетнего недоразумения и заявить о своей приверженности ужасной революции в сознании, когда два и два уже больше нельзя будет сложить, потому что там нет никого, чтобы заверить их в потерянной ими и вновь обретенной невинности, никого, в чьем замке они могли бы приклонить голову, убегая из свободы дня в забытье.

Гнев обостряет разум. Путешествующие с большой тщательностью располагают свой багаж на полках, они ведут сердитые и критикующие разговоры о политических институтах империи, об общественном порядке и о правовых проблемах, они мелочно и в резкой форме придираются к вещам и учреждениям, хотя используют для этого слова, в соответствие которых они уже больше не могут верить. И с нечистой сове-

стью своей свободы они опасаются ужасной железнодорожной катастрофы, когда железные острые конструкции проткнут насквозь их тела. О такого рода вещах часто можно прочитать в газетах.

Они все-таки люди, которых, дабы они смогли поспеть к поезду, слишком рано пробудили ото сна и к свободе. Так что их слова становятся все более неуверенными и сонными, и скоро беседа погружается в неопределенное бормотание. Кто-нибудь из них, наверное, скажет, что теперь лучше прикрыть глаза, чем пялиться на стремительно проносящуюся мимо жизнь, но полутчики, торопясь снова заснуть, его уже не слышат. Они засыпают со сжатыми кулаками и натянув на лица пальто, а их сны наполнены яростью против инженеров и демагогов, которые дают вещам фальшивые имена, настолько бесстыдные в своей фальшивости, что гневный сон вынужден называть вещи новыми именами, правда, они лелеют надежду, что мать даст правильные имена и мир станет надежным, словно любимая родина.

Вещи то приближаются слишком близко, то уходят слишком далеко, будто в восприятии ребенка, и путешествующий, который сел на поезд и на далекой чужбине тоскует по жене или же только по родине, подобен тому, кому начинает отказывать зрение и кого охватывает незаметный страх перед возможной слепотой. Многое вокруг него становится нечетким, по крайней мере он думает, что это так, пока его лицо покрыто пальто, и тем не менее в нем начинают пробуждаться мысли, которые в нем жили, однако на них он не обращал внимания. Он стоит на пороге лунатизма. Он еще идет по улице, которая подготовлена инженерами, но только шагает больше по краю, словно опасается, что рухнет вниз. Голос демагога он еще слышит, но он больше ему ничего не говорит. Путешествующий размахивает руками, подобно печальному танцовщику на канате, который высоко над старой доброй землей знает о лучшей опоре. Застыв и покоровившись, раскачивается плененная душа, и спящий скользит вперед, где крылья любящих касаются его духа, слов-

но пушинки, опускающиеся мертвому на уста, и ему хочется, чтобы его, будто он еще ребенок, позвали по имени, дабы он, выдыхая слово "родина", в беспамятстве погрузился бы в объятия женщины. Он еще не вознесся, но уже ступил на первую маленькую ступеньку тоски, ибо он не знал уже больше, как его зовут.

Чтобы пришел Некто, кто взял бы на себя жертвенную смерть и избавил бы мир, приведя его вновь к состоянию невинности,— такое извечное желание доводит человека до убийства, такая извечная мечта приводит к прозорливости. Между исполненным мечты желанием и полной предвидения мечтой пребывает знание, знание о жертве и о царстве избавления.

Он переночевал в Мюльхайме. В прохладной утренней дымке летнего дня высились зеленые вершины Шварцвальда. Он садился в маленький поезд, который должен был отвезти его в Баденвайлер. Мир имел столь четкие очертания, что казался опасной игрушкой. Локомотив дышал часто и прерывисто, как тянет он поезд быстро — или медленно,— этого не знал никто, однако на него можно было смело положиться. Когда он останавливался, деревья приветствовали всех дружественнее, чем где-либо, а возле здания вокзала окруженный пряными и легкими запахами возвышался киоск с витриной, заполненной красивыми видовыми открытками. Они отлично смотрелись бы в коллекции матушки Хентьен, и Эш выбрал одну, на которой очень мило выглядел расположенный на вершине замок, спрятал ее в карман и поискал взглядом затененную скамейку, чтобы сесть и не спеша подписать открытку. Но не подписал. Взгляд его был спокойным, словно у человека, которому некуда спешить, а его ладони мирно возлежали на коленях. Сидел он, глядя из-под полуопущенных век на зелень деревьев, так долго, что, полный восхищения, уже не знал, как он сюда попал, когда

потом брел по беззаботным улочкам, на которых, дыша полной грудью, прогуливались люди. Перед одним из зданий стоял угрожающего вида автомобиль, и Эш начал внимательно рассматривать его: не подходит ли он для того, чтобы в нем ночевать? С невозмутимым видом он присматривался и к другим вещам, ибо в нем была уверенность и раскованность рыцаря, который достиг одну из своих целей и который, обернувшись в седле, видит другие, оставшиеся позади в дальней дали; тут он сбрасывает с себя все напряжение и, наслаждаясь, растягивая удовольствие, проезжает последний отрезок пути, он даже преисполнен страстного желания, чтобы перед ним, прежде чем он достигнет цели, еще раз возникло особенно труднопреодолимое и сложное препятствие, и тогда уж он несомненно одержит победу. Поэтому вызывало почти боль то, что, хоть и день был прелестный, не располагавший ни к каким мучениям, он так поспешно стремился к дому Бертранда, не останавливаясь и не спрашивая дорогу,— он знал, где ему сворачивать. Когда он вышел на слегка извивающуюся Парковую улицу, его объяло дыхание леса, коснулось лба, коснулось кожи, скованной воротником и спрятанной в рукавах, и чтобы воспринимать этот аромат, он снял шляпу и расстегнул пуговицы жилетки. Войдя в ворота парка, он практически не удивился, что в реальности почти отсутствует великолепие, характерное для картин, возникших в его воображении. И если даже ни в одном из окон там, наверху, не было Илоны в блестящем платье, замок мечты все равно оставался неприкосновенным, неприкосновенными оставались картины, рожденные мечтой, было ощущение, что то, что он реально видел, являло собою просто символическую замену, рожденную для быстротечного и практического использования,— мечта в мечте. На идущей слегка под откос темно-зеленой лужайке возвышалось виллообразное строение, возведенное в умеренном и солидном стиле, и на откосе, словно бы еще раз символизируя игривую и ускользающую прохладу этого утра, словно бы еще раз отображая символичность всего, располагался почти беззвучный фонтан, и он был подобен глотку

играющей отблесками воды, которым наслаждаются лишь чистоты воды ради. Из домика привратника, окруженного кустами жимолости, вышел человек в серой одежде и поинтересовался целью визита. Серебристые пуговицы на его пиджаке не были признаком униформы или ливреи, они просто блестели и отсвечивали мягкими холодными бликами, словно были пришиты специально для этого сверкающего многоцветьем утра. Если вчера и возникло на мгновение ослабление уверенности в себе, вызванное сомнением в том, возможно ли будет застать господина президента, то теперь все сомнения улетучились, и Эш едва не отнес себя к тем, кому позволено здесь заходить и выходить без спроса. Итак, его не удивил привратник, который не преминул занести в блокнот, проложенный копировальной бумагой, фамилию и цель визита, он и не подумал даже, что приличнее было бы подождать у входа, а перешел на его сторону, тот, храня молчание, не возражал. Они вошли в сумрачную и прохладную переднюю, и когда мужчина исчез за одной из многочисленных белых лакированных дверей, которая мягко открылась перед ним и так же мягко закрылась, Эш ощутил, что его ноги утопают в мягком ковре, он ждал посыльного, который, вернувшись, проводил его через несколько комнат к другому входу, где с поклоном оставил гостя. И хотя он теперь без труда мог обходиться без провожатого, все же подумал, что было бы вернее и даже желательнее, чтобы череда парадных комнат тянулась дальше, может быть, в вечность, в недостижимую вечность, предшествуя внутренней святости, предшествуя, так сказать, тронному залу, и гость почти что поверил, что он странным, непристойным и незаметным образом все же пронесся по бесконечному ряду бесконечных помещений, поскольку теперь стоял перед тем, кто протягивал ему руку. Эш знал, что это был Берtrand, и в этом уже не было сомнения, однако ему все же казалось, что это просто символ кого-то другого, отражение более настоящего и, может быть, более внушительного, того, кто остался скрытым, настолько просто и гладко, настолько реально и без проблем все это произошло. Теперь

он тоже видел его, тот был безбородый и безусый, словно актер, и все-таки актером он не был; его лицо выглядело молодо, а волосы были белесыми. Эш сидел возле письменного стола в комнате со множеством книг, словно он был на приеме у врача. Он слышал, как тот заговорил, голос отчасти тоже был похож на голос врача. "Что привело вас ко мне?"

И мечтатель услышал свой собственный тихий голосок: "Я донесу на вас в полицию".

"О, как жаль". Ответ был произнесен таким тихим голосом, что и Эш не решался заговорить громче. Словно для самого себя он повторил: "Донесу в полицию".

"Вы что, ненавидите меня?"

"Да", — соврал Эш и устыдился своей лжи.

"Это же неправда, мой друг, вам ведь очень даже приятно общаться со мной".

"Невиновный занимает ваше место в тюрьме".

Эш ощутил, как тот улыбнулся, и перед его глазами возник образ Мартина: он говорил и при этом улыбался. Именно эта улыбка отразилась сейчас на лице Бертранда: "Но, дитя мое, вам следовало уже давно донести на меня в полицию".

Он неуживим; Эш упрямо произнес: "Я не привык наносить удар в спину".

Теперь Берtrand рассмеялся легким беззвучным смехом, а поскольку утро было таким прелестным, да, именно потому, что утро было таким прелестным, Эш оказался не в состоянии разозлиться, как обычно злится тот, над кем смеются, он даже забыл, что говорил как раз об убийстве; дабы соблюсти приличия, он не без удовольствия хохотнул под легкий смех Бертранда. И усилием воли вернув себе серьезный вид, хотя мысли обоих не совсем были настроены на восприятие друг друга, а просто пребывали в какой-то иной и трудно улавливаемой взаимосвязи, он продолжил: "Нет, всадить человеку нож в спину я не могу; вы должны освободить Мартина".

Берtrand же, который, очевидно, все прекрасно понимал, понял и это, хотя его ставший более серьезным голос был все еще полон успокаивающего и легкого веселья: "Но, Эш, как же

можно быть таким трусливым? Разве для убийства требуется какой-либо предлог?"

Теперь слово опять оказалось здесь, хотя оно и припорхало подобно безмолвному темного цвета мотыльку. И Эш подумал, что Берtrandу, собственно, ни к чему умирать, раз уж Хентьен и без того мертвый. Но затем, словно светлое и нежное откровение, родилась мысль о том, что человек может умереть дважды. Удивляясь, что эта мысль не приходила ему в голову раньше, Эш сказал: "Вы же можете беспрепятственно бежать,— и заманчивым тоном предложил: — в Америку".

Казалось, Берtrand обращается вовсе не к нему: "Тебе, мой хороший, прекрасно известно, что я не побегу. Слишком уж долго я ждал этого момента".

Тут душа Эша наполнилась любовью к тому, кто, занимая настолько более высокое положение, все же говорил с ним, всего лишь молодым служащим его компании и к тому же сиротой, о смерти, говорил, словно с другом. Эш был рад тому, что хорошо вел складские книги и без претензий выполнял приличную работу. Он не решился подтвердить, что знает, как все это было устроено через Берtrанда, но не решился и попросить, чтобы Берtrand убил его, а просто понимающе кивнул головой. Берtrand сказал: "Никто не занимает столь высокое положение, чтобы иметь право казнить, и никто не отвержен настолько, чтобы его вечная душа не внушала уважения".

Тут Эшу внезапно стало как никогда понятно, до него дошло, что он обманывал себя и весь мир, ибо выходило так, словно бы знание, полученное Берtrandом от него, широким потоком хлынуло теперь к нему обратно: он никогда не верил в то, что этот человек освободит Мартина. Берtrand же, сделав слегка пренебрежительное движение рукой, сказал: "И если, Эш, я осуществлю вашу трусливую надежду и выполню ваше невыполнимое условие, то не будет ли нам обоим стыдно: вам — потому, что вы были всего лишь мелким банальным шантажистом, мне — поскольку я подчинился требованиям такого шантажиста".

И хотя от внимания Эша, погруженного в мечты, но не потерявшего контроль над реальностью, не ускользнули ни слегка пренебрежительный жест рукой, ни ироничная улыбка на устах Бертранда, его все же не покидала надежда, что Берtrand, вопреки всему, выполнит поставленное условие или, по меньшей мере, убедит; Эш надеялся на это, поскольку внезапно внутри шевельнулось опасение, что во второй смерти господина Хентьена может найти свою кончину также тоска по мамушке Хентьен. Но это было уже его личное дело, и ставить в зависимость от этого судьбу Бертранда показалось ему не менее бесчестным, чем если бы он шантажировал его из-за денег, к тому же это никак не соотносилось с таким чистым утром. Поэтому он сказал: "Другого выхода нет, я должен донести на вас".

На что Берtrand ответил: "Каждый должен осуществить свою мечту, это зло и в то же время свято. Иначе не приобщиться ему к свободе".

Эш не совсем его понял: "Я должен донести на вас, в противном случае жизнь будет все хуже и хуже".

"Да, дорогой, в противном случае жизнь будет все хуже и хуже, и мы стремимся это предотвратить. Мне же из нас двоих выпала более легкая участь: я должен просто уйти. Чужак не страдает, его отпускают, страдает только тот, кто остается впутанным во все это".

Эш не сомневался, что уста Бертранда снова застыли в ироничной улыбке, так что запутавшемуся губительным образом в таком холодном отчуждении Гарри Келеру оставалось только мучительно погибать, и тем не менее Эш не мог злиться на этого несущего скверну человека. Охотнее всего он сам отмахнулся бы от него пренебрежительным движением руки, и фраза, высказанная Эшем, прозвучала почти как продолжение слов Бертранда: "Если бы не было возмездия, то не было бы вчера, не было бы сегодня и не было бы завтра".

"О, Эш, как же ты меня огорчаешь. Никогда еще время после смерти не принималось в расчет: время берет отсчет с рождения".

Эшу тоже было тяжело на душе. Он все ждал, что тот отдаст распоряжение поднять на крыше черное знамя, и он подумал, что должен подготовить место для того, по кому производится отсчет времени. Берtrand тем не менее казался расстроенным, потому что мимоходом, словно бы между прочим, сказал: "Многим надлежит умереть, многими надлежит пожертвовать, дабы обеспечить место грядущему любящему избавителю. И лишь его жертвенная смерть избавит мир, приведя его снова к состоянию невинности. Но вначале надлежит прийти антихристу — ужасному и лишенному иллюзий. Он должен будет опустошить мир, лишит его даже глотка воздуха".

Звучало убедительно, как и все, что говорил Берtrand, настолько убедительно и правдоподобно, что стало чуть ли не неизбежным подражать ироничному выражению его лица, с которым Эш почти что смирился: "Да, необходимо навести порядок, чтобы можно было начать все сначала".

Однако, произнеся эти слова, он почувствовал прилив стыда, стыда перед саркастическим выражением лица и тоном; он опасался, что Берtrand снова высмеет его, ибо он ощущал себя перед ним голым и был благодарен, что тот лишь тихим голосом одернул его: "Убийство и ответное убийство — вот что такое этот порядок, Эш,— порядок машины".

Эш подумал: удержи он меня здесь, был бы порядок, все бы забылось, в чистоте и покое протекали бы дни; но он отталкивает меня, мне ведь придется уйти, если бы даже Илона была здесь. Поэтому он сказал: "Мартин пожертвовал собой, и никто не принес ему избавления". Рука Берtrанда произвела слабое, немного пренебрежительное и безнадёжное движение.

"Никто не видит другого во мраке, Эш, и изливающийся свет — это всего лишь мечта. Ты же знаешь, что я не могу удерживать тебя, настолько сильно ты боишься одиночества. Мы — потерянное поколение, и единственное, что я могу, это заниматься своим делом".

Эша это совсем не обрадовало, и он сказал: "Словно распят на кресте".

На лице Бертранда снова мелькнула улыбка, а поскольку она вызвала у Эша чувство отвращения, то в голове пронеслись пожелания ему чуть ли не смерти, если бы только эта улыбка не была такой дружественной, дружественной и едва уловимой, будто слова, которые все объяснили: "Да, Эш, словно распят на кресте. И только тогда может наступить тьма, в которой должен рассыпаться мир, чтобы снова стать светлым и невинным, тьма, в которой пути человеческие не пересекаются, и мы, идя рядом, мы не слышим и забываем друг друга, так же, как и ты, мой дорогой последний друг, забудешь, что я тебе говорил, забудешь, словно сон".

Он нажал на столе какую-то кнопку и отдал распоряжения. Затем они вышли в красивый сад, тянувшийся в бесконечную даль за домом, и Берtrand показал ему цветы и своих лошадей. Над цветами беззвучно порхали бабочки, так же молча паслись лошади. Берtrand передвигался легкими шагами, идя по своему владению, у Эша же постоянно возникало чувство, что легче было бы передвигаться на костылях. Затем они вместе сидели за столом, украшением которого была серебряная посуда, вино и фрукты, они сидели, словно два близких человека, которым все известно друг о друге. Закончив трапезу, Эш понял, что приближается время прощания, поскольку вечер мог опуститься на землю совершенно неожиданно. Берtrand проводил его к ступеням, за которыми начинался сад, а там уже поджидал большой красного цвета автомобиль с гладкими красными, обтянутыми кожей сидениями, которые еще хранили тепло полуденного солнца. И как только соприкоснулись в прощальном пожатии их руки, Эша охватило сильнейшее желание поклониться к руке Бертранда и поцеловать ее. Но водитель автомобиля нажал что было мочи на клаксон, и гостю пришлось поспешно запрыгнуть в транспортное средство. Как только оно сдвинулось с места, поднялся сильный ветер, который словно сдул дом вместе с садом, и ветер этот угомонился только в Мюльхайме, где весь в огнях застыл в ожидании пассажиров фыркающий поезд. Это была первая поездка Эша в автомобиле, и она ему очень понравилась.

Велик страх того, кто проснулся. Он возвращается с ничтожным оправданием и боится мощи своего сна, который, наверное, стал не делом, а скорее, новым знанием. Изгнанный из сна, он бродит во сне. Ему не помогает даже то, что в кармане у него видовая открытка, которую он может рассмотреть; для суда он остается лжесвидетелем.

Часто человек не обращает внимания на то, что его тоска на протяжении нескольких часов меняет свой облик. Может, это просто определенные тонкие различия, просто нюансы освещения, которые проходят незамеченными для обычного путешественника, пока тоска по родине незаметно для него превращается в тоску по земле обетованной, и когда его сердце заполняется темной тревогой за покоящуюся в ночном сне родину, его глаза все же преисполнены невидимого света, пришедшего откуда-то, еще невидимого, хотя кажется, что свет этот идет из-за океана, где светлеют мрачноватые туманы; когда же туман поднимается, взору открывается светлая череда полей и мягко идущих под откос зеленых лугов, страна, утопающая в настолько бесконечно вечном утре, что тоскующий по женщинам начинает их забывать. Страна безлюдна, а немногочисленные колонисты — это пришлый люд. Они не поддерживают совершенно никаких связей друг с другом, живут уединенно в замках, занимаются своими делами, возделывают поля, засевают их и пропалывают сорняки. Рука правосудия не смеет коснуться их, ибо не нужны им ни право, ни законы. На своих автомобилях разъезжают они по степям и по девственным землям, по которым еще никогда не протягивались нити дорог, и единственное, что ими движет, это их неизбывная тоска. Даже когда колонисты оседают, то продолжают ощущать себя чужаками; их тоской становится тяга к дальним странствиям. Это, собственно говоря, странно, поскольку имеются же западные люди, то есть те, взор которых обращен в вечер, словно там их ожидает не ночь, а они надеются увидеть врата света. Потому

ли их стремление к этому свету столь сильно, что они желают четкости и определенности, или всего лишь потому, что они боятся темноты, остается непонятым. Известно только, что они поселяются всегда там, где мало леса, или же они его выкорчевывают и разбивают светлый парк; прохладу лесных дебрей они тоже любят, но говорят, что должны оберегать детей от их таинственного мрака. Так это или нет, но тем не менее оказывается, что колонисты и первопроходцы не похожи на тех сварливых людей, какими их себе все представляют, более того, по своему характеру они подобны женщинам, их тоска смахивает на тоску женщин, тоску, которая, как кажется на первый взгляд, направлена на мужчин, а в действительности же — на землю обетованную, куда они должны всех вывести из мрака. Но услышав о себе такую характеристику, колонисты мгновенно обижаются и становятся еще более замкнутыми в своем одиночестве. В степях же, на холмистых пастбищах, которые изрезаны прохладными реками и которым они отдают предпочтение, они веселы, хотя и слишком стеснительны, чтобы петь. Это — избавленная от боли жизнь колонистов, и они ищут ее по ту сторону океана. Они умирают легко и беззаботно, даже если их волос уже коснулась седина, потому что тоска их — это постоянное прощание. Они высокомерны, как Моисей, ибо он один обзирал землю обетованную, он один пребывал в божественной тоске. И часто можно заметить, как они немного безнадежно и слегка пренебрежительно делают движение рукой, как и Моисей на горе, ибо за ними лежит безвозвратно утерянная родина, перед ними — недостижимые дали, а человек, чья тоска не претерпела изменений, а он и не подозревает об этом, ощущает себя иногда как тот, кто просто заглушил свою боль, но так никогда и не смог ее забыть. Если боль о безвозвратно утерянном становится все слабее, то кое-что может раствориться в усиливающемся свете и исчезнуть, боль становится все слабее, все светлее, может, даже невидимее, но она исчезает настолько же мало, как и тоска мужчины, в лунатизме которого проходит мир, распадаясь в воспоминании о ночи со

своей женщиной, ревниво и по-матерински, и превращаясь наконец в не более чем болезненный вздох бывшего. Напрасные надежды, часто безосновательное высокомерие. Потерянное поколение. Так что у многих колонистов, даже если они кажутся веселыми и раскрепощенными, нечиста совесть, и они готовы к наказанию в большей степени, чем некоторые другие люди, которые грешники более, чем они. Да, не так уж и вероятно, что некоторые из них не могут больше переносить ясность и покой, в которые они сами себя ввергли; неутолимая жажда дальних странствий стала настолько сильной, что возникает необходимость снова вернуться к противоположному, возможно, к истокам, и именно поэтому не менее вероятно, что можно увидеть колонистов, которые, прикрыв лицо руками, плачут навзрыд, словно душу их терзает тоска по родине.

Так, подъезжая в туманной дымке сереющего утра все ближе к Мангейму, Эш погружался во все более болезненный страх, он почти ничего не осознавал: не в Кельн ли, напрямиком в забегаловку, везет его этот поезд, а может, его ждет в Мангейме матушка Хентьен, дабы понести от него ребенка? Он был разочарован, найдя там только письмо, на которое он, как бы то ни было, рассчитывал, хотя лучше бы он его и не читал. К тому же сразу было понятно, что это чертово письмо писалось под портретом господина Хентьена. Может, поэтому, а может, из-за страха рука Эша, которой он, вопреки всему, взял письмо, дрожала.

Он почти не обращал внимания на Эрну, не замечал ее обиженной физиономии, а сразу же отправился в город, поскольку знал, что должен кое о чем донести в полицейпрезидиум. Но странным образом он попал вначале к Лобергу, поприветствовал его, а сейчас раздумывал над тем, не заглянуть ли ему еще раз в порт. А между тем и к этому охоты у него не было, лучше всего он поехал бы в тюрьму, хотя ему и было известно, что посетителей туда пускают только во второй половине дня. Откуда-то издалека подкралось чувство одиночества, и

в конечном итоге он оказался перед памятником Шиллеру и был бы вполне доволен, окажись рядом с ним Эйфелева башня и статуя Свободы. Может, сказывалось просто различие в размерах; памятник в естественную величину не производил на него впечатления, он даже не был в состоянии больше представить себе забегаловку матушки Хентьен. Так он бестолково коротал утренние часы, ковыряясь в собственной памяти; да, он хочет накатать донос в полицию, но он никак не мог сформулировать текст этого доноса. С чувством облегчения ему удалось наконец набросать план, но тут ему пришло в голову, что мангеймская полиция, засадившая Мартина в тюрьму, недостойна того, чтобы ей писали доносы, тогда как перед кельнской он все равно в долгу из-за заместителя Нентвига. Он разозлился: мог бы до этого и раньше додуматься, но теперь все было в порядке, и он с большим удовольствием отобедал в обществе Лоберга.

Затем он поехал в тюрьму. День опять был невыносимо жарким, он снова оказался в комнате для свиданий — а выходил ли он вообще отсюда? Все осталось таким же, ничего не изменилось за это время: снова вошел Мартин с тюремным надзирателем, Эш, как и прежде, ощутил мучительную пустоту в своей голове, опять было необъяснимо, зачем он сидит в этой ведомственной комнате, необъяснимо, хотя это происходило все же с определенной и давно задуманной целью. К счастью, он ощутил у себя в кармане сигареты, которые он в этот раз обязательно всучит Мартину, так что результатом визита будет, по крайней мере, ликвидация старого долга. Но это только повод, да, повод, подумал Эш, из-за глупой головы ногам горе. Раздражало все, и когда они снова втроем расселись вокруг стола, то ироничная дружественность Мартина была тем, что его сегодня особенно злило — она напоминала ему нечто, во что ему никак не хотелось верить.

"Значит, Август, вернулся с курорта? Шикарно выглядишь. Повстречался со всеми своими знакомыми?"

Эш не соврал, когда сказал: "Я ни с кем не встречался".

"Ого, так ты, значит, и не побывал в Баденвайлере?"

Эш не знал, что отвечать.

"Эш, ты что, наделал глупостей?"

Эш все еще молчал, и Мартин посерьезнел: "Если ты чего-то там натворил, то между нами все кончено".

Эш сказал: "Все это странно. Что я должен был натворить?"

На что Мартинотреагировал: "Тебя что, мучает совесть? Что-то же не в порядке!"

"Совесть меня не мучает".

Мартин все еще смотрел на него испытывающим взглядом, и Эшу вспомнился день, когда Мартин догонял его на улице, словно бы горел желанием долбануть его в спину костылем. Лицо Мартина снова приобрело дружественное выражение, и он спросил: "А что ты тогда все еще делаешь в этом Мангейме?"

"Лоберг должен жениться на Эрне".

"Так, Лоберг... знаю, знаю, торговец сигаретами. И поэтому ты здесь?" Взгляд Мартина снова стал недоверчивым.

"Я сегодня уезжаю... самое позднее — завтра".

"Ну а что будет дальше, какие планы у тебя?"

Эшу хотелось отправиться как можно дальше. Он сказал: "Хочу в Америку".

Детское лицо Мартина расплылось в улыбке: "Да, да, туда ты хочешь уже давно... или теперь у тебя особая причина, заставляющая тебя отправляться в такую даль?"

"Нет, просто я думаю, что там сейчас хорошие перспективы".

"Что ж, Эш, надеюсь, я тебя еще увижу до того. Лучше хорошие перспективы там, чем нечто, изгоняющее тебя отсюда... но если бы это было по-другому, ты бы меня никогда больше не увидел, Эш!" Это прозвучало почти как угроза, и в раскаленной, затхлой комнате снова повисло молчание. Эш поднялся и сказал, что спешит,— хотел бы успеть на поезд еще сегодня, а поскольку Мартин на прощание снова уставился на него вопрошающим и недоверчивым взглядом, то он сунул ему в руку

сигареты, тогда как одетый в униформу надзиратель сделал вид, что ничего не заметил, а может, и действительно ничего не видел. Затем Мартина увели.

Когда Эш шел в город, в его ушах постоянно звучала угроза Мартина, и эта угроза, наверное, уже начала осуществляться, потому что внезапно он понял, что больше не может представить себе ни Мартина, ни его хромоту, ни его улыбку, ни даже то, как калека снова заходит в забегаловку — он стал незнакомым. Эш неуклюже маршировал большими шагами, словно спешил по возможности быстрее увеличить расстояние между собой и тюрьмой, между собой и всем тем, что осталось позади. Нет, Мартин больше не будет догонять его, дабы долбануть в спину костылем; никто не может догнать другого, как не может отправить его прочь, а каждый приговорен к тому, чтобы идти своим собственным путем в одиночестве, изолировавшись от любого общества: нужно просто достаточно быстро идти; чтобы освободиться от сетей прошлого и не испытывать страданий. Угроза Мартина странным образом потеряла весь смысл, была словно скромным земным отзвуком событий более высокого уровня, в которых уже давно принимаешь участие. И когда Мартин остался один, когда им, так сказать, пожертвовали, это было подобно земному повторению принесения в жертву более высокого порядка, что тоже было необходимо для окончательного уничтожения прошлого. Хотя улицы Мангейма вряд ли были чем-то, что вызывает доверие, впереди лежали дальние дали и свобода; происходил подъем на более высокий уровень, и, прибывая завтра в Кельн, уже нельзя было больше попадать под влияние города и его облика, он только казался смиренным и покорным, готовым измениться. Эш пренебрежительно повел размахивающими руками и скорчил ироничную гримасу.

Он так задумался, что пропустил дверь в квартиру Корна; лишь перед выходом на крышу он заметил, что придется вернуться и спуститься на один этаж вниз. Он в испуге отпрянул, когда дверь открыла фрейлейн Эрна, о которой он совсем

забыл, и теперь она выглядывала из щелочки в дверях, демонстрируя свою желтозубую улыбку и требуя свою долю. Это был сам сатана из прошлого, преградивший ему путь воротами из тоски, гримаса земного, непобедимая и злорадная, требующая снова опуститься вниз в путаницу того, что было. И тут не поможет чистая совесть, тут не поможет ничего, даже то, что он в любой момент был волен отправиться дальше в Кельн или Америку, на какое-то мгновение ему показалось, что Мартин его все-таки догнал, словно бы это была месть Мартина, который столкнул его вниз, к фрейлейн Эрне. Она же, казалось, знала, что бегство для него невозможно, ибо, подобно Мартину, улыбнулась всезнающе, как будто пребывая в тайном сговоре с какой-то еще неопределенной земной связью, которая была неизбежной, угрожающей и все же чрезвычайно важной. Он испытывающе смотрел в лицо фрейлейн Эрне — это было дряблое лицо антихриста — и молчал. "А когда придет Лоберг?" — Эш выпалил это внезапно и словно в смутной надежде найти тут выход из сложившейся ситуации; слова фрейлейн Эрны, произнесенные заговорщицким тоном, о том, что она намеренно ничего не сказала жениху, были подобны откровенно возбуждающей привилегии, которая тем не менее казалась возмутительной. Не обращая внимания на ее злое лицо, он выскочил из дома, дабы пригласить Лоберга на вечер.

Встреча с этим идиотом и в самом деле подействовала успокаивающе, настолько успокаивающе, что Эш сразу же потащил его с собой, накупил не только всяческих продуктов, но и приобрел два букета цветов, один из которых всучил в руки Лобергу. Неудивительно, что увидев их, фрейлейн Эрна всплеснула руками и воскликнула: "Аж целых два кавалера!" Эш гордо ответил: "Прощальная вечеринка!" Пока она накрывала стол, он устроился со своим другом Лобергом на диване, распевая: "Ибо пришла пора, пришла пора город мой оставить", из-за чего фрейлейн Эрна бросала на него неодобрительные и печальные взгляды. Да, вероятно, это и вправду была прощальная вечеринка, вечеринка освобождения от этого земного сообще-

ства, и охотнее всего он запретил бы Эрне ставить прибор для Илоны — ведь и Илона должна была бы быть освобожденной и уже находиться у цели. И это желание было настолько сильным, что Эш самым серьезным образом надеялся, что Илона не придет, никогда больше не придет. И вместе с тем его немножечко радовало разочарование Корна.

Ну а Корн действительно выглядел сильно разочарованным; впрочем, его разочарование выразилось в непристойных ругательствах в адрес венгерских баб, а также в сильнейшем нетерпении сесть поскорее за стол. При этом он перемещал свои широкие тела по комнате с редкой прытью; он кинулся к бутылке с ликером, повернулся к столу, с которого потянул своими толстыми пальцами кружочек колбасы, а поскольку фрейлейн Эрна запретила ему так поступать, обрушился на Лоберга и прогнал его, потрясая кулаками, с дивана, заявив, что это его постоянное место. Шум, поднятый при этом Корном, был невероятным, его тела и голос все больше и больше заполняли помещение, да, все земное и плотское в манерах голодного Корна выливалось за пределы этой комнаты, угрожая мощной волной захлестнуть весь мир. "Ну, Лоберг, так где же сейчас ваше царство избавления?" — вопил Эш, словно мог таким образом заглушить свой страх, вопил из ярости, поскольку ни Лоберг, ни кто-либо другой не могли ответить, почему Илона должна опускаться до соприкосновения с земным и мертвым? Но Корн восседал на своей толстой заднице и нахально командовал: "Жрачку по тарелкам!" "Нет,— орал в ответ ему Эш, — только с приходом Илоны!" А ведь где-то он побаивался снова встретиться с Илоной, сейчас все было поставлено на карту, вдруг Эша охватило сильнейшее нетерпение: пусть бы Илона пришла; в определенной степени это было подобно пробному камню истины.

Вошла Илона. Она почти не удостоила вниманием присутствующих, просто последовала знаку молча жующего Корна и села подле него на диван, следуя такому же молчаливому приказу, положила мягкую руку ему на плечо. А в остальном она

просто смотрела на те вкусные вещи, которые могли бы оказаться у нее на тарелке. Эрна, наблюдавшая за всем этим, произнесла: "Будь я на твоём месте, Илона, я, принимая пищу, все же сняла бы руку с Бальтазара". Трудно было рассчитывать на то, что Илона поняла сказанное, потому что она так ничего и не усвоила в немецком языке, да и зачем — тем меньше будет знать она о жертвах, которые были принесены ради нее. Непонимавшую язык, ее вряд ли можно было и дальше называть гостем за этим столом родственников по плоти, скорее, она напоминала посетительницу, пришедшую в темницу земного или добровольную заключенную. И Эрна, которая, казалось, сегодня кое-что узнала, не стала дальше говорить о земных делах, а взяла со стола букет цветов и сунула его Илоне под нос. "А ну-ка, понюхай, Илона", — сказала она, а Илона ответила: "Да, спасибо", и это донеслось как будто из какой-то дали, которую жующему Корну никогда не достичь, из более высокого уровня, уже готового принять ее, нужно было только продолжать жертвовать. На душе у Эша было легко. Каждый должен осуществить свою мечту, злую и святую одновременно, только тогда он сможет приобщиться к свободе. И было так жаль, что Эрна должна достаться этому образцу добродетели; хотя Илона почти не понимала, что теперь под одним из счетов подводится итоговая черта, все же это был конец и поворот, было свидетельство и новое знание; Эш поднялся, выпил за здоровье присутствующих и кратко, но от всей души поздравил молодоженов, все, за исключением Илоны, были сильно удивлены, однако происходившее совпадало с желаниями присутствующих, и они были благодарны Эшу, а Лоберг с влажными глазами несколько раз пожал ему руку. Затем по его требованию будущие супруги в знак того, что они помолвлены, поцеловались.

Несмотря на это, ему не казалось, что дело закончено, и когда подошло время расходиться по домам и Корн уже успел уединиться с Илоной, а фрейлейн Эрна вознамерилась было припиливать шляпку, чтобы вместе с Эшем проводить домой своего нового жениха, тут Эш стал на дыбы: нет, это неприлич-

но, чтобы он, холостяк, ночевал в доме невесты Лоберга, он охотно бы согласился найти кров у господина Лоберга или поменяться с ним местами, впрочем, как будущим супругам, им следует хорошенько все обдумать, многое сказать друг другу; с этими словами он затолкал обоих в комнату Эрны, а сам отправился в свою.

Таким образом закончился день его первого освобождения, и над ним распростерлась первая ночь необычного и неприятного отказа.

Неспящий

Неспящий, который гасит смоченным слюной пальцем спокойно горящую свечу у кровати и в ставшем теперь более холодном помещении пребывает в ожидании прохлады сна, с каждым ударом сердца приближается к смерти, ибо настолько странно разверзается вокруг него холодное пространство, настолько задыхающимся в горячке и спешке кажется время, что начало и конец, рождение и смерть, вчера и завтра сливаются в единственном и неразделимом сейчас, заполняя его до самых краев, до готовности чуть ли не взорваться.

Какое-то мгновение Эш размышлял над тем, не прихватит ли его Лоберг по дороге домой. Но затем с ироничной миной на лице он решил, что, наверное, нужно ложиться, и, продолжая ухмыляться, он начал раздеваться. При свече он бегло просмотрел письмо матушки Хентьен; длинные сообщения о положении дел в хозяйстве были скучны; но одно место его обрадовало: "И не забудь, дорогой Август, что ты был и будешь моей единственной любовью на этом свете, иначе я не смогу жить и мне придется забрать тебя, дорогой Август, с собой в холодную могилу". Да, это обрадовало его, и теперь он был вдвойне рад, что отправил Лоберга к Эрне. Затем он послунявил палец, потушил свечу и вытянулся на кровати.

Бессонная ночь начинается с банальных мыслей, почти как жонглер вначале демонстрирует простые трюки, готовясь к бо-

лее сложным, от которых дух захватывает. Эш ухмыльнулся тому, что Лоберг шмыгнет в постель к хихикающей Эрне, и он был рад, что по отношению к этой ходячей добродетели у него совершенно не возникало чувства ревности. Ну, конечно, страсть к Эрне теперь основательно испарилась, но это было только хорошо. Он, собственно, думал о вещах, происходящих там, за стенкой, просто для того, чтобы проверить, насколько безразличным они его оставляют: безразлично, что Эрна поглаживает жалкое тело идиота и терпит возле себя такого уroda, безразлично, какие впечатления и представления о фаллосе — в данном случае в его мыслях прошмыгнуло совсем другое слово — мелькают у нее в голове. Было так просто представить себе все это, что казалось само собой разумеющимся, и тем не менее с этим целомудренным Иосифом нельзя было быть уверенным, что все произойдет именно так. В жизни поубавилось бы проблем, будь для него все таким же безразличным относительно матушки Хентьен, но уже само соприкосновение с этой мыслью было настолько болезненным, что он содрогнулся, почти так же, как и матушка Хентьен в определенные моменты. И он охотно рванул бы со своими мыслями обратно к Эрне, не преграждая ему кое-что дорогу, нечто невидимое, о чем он просто знал. Тут он лучше уж обратился бы мыслями к Илоне, что касается ее, то порядка ради речь шла всего лишь о том, чтобы изгладить из ее памяти воспоминания о свистящих ножах. Ему хотелось подумать об этом в качестве разминки перед более сложными задачами, но тщетно. Когда в конце концов, вызывая злость и отвращение, перед его глазами возникли картины, как она сейчас смиренно и кротко терпит Корна, этот кусок дохлой говядины, пренебрегая сама собой, как она, улыбаясь, стоит между ножами в ожидании, что один из них проткнет ее сердце, то ему вдруг открылось и решение этой задачи: самоубийство, которое она совершает особо сложным способом и по-женски. От этого ее нужно спасти! Решение задачи, и тем не менее — новая задача! Действительно, нужно было просто оставить Илону в покое, перейти к Эрне, схватить Ло-

берга за шиворот и, не долго думая, бросить его куда подальше. После этого можно было бы заснуть спокойно и без сновидений.

Но когда он уже был готов представить себе, каким умиротворенным был бы тогда мир, снова появилось самое низменное желание обладать женщиной. Неспящему в голову пришла мысль, казавшаяся одновременно немного комичной и немного страшной: он ведь никак не может вернуться к Эрне, потому как невозможно же будет определить, кто отец ребенка. Итак, это было необъяснимой, глубоко земной связью, значит, это было тем угрожающим, что отпугивало его сегодня от Эрны! Все соответствует, все правильно; ведь один ушел, чтобы освободить место тому, который должен начать отсчет времени, и справедливо, что отцом избавителя должен стать целомудренный Иосиф. Неспящий снова попытался скорчить ироничную гримасу, но больше у него это не получилось; веки были сомкнуты слишком сильно, да и никому не дано улыбаться в темноте, ибо ночь — это время свободы, а смех — это месть несвободного. О, было справедливо, что он лежал здесь без сна и прислушивался к окружающему миру в состоянии холодного и чужого возбуждения, которое не доставляло больше удовольствия, мнимо мертвый в своей могиле, тогда как тот без сна и покоя находился в своей. И все-таки как можно было согласиться с тем, что тот пожертвовал собой ради того, чтобы в жалком земном сосуде по имени фрейлейн Эрна возродилась жизнь. Неспящий чертыхнулся, как это обычно делают те, кто не может уснуть, и, чертыхаясь, вдруг подумал: все же это неправильно, что магический час смерти должен быть часом зарождения. Невозможно одновременно находиться в Баденвайлере и Мангейме; значит, это был поспешно сделанный вывод, а все обстоит наверняка гораздо сложнее и благороднее.

Комната в своей темноте была прохладной. Эш, человек пылкого нрава, неподвижно лежал в постели, его сердце спрессовывало время в тонкое ничто, и ни к чему было ломать себе голову над тем, почему необходимо переносить смерть на

будущее, которое и так уже стало реальностью. Бодрствующему это может показаться нелогичным, но он забывает, что сам, в основном, пребывает в своего рода сумрачном состоянии и что только неспящий, внимательно прислушивающийся к окружающему миру, мыслит действительно логически. Глаза неспящего закрыты, словно бы он не хочет видеть прохладную тьму могилы, в которой лежит, опасаясь, что если он откроет глаза и увидит гардины, висящие на окнах подобно бабым юбкам, и все предметы, которые могут проступить в темноте, бессонница превратится в самое обыкновенное бодрствование. Он хочет оставаться без сна, но не бодрствовать, иначе он не сможет лежать вместе с матушкой Хентьен здесь, в могиле, отделившись и укрывшись от мира, лишенный вожделения, и это тоже было хорошо. Соединившиеся в смерти, размышлял неспящий, мнимо убитые, да, слившиеся в смерти. Его, собственно, успокаивало то, что не нужно было думать об Эрне и Лоберге, которые сейчас тоже каким-то образом соединились в смерти. Но каким! Ну, неспящему больше уже не доставляли удовольствия циничные шутки, он хотел, так сказать, ощутить метафорическое содержание событий и стремился правильно оценить чрезвычайно большое расстояние, отделявшее его убежище от остальных помещений дома, хотел со всей серьезностью подумать о достижимом единении, об исполнении мечты, которое должно привести к совершенству; а поскольку он всего этого уже больше не понимал, то становился угрюмым и печальным, становился злым и продолжал размышлять теперь только над тем, как это возможно, чтобы из мертвого возродилось живое. Неспящий провел рукой по коротко подстриженным волосам, на ладони осталось чувство прохлады и зуда; это как опасный эксперимент, повторять который он не будет.

И по мере того как он таким образом продвигался вперед к более сложным и благородным упражнениям, росла его злость, может быть, это была злость бессильного, безрадостного вожделения. Илона совершает самоубийство особо сложным способом, по-женски, ночь за ночью претерпевает кусочек смерти,

так что ее лицо стало уже одутловатым, словно его коснулось разложение. И каждая ночь, по-новому запечатлевающая на нем беспутные картины, приводит к усилению этой одутловатости. Значит, поэтому он так боялся сегодня увидеть лицо Илоны! Знание неспящего становится провидческим преддверием сна, и он узнает, что матушка Хентьен уже мертва, что она, мертвая, уже не может родить от него ребенка, что она вместо того чтобы приехать в Мангейм, соизволила написать всего лишь письмо, сочинив его под портретом того, кому позволила себя убить, точно так же, как сейчас Илона позволяет убивать себя этому скоту, этому Корну. Щеки матушки Хентьен тоже одутловаты, время и умирание наложили свой отпечаток на ее лицо, и любовь ее ночей мертва, мертва подобно автоматически барабанящему музыкальному автомату, нужно просто залезть внутрь его. Эша охватило чувство ярости.

Неспящий не знает, что его кровать стоит на определенном месте, в доме на определенной улице, он всячески уклоняется от того, чтобы вспоминать об этом. Известно, что неспящие люди легко впадают в состояние ярости; громыханье одинокого трамвая по ночной улице может вызвать у них вспышку злости. И насколько сильнее, наверное, должна быть злость из-за противоречия, которое так велико и вызывает такой страх, что едва ли его можно впредь называть бухгалтерской ошибкой. Дабы вникнуть в суть вопроса, неспящий сломя голову кидается изгонять свои мысли, приходящие откуда-то издалека, может, из Америки. Он ощущает, что в его голове есть какое-то пространство, являющееся Америкой, оно — не что иное, как место будущего в его голове, которое все же не может существовать, пока прошлое столь безудержно обрушивается в будущее, уничтоженное — в новое. Его самого вовлекает в этот обрушивающийся поток, но не только его одного, а и всех вокруг сметает леденящий ураган, все они следуют за тем, кого первого бросило в этот поток, чтобы время снова стало временем. Ведь времени теперь больше нет, есть всего лишь неимоверно много пространства; неспящий, чутко прислушивающийся, слышит,

как они все умирают, и хотя он все еще сильно сжимает веки, чтобы не видеть этого, он знает, что смерть — это всегда убийство.

Теперь слово снова оказалось здесь, но оно не припорхало сюда беззвучно, словно мотылек, а пригромыхало, как трамвайный вагон по ночной улице, слово "убийство" оказалось здесь и возопило. Мертвый распространяет смерть и дальше. Никому не дано выжить. Матушка Хентьен приняла смерть, словно бы это был ребенок, от портного, а Илона получает ее от Корна. Корн, может быть, тоже мертвец; он так же заплыл жиром, как и матушка Хентьен, и об избавлении ему ничего неизвестно. Или, если он еще живой, он умрет, надеяться не на что, умрет, как портной после совершения убийства. Убийство и убийство в ответ, действие и противодействие, обрушивающиеся друг на друга прошлое и будущее, обрушивающиеся в момент смерти, который и есть настоящее. Возникает желание обдумать это очень хорошо и со всей серьезностью, ибо закрадывающаяся бухгалтерская ошибка не заставит себя долго ждать. Где же еще сложно отличить жертву от убийства? Все должно быть уничтожено, прежде чем мир будет избавлен, чтобы достичь состояния невинности! Должен разразиться всемирный потоп: недостаточно, чтобы кто-то один принес себя в жертву, подготовив место! Неспящий еще жив, хотя он, как и всякий неспящий, кажется мертвым, еще жива Илона, хотя смерть уже коснулась ее, и просто кто-то один приносит жертву ради новой жизни, ради порядка в мире, где непозволительно больше будет швыряться ножами. Жертву больше уже нельзя представлять несостоявшейся. И поскольку в состоянии бессонной чуткости были найдены абстрактные и общепринятые понятия, Эш пришел к выводу: мертвые — это убийцы женщин. Но он был жив, и на него возлагалась обязанность спасти ее.

В нем снова возникли желание и нетерпение принять смерть от руки матушки Хентьен, роилось сомнение в том, а не случилось ли это уже. Если уж он берется за смерть, исходящую от мертвых, то он примиряет мертвых, и они успокаивают-

ся на этой жертве. Какая утешительная мысль! И насколько более сильной яростью может быть охвачен неспящий по сравнению с бодрствующим, настолько же восторженнее воспринимает он и счастье, можно сказать, со своего рода необузданной легкостью. Да, это легкое и избавляющее ощущение счастья может быть настолько светлым, что мрак под его зажатými веками начинает наполняться сиянием. Потому что теперь больше не было сомнения в том, что он, живущий, от которого женщины могут иметь детей, что он, отдавая себя матушке Хентьен и ее смерти, таким необычным способом не только добивается избавления Илоны, не только навсегда спасает ее от ножей, не только возвращает ей ее красоту и поворачивает вспять все умирающее, вспять вплоть до новой невинности, а что он этим обязательно спасает от смерти и матушку Хентьен, возвращая ее лону жизнь и способность родить того, кто запустит время.

Тут у него возникло ощущение, словно он приехал со своей кроватью из дальней дали на известное место в известную нишу, и неспящий, возродившись в снова проснувшемся желании, знает, что он у цели, хотя еще не у той последней, где символическая и изначальная картины снова сольются воедино, а у той промежуточной, которой должно довольствоваться земному, цели, которую он называет любовью и которая возвышается подобно последнему достижимому твердому участку берега. И как будто в полной противоположности к символической и изначальной картинам женщины странным образом соединились и в то же время разъединились; наверняка матушка Хентьен сидит в Кельне и с нетерпением ждет его, ему известно это, Илона наверняка удаляется в недостижимое и невидимое, и ему известно, что он никогда больше ее не увидит; но там, далеко, на том берегу, где соединяются видимое с невидимым, там бредут они обе, и оба силуэта теряют четкость очертаний и сливаются в один, и даже когда они отделяются друг от друга, они остаются вместе в надежде, которой не суждено сбыться; он должен обнять матушку Хентьен, воспринимая ее жизнь как

свою собственную, избавляя, разбудить ее, мертвую, в своих объятиях, с любовью обнимая стареющую женщину, он возьмет на себя груз старения и воспоминание о теле Илоны, а новая девственная красота Илоны поднимет его тоску на еще более высокий уровень; да, так сильно были разделены обе эти женщины, и все-таки они были едины — зеркальное отражение объединяющего, того невидимого, на что непозволительно оглядываться и что все же является родиной.

Неспящий был у цели, он понял, что просто тянул ниточку логических рассуждений и не спать ему пришлось просто для того, чтобы она оказалась длиннее; теперь же он позволил себе завязать последний узелок, и это стало похоже на запутанную бухгалтерскую задачу, которую ему в конце концов удалось решить, это было даже больше, чем бухгалтерская задача: он взвалил на себя настоящую задачу любви в ее совершенном решении, ведь свою земную жизнь он отдал матушке Хентьен. Он охотно сообщил бы обо всем этом Илоне, но из-за ее скудных знаний немецкого языка ему, конечно, пришлось отказаться от этой мысли.

Неспящий открыл глаза, узнал свою комнату, а затем умиротворенно заснул.

Он принял решение в пользу матушки Хентьен. Окончательно. Желания уставиться в окно купе у Эша не возникало. И то, как он направил все свои мысли на совершенную и безусловную любовь, было похоже на некий рискованный эксперимент: друзья и гости пируют в залитой огнями забегаловке; он хочет войти внутрь, и матушка Хентьен, не обращая внимания на многочисленных свидетелей, спешит к нему и бросается на грудь. Но когда он приехал в Кельн, картина странным образом изменилась; это больше уже не был тот город, который он знал, а путь по вечерним улицам растянулся на мили и был чужим. Непостижимо, его же не было здесь всего лишь шесть дней. Время больше не существовало, неопределенным был дом, открывший ему свои двери, неопределенное пространство в рас-

пывчатой дали. Эш стоял у двери, видя через нее матушку Хентьен. Она возвышалась за стойкой. Над зеркалом в небольшой чаше горел огонек, в воздухе царила тишина, в мрачном помещении не было ни одного посетителя. Ничего не произошло. Почему он сюда пришел? Ничего не произошло; матушка Хентьен осталась за стойкой, наконец в привычно безразличной манере она выдавила: "Добрый день". При этом она робко оглянулась по сторонам. В его груди закипела ярость, на какое-то мгновение он поставил себя в тупик вопросом, почему он принял решение в пользу этой женщины? Он тоже ответил ей кратко: "Добрый день", потому что если он мирился каким-либо образом с ее гордой холодностью, а также знал, что ему не удалось отплатить ей той же монетой, то это приводило его в ярость; тот, кто несет в душе решение о безусловной любви, в любом случае имеет право на то, чтобы рассчитаться, он добавил: "Спасибо за твое письмо". С возмущенным видом она огляделась в пустой забегаловке: "А если бы вас кто-нибудь услышал?", и Эш, разозленный до предела, выдал предельно отчетливо и громко: "А если бы и так... оставь ты наконец свою глупую скрытность!", сделал это он без какого-либо умысла, забегаловка все равно была пуста, и он сам не знал, почему он здесь сидит. Матушка Хентьен возмущенно замолчала, принявшись ощупывать свою прическу. После его отъезда она сильно жалела, что их отношения зашли так далеко, а после отправки того необдуманного письма в Мангейм ее охватила настоящая паника; она была бы признательна Эшу, если бы он не вспомнил об этом письме. Сейчас же, когда он с невозмутимо безжалостным лицом открыто напомнил ей о нем, она снова ощутила себя зажатой в железные тиски и беззащитной. Эш сказал: "Я могу и уйти", теперь она, конечно же, вышла бы из-за стойки, не зайдя как раз в эту минуту первые посетители. Так что на какое-то мгновение они остались стоять на прежних местах, не говоря ни слова; затем матушка Хентьен пренебрежительным тоном, свидетельствующим, что делает она это лишь для того, чтобы положить конец этой сцене, прошептала: "Ты придешь

сегодня ночью". Эш ничего не ответил, он расположился с бокалом вина за одним из столиков. Он чувствовал себя осиротевшим. Его вчерашний расчет, который был таким однозначным, стал ему совершенно непонятным: почему из-за Илоны необходимо принять решение в пользу этой женщины? В забегаловке он по-прежнему чувствовал себя чужим; его больше ничего не касалось, он был слишком далек от всего этого. Что еще ему нужно в этом Кельне? Ему давно уже надо быть в Америке. Но тут его взгляд упал на портрет господина Хентьена, висевший там, наверху, над регалиями свободы, и ему показалось, что к нему внезапно вернулась память; он попросил дать ему бумагу и чернила и написал красивым бухгалтерским почерком:

Сообщение!

Довожу до сведения достопочтимого полицайпрезидиума, что господин Эдуард фон Берtrand, проживающий в Баденвайлере, председатель наблюдательного совета АО "Среднерейнское пароходство" в Мангейме, состоит, к сожалению, в безнравственных отношениях с лицами мужского пола, и я готов подтвердить сии сведения как свидетель.

Намереваясь поставить свою подпись, он задумался, поскольку вначале хотел написать: "За глубоко скорбящего родственника покойного", и хотя фраза эта чуть не вызвала у него смех, по телу поползли мурашки. Но наконец он поставил свою фамилию и указал адрес, аккуратно сложив, он спрятал написанное в бумажник. "Казнь откладывается до завтра", — сообщил он себе. В бумажнике на глаза попала открытка из Баденвайлера. Он задумался, стоит ли отдавать ее матушке Хентьен уже сегодня ночью. На душе от одиночества скребли кошки. Но тут его взору предстала ниша в своей будоражащей и болезненной интимной готовности, и, проходя мимо стойки, хриплым голосом он пролепетал: "До встречи". Она неподвиж-

но сидела на стуле и, казалось, ничего не слышала, так что он, испытав прилив новой ярости, вернулся и, не обращая внимания на окружающих, громко произнес: "Будет очень любезно с твоей стороны снять фотографию, вон ту, которая наверху". Она по-прежнему не шевелилась, и он с грохотом хлопнул за собой дверью.

Когда он пришел попозже и попытался открыть дверь, то обнаружил, что она заперта изнутри. Не считаясь с тем, что его может услышать служанка, он позвонил, а когда внутри не обнаружилось никакого шевеления, он поднял шум. Это помогло: послышались шаги; он почти надеялся, что это маленькая служанка, которой можно было сказать, что он что-то забыл в зале, к тому же малышке будет не так просто от него отделаться, и это было бы хорошим уроком для матушки Хентьен. Но появилась вовсе не маленькая служанка, а госпожа Хентьен собственной персоной; она была одета и плакала. Все это еще больше разозлило его. Они молча поднялись наверх, и там, не долго думая, он повалил ее на кровать. Когда она оказалась под ним и ее поцелуи стали нежными, он суровым тоном спросил: "Фотография на старом месте?" Вначале она не поняла, о чем речь, а когда до нее дошло, то она никак не могла взять в толк: "Фотография... да, фотография, почему? Не нравится тебе?" Он, озадаченный ее непониманием, ответил: "Нет, она мне не нравится... мне вообще многое не нравится". Она послушно и спокойно сказала: "Если она тебе не нравится, то я могу повесить ее куда-нибудь в другое место". Она была так неопишимо глупа, что это можно было, наверное, исправить, поколотив ее. Эш взял себя в руки: "Место фотографии в печке". "В печке?" "Да, в печке. А если ты и дальше будешь такой дурой, то я сожгу всю твою конуру". Она испуганно отпрянула, довольный реакцией, он сказал: "Это же было бы кстати; ты все равно терпеть не можешь свою забегаловку". Ответа не последовало, и если даже она вообще ни о чем не думала, что не исключено, а просто видела перед собой языки пламени, лизавшие крышу ее дома, все равно казалось, что она что-то хочет утаить. Он не отставал: "Почему ты молчишь?!" Резкий тон

привел к тому, что она вообще оцепенела. Это что же, нет никакой возможности заставить эту бабу сбросить наконец свою маску? Эш поднялся и с угрожающим видом стал у выхода из ниши, словно намереваясь перекрыть ей путь к бегству. Нужно назвать вещи своими именами, в противном случае с этим куском мяса справиться невозможно. Но он, запинаясь, сподобился хриплым голосом просто спросить: "Почему ты вышла за него замуж?", этот вопрос поднял в его душе столько дикого и безнадежного, что его мысли умчались к Эрне. Он оставил ее, хотя возле нее его ничего не мучило и было совершенно неважно, какие представления о фаллосе торчат у нее в голове. И ему было все равно, есть ли у Эрны дети или же она предохраняется всякими штучками. Он боялся ответа, не хотел ничего слышать и все же заорал: "Ну, так что же?" Госпожа Хентьен, боясь очень уж сильно открыться, а может, из-за страха потерять тот ореол, благодаря которому, как она полагала, ее любят, собралась с силами для ответа: "Прошло уже так много лет... это ведь должно быть тебе безразлично". Нижняя челюсть у Эша опустилась, придав лицу лошадиный оскал. "Безразлично должно мне это быть... мне это должно быть безразлично...— голос его срывался на крик: — Да, мне это уже безразлично... плевать я на это хотел!" Значит, так она оценила его абсолютную, полную, без остатка самоотверженность и его мучения. Она была глупым и закоснелым человеком; ему, взвалившему на себя ее судьбу, словно свою собственную, ему, стремившемуся возобновить ее жизнь, хотя самого его смерть состарила и осквернила, ему, Августу Эшу, готовому посвятить себя ей без остатка, стремившемуся избавиться от своей отчужденности к ней, дабы, так сказать, получить в обмен отказ от ее отчужденности и ее мыслей, которые все еще были столь болезненны для него, значит, ему это должно было быть безразлично!!! О, она была глупой и закоснелой, а поэтому необходимо было ее поколотить; он подошел к кровати, размахнулся и ударил по ее пухлой неподвижной щеке, словно он мог таким образом поразить закоснелость ее духа. Она не защищалась, а осталась неподвижно лежать на постели, она не поше-

велилась бы, даже если бы он кинулся к ней с ножом. Щека ее покраснела, а когда по округлой ее выпуклой поверхности прокатилась слезинка, его злость пошла на убыль. Он присел на кровать, а она подвинулась, чтобы освободить ему место. Затем он скомандовал: "Мы поженимся", в ответ она просто сказала: "Да", и Эш был близок к тому, чтобы снова прийти в ярость: она ведь не сказала, что счастлива тем, что наконец-то может отказаться от ненавистной ей фамилии. Она не нашла в ответ ничего другого, как обнять его и прижать к себе. Он чувствовал себя уставшим и поэтому не сопротивлялся; может, так оно и правильно, а может, безразлично, потому что перед лицом царства избавления и без того все неопределенно, неопределенно любое время, неопределенны любая цифра и любое сложение. В его душе снова начало подниматься чувство озлобления: что знает она о царстве избавления? Что она вообще хочет о нем узнать? Не исключено, что так же мало, как и Корн! Наверняка понадобится время, чтобы вдолбить ей все это в голову. Но пока придется смириться, придется подождать, пока до нее дойдет, пускай ведет свою приходно-расходную книгу, как она это и делает. В стране справедливости, в Америке, будет по-другому, там прошлое отпадет, словно окалина с остывающего металла. И когда она сдавленным голосом спросила, останавливался ли он в Обер-Везеле, он не рассердился, а покачал головой и буркнул: "Ай, нет". Так отметили они свою новобрачную ночь, обсудили проблему с продажей забегаловки, и матушка Хентьен была ему благодарна, что он ничего не будет сжигать. Через месяц они могли бы плыть уже по океанским просторам. Завтра он займется тем, что с Тельчером продолжит двигать вперед американское дело.

Он задержался у нее дольше, чем обычно. По лестнице они уже больше не спускались на цыпочках. И когда она выпускала его из своего дома, то на улице уже были прохожие. Это наполнило его душу чувством гордости.

Утром он отправился в "Альгамбру". Конечно, там еще никого не было. Он пошарил в корреспонденции, лежавшей на сто-

ле Гернерта. Ему попался нераспечатанный конверт, подписанный его собственным почерком, он был настолько ошарашен, что в первый момент даже не узнал его: это было письмо Эрны, которое он собственноручно написал в Мангейме. Хм, она опять поднимет приличный хай, так долго не получив ответа. А впрочем, вполне по заслугам. В театре отборнейший сброд.

Наконец притащился Тельчер. Эш обрадовался, увидев его. Тельчер снизошел до его настроения: "Но, хорошо, что вы снова здесь, каждый улаживает свои личные дела, а Тельчер должен в одиночку тащить на себе всю черновую работу". "Где Гернерт?" "Но, в Мюнхене в своей обожаемой семейке... тяжелые болезни у них, кто-то подхватил насморк". Эш думал, что он уже вернулся. "Скоро должен, наш господин директор, вчера в зале не набралось и пятидесяти человек. Все это нужно обсудить с Оппенгеймером". "Хорошо,— согласился Эш,— пошли к Оппенгеймеру".

С Оппенгеймером они пришли к заключению, что нужно уже проводить финальные схватки. "Предупреждал я вас или нет,— сказал Оппенгеймер,— что борьба — это хорошо, но вечная борьба... кому это интересно?" Эшу подобные настроения были вполне к стати; ему нужно было просто получить свою долю по возвращении Гернерта, и чем скорее будет поставлена точка, тем быстрее они отправятся в Америку.

В этот раз он по собственной инициативе взял Тельчера с собой на обед, поскольку сейчас речь шла о том, чтобы начать реализацию американского проекта. Уже на улице Эш вытащил из кармана известный список и перечислил девушек, которых он предварительно выбрал для поездки. "Да, у меня тоже есть кое-кто на примете,— сказал Тельчер,— но вначале Гернерту придется вернуть мне мои денежки". Эш удивился: ведь это должно было бы произойти за счет взносов Лоберга и Эрны. На что Тельчер разозленно отрезал: "А чьими деньгами, как вы думаете, финансировались борцовские схватки? Он же не чесался, неужели вы этого не понимаете? Он отдал мне в залог земельный участок, но как я буду затевать новое дело в

Америке с этим участком земли?" Это было немного странно, но в любом случае, если дело с борьбой будет ликвидировано, то у Гернерта должна быть наличность, и Тельчер сможет ехать. "Илона поедет со мной",— решил Тельчер. "Тут уж тебе придется потерпеть фиаско, мой дорогой,— подумал Эш,— Илона уже не имеет ничего общего с этими штучками; даже если она все еще делит ложе с Корном, это не будет продолжаться очень долго, скоро она будет обитать в далеком и недостижимом замке, в парке которого пасутся косули". Он сказал, что ему необходимо еще заглянуть в полицейпрезидиум, и им пришлось сделать небольшой крюк. В одном магазинчике канцелярских товаров Эш купил газеты и конверт; газеты он сунул в карман, а на конверте своим ровным почерком написал адрес. Затем извлек из бумажника аккуратно сложенный лист с сообщением, вложил его в конверт и направился к полицейпрезидиуму. Выйдя вскоре из здания, он продолжил разговор: "Излишне, чтобы Илона ехала с нами". "О чем разговор,— возмутился Тельчер,— во-первых, там нас ждут отличные ангажементы, а во-вторых, если поездка окажется неудачной, то придется возобновлять работу здесь. Она достаточно побездельничала; да я ей уже и письмо написал". "Ерунда,— резко прервал его Эш,— если торгуешь девушками, то зачем брать жену с собой". Тельчер улыбнулся: "No, если вы считаете, что я должен бросить это, то вы лишаете меня шанса. Вы же теперь большой капиталист... из деловой поездки домой, как правило, привозят денежки?" Эш запнулся; похоже, Тельчер намекал на полицейпрезидиум, что бы это значило? Что было известно этому жидовскому трюкачу? Разве он сам знал что-либо об этой поездке; он напустился на Тельчера: "Да идите вы к черту, не привез я никаких денег". "Не в обиду сказано, господин Эш, не сердитесь на меня, это я так, между прочим".

Они зашли к матушке Хентьен, и у Эша снова возникло ощущение, будто Тельчер посвящен во что-то и мог бросить ему в обвинение ужасное "убийца". Он никак не решался осмотреться в забегаловке по сторонам. Наконец он поднял глаза и

увидел на том месте, где висел портрет господина Хентьена, белое пятно, по краям которого свисала паутина. Он покосился на Тельчера, тот молчал, очевидно, ничего не заметил, нет, тот вообще ничего не заметил! Его охватило желание устроить какую-нибудь озорную выходку, частично из озорства, а частично для того, чтобы отвлечь внимание Тельчера от того места, где висела фотография; он направился к музыкальному автомату и запустил его громохочущую музыку; на шум вышла матушка Хентьен, и Эшу пришлось в голову поприветствовать ее громко и с доверительной сердечностью; он охотно представил бы ее как госпожу Эш, если он и подавил в себе такую очаровательную шутку, то не только потому, что был признателен ей и готов с пониманием отнестись к ее сдержанности, но также и потому, что господин Тельчер-Тельтини вряд ли был достоин такой чести. Правда, Эш вовсе не чувствовал себя обязанным заходить очень уж далеко во всех этих скрытностях, и когда Тельчер, пообедав, намерился уходить, он не пошел с ним как обычно, чтобы затем каким-либо образом отделаться от него и вернуться, а сказал совершенно открыто, что он еще задержится, поскольку хочет полистать свои газеты. Он вытащил газеты из кармана, но вскоре засунул их обратно. Посидел немного. Его руки спокойно лежали на коленях. Читать не хотелось. Посмотрел на светлое пятно на стене. А когда все стихло, начал подниматься вверх. Он был благодарен матушке Хентьен, и они приятно провели послеобеденные часы, снова обсуждая проблему с продажей забегаловки, и Эш подумал, что, может быть, Оппенгеймер сможет найти покупателя. Проявляя внимание друг к другу, они поговорили и о женитьбе. На покрывале было пятнышко, похожее на маленького мотылька; но это была просто грязь.

Вечером он решил, что должен продолжить поиски девушек. Между тем он подумал: а не посмотреть ли ему, как там дела у малыша, у Гарри? Найти его не удалось, и он уже хотел уйти из этой вонючей забегаловки, когда появился Альфонс. Толстяк имел довольно комичную внешность: жирные волосы беспоря-

дочно прилипли к черепушке, шелковая рубашка была расстегнута, а из-под нее выглядывала белая безволосая грудь, напоминая чем-то растрепанную подушку. Эш не смог сдержать улыбку. Толстяк опустил за один из столиков у входа и вздохнул. Эш подошел к нему, на его лице все еще играла улыбка, казалось, он хочет его немножко ошарашить: "Привет, Альфонс, случилось что-нибудь?" Глаза музыканта в окружении заплавленного жиром лица остались тусклыми и смотрели враждебно. "Эй, закажи себе что-нибудь выпить и скажи, что стряслось". Альфонс выпил рюмку коньяку и продолжал молчать, наконец он выдал: "Боже правый... виноват во всем и еще спрашивает, что стряслось!" "Не говори ерунду, что случилось?" "Боже правый! Он умер!" Альфонс обхватил лицо руками и тупо уставился перед собой; Эш опустился рядом с ним за столик. "Но кто умер?" "Он его слишком сильно любил", — пролепетал, запинаясь, Альфонс. Все снова приобретало какие-то комичные очертания. "Кто? Кого?" В голосе Альфонса послышались злые нотки: "Да не корчите вы здесь из себя, Гарри умер..." Так, так, Гарри умер, до Эша, собственно, никак не доходило, он непонимающим взглядом уставился на толстяка, по щекам которого текли слезы: "Прошлый раз своими разговорами вы довели его до полного безумия... он слишком сильно его любил... а прочитав об этом в газете, он заперся в своей комнате... сегодня днем... и теперь мы нашли его... веронал¹". Так, так, Гарри — мертв; в чем-то это было правильно, но Эш не знал, в чем. Он сказал только: "Бедный мальчик", и тут вдруг понял, и душа его наполнилась чувством избавительного счастья: ведь днем он передал письмо в полицейпрезидиум; здесь наконец вздыбились убийство и ответное убийство, схлестнулись, как и положено, вопрос и ответ на него, здесь все было уплачено строго по счету! Странно только, что его в чем-то обвиняют; он еще раз повторил: "Бедный мальчик... почему он это сделал?" Альфонс с ошарашенным видом выпятился на него: "Да он в газе-

¹ Веронал — сильнодействующее снотворное средство.

тах прочитал..." "Что?" "Да вот же", — Альфонс кивнул на пачку газет, торчавшую у Эша из кармана пиджака. Эш пожал плечами — он совсем забыл о газетах. Там в черной рамке, которая охватывала большую часть полосы, с многократными повторениями на последней странице, чтобы траурное известие дошло до всех его фирм и филиалов, до всех служащих и до всех без исключения рабочих, сообщалось, что господин Эдуард фон Берtrand, председатель наблюдательного совета, кавалер высших наград и т.п. скончался после тяжелой непродолжительной болезни. В статье на первой странице рядом с почетным некрологом говорилось, что усопший, предположительно, в состоянии помешательства покончил жизнь самоубийством, застрелившись из револьвера. Эш читал все это, но оно его мало интересовало. Он просто констатировал, насколько все-таки правильно было, что фотографию убрали сегодня. Странно, что абсолютно посторонний человек — этот музыкант, смог наделать столько шума вокруг всего этого. С выражением легкой иронии на лице он доброжелательно и успокаивающе хлопнул толстяка по жирной спине, заплатил за его шнапс и отправился к госпоже Хентьен. Вышагивая неспеша и с удовольствием, он размышлял о Мартине и о том, что тот уже не сможет догнать его и угрожать своим костылем. И это тоже было хорошо.

Оставшись один, музыкант Альфонс зажал в кулаке виски и уставился в пустоту. Эш казался ему злым человеком, как и все мужчины, которые ходят к женщинам, дабы обладать ими. Он был убежден, что все эти мужчины приносят с собой несчастья. Они казались ему безумцами, несущимися по миру, при приближении которых не остается ничего другого, как покориться. Он презирал этих мужчин, которые глупо и затравленно принесли откуда-то и жаждали не жизни, которую они, очевидно, вообще не видели, а чего-то такого, что лежит за ее пределами и за что во имя своего рода любви они разрушают жизнь. Музыканту Альфонсу было слишком тоскливо, чтобы четко сфор-

мулировать для себя все это; но он знал, что эти мужчины, хотя и говорят о любви с большой страстью, но в виду имеют всего лишь обладание или что там еще под всем этим подразумевается. Его это, конечно, не касается, он ведь в лучшем случае рассеянный человек и опустившийся оркестрант; но он знал, что приняв решение в пользу женщины, окажешься ой как далеко до постижения абсолютного. И он прощал злобную ярость мужчин, поскольку понимал, что она берет истоки в страхе и разочаровании, понимал, что те страстные и злобные мужчины пребывают чуточку за вечностью, чтобы она защитила их от страха, который стоит за спиной и сообщает им о смерти. Он был глупым и рассеянным оркестровым скрипачом, но он мог играть по памяти сонаты и, обладая разнообразными знаниями, вопреки своей печали мог посмеяться над тем, что люди в преисполненном страхе стремлении к абсолютному хотят любить вечно, отрицая, что в таком случае их жизни не суждено познать конец. Пусть они относятся к нему с пренебрежением, поскольку ему приходится играть и попури, и быструю полечку, но он все же понял, что эти загнанные, ищущие абсолютное в земном, всегда находят только символы и подделки того, что они ищут, не зная даже, как назвать это, и созерцают они смерть другого без сожаления и грусти, поскольку бесконечно поглощены своей собственной; они охотятся за обладанием, чтобы быть поглощенным и им, ведь они таят надежду найти в нем прочность и неизменность, которые должны иметь власть над ними и оберегать их, и они ненавидят женщину, ради которой приняли решение ослепнуть, ненавидят ее, потому что она просто символ, который они, преисполненные ярости, разбирают, поскольку они опять переданы во власть страха и смерти. Музыкант Альфонс испытывал чувство сострадания к женщинам: они ведь не находят ничего лучшего, чем попасть во власть этой разрушающе тупой страсти обладания, но они в меньшей степени преследуемы страхом, впадают в большой восторг, когда окружены бесконечным потоком музыки, пребывают со смертью в близких и доверительных отношениях; в

этом женщины похожи на музыкантов, и будь ты сам всего лишь толстым оркестровым музыкантом-гомосексуалистом, можно все равно испытывать чувство душевной близости с ними, можно хоть в какой-то степени понять их представление о том, что смерть представляет собой нечто траурное и прекрасное, зная, что плачут они не потому, что их лишили обладания, а потому, что у них забрали что-то, чем можно пользоваться и что можно созерцать, что было хорошим и нежным. О, какой хаос эта жизнь, непонимаемая жаждущими обладания, едва ли понимаемая другими, и все же представление о ней дает музыка, звучащий символ всего мыслимого, устраняющий время, чтобы сохранить его в каждом такте, отменяющий смерть, чтобы в звучании снова возродить ее. Тот, кто подобно женщинам и музыкантам догадался об этом, может позволить себе быть рассеянным и глупым, и музыкант Альфонс ощутил всю тучность своего тела, словно это было хорошее мягкое покрывало, через которое можно было прощупать что-то ценное и достойное любви: пусть люди его презирают и называют оскорбительно бабой, да, он просто бедный пес, и тем не менее для него многообразие вечности доступнее, чем тем, кто оскорбляет его и все же превращает всего лишь маленький кусочек земного в символ и цель своего печального стремления. Он был тем, кому было позволительно презирать других. Эша ему тоже было жаль, и ему припомнились героические воинственные звуки, сопровождавшие борцов при выходе на арену для того, чтобы их подзадоренное мужество забыло о смерти, стоящей за спиной. Он задумался над тем, не сходить ли ему к Гарри и не постоять ли немного у гроба, но восковый цвет лица внушал ему ужас, и он предпочел набраться и сидеть, рассматривая гостей и официантов, которые суетились вокруг и несли на своих лицах отпечаток смерти.

В тот же час той же ночи с постели поднялась Илона, в свете маленького красного масляного светильника под изображением Богородицы она рассматривала спящего Балтазара Корна. Он похрапывал, а когда храп прекращался, то это смахивало

на смолкание музыки в театре перед ее номером; в сопящий звук его дыхания врвался тогда тонкий свист летящих ножей. Об этом она, конечно, не думала, хотя письмо Тельчера призывало ее вернуться к прежней работе. Рассматривая Корна, она попыталась представить его без черных усов и как он выглядел еще маленьким мальчиком. Она не знала точно, зачем делает это, но ей казалось, что в такой ситуации Мать Божья, изображение которой она постоянно видела на стене, скорее простит ей ее грех, состоявший в том, что она использовала Корна перед святыми очами Божьей Матери для греховного удовольствия, и если бы раньше она не заразилась болезнью, то у нее были бы дети. То, что приходилось оставлять Корна, ее не волновало, она знала, что будет кто-то другой, ее не заботило и возвращение к Тельчеру; она не сильно ломала себе голову над тем, что он ждет ее в Кельне и достанется ей, она просто знала, что нужна ему, чтобы он в кого-нибудь швырял свои ножи. Не волновало ее и то, что она должна будет уехать в Америку, она уже достаточно много поколесила по свету. Жизнь ее протекала без надежды и без страха. Она умела бросать людей, но сегодня ощущала себя все еще во власти Корна. На шее у нее был шрам, она соглашалась с тем, что мужчина, которому она изменила и который хотел ее убить, был прав. Если бы Корн изменил ей, то она бы его не убила, а просто облила кислотой. Такое разделение находило свое объяснение, как ей казалось, в ревности: ведь кто обладает, стремится уничтожить, а кто просто пользуется, может довольствоваться тем, что приводит объект в негодность. Это касается всех людей, в том числе и английскую королеву, потому что все люди одинаковы и никто не любит делать что-либо хорошее другому. Стоит она на сцене — светло, лежит с каким-то мужчиной — темно. Жизнь — это еда, а еда — это жизнь. Как-то один уже покончил с собой из-за нее; это событие мало ее волновало, но думала она о нем охотно. Все остальное погружалось в сумерки, и в сумерках передвигались люди, подобно темным теням, которые то сливались друг с другом, то снова устремлялись в разные стороны. Все

творили одно только зло, словно бы им нужно было наказать себя, когда они искали друг у друга утех. Илона даже слегка гордилась, что и она совершила зло, и когда тот покончил с собой, это смахивало на кару и возмездие, которые были признаны за ней Богом за ее бесплодность. Много было непостижимо, невозможно было мысленно разобраться в смысле происходящего; только когда рождались дети, сумерки, казалось, сгущались, приобретая телесную осязаемость, и было похоже, что мир теней навечно заполняется сладкой музыкой. Наверняка поэтому несет и Мария там, наверху, над красным светильником своего младенца Иисуса. Эрна выйдет замуж и нарожает детей; почему Лоберг не берет ее вместо этой колючей малышки с желтоватой кожей? Она продолжала рассматривать Корна и не находила на его лице ничего из того, что искала: его заросшие волосами кулаки лежали на покрывале, они никогда не были ни нежными, ни молодыми. Ей стало страшно от его тучного с отблесками красного огня лица, на котором торчали усы, и босиком она тихонько прошла к Эрне, мягко и расслабленно скользнула под ее одеяло, нежно прижалась к ее угловатому телу и в таком положении уснула.

Теперь Эш держался почти как жених или, вернее, как покровитель, потому что они хотя еще и не сообщили всем о своей связи, но Эш тем не менее знал, как подобает вести себя со слабой женщиной, а она не возражала, чтобы он покровительствовал ее интересам. Ему позволено было вести дела не только с поставщиком минеральной воды и мороженого, но и с Оппенгеймером, которому по его инициативе была доверена продажа забегаловки. Предприимчивый Оппенгеймер занимался, собственно, наряду с театральными делами налаживанием посреднических контактов при продаже земельных участков, он также имел связи с разнообразными агентствами, и, само собой разумеется, охотно согласился заняться этим делом. Впрочем, в данный момент его озабоченность вызывали другие проблемы. Он пришел, чтобы осмотреть дом, но остановился по-

среди лестницы и сказал: "Невозможно объяснить, проблема с этим Гернертом; дай Бог, чтобы с ним ничего не случилось... впрочем, то, что беспокоит меня, это же не мое дело". И каждый раз пытаясь успокоить самого себя, он постоянно возвращался мыслями к тому, что вот уже восемь дней, как о Гернерте нет ни слуху ни духу, и это именно сейчас, когда они намереваются завершить представления и еще понадобятся деньги на гонорары и ликвидацию задолженности по арендной плате. То, что Гернерт, такой порядочный человек, может задолжать за аренду, ему никогда даже и в голову не приходило. К тому же дела до последнего времени шли блестящим образом, ну просто превосходно. А теперь, естественно, не было денег даже на покрытие накладных расходов. Да, самое время ставить точку. "А тягловая лошадка, Тельчер этот, дал ему уехать, не оставив себе даже ключей от кассы, он ничем не может распоряжаться. У него же деньги вложены в этих Дармштадцев!.. Забота об этом — ниже достоинства этого господина Тельчера, господин деятель искусства".

Эш вначале безучастно внимал этим речам, тем более, что ему казалось вполне понятным, что голова Тельчера куда больше занята Америкой, чем борцовскими представлениями, которые доживают свои последние дни. Но тут он встрепенулся: деньги у Дармштадцев? Он набросился на Оппенгеймера: "В тех деньгах, которые у Дармштадцев, есть и доля моих друзей: нужно получить деньги обратно!" Оппенгеймер покачал головой. "Меня это, собственно говоря, совершенно не интересует,— сказал он,— в любом случае я буду телеграфировать Гернерту в Мюнхен. Он должен приехать, привести все в порядок. Вы правы, зачем ходить вокруг да около". Эш согласился с таким решением, и телеграмма была отправлена; ответа они не получили. Обеспокоенные, через два дня они отправили телеграмму с оплаченным ответом госпоже Гернерт и узнали, что Гернерта вообще дома нет. Это было подозрительно. А в конце недели необходимо было произвести платежи! Пришлось обратиться в полицию; полиции удалось выяснить, что остаток

средств со счета Гернерта был снят еще около трех недель назад, теперь не оставалось ни малейшего сомнения; Гернерт вместе с деньгами просто смылся! Тельчер, который защищал Гернерта до последнего момента, а теперь называл себя самым тупым евреем на всем белом свете, поскольку снова позволил оставить себя в дураках такому плохому человеку. Тельчера подозревали в том, что он действовал Гернерту на руку. С учетом отданного в залог участка земли он приложил все усилия, чтобы доказать свою невиновность, и помогло ему в этом то, что у него в кармане не было денег, чтобы прожить даже ближайšie несколько дней. Беспомощный, словно ребенок, он корил себя и весь свет, постоянно повторяя, что вот-вот должна приехать Илона, он целыми днями жужжал Оппенгеймеру в уши о немедленном ангажементе. Оппенгеймеру было не так уж сложно не пасть духом, речь-то ведь шла не о его деньгах; он утешал Тельчера: не так уж все и плохо, из него как владельца земельного участка выйдет великолепный директор театра; если бы он только достал немножечко оборотного капитала, то все было бы в самом лучшем виде и он заключил бы со старым Оппенгеймером еще кое-какие сделки. Это показалось Тельчеру убедительным, он настолько быстро и интенсивно вернулся в свое прежнее деловое настроение, что в его голове моментально созрел новый план, с которым он, сломя голову, помчался к Эшу.

Ну а Эш был более чем разозлен таким жизненным поворотом. Хотя он всегда предполагал, даже знал, что дело до поездки никогда не дойдет, и, наверное, поэтому так пассивно и вяло занимался набором девушек, хотя он испытывал даже чувство определенного удовлетворения оттого, что его внутреннее чутье не подвело его, жизнь его все-таки была сориентирована на американский проект, и теперь он переживал глубочайшее потрясение, ему даже казалось, что его отношения с матушкой Хентьен лишились почвы. Куда теперь с ней? И как он теперь выглядит перед этой женщиной?! Ей хотелось видеть его господином над всей этой шайкой деятелей искусства, а теперь

он так позорно попался этой банде на удочку! Ему было стыдно перед матушкой Хентьен.

Под такое настроение и приперся Тельчер со своим проектом: "Послушайте, Эш, да вы же теперь большой капиталист, вы можете стать моим компаньоном". Эш уставился на него, как на ненормального: "Компаньоном? Не иначе, как вы сошли с ума. Так же хорошо, как и мне, вам известно, что с Америкой — дело дрянь". "Но ведь зарабатывать можно и в Европе,— отреагировал Тельчер,— и если бы вы хотели с выгодой вложить свои деньги..." "Какие деньги?!" — заорал Эш. "No, no, не стоит из-за этого так громко кричать; может же такое случиться, что кто-то что-то получит в наследство",— пытался успокоить Эша Тельчер, чем привел его в совершенную ярость. "Вы точно свихнулись,— рычал он,— что за вздор? Не достаточно, что я так влип по вашей милости..." "Если Гернерт, этот негодяй, слинял, то вы не можете винить меня в этом...— обиженно говорил Тельчер,— я пострадал сильнее вашего, а поскольку дела мои плохи, то ни к чему меня еще и оскорблять, тем более, что я предлагаю вам верное дело". "Речь идет не о моих убытках, а об убытках моих друзей..." — буркнул Эш. "Я даю вам возможность вернуть деньги". Затеплилась, естественно, надежда, и Эш спросил, как Тельчер представляет себе это дело. Ну, с земельным участком можно уже кое-что начинать, то же говорит и Оппенгеймер, а Эш ведь и сам видел, что зарабатывать можно, если мастерски взяться за дело. "А если нет?" Тогда будет один выход — продать земельный участок и согласиться с Илоной на какой-нибудь ангажемент. Эш задумался: так... тогда Тельчеру придется снова идти с Илоной на сцену... метать ножи?... так, так... он хотел бы подумать...

На следующий день он навел справки у Оппенгеймера — с Тельчером желательно держать ухо востро. Оппенгеймер подтвердил сказанное Тельчером. "Так?... Тогда он вынужден будет снова выйти с Илоной на сцену..." "За мной дело не станет, я-то уж устрою ему ангажемент,— сказал Оппенгеймер,— а что ему еще остается делать, Тельчеру этому?" Эш кивнул: "А если

он возьмет на себя договор аренды, ему нужны будут деньги?.." "Не располагаете ли вы парой тысяч?" — поинтересовался Оппенгеймер. Нет, таких денег у него нет. Оппенгеймер покачал головой: без денег ничего не получится; может быть, удастся заинтересовать этим делом кого-то другого... как, например, насчет госпожи Хентьен, которая, как говорят, хочет продать свое заведение и будет иметь кучу денег. Повлиять здесь он бессилин, сказал Эш, но он передаст предложение госпоже Хентьен.

Занимался он этим неохотно, возникла новая задача, но без ее решения — никуда. У Эша было ощущение, что ему наносят удар сзади. Не исключено, что Оппенгеймер с Тельчером дуют в одну дуду; оба — жиды! Почему этот тип не займется чем-нибудь другим, а все мечет ножи? Словно нет на свете честной и приличной работы! И что это там за вздор он нес о смерти и наследстве? Они завели его в тупик, как будто бы знали, что все должно было случиться именно так, что должны были быть защищены Илона от ножей, а мир — от несправедливости, что жертва Бертранда не напрасна и что не зря была снята фотография господина Хентьена! Нет, невозможно давать чему-либо обратный ход, ведь речь идет о справедливости и о свободе, которую больше нельзя верить ни демагогам, ни социалистам, ни этим продажным газетным писакам. Вот в чем состояла задача. А то, что он должен был спасти деньги Лоберга и Эрны, казалось ему словно бы частью, символом той более высокой задачи. И если Тельчер не возьмет на себя договор аренды, то деньги будут окончательно потеряны! Деваться некуда. Эш взвесил все "за" и "против", просчитал все варианты, в результате он получил однозначное решение: ему придется уговорить матушку Хентьен немедленно согласиться послужить делу решения этой задачи.

Когда для него все прояснилось, неуверенность и злость оставили его. Он оседлал велосипед, поехал домой и написал Лобергу подробное письмо о невероятном и возмутительном преступлении господина директора Гернерта, добавив, что он,

Эш, предпринял надежные меры для спасения взносов и просит дорогую фрейлейн Эрну не волноваться.

С Америкой, значит, было покончено. Окончательно. Приходилось теперь оставаться в Кельне. Дверца клетки захлопнулась. Заперли. Факел свободы угас. Странно, но сердиться на Гернерта он не мог. Обвинение предъявлялось, скорее, кому-то другому, тому, кто вопреки соблазну и надежде с благородным видом отверг возможность скрыться в Америке. Да, в этом, наверное, состоял закон, что тот, кто приносит себя в жертву, должен прежде всего пожертвовать своей свободой, и это было справедливо. Однако оставалась еще одна невероятная ситуация. Эш повторил: "Заперли", словно нужно было убедить себя самого в этом. И будучи почти уверенным в своей правоте, испытывая всего лишь легкие угрызения совести, он сообщил матушке Хентьен, что пока им придется отложить отъезд в Америку, поскольку туда уже уехал Гернерт, чтобы заняться организацией дела.

Матушке Хентьен, конечно, можно было порассказать, что хочешь; она же никогда не интересовалась ни борцовскими представлениями, ни господином директором Гернертом, а из того, что происходило вокруг, она вообще воспринимала только то, что ей подходило. Так что и сейчас она не услышала ничего другого, кроме того, что переезда в эту страну авантюристов, чего она сильно побаивалась, не будет, и это было похоже на приятный ливень успокоения, обрушившийся столь неожиданно на ее душу, так что она, наслаждаясь, вначале помолчала немало, затем сказала: "Завтра я вызову маляра, а то скоро зима и стены не успеют как следует высохнуть". Эш был ошарашен: "Красить? Ты же хотела продать свою забегаловку!" Матушка Хентьен подбоченилась: "Нет, до нашего отъезда пройдет куча времени, надо покрасить — дом должен хорошо смотреться". Эш не стал настаивать, просто пожал плечами: "Не исключено, что расходы удастся заложить в продажную цену". "Да", — согласилась матушка Хентьен. Впрочем окончательно

отделаться от сомнений она не смогла — кто знает, правда ли изгнана американская химера — и полагала более чем оправданным тряхнуть ради дома и гарантированного покоя мощной. Поэтому Эш и Оппенгеймер были в высшей степени приятно удивлены, когда не потребовалось длительных уговоров, чтобы матушка Хентьен поняла, что театральное дело и при отсутствии Гернерта нуждается в финансировании; так же быстро было получено ее согласие подписать закладную на дом, Оппенгеймер сразу же, перестраховки ради, принес все необходимые документы. Сделка прошла без сучка и задоринки, а Оппенгеймер заработал один процент комиссионных.

Таким образом матушка Хентьен стала совладелицей нового театрального дела, организуемого Тельчером; при посредничестве Оппенгеймера в населенном рабочим людом Дуйсбурге было арендовано помещение, и это оправдывало надежду на то, что матушка Хентьен будет иметь свою долю с хорошей прибыли. Эш поставил три условия: во-первых, он сохраняет за собой право бухгалтерского контроля, во-вторых, перед выкупом земли подлежала выплата задолженность по взносам Лоберга и Эрны (это было совершенно справедливо, только матушке Хентьен знать об этом было совершенно не обязательно) и, в-третьих, он потребовал от удивленных Тельчера и Оппенгеймера включить в текст контракта обязательство вычеркнуть из возможных выступлений жонглеров блестящий номер с метанием ножей. "Ерунда какая-то", — была реакция обоих господ; но Эш был непреклонен.

Пока что, собственно говоря, события протекали по вполне приемлемому руслу. Жертва матушки Хентьен сделала его обязанным ей до гроба, и пересмотреть свое решение он уже не мог. Хотя ненавидимая им забегаловка и не была продана, но закладную тоже можно было считать первым шагом к уничтожению прошлого. Да и в поведении матушки Хентьен появилось нечто, свидетельствовавшее о начале новой жизни. Она не возражала против его планов женитьбы, так же как не возражала против подписания закладной, а душу ее переполняла такая

нежность, которую до сих пор никто в ней и заподозрить не мог. Осень была ранняя и холодная, она снова носила коричневое бумазейное платье и частенько бывала без лифчика. Даже ее строгая прическа стала, казалось, мягче; без сомнения, она уже больше не носилась со своей щепетильностью относительно внешности, этим прошлое тоже отличалось от настоящего.

Эш, тяжело ступая, расхаживал по дому. Если уж ты ничем не занимаешься и тебя заперли, то это, по крайней мере, должно приносить хоть какую-то пользу. Впрочем, новой жизнью это не назовешь. Завтракал он в общем зале и ужинал там же. Матушка Хентьен отпускала самые разнообразные высказывания в адрес рассеявшегося здесь бездельника и тунеядца, но кормила его охотно. Эшу было приятно и то и другое. Он от корки до корки прочитывал газеты, иногда рассматривал видовые открытки в зеркальной рамке и был рад тому, что там не было ни одной, подписанной его почерком. А приличия ради присматривал он за работой маляров. Матушке Хентьен хорошо было говорить, что она уже заботится о новой жизни! Для женщин это вообще проще, и Эш улыбнулся, новую жизнь они могут носить где угодно, особенно часто — под сердцем. Поэтому, наверное, они не любят выходить в новый мир, в их четырех стенах уже все есть, считают, что для сохранения невинности нужно просто сидеть в клетке! Там они чистят и дряют, думая, что новой жизни возможно достичь каким-то там ничтожным механическим порядком. Новая жизнь в клетке? Как будто это так просто!

Нет, мизерными средствами, маленькими изменениями новую жизнь, состояние невинности в темнице не возвести. Преодолеть неизменное, имевшее место, земное не так-то легко. Неизменен дом, от закладной на нем и следа нет. Неизменны улицы и башни, вокруг которых завывает ветер, а на дуновение будущего нет больше и намека. Собственно говоря, нужно было бы подорвать Кельн с четырех сторон, сровнять его с землей, чтобы не осталось камня на камне, которые пробуждают в памяти матушки Хентьен прошлое и воспоминания. Неизменно

важно шествует она по улицам, а люди приподнимают шляпы, и каждому известно, чье имя она несет. Видит Бог, не так мыслилось все это, когда жертвы ради предполагалось взять на себя и ее старение, и стирание ее очарования. Да, поседей она за ночь, стань она в одно мгновение совершенной старухой, не вызывающей никаких воспоминаний, никем не узнаваемой, чужой, ничем не связанной больше с привычным окружением,— да, вот это была бы новая жизнь! Эш невольно пришел к мысли, что матери с каждым ребенком становятся все более старыми и что женщины, у которых нет детей, не стареют; они неизменны и мертвы, для них не существует времени. Но в ожидании новой жизни они полны надежды, что снова начнется отсчет их времени, а это и старение и новая девственность одновременно, надежды на состояние невинности всего живого, дремотное предчувствие смерти, и тем не менее — новой жизни, царства избавления во всем мире. Сладостная несбыточная надежда.

Это, конечно, вряд ли соответствовало бы вкусу матушки Хентьен. Она назвала бы это анархистскими идеями. Может, и по праву. Как раз когда попадаешь в темницу, то возникают революционные мысли, ведутся революционные разговоры. Эш поднимался по лестнице вверх, затем спускался вниз, проклинал дом, чертыхался на ступеньки, ворчал на рабочих. Хорошо же выглядит здесь новая жизнь! Светлое пятно на стене там, где висела фотография хозяина пивной, было теперь закрашено, так что вполне можно было подумать, что фотографию сняли всего лишь из-за покраски и ни по какой другой причине. Эш, запрокинув голову, уставился на стену. Нет, это вообще не новая жизнь, та, которая начата здесь, а совсем наоборот, время, должно быть, пошло вспять. Эта женщина ведь определенно рассчитывала на то, чтобы повернуть все вспять, сделать все непроисходившим. Как-то раз после уборки она спустилась в зал, запыхавшаяся, потная, но довольная: "Фу, трудно даже себе представить, насколько необходимой для дома была вся эта работа". Эш рассеянно поинтересовался: "А когда послед-

ний раз делалось все это?”, но в голове у него вдруг шевельнулась догадка, что это, должно быть, было по случаю ее бракосочетания с Хентьеном; шарахнув по столу так, что задребезжали тарелки, он заорал: “Клетку ведь красят как раз перед тем, как посадить в нее новую птичку!” Невелик грех был бы, поколоти он ее прямо здесь, в забегаловке. Ему чертовски надоело вертеть головой в разные стороны, когда каждый раз приходилось окунаться в прошлое. При этом она еще требует, чтобы он ухаживал за ней; однако возникало такое впечатление, что с замужеством она не так уж и спешит. Во всем неотвратимо, снова и снова накатывало прошлое. В ее новых удобствах и нежности угадывалась оседлость, все говорило о том, что она не только замышляет возобновить прежнюю жизнь и продолжать ее на веки вечные, но и используя в качестве оружия любовь, намеревается низвести любовника до уровня второстепенного украшения, своего рода рисованного украшения в доме своей жизни. Она стремилась снова ограничить даже ту полуофициальную доверительность, которой она одарила, подавая таким образом определенные гарантии их союзу. Когда он ездил в Дуйсбург, чтобы проверить, как Тельчер ведет дела, она не нашла ни единого слова признательности, а когда он пригласил ее — может, и она съездит с ним,— так она сразу же заподозрила его в неблагоприятных делишках, заявив, что он может остаться, где ему заблагорассудится, там, вероятно, найдется место и для него.

Матушка Хентьен была права! И в этот раз! По праву продемонстрировав ему, что в ее доме он не более чем чужой мальчик-сирота, которого терпят, но с которым ни в коем случае нельзя было заключать союз. И тем не менее она была неправа! И это, наверное, было самым ужасным, потому что из-за кажущегося оправданным отклонения, из-за кажущейся справедливой кары каждый раз по-новому выглядывал старый идиотский страх, и он — Август Эш — женитьбой на ней, должно быть, преследовал одну простую цель — заполучить ее деньги. Это в очередной раз стало совершенно понятно, когда пришли

документы по закладной; какое-то время матушка Хентьен ковырялась в них с обиженным видом, а затем полным претензий тоном произнесла: "Жаль, такие высокие проценты... я могла бы прекрасно оплатить все это со своего сберегательного счета", в результате чего стало яснее ясного, что у нее были накоплены деньги и что она предпочла скрыть это, предпочла лучше подписать закладную, чем сообщить ему об имеющихся деньгах, не заикаясь уже о настоящем бухгалтерском контроле. Да, такой была эта женщина. Она ничему не научилась, ничего не знала о царстве избавления, да и не желала ничего знать. А новая жизнь была для нее ничего не значащим словом. О, она снова устремилась к той деловой и магистральной форме любви, в сети которой его угораздило попасть и которая становилась для него все более невыносимой; это был круговорот, из которого он никак не мог вырваться. Происшедшее казалось неизбежным и неизменным. Неуязвимым. И будь даже уничтожен весь город, мертвые сохранят свое могущество.

Ну а тут объявился еще и Лоберг. Высказал свои подозрения, поскольку выплачен был всего лишь вложенный капитал, а не та сумма прибыли, на которую возлагались надежды. Таких претензий Эшу как раз только и недоставало. Впрочем, когда идиот этот слегка смущенно, но не без некоторой гордости сообщил, что у них каждый пфенниг на счету, поскольку Эрна в таком уже положении, что вопрос со свадьбой необходимо решать со всей серьезностью, то для Эша это прозвучало, как голос из потустороннего мира, и он понял, что жертвоприношение еще не завершено. Маленькая и жалкая надежда, что этот ребенок, от которого он уже отказался, может все же быть ребенком Лоберга, захлебнулась в неземном осознании кары, нависшей над совершенной любовью, в пользу которой он принял решение, нависшей для возмездия за непростительное легкомыслие, в котором угрожающе хрипит смерть, распространяя проклятие бесплодности, тогда как на свет будет рожден ребенок, зачатый в грехе и без любви. И хотя в его душе клокотала злость на матушку Хентьен, которая ничего этого не

знала и думала только о покраске своего дома, его желание, чтобы она подняла руку, дабы убить его, снова стало невероятно сильным. Невзирая на все это, ему пришлось поздравить Лоберга; пожимая ему руку, он сказал: "Прибыль по возможности должна быть начислена... как подарок на крестины". А что ему, впрочем, оставалось? Он прошелся рукой по коротким торчащим волосам — на ладони осталось ощущение легкого зуда. От Лоберга он также узнал, что Илона вскоре собирается перебраться в Дуйсбург. И он решил, что с ближайшего первого числа ежемесячно Тельчер должен будет присылать в Кельн по почте отчеты о ведении дел для контроля.

Да, а что ему, впрочем, оставалось? Все ведь было в порядке. Эрн родит ребенка в браке, он женится на матушке Хентьен, а в забегаловке будет произведена покраска и постелен коричневый линолеум. И никто понятия не имеет, что прячется за всеми этими красивыми гладкими моментами, никто не знает, кто отец ребенка, который теперь будет носить имя Лоберга, и что та совершенная любовь, в которой он стремился найти спасение, оказалась ничем иным, как сплошным обманом, чистейшим надувательством, совершаемым для того, чтобы скрыть то, что он здесь ошивается как какой-то последователь портного, мечется в этой клетке как человек, помышлявший о бегстве и далекой свободе, а теперь способный всего лишь трясти решеткой. Сумерки сгущались, и никогда не рассеялся туману по ту сторону океана.

Теперь он старался бывать в этом доме пореже — его угнетало чувство тесноты и недоверия. Он болтался по набережной, рассматривал полосы из рыбьей чешуи на поверхности воды, провожал взглядом корабли, которые медленно спускались вниз по течению. Доходил до моста через Рейн, брел дальше до полицейпрезидиума, до оперного театра, оказывался в городском парке, чтобы постоять на скамейке — перед глазами девушка с тамбурином — и запеть, да, это, наверное, было самое подходящее, запеть о плененной душе, освобождаемой силой избавляющей любви. Они, должно быть, абсолютно пра-

вы, эти идиоты из Армии спасения, что прежде всего необходимо найти путь к настоящей совершенной любви. Даже сам факел свободы не способен, наверное, осветить путь к избавлению, тот ведь не получил избавления, невзирая на все возможные поездки в Америку и Италию. Ложь не может служить ориентиром ни в чем, остаешься один-одинешенек, словно сирота, мерзнешь, стоя на снегу и ожидая, что на тебя мягко опустится милость любви. Тогда, да, тогда может произойти и чудо, чудо совершенного осуществления. Возвращение сироты. Чудо раздвоения мира и судьбы, и ребенок, за которого ушел тот, был бы не ребенком Эрны, а их, и она, вопреки всему, будет носить настоящую новую жизнь! Скоро у нас выпадет снег, мягкий пушистый снег. И плененная душа получит избавление, аллилуйя, он будет стоять на лавке, стоять выше, чем тот, который всегда был настолько выше. И верный себе, он впервые назвал ту, которая благодаря ему должна была стать матерью, по имени — Гертруда.

Вернувшись домой, он заглянул ей в лицо. Лицо имело дружественное выражение, а уста доверительно перечисляли ему, что она приготовила в первой половине дня. Нельзя сказать, что Август Эш был голоден, так что он отказался от еды. Его бросило в дрожь, и он окончательно понял, что ее лоно лишено жизни или, что еще хуже, можно ожидать какого-нибудь уродца. Слишком уж он был уверен в проклятье, слишком уверен в убийстве, совершенном мертвым над женщиной. Снова грудь болезненно распирало желание задать ей вопрос, который он никак не решался сформулировать: они не могли иметь детей или они просто предавались своим наслаждениям? Злость на матушку Хентьен росла, он снова потерял способность называть ее тем именем, которым ее называл покойник, да, он даже поклялся себе, что с его губ это имя слетит не раньше, чем до нее дойдет, в чем дело. Но до нее не дошло. Она принимала его заботливо и по-деловому, оставив его один на один с его одиночеством. Он пытался смириться с судьбой: дело, может, и не в ребенке, а в ее готовности иметь его, и он был полон ожи-

дания этой готовности. Но и здесь она оставила его одного, а когда он, дабы приободрить ее, завел разговор о том, что им было бы неплохо после женитьбы завести детей, она просто сухо деловым тоном ответила: "Да", но того, на что он рассчитывал, она ему не дала, и по ночам, когда они бывали вместе, она не просила его, чтобы он сделал ей ребенка. Он поколотил ее, но до нее так и не дошло, и она молчала, пока он не пришел к выводу, что это бесполезно; так что возникло даже сомнение, что, впрочем, неизбежно, а не таким ли образом она взывала к господину Хентьену о ребенке, и ребенок, отцом которого он видел себя, был бы в ее лоне такой же случайностью, что и ребенок из семени Хентьена? Женщина не способна оказать мужчине помощь в вызванных сомнениями муках недоказуемого. И чем больше он мучил себя, тем с большим непониманием она наблюдала за происходящим; и тем не менее вся его напористость шла на убыль, становясь, так сказать, всего лишь символом и намеком. Его протест ослабевал.

Ибо он осознал, что в реальности никогда не может быть исполнения, осознал все более четко, что даже самые дальние дали пребывают в реальности, лишено смысла любое бегство, чтобы найти там спасение от смерти, и исполнение, и свободу, и даже ребенок, выйди он живым из материнского лона, значит не более чем случайный крик наслаждения, в котором его зачали, замирающий и долгое время сдерживаемый крик, который абсолютно ничего не доказывает. Чужой ребенок — такой же чужой, как ушедший звук, чужой, как прошлое, чужой, как мертвый и смерть, поскольку земное неизменно, пусть даже и кажется по-другому; и родись сам мир снова, он, невзирая на смерть избавителя, в земном никогда не достигнет состояния невинности, даже когда подойдет конец времен.

Хотя Эш и не осознал все это достаточно отчетливо, однако сего вполне хватило, чтобы он занялся обустройством земной жизни в Кельне, подыскивал приличное место и занимался своим делом. Благодаря хорошим отзывам, которые были у него на руках, он нашел более высокую и ответственную

должность из всех, занимаемых им когда-либо, вернув себе уважение и восхищение, которые уже заготовила для него матушка Хентъен. Она распорядилась покрыть полы в своей забегаловке коричневым линолеумом, и теперь, когда угроза выезда, как казалось, окончательно миновала, она сама начала заводить разговоры об американских воздушных замках. Он поддерживал их частично потому, что чувствовал: она считает, будто такими разговорами доставляет ему радость, частично из чувства долга: поскольку хотя он вряд ли когда-либо сможет увидеть Америку, но с пути туда он никогда не сойдет, не свернет, вопреки невидимому, держащему в руках копьё, готовому нанести удар, а знание, колеблющееся между желанием и представлением, говорит ему, что путь этот — скорее символ и намек на более высокий путь, который нужно пройти в реальности и для которого они — всего лишь земное зеркальное отражение, колеблющееся и размытое, словно картина на темной поверхности пруда. Все это было ему не совсем понятно. Но он осознал, что это просто чистая случайность, когда сложение колонок оказывается правильным, так что ему все же можно рассматривать земное словно бы с более высокой ступеньки, словно бы из сияющего замка; и часто казалось, будто сделанное, сказанное и случившееся было не более чем занавес на тускло освещенной сцене, представление, которое забывается и которого никогда не было, прошлое, за которое никто не может ухватиться, не усилив земного страдания. Исполнение в реальности всегда терпит неудачу, но путь тоски и свободы бесконечен, и его никогда не пройти до конца, он узкий и странный, как путь лунатика, даже если это путь, ведущий в распахнутые объятия родины, к ее дышащей груди. Эш был чужим в своей любви и все же начал поддерживать более доверительные, чем раньше, отношения с земным, так что ничего не произошло и все осталось на своих местах, собственно говоря, в неземном, когда он справедливости ради должен был решить кое-какие земные проблемы для Илоны. Он говорил с матушкой Хентъен о свободной Америке, о продаже забегаловки и о же-

нитьбе, словно с ребенком, желание которого охотно исполняют, иногда он пребывал в состоянии, когда снова готов был называть ее Гертрудой, хотя ночью, когда он погружался в нее, она для него была безымянной. Они шли рука об руку, но каждый своим отличным от другого и бесконечным путем. Их женитьба и продажа хозяйства по сильно заниженной цене были всего лишь этапами на пути символа, на пути приближения к более высокому и вечному, которое, не будь Эш таким вольнодумцем, можно было бы даже назвать Божественным. Но он все же знал, что всем нам здесь, на земле, суждено отмерять свой путь, опираясь на помощь ближнего.

IV

Когда театр в Дуйсбурге обанкротился, а Тельчер и Илона опять оказались без куска хлеба, Эш и его жена вложили почти все, что осталось от ее имущества, в театральное предприятие, и вскоре они окончательно потеряли все свои деньги. Но Эш нашел место старшего бухгалтера на крупной промышленной фирме в приходившемся ему родиной Люксембурге, что вызвало небывалое восхищение в душе его супруги. Они шли по жизни рука об руку и любили друг друга. Иногда он ее еще поколачивал, но все реже и реже, а в конце концов и вовсе прекратил.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛУНАТИКИ

Роман-трилогия

Первый роман

1888 – Пазенов, или Романтика

7

Второй роман

1903 – Эш, или Анархия

201

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

Ψ

Серия 700

Выпуск 19

Герман Брох

Лунатики

Роман-трилогия

В двух томах

Том первый

Перевод с немецкого *Н. Л. Кушнира*

Редактор *Н. Г. Шишкина*

Корректоры *А. И. Филатова, Н. С. Павловская, Е. В. Попова*

Оригинал-макет *О. В. Гашенко*

Подписано в печать 21.10.96. Формат 70x100/32.

Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура "Прагматика-Конденсд".

Усл. печ. л. 17,42. Уч.-изд. л. 22,62.

Тираж 5000 экз.

Зак. 3317

Издательство "Лабиринт". 252021 Киев, ул.Институтская, 25

Свидетельство №23725504 от 24.10.95

Издательство "Ника-Центр". 252021 Киев, ул.Институтская, 25

Свидетельство №20048256 от 25.03.96

Издательство "Алетейя". Санкт-Петербург, бул.Конногвардейский, 6/30

Лицензия №064366 от 26.12.95

Санкт-Петербургская типография № 1 РАН

199034 Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ЛУНАТИКИ

Ψ

Герман Брох

